

НОВЫЙ
МИР

7

1935

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

С 9-й (сентябрьской)

КНИГИ ЖУРНАЛА

„Новый Мир“

будет печататься новый роман

Леонида Леонова

„ДОРОГА НА ОКЕАН“

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — Недра, роман, книга вторая	5
2. НИК. АСЕЕВ. — Песня о нефти, стихотворение	22
3. ЭЛЬ-РЕГИСТАН. — Джуль-барс, киноповесть	24
4. Г. НИКИФОРОВ. — Мастера, роман, продолжение	53
5. Р. ГИНЗБУРГ. — Два стихотворения	77
6. МАКС ЗИНГЕР. — Гольфштрем, роман, окончание.	78
7. РАЙСА АЗАРХ. — Пятая армия, роман, продолжение	101
8. Н. СИДОРЕНКО. — Стихотворение	122
9. Н. МХОВ. — Коломенский завод. (Ненависть)	123
 ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
10. Б. ЛАВРОВ. — Первая Ленская, с иллюстрациями	134
 ЗА РУБЕЖОМ:	
11. Н. КОРНЕВ. — Творцы англо-германского морского соглашения, с рис. худ. БОР. ЕФИМОВА	169
12. М. СПЕКТАТОР. — Два года фашистской диктатуры	185
13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА	196
 НАУКА И ТЕХНИКА:	
14. Акад. П. М. ЖУКОВСКИЙ. — Новые культуры	200
 ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
15. Ф. ВЛАСОВ. — О творчестве Виктора Гусева	215
16. А. МИНГУЛИНА. — В джунглях семьи	231
17. А. ЛЕБЕДЕВ, Е. МЕЛИКАДЗЕ, А. МИХАЙЛОВ, П. СЫ- СОЕВ. — Еще раз о журнале «Искусство»	242
18. Э. АЦАРКИНА. — Орест Кипренский, с иллюстрациями	252
19. АЛ. ЗОТОВ. — Выставка картин П. П. Соколова-Скаля, с иллюстрациями	269
20. К. СИТНИК. — Франс Мазерель, с иллюстрациями	275
21. С. ЧЕМОДАНОВ. «Садко» в Большом театре, с иллюстрациями	278
 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:	
А. РОСКИН. — П. Ширяев «Высокая земля»	286

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. Б—10941.

Тир. 54.425. Объем 18 печ. лист. по 64.000 знак.

Зак. 1286.

Сдано в набор 2/VI—35 г.

Подписано к печати 25/VI—35 г.

Техн. ред. В Белокопъ.

Тип. им. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

Недра

Роман

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

Книга вторая ¹⁾

ЧАСТЬ I. — ВЕТЕР АЗИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Мистер Джон Чарли, американский журналист, до того времени, как появиться у подножья Казачьей горы, среди мертвых песков и грохота машин, побывал во многих примечательных местах Советского Союза.

Пять месяцев назад перед ним шумела горная тайга, пугая и очаровывая весенне-тревожным, напряженным шумом, и в этом мягком ритмическом шуме тянул свою нескончаемую песню — точно звон серебряных паутинных нитей — пнус-комар.

Пять месяцев назад на Первомайском изумрудном прииске мистер Чарли уверенно шагнул через порог незнакомого помещения, опережая сопровождавшего главного контролера.

В огромной зале за двумя длиннейшими рядами обитых цинком столов размещались две сотни молодых женщин в одинаковых серых платьях, с голями по локоть руками. На столах лежали куски сланцевой породы, из тонких трубок неиссякаемо били дождевой сеткой струйки воды, и под этими струйками молодые работницы деревянными молотками разбивали породу, вы-

мывая из нее драгоценные изумрудные зерна.

Американский корреспондент острым, привычным взглядом пробежал по столам, по человеческим лицам, потянул широкими ноздрями влажный воздух, принял своим внимательным слухом drobный стук молотков с ритмическим шорохом воды и повернул восхищенное лицо к контролеру — старому, с широкой белой бородой.

— Как вас зовут?

— Кого? Меня? — не понял контролер.

Американец утвердительно мотнул головой, глядя не на спутника, а на зеленый маленький стужок, который работница опускала в запечатанную кружку.

— Меня звать Федором, а величают Петровичем. Федор Петрович Славичев.

— Верю гут! Зам-мечательно! — снова повернул к нему голову американец.

— Я здесь недавно, всего пятый год, а раньше работал по яшме, резчиком, — пояснил старик.

— Яшма? Что такой яшма?

— Яшма — это камень такой, благородный. И вот еще порфир или орлец. Я вазы из них резал... для музеев и царей...

Но мистер Чарли, не дослушав, шагнул в сторону крайнего «люкового» сто-

¹⁾ Книгу первую см. «Новый мир», кн.кн. 1—4 за 1934 г.

ла, взял кусок сланца и долго всматривался в его излом, где чудесным сочетанием зеленых тонов сверкал крупный кристалл изумруда. Потом бережно положил его и направил свои шаги дальше. У одного из промывных столов он снова задержался.

Перед ним стояла с голыми руками, с задорно вскинутой курчавой головой, красивая, розощекая девушка. Глаза ее лучились смехом. Мистер Чарли протянул руку к молотку.

— Я хотел разбивайт, искать изумруда, — проговорил он, бесцеремонно овладевая инструментом.

Девушка, взглянув вопросительно на контролера, посторонилась, освобождая место у стола. Американец подпернул кожаные рукава и, подставив кусок породы под струю, начал ловко бить молотком. На него уставились десятки пар женских смеющихся глаз.

— Хорошо! Вери гут! — обрадованно воскликнул мистер Джон Чарли, выковыривая из разбитого куска зеленую крупницу и торжественно опуская ее в кружку.

— А ловкость у вас в руках есть, — одобрил старик-контролер.

Мистер Чарли вытащил из кармана блокнот с «вечным» пером и отметил знаменательное сие событие.

— Как ваше имя? — спросил он девушку и после ответа тут же записал старательно выведенными русскими буквами: «Кс-енья».

Вслед за этим мистер Чарли выразил желание опуститься в шахту рудника, взглянуть на незнакомую породу, в которой природа таинственным образом заключила драгоценные зеленые кристаллы.

В небольшом деревянном помещении его облачили в брезентовую куртку, такие же штаны, дали непромокаемую шляпу и на грудь повесили свечной фонарь — «бленду».

Посреди пола открылся люк. Американец занес ногу над страшным отверстием.

Деревянная отвесная лестница покрыта слизью, отовсюду сочится вода, давит густая, липкая тьма. Пятнадцать-двадцать ступеней до крохотной пло-

щадки, и снова лестница. Потом опять площадка, тесная, скользкая, и опять лестница. Ступени точно намылены. Внизу — пропасть и ночь. Ни на секунду нельзя ослабить мускулы рук и ног.

Чем ниже, тем больше воды. Она течет уже потоками: по голове, по лицу, по всему телу. Мистер Чарли мужественно преодолевает препятствия и неприятности.

Двенадцатый горизонт. Штрек. Еще недавно здесь были разработки, но порода выбрана, и они заброшены.

Опять вниз, тем же мрачным, узким стволом, в котором локти упираются в сырые, холодные стены.

Пятнадцатый горизонт... Двадцатый. По штреку движутся согнутые фигуры катальщиков.

Еще ниже.

Двадцать пятый... Тридцатый горизонт. Это и есть пока предельная глубина шахты.

Конец длинного коридора-штрека. Забой. Работают двое, молодой и пожилой, сбросив куртки и шляпы. Острыми кайлами отбивают слюдяные сланцы, в которые вкраплен изумруд. Удары тяжелы и глухи, в сыром, мгlistом воздухе звуки вязнут. Брызжет вода, брызжет и осыпает влажными каменными крошками порода. Черная стена, таящая в себе драгоценные кристаллы, малоподатлива. Но человек упорен и вынослив. Забойщики бьют, стоя на коленях, бьют сидя, бьют лежа. Бьют шесть бесконечных часов в полутьме, не разгибая спины...

— Т-оварищ, дайте ваша кайла! — тянется мистер Чарли к пожилому забойщику. — Ваш кайла мне дайте, я хочу пробовать!

Американец сдвигает на затылок широкополую брезентовую шляпу, становится на колени и локтями, сильными ударами начинает долбить стену. Через две-три минуты отваливается большой пласт. Чарли повертывает к шахтерам довольное лицо и, улыбаясь, спрашивает:

— Гут?

— Хорошо, — поощряют те, с любопытством рассматривая странного незнакомца.

Американец снова принимается рубить кайлом. На этот раз работает минут десять, соревнуясь с молодым широколицым забойщиком. Наконец, останавливает поток ударов, хочет вытереть мокрое лицо и размазывает на нем брызги грязи.

— Оч-чень хорошо! Сцвенк-ю!.. В мире есть только одна такой шахта. Изумрудный шахта в Колумбии. — Он долго рассматривает и ковыряет пальцами кусок сланца. — Зам-ечательный порода!

Мистер Чарли направляется к выходу. Навстречу катятся одна за другой груженные вагонетки. Катальщики мокры от воды и пота. Слабо маячат редкие электрические лампочки, доносятся глухие удары металла о камень, тяжело, устало дышат откачивающие помпы, и под ногами в лужах плещется черная, как деготь, вода.

Рудничный поселок, точно от кого прячься, сел в самой гуще лесных дебрей. Посреди улицы — огромнейшие земляные выемки, похожие на осушенные озера и реки, высокие, черные горы рудничных отвалов, сложные сооружения из дерева и железа. Дымят трубы, бегают вагонетки, изредка мелькают люди.

И над всем этим царит тайга с тяжелым, сырым дыханием, с запахами жирных растений, с кровососущим гнусом, набрасывающимся на все живое черными клубами с миллионами жал.

Вечер. У дымных костров позади жилья плещет веселыми звуками гармошка, сзывая к себе беспечную молодежь. Глухо грохочет рудодробилка. Плышет над людьми, над домами, по макушкам деревьев шум тайги, и гнус-комар бесконечно тянет стальные поющие паутины.

Мистер Джон Чарли, отчаянно отмахиваясь от комаров, идет вдоль поселка, — неудержимо влечет гармонная песня.

Площадка у потухавших костров уже опустела. Молодежь разбрелась в разные стороны группами и в одиночку.

Гармошка ныла где-то далеко, в другом конце поселка.

На повороте внезапно вынырнула женская фигура в светлой кофточке. Мистер Чарли сразу узнал ее.

— Т-оварищ Кс-енья, здравствуйт!

Девушка вздрогнула и остановилась. Взглянув на американца, она молча улыбнулась заодно-кокетливой девичьей улыбкой.

— Гут найт! — приветственно помахал ей рукой мистер Чарли.

— Мерси! — кивнула девушка, делая свою улыбку ласковой.

Они стояли друг против друга, тепло улыбаясь, — сухо-деловитый, с обветренным, энергичным лицом, заключенный в кожу, американский журналист и весенне-легкая, цветущая русская девушка.

— Хорошо вам спать, товарищ Кс-енья! Доброй ночи! — снова он повторил тем же дружески-сердечным голосом и решительно шагнул в сторону, в узкий переулок.

Молодой американец, дойдя до самого леса, круто повернул вправо по бровке. Ночь дышала пряностью перегноя. Где-то кричала сова. Мистер Чарли напряженно думал: будут ли при социализме носить изумруды вот эти молодые, жизнерадостные девушки?..

II

Теперь осень. Теперь мистер Чарли находится на «Пятилетке», у подножья Казачьей горы. Со степи докатываются ослабшие вспышки ветровых волн, над горой и над стройками курятся желтые облака пыли. Мистер Джон Чарли стоит у окна в номере гостиницы и усталым взором оглядывает ближние и дальние строения, располжившиеся на просторе заводской площадки. По дорогам бегают автокары, тащатся арбы. На желтом хребте песка, появившемся всего несколько дней назад, длиннейшей гусеницей тянется баластный поезд, и тут же, вздыбив стальные хобота, копаются в песчаной стихии две землечерпалки.

Знакомая картина. Целое лето наблюдал ее. Почти каждый день внешне она

менялась, но в существе своем оставалась все такой же неизменной.

Мистер Чарли вспомнил, что сегодня еще не завтракал. Он надел пиджак, осмотрел себя в зеркало и, поправив галстук, направился в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже гостиницы. Но, оказалось, время для завтрака уже истекло, а до обеда еще два часа.

Взяв в киоске местный журнал, он опять пошел к себе в номер. Коридоры были уже пустынные и тихи, две женщины мокрыми тряпками протирали дорожку линолеума. Пахло одеколоном и кухни. Читать не хотелось. В первый раз за все свое пребывание здесь американец почувствовал в себе необычный разлад, не знал, куда себя девать, не знал, чем заняться. Привыкший к движению, к системе, к точному распределению своего времени, он сегодня неожиданно обнаружил дефект в своем мозговом аппарате.

Причина лежала в том, что вчера, когда готовился ко сну, у него непроизвольно мелькнуло: «Пора уезжать». Все важное и значительное им было уже отмечено на листках блокнотов и накрепко втиснуто в емкую память. Нового, что могло бы взволновать больше, чем было до сих пор, теперь едва ли можно ожидать.

«Надо уезжать».

И после этого решения сразу почувствовался надлом энергии.

Мистер Чарли попытался собрать себя: серьезно, деловому человеку необходимо поддерживать в себе внутреннюю дисциплину. Потеря ее ведет к интеллигентской рыхлости, к беспредметному философствованию, к лени...

С этой новой мыслью он взял со стола большой блокнот и стал его перелистывать. На одном из листков внимательно прочитал написанное мелким, быстрым почерком, несколько месяцев назад:

«Первый мировой колосс — металлургический завод Герри, построенный на золото американских банков, стоит на берегу могучей реки. К его цехам вплотную подходят огромные морские суда. В воде недостатка нет.

Завод же «Имени Пятилетки», который при полном пуске значительно пре-

взойдет американский, сооружается почти на безводьи. Соседнюю реку могут досуха вытянуть для своих непрерывных ванн две первоочередные домыны. А их будет восемь. Кроме них, — двадцать пять мартенов и столько же бессемеров, да гигантский, в километр длиною, коксохимкомбинат, да центральная электростанция на пятьсот тысяч киловатт. Для одних только технологических целей воды потребуется более двух миллионов кубометров в день. Кроме этого, город с двухсоттысячным населением...»

Положив блокнот, Чарли выдвинул из-под кровати овой добротный, объемистый чемодан заокеанского изготовления. Среди шелкового белья, записных книжек и цветных конвертов тут лежали, бережно завернутые в чистую бумагу и обложенные ватой, образцы донбасского угля, уральского асбеста и обломок слюдянистого сланца с выветрившимся зеленопенным изумрудом.

Он долго вертел этот обломок в руках, внимательно разглядывая серебристую слоистость породы и заключенный в нее шестигранный зеленый столбик. Это только отдаленное напоминание благородного изумруда, но оно воскрешало перед ним чудесные, сверкающие чистотой, нежностью окраски драгоценные кристаллы. Всплыли в памяти тайга, комариный звон и стук деревянных молотков под струйками воды...

Вспомнился старик, Федор Славичев, чеканивший двухметровые яшмовые вазы для королей и музеев.

«... В каждую такую вазу вложены годы кропотливейшей работы и творческий гений таежного неграмотного мужика, о котором историк не напишет ни одной строчки. Теперь этот творец королевских vaz со сломанной рукой служит почти сторожем, которого громко называют контролером. А он жизнерадостен и крепко верит в советское будущее...»

Американец бережно положил обломок изумрудной породы на место и окружил его ватой.

С Казачьей горы он возьмет кусок замечательной магнитной руды. Увезет он также в своей необъятной, хорошо тренированной памяти тысячи больших

и малых фактов, бесчисленный ряд картин, образы людей и вещей небывалого, исключительного строительства, возводимого в пустынных, первобытных песках Азии.

И еще одно увезет он отсюда — свою тоску по необыкновенной девушке, Мане Дроздовой.

Мистер Чарли сейчас думает о двух: о черноволосяй Ксении с изумрудного и об электротехнике с «Пятилетки» — Мане Дроздовой...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Степь начиналась тут же, за рекой, лежала она необозримо на сотни километров вдаль и ширишь, выжженная солнцем, взброненная ветрами, в туманных, зыбучих маревах. Когда-то — пять, десять, двадцать веков назад — по ней шли с таинственного Востока покорять Запад орды древних кочевников, топчя степной ковыль и горячие пески. И ветер ревниво заметал за ними следы.

Теперь на стык Европы и Азии, на мертвые равнины, пришли новые люди с могучей техникой, с проникающей творческой мыслью. Пришли вздыбить недра, переделать и подчинить себе природу...

Инженер Дородный, с покосившимся на носу пенсне, с засохшими грязными брызгами на давно не стриженной беловато-щетинистой бороде, стоял по колена в глинистой воде и возбужденно кричал рабочим:

— Еще немного! Еще! Дай вправо! Не туда! Где у вас правая рука? Ну, вот!.. Так!..

Рабочие старательно направляли конец железной шпунтины в желтую жижу. Лица у них были обветрены и шелушились, на одежде лежали жирные напластования грязи, делавшей ватные стеганки их похожими на каменные. Со степи надвигалась изморось. Степь начала дышать знобящей сыростью.

Инженер Дородный, попятившись назад, оступился и зачерпнул голенищем воду. Почувствовав внезапный озноб,

он поморщился и снова закричал охрипшим голосом:

— Опять сбили!.. Чего же вы? Ну, так! Довольно!.. — Порывисто махнул рукой, и паровой молот, выбросив белую упругую струю, грузно опустился на шпунтину...

В осовожденном русле реки день и ночь бухали копры, звенело железо, скрежетал камень. Две тысячи человек напрягали свои силы и силы машин, чтобы одолеть мертвую природу, побороть скупое время.

Две недели назад, когда Степан Гаврилович приехал с механического и впервые попал в этот водоворот, то испугался: «Трех дней не проработает он в этой обстановке, нехватит сил; конец ему». Но прошла неделя, и все стало казаться обычным: не спать по двадцати часов под ряд, ходить в ледяной воде, мокнуть под осенним дождем и гореть одной неотступной мыслью — не отстать, не задержать других, не выпасть из механизма, как подносившийся винтик.

Главное — не выпасть из механизма.

Еще недавно в ногах чувствовался застарелый ревматизм, полученный в царской ссылке, теперь непостижимым образом болезнь исчезла, и ноги сделались несокрушимыми.

Степан Гаврилович, с трудом вытянув полупудовые сапоги из подводного илистого слоя, поднялся на возвышенность. Холодная изморось, точно сочащаяся из самого воздуха, липла к одежде, к лицу, застревала в усах.

Он протер пенсне, но стекла в ту же минуту опять покрылись влагой, и фигура бригадира-юноши у железного шпунта снова стала расплывчатой. Дородный протянул конец стальной ленточки этому расплывчатому, почти неощутимому человеку:

— Посмотрите: сколько там? Ни черта не вижу, ни в очках, ни без очков.

— Двадцать восемь ноль пять.

— Ага! Двадцать восемь ноль пять. Хорошо! — Инженер сунул рулетку в карман и, косясь левым глазом помимо стекла, сделал в записной книжке цифровую отметку. — Вот мы обуздываем реку, измеряем каждый квадратный

метр. С весны она потечет уже по-другому. Озеро будет в четырнадцать квадратных километров. Да... А тут по ней когда-то проходил со своими дружинами Ермак... Вы читали, вероятно, о нем и знаете, кто он такой, Ермак Тимофеевич?

— Не читал, а песню о нем знаю, — отозвался равнодушно молодой бригадир, задирая голову к верхушке остановавшего копра.

— Ну, вот, плыл этот Ермак завоевывать для купцов-колонизаторов Строгановых богатую, неведомую Сибирь... А мы теперь эту самую реку Яик перепояшем железобетоном, и будет она работать на социализм...

Степан Гаврилович выпрямился, снова принялся протирать пенсне. Худое лицо его с чуть покрасневшими глазами было задумчивым. Напоминание о Сибири воскресило забытые картины ссыльной жизни в Туруханском крае.

Там такие же были просторы и могучая река с прозрачной, почти синей водой. В весенние ночи с лугов, вместе с запахами трав, в маленькое окошко хибарки, в которой он жил, вливалась желая тоска по родине, и сон упорно не приходил. Весной эта тоска почему-то всегда была мучительнее. Думалось, что в родных местах и птицы поют по-другому, и по-иному шумит молодая листва на опушке бора, и девушки целуются жарче. Тогда он был еще молод. Тогда он иногда еще думал и грустил о девичьих поцелуях...

В дощатом помещении бетоноделательного завода, возникшего всего три дня назад, стучат молотки и визжат напильники. Механики и слесаря ставят машины, железнодорожники прокладывают полотно узкоколейки, плотники доканчивают крышу здания. Все помнят свои ороки, все знают: если перехлестнуть их на день, то, значит, окончание отбросить на неделю. Допустить этого ни при каких обстоятельствах нельзя. Сейчас все дело в установке машин, поэтому все зависит от инженера Бобковой и бригадира Митрейкиной с ее бри-

гадой в четыре человека. Шесть человек ведут не одну сотню. Эти шесть, вместе с другими, приехали с Механического вслед за Дородным и уже неделя, как дышат воздухом леденящей степи.

В маленькой комнатке для сменных инженеров при рабочем бараке отдыхала инженер Бобкова. Она лежала на деревянной койке в рабочем костюме. В ее распоряжении для отдыха было два с половиной часа, после полусуточного дежурства. За столом двое пожилых инженеров молча глотали перепревший, коричневый чай. Топилась железная печка столбиком, на которой стоял железяной чайник. Инженер помоложе, до времени облысевший, записывал в потрепанную клеенчатую тетрадь итоги дневных работ. Кончив писать, он посмотрел на раскрасневшееся лицо спящей девушки-инженера, неторопливо закурил, потянулся к печке за чайником и снова направил усталый, рассеянный взгляд на койку.

— Не правда ли — хорошее лицо? Не только красивое, но вообще хорошее. Люблю женские лица. — При последнем слове он слегка, как будто непроизвольно, хихикнул.

Его сосед вопросительно поднял голову и поправил пенсне, ожидая разъяснения. Лысый отпил несколько глотков, поставил стакан и спокойно продолжал:

— Но на стройку допускать женщин я стал бы только после особого отбора. Для специалистов — не угодно ли: чертежная, проектировочное бюро и всякие там лаборатории и аудитории, а для обыкновенных работниц: пожалуйста просеивать песок, щипать паклю и тому подобное... Да, да, Степан Гаврилович! Этого так называемого равноправия я не признаю. Физиологию не изменишь. Дородный в ответ саркастически усмехнулся, вынув изо рта кончик бороды, который до этого времени раздумчиво жевал.

— Вот вам, вероятно, не больше сорока, — начал он. — Вы — мужчина и как будто сильный, а вчера мне жаловались, что страшно устаеете. Что еще таких несколько дней — и вы свалитесь. Но от нее вы этого не услышите. Работа ее захватывает. Она горит на рабо-

те!.. Какое же у вас основание говорить о подобном разделении?

Лысый перевернул свое породистое лицо гримасой сухой усмешки.

— Видите ли, Степан Гаврилович. Между нами говоря, я не очень высококого мнения о женщинах, как об ответственных работниках, в особенности на строительстве. Отдельные из них, — кивнул он в сторону Бобковой, — разумеется, в расчет не принимаются. Есть же люди и о шести пальцах. Это их талант. Но вообще женщинам лучше заниматься другим, что более отвечает их физиологической структуре. Например.. Дородный вскочил, не дав ему договорить. Пенсне спрыгнуло с носа и замоталось на тонкой, задетой за ухо, цепочке.

— Вы — обскурант! — выкрикнул он гневно. — Вам жить следовало бы в восемнадцатом веке, а не теперь, когда строятся вот такие индустриальные гиганты! — Степан Гаврилович торопливо протирает мутневшие без очков глаза. — Не теперь, когда жизнь перестраивается заново! Когда перед нами открываются немислимые ранее просторы! Когда мы... — он вскинул на нос пенсне и остановился: в дверях стояла пожилая женщина в синем рабочем комбинезоне, не решаясь войти в помещение.

— Товарищ Митрейкина! Что ж вы испугались? Входите! У нас ведь это дискуссия, а не ссора, — как ни в чем не бывало, предложил лысый инженер. — Мы прорабатываем некоторые социальные вопросы.

— Да, у нас почти дружеский разговор, — хмуро подтвердил Дородный. — Строго принципиальный. Но подраться не мешало бы...

Бригадир Митрейкина подошла к спящей девушке.

— Нина Алексеевна! Вставайте! Мы кончили!

— Что вы ее будите? Дайте ей выспаться, — недовольно заметил лысый, притворно зевая.

Митрейкина не обратила на него внимания.

— Да проснитесь же! — потрясла она девушку за рукав. — Вот заспалась! Точно мертвая!

Бобкова открыла глаза.

— Что? В чем дело? — приподнялась на локот, обвела непонимающим взглядом комнату.

— Нина Алексеевна! Мы кончили! На час раньше, чем думали... Никак вас не добудишься...

Девушка быстро спустила с кровати ноги, поправила волосы и, заметив наблюдающего за ней лысого инженера, сконфузилась.

— Значит, все закончили, Елена Андреевна?

— Все.

— Хорошо. Сейчас иду. — Она встала, по-женски привела в порядок свой костюм и повернула голову к Дородному.

— Степан Гаврилович! Который теперь час?.. Спала я, как убитая. А вот, должно быть, когда она стала меня будить, тут я увидела очень любопытный сон.

Нина Алексеевна, смеясь, начала торопливо рассказывать.

— Замечательно, — похвалил Дородный. — Я тоже сейчас завалюсь. Часика три так дерну, что вся усталость за сто километров убежит.

— Товарищ Бобкова! Выпейте стакан крепкого чая, это укрепляет и освежает, — крикнул лысый инженер уходящей девушке. Но та не отозвалась, хлопнув дверью. Он повернулся к Дородному: — Хорошее и красивое лицо у нее. Внутренне красиво. Будет она отличной матерью... Ну, а шестипалые люди все-таки редкое явление...

Степан Гаврилович, ничего не ответив, с наслаждением вытянулся на только-что освободившейся койке. Через минуту он уже храпел...

II

Осенний воздух пронизан знобящей сыростью, будто разбрызган жидкий молочный кисель. Мокры одежда и лица. Ноги вязнут или расплзаются.

По длиннейшей деревянной эстакаде с грохотом проносятся железные тележки-стерлинги с бетоном. За каждой из них — два бегущих, полусогнутых существа, четыре напряженно вытянутых

руки. Густая масса с мягким шумом падает в пустоту воронок, чтобы где-то внизу плотно внедриться в плетение арматуры — крепкие железные мускулы вечного сооружения. Тяжело ухают копры над частоколом шпунта. Шупают вокруг себя гигантской лопатой подъемные краны, выползают из канав, из котлованов тачки с землей и полужидкой глиной. В слякотной, студенистой мути, в хаосе дерева и железа, развороченного грунта движутся сотни людей, грохочут десятки машин.

Прораб левого берега, инженер Бронштейн, маленький, подвижной еврей, с черным комочком бороды, с молодым, задорным голосом, без-устали носится по своему участку. Кто-то называл его «аккумулятор» за его необычайную энергию. И это ласково брошенное слово крепко прицепилось к нему. Он поминутно сыплет перед ударниками шутки и остроты, и сам же первый смеется на них.

Бронштейн сейчас у арматурщиков, ведет деловую речь с техником. Речь пересыпается цифрами погониметров, тонн, часов. Проворная правая рука поспевает попробовать устойчивость проволочной сетки, попутно постучать рядом по опалубке и фигурным жестом подчеркнуть брошенное замечание. И вдруг, неожиданно, тем же задорным голосом он выпалит забавную скороговорку или расскажет смешной анекдот.

Уставшие лица рабочих тотчас же прояснятся в улыбку. Кто-нибудь в тон ответит. Волна здорового смеха встряхнет напряженные тела, разгоняя утомление. Вслед ему рабочие ласково бросают:

— Вот чудило-мученик! Вечно с побасенками. И никогда не устанет. Настоящий аккумулятор!

— А зато как знает дело! И все видит, везде поспевает сунуть свой нос.

— О-о! Дело он знает крепко! Что по земляной, что по плотничьей, что по бетону. Настоящий профессор!

А Бронштейн вынырнул уже в другом месте.

— Здорово, товарищ Митрейкина! Ловко это у вас под песни работа идет!

Страсть люблю веселых людей! Веселый человек два века живет.

Женщина-бригадир смущается. Она, прильнув с электрической дрезью к машине, негромко бунчала песню, выражая в ней свое приподнятое настроение. Последние три дня работа под руками у нее спорилась, внутри все ликовало — исполнялось ее женское, заветное. Но неожиданный оклик молодого прораба смутил, заставив смолкнуть и покраснеть.

Инженер дружески похлопал ее по плечу:

— Напрасно вы, товарищ, начальства пугаетесь. Веселый рабочий для прораба — клад. Честное слово! Он в своем усердии может гору своротить. Вот я вам расскажу: жил у нас в Одессе в старое время подрядчик-штукатур. Во! Какой мужчинеце! Калужанин. Услыхал он раз на работе, его штукатуры поют песню. А песня — нудная, ленивая, — «Лучинушка». Когда-то вытянут слово, когда-то подбросят в такт ему со своего «сокола» жидкую штукатурку, — тоска, а не работа. Он и говорит им: «Эх, ребята! И люблю же я, когда вы поете! Прибавлю вам жалованья по двупривенному в день, только пойте всегда мою любимую: «Ах, вы, сени, мои сени!...»

Женщина-бригадир смотрит смущенно и непонимающе. Рабочие рядом хохочут. Бронштейн сейчас же поясняет:

— Ведь вдвое больше стали делать после этого его штукатуры. Руки едва поспевают подбрасывать: «Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои!...» Умный мужик был. Ну, а вы, я думаю, и без всякой песни сумеете к завтрашнему дню закончить. Обязательно, товарищ Митрейкина! Лопните по всем швам, но сделайте!..

Прораб торопливым шагом устремляется к шпунтовщикам, где возвышается худая, костлявая фигура инженера Дородного.

Елена Андреевна вновь нажимает на сверло, и опять разливается в ней то же ликование. Какая радость — она будет матерью!..

Прораб правого берега, инженер Струков, сидит в «полевой» конторке и ведет подсчет. Он не спал, как и Бронштейн,

восемнадцать часов, и, вероятно, часа два еще придется просидеть. Несколько месяцев назад он был полным и тяжелым на ногу, но сейчас — это жердь. Сапоги у него до колен в грязи, руки поцарапаны и распухли от холода и воды, — ходит он без перчаток.

Струков, так же, как и Бронштейн, пользуется большой популярностью у рабочих, потому что умеет не только хорошо распоряжаться и все разъяснять, но и отлично справляться со всякой физической работой. Может быть механиком, слесарем, плотником, землекопом. В этом все убедились. В нужную минуту он сколько раз молчаливо брался за тот или иной инструмент и работал не хуже любого специалиста.

Перед Струковым на столе лежат листы графиков. У него точность — прежде всего. Все размерено, все подсчитано. День разложен по часам и минутам. Энергия и напряжение нескольких сотен людей, которыми он руководит, втиснуты в клеточки графика: в такой-то срок столько-то сделано земельно-скальной выемки, столько забито шпунта, поставлено арматуры и опалубки...

Левый берег вызвал правый на соревнование. Правый принял этот вызов.

Кто будет первым?

Кто раньше придет к финишу, на средину реки — стыку двух участков, где заманчиво развешается красное знамя?

Кому оно достанется — правому берегу или левому?

Мистер Чарли, американский журналист, уже не один раз фотографировал это знамя, как не единожды снимал и обоих прорабов — полководцев двух армий. Сейчас американец находится в правобережном штабе — в полевой конторке у инженера Струкова, рассматривает листы графиков и подсчитывает колонки цифр.

Когда он ходит по левой половине реки и разговаривает с Бронштейном, то его симпатии склоняются к нему. Ему страстно хочется, чтобы победили «левые».

Теперь же он всецело на стороне правых и готов всячески им помогать.

— Землекопы, товарищ Струков, у вас — стальные люди, — высказывает

восхищенно мистер Чарли. — А шпунтовщики... Честное слово, им нет соперников! Ваши рабочие, ваш молодежь — семьдесят процент на красной доске!

— Да, да. Хорошо работают, — отзывается прораб, не оборачиваясь. Ему приятна похвала американца. Он верит, что у него вырвалось вполне искренно, но распространяться сейчас об этом нет времени. Конечно, землекопы у него — богатыри. Они работают по пояс в воде, добываясь до гранита, на который должны лечь основания бычков для будущей плотины. Конечно, его шпунтовщики выше всяких похвал. Так же великолепно работают арматурщики, плотники, бетонщики. Но не хуже работа идет и на другой половине реки, у Бронштейна...

Струков, отодвинув бумаги в сторону, поднимается.

— Не хотите ли, мистер Чарли, пройти по участку? Я иду на бетонный завод. — Он оборачивается к технику: — Если будут звонить, — начальник котловины или из управления, — вызовите меня...

С берега, от конторки открывается вид на обнаженное русло реки, взрытое канавами и ямами, ошетилившееся лесом столбов, железными шеями землечерпалок и паровых копров. Все кипит, движется машинной и человеческой силой. А дальше, у подножья горы, раскинулись бесчисленные сооружения будущего завода...

III

Со степи третий день дуют жестокие, ледяные ветры. Испуганным овечьим стадом мечутся облака. Земля заскорузла и под ногами хрустит. Иногда из-под ледяной корки выдавливается липкая жижа, охватывая сапог до вершочки голенища.

Но пульс стройки все такой же лихорадочный. Сердце строительного организма напряжено до предельной черты.

Инженер Дородный почти двое суток не был у себя на квартире и совсем не отдыхал, если не считать получасового сиденья за обедом или чаем. Но в иные минуты ему думается, что он не ложил-

ся в постель уже несколько лет, и мучительно хотелось брякнуться тут же у копра на доски или на мерзлую землю, — все равно, — и утонуть в небитии... «Хоть бы часа два-три полежать. Даже час или несколько минут, и тогда голова сразу бы облегчилась, ноги и руки посвежели» — думал он, с усиленным стращивая с себя дремоту.

От эстакады идет крепкая мужиковатая фигура в рыжей меховой куртке, туго стянутой ремнем. Это — начальник строительства всей плотины, инженер Петров. Ему подчинены оба берега, все две тысячи человек, штурмующих приросту.

Петров ночь и утро провел на посту и дорабатывает двадцатый час, но на сухом, обветренном лице не видно следов усталости, только немного пожухли глаза. Неторопливым, спокойным шагом приближается он к шпунтовщикам. Задержался у крайнего копра, что-то говорит бригадиру. Речь, обычно, спокойная, веская и скупая. В ней — непоколебимая уверенность и напор. Это хорошо знакомо Дородному.

— Степан Гаврилович, как у вас дело? — Петров смотрит исподлобья чуть прищуренными глазами.

Дородный докладывает о ходе работ за последнюю смену. Начальник, скользя острым, колющим взглядом по машинам, по людям, что-то неопределенно мычит, не то одобряя, не то выражая порицание.

«Удивительный человек! Хоть что-нибудь ответил бы, — неприязненно думает Дородный. — Мы забили сорок шесть погонных метров, тогда как другие за это же время сделали только двадцать».

— Так... Это хорошо, — наконец произносит Петров, поднимая взгляд на инженера. — Это хорошо. Так и дальше нужно. — Он равнодушно повертывает в сторону плотников.

Дородный с полминуты смотрит на его покатую, в бараньей куртке, спину и с тем же серьезным, сосредоточенным лицом принимается за свою работу. Ни утомления, ни тяжести, — будто недавно поднялся с постели...

Прораб левого берега, инженер Бронштейн, за последние дни давал двести пятьдесят кубометров бетона за смену вместо планированных ста сорока. Брызжащая жизненная сила у него поиссаяла, меньше стал шутить, если смеялся, то смех был суше, и голос менее звонок. Сталкиваясь с Дородным, он выжимал на поблекшем лице улыбку, мимоходом бросал:

— Держитесь, товарищ?

— Ничего. Еще крепко чувствую себя. Вот кончим — тогда отдохнем. Немного уже осталось, — отвечал тот.

— Не работа, а вихрь, честное слово! Интересно! — Бронштейн устремлялся дальше.

Комсомолец одной из бригад заявил Бронштейну:

— Товарищ прораб, я вношу предложение открыть фонд имени Октября семнадцатого года.

— Ну, ну... Очень хорошо! — вспыхнул инженер. — Какой фонд? В чем он будет выражаться?

— Наша ударная бригада бетонщиков делает одну арку сверх плана бесплатно, — отчеканил ударник.

— Великолестно! Это по-комсомольски! Поздравляю, товарищи, с замечательной идеей!

Другая бригада, из степенных, пожилых людей, тут же подхватила призыв:

— Мы тоже арку сверх плана!..

Во время смены землекопы в бараке вывесили:

«Мы прокладываем бесплатно полтора километра железнодорожной ветки. Призываем товарищей последовать нашему примеру!..»

По ночам электрические прожекторы бросали на стройку потоки ярчайшего света. Тысячи больших и малых ламп освещали каждый квадратный метр, каждую строительную деталь. Со щитов, со столбов, с обшивок кричали — одинаково днем и ночью — плакаты, воззвания, лозунги и показатели работ. На середине широкого русла, прикрытое сверху от непогод, развевалось днем и ночью заветное знамя.

Инженер Дородный, как и две тысячи других — рабочих, инженеров и тех-

ников, — взглядывая на него, часто думал:

«Кому достанется? Правому или левому берегу?»

Ему, так же, как и всем другим, страстно, непонятно страстно хотелось, чтобы досталось им, левым...

В последний день он пришел на плотину после обеда. Арки посредине почти смыкались. Копры уже не ухали. Экскаваторы, казалось, лениво, не по-обычному, спускали в речное ложе свои стальные ковши. Сотни людей неторопливо занимались уборкой ненужного строительного материала и разных отбросов и так же неторопливо уходили кверху, на берега, переполненные грузовики. Только с прежним грохотом бегали по эстакаде люди со стерлингами, и устремлялась с вышек, мягко шурша, бетонная масса.

Прораб, инженер Бронштейн, схватил Дородного за плечо. Взволнованное лицо его было в красных пятнах:

— Если в последние часы ребята не подкачают, то мы придем первыми. — В углах сухих губ его мелькнула улыбка и сейчас же сдернулась болезненной гримасой. — Что-то с подъемником не складно идет, не испортилось ли что? Может быть, вы посмотрите?

Дородный метнулся к подъемнику, подававшему бетон на вышку.

Инженеры правого берега находились тут же, у своих арок. В эти последние часы группы людей, работающие и наблюдающие, правого и левого берегов, соревновались за первенство, за честь и славу.

Заливались бычки последних арок. Пасти бункеров едва поспевали глотать бетонную массу. Волнение людей возрастало. Сблизившиеся группы бросали непримиримые взгляды в сторону друг друга.

Знамя мирно и маняще развевалось.

— Мы первые! — выкрикнул радостно Бронштейн, когда одна из его бригад принялась за последний кубометр бетона.

Лицо молодого инженера было бледным и непривычно дергалось. Он закричал мальчишеским, срывающимся голосом:

— Мы первые! Поздравляю с победой! — Прораб вдруг сорвал с себя шапку и подбросил ее кверху. — Мы — первые-е!..

Левый берег закончил свою сторону на двадцать минут раньше правого.

Почетная награда — кавалерийское знамя — принадлежит ему...

В этот вечер инженер Дородный пережил радостное, давно небывалое состояние и проспал молодым, здоровым сном почти целые сутки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Над комсомольской домной высоко поднимается деревянная мачта с натянутыми, как струны, стальными тросами. По этим струнам-тросам кверху ползут четырехметровые, в тонну с четвертью весом, листы котельного железа, кажущиеся шоколадными плитками. Десятки такелажников — почти все комсомольская молодежь — орудут над созданием исполинского тела доменной печи. Звенит и стонет железо.

Клепальщики идут за такелажниками по пятам, рассеивая всплесками пулеметную дробь пневматиков. Их — двенадцать бригад, по три человека в каждой. Всеми ими руководит старший бригадир, Андрей Коренев, два месяца назад откомандированный сюда с Механического.

Сверху кажется, что степь придвинулась плотную и продолжает двигаться, напирает, будто хочет опрокинуть хитроумные человеческие сооружения. Если посмотреть на облачное небо, то представляется, что домна несется в воздушном пространстве, не касаясь земли. Вот-вот споткнется и, распластавшись, похоронит под собою сотни облепивших ее людей.

Андрею Кореневу степь сверху напоминает иногда море в штиль — те же туманные голубоватые дали и необозримый простор с робкой полоской горизонта. Хорошо бы пуститься по нем в далекое кругосветное плаванье...

Сейчас старший бригадир на минуту останавливается, засмотревшись на пла-

вающего в небе ястреба. Парит он настолько близко, что в него можно запустить куском железа. Корнев с мальчишеским озорством делает в его сторону взмах рукой. Ястреб по широкой спирали спокойно взмывает выше и там с гордым равнодушием продолжает свой круг.

— Вот мерзавец! Ноль внимания к человеку. Хоть бы что... — Корнев подходит к передней бригаде.

Клепальщик, молодой башкирин Мухаметов, в потоке звуков и сосредоточенности, не слышит окружающего. На две минуты мир от него выключен. Плечи и руки вместе с пневматиком ходят в судорожной пляске, но большая квадратная голова на короткой шее не дрогнет, точно прикована взглядом к черной строчке заклепок.

Старший бригадир, глядя на него, удовлетворенно думает:

«За каких-нибудь три недели успел овладеть всей премудростью. Из парня толк выйдет».

Ему приятно: Мухаметов, его ученик, в прошлом — пастух. Таких у Корнева восемь человек, обученных им со дня приезда сюда. Все работают неплохо...

Пулеметная дробь смолкает. Башкирин оборачивается, и на скуластом оспенном лице появляется скупая улыбка.

— Здравствуй, начальник! Смотри, как делаем! — Он показывает на ровную стезжку выпуклых точек. — Якши?

— Якши! — одобряет бригадир. — Ну-ка, дай мне.

Мухаметов уступает аппарат и место и, выпрямив спину, оглаживает бритый подбородок, начиная с бесцветных усов и кончая у горла.

Пневматик застрочил. Ученик внимательно следит за работой учителя, пытаясь уловить малейшие движения инструментом.

— Ну вот, таким манером и дуй, — говорит тот, снимая молоток с готовой заклепки. — Еще недельку-другую — и меня перегонишь. Вали!..

Клепальщик, польщенный, вытягивает в улыбке тонкие губы с жидкими метелками усов и щурит косые разрезы глаз.

— Шибко хорошо делаешь. Будем стараться.

— Смотри, чтобы только брака не было. Шибко ругаться буду, и шибко нам с тобой попадет от большого начальства. Обоим шеи намылят, — предупреждает шуточно Корнев.

Мухаметов обижен. Беря инструмент, он недовольно ворчит:

— Брак делать нельзя. Брак — худо. Плохой мастер. Мы должны работать хорошо, чтобы ладно было.

Снова рассыпается звонкая, захлебывающаяся дробь под руками молодого башкирина. В отверстиях железного, двадцатидвухмиллиметровой толщины листа с секундной точностью появляются одна за другой красные точки, чтобы тотчас же застыть на вечные времена черным холмиком.

Корнев думает о Мухаметове. Меньше года назад в такой же степи башкирин пас табуны кобылиц и на самодельной деревянной дудке-курае играл заунывные башкирские песни, а приехав сюда, за несколько месяцев одолел ликбез и на-днях поступает на курсы: хочет быть техником... «Вот так же и Нина Бобкова, и многие другие... Так же и я... Удивительно!..»

Согнав с лица улыбку, старший бригадир окинул привычным, деловым взглядом окружающее, потом, поднявшись по стремянке на верхний ярус, сделал ловкий, сильный прыжок, как прыгают большие эластичные звери, и очутился посредине дощатого настила. Небо здесь казалось совсем рядом. Его было невероятно много — мутносерого, плотного, подавляющего размерами и тяжестью. Ветер дул, казалось, со всех четырех сторон. Холод приковывал руки к железу.

Такеалажники уверенно орудовали огромными железными пряниками. Устанавливали их, скрепляли, не обращая внимания на гуляющий ветер, на гудение железа, на неустойчивое, плывущее небо.

Корнев обошел кругом площадку и у лестницы столкнулся с поднявшимся вслед за ним мистером Чарли.

— Товарищ, вы... вы — техник?

— Нет. Я бригадир по клепке.

— Ага! Оч'ень хорошо.

Американец вынул из футляра маленький щейсовский бинокль и направил его на туманный гряды хребта, протянувшегося вдоль стены. Рассматривал долго, внимательно и потом перевел взгляд в другую сторону — на Казачью гору. У ее подножья и на склонах виднелись различные сооружения. Несколько ближе расположился поселок горняков, а еще ближе шли цехи, покамест только их основания, только строительные леса, или песчаные насыпи и котлованы, — цех механический, прокатный, мартеновский, литейный.

Взгляд мистера Чарли снова устремился на степь и на зубчатый дымный краж горного хребта, похожий на застывшую полосу ленивого вечернего облака.

— Азия умерла, — начал он тихо и задумчиво, будто самому себе, не отрывая бинокля от глаз. — Азия умерла, родится Европа. — Он некоторое время помолчал, шаря окулярами по высохшему ковьялу пустыни, по сыпучим рыжим пескам и обернулся к бригадирю. — Скоро умрет рабство и капитализм. Скоро вся Европа будет один совет. Будет социализм... Вы знаете, что такой социализм? — И, не дожидаясь ответа, пояснил: — Социализм — это, когда черный и белый человек братски протянут друг другу руки, когда не будет эксплуатации, и все будут кушают хлеб, масло, не умирают с голоду. Когда машина будет другом человека...

Мистер Чарли медленной, словно торжественной, поступью направился к избу.

Оставшись один, Коренев стал размышлять над словами американца, повторяя их вслух:

— «Азия умерла... Скоро умрет рабство и капитализм... Когда же это будет? Сколько времени еще осталось ждать?..»

Он посмотрел в сторону реки, где вдалеке виднелась полоска плотины, вытянувшаяся узким зубчатым кружевом. На ней люди показали величайшие свои доблести, в то время как на других участках в большинстве происходило иное. Вспомнились заголовки ежедневных заметок и статей местной газеты,

обличавшей лентяев, головоотяпов и рвачей.

«Нет! Азия еще не умерла. Наряду с героизмом, самоотверженностью и величайшим взлетом еще уживаются тупоумие, невежество и звериная злобность потревоженного собственника...»

Внизу, на шахтном дворе, Коренев снова встретился с мистером Чарли, разговаривавшим с электриком Маней Дроздовой. Девушка была в синем спецкостюме и вязаной шапочке, из-под которой выбивалась прядь светлорусых волос. На красивом лице ее чередовались усиленное внимание и приятная, почти детская улыбка. Мистер Чарли стоял возле нее, возбужденно жестикулируя. До Коренева донеслось преувеличенно восхищенное:

— Русский женщина — великолетна. Она строит заводы, строит социализм... Вы, Манья Дроздова, замечательный девушка! Вы мне очень нравитесь. — Он понизил голос: — В Америке я много буду думать о вас и скучать...

Американец, увидав подходящего бригадира, резко оборвал разговор. Во взгляде появилась другое.

— Товарищ! Я вот сейчас думаю: будут ли при социализме женщины носить изумруды?

Коренев поднял голову, переключая мысль на заданный вопрос, ничуть ему не удивляясь, и тут же убежденно ответил:

— Будут...

II

Двадцать девятый барак, населенный строителями доменного цеха, был самым музыкальным общежитием из всей площадки. Здесь нередко происходили настоящие «бои» доморощенных мастеров искусства.

Особой популярностью пользовались двое: виртуоз на венской гармонике, двадцатилетний бетонщик Гриша, и кураист-башкирине Мухаметов.

В продолжение нескольких месяцев, с момента появления в бараке, они соревновались между собою с переменным успехом. Гриша показывал на своем инструменте чудеса техники, приводя слу-

шателей в восторг. Но Мухаметов брал другим — бил на чувствительность, вызывая вздохи и слезы, переворты своей игрой все шутро слушателей. Тот и другой имели своих приверженцев, готовых защищать их всеми способами.

На этот раз «бой» начался после второй смены. Гармонист достал из сундука «венку», вскинул на плечо ремень и, как всегда при начале, артистически прошелся пальцами по обоим рядам. Гармонь заговорила знакомым, волнующим языком. Вокруг гармониста стали образовываться группы, рассаживаясь на ближайшие койки.

— Это — резон! Послушаем сейчас! Ты что-нибудь только поядрени. Нашу тамбовскую, что ли. Разливистую.

— Правильно-о!

— Гриша! Перейдем лучше в «красный», — тесно здесь, да и чего зря постели мять?..

— И то дело! Вали, ребята! Движай!..

В красном уголке скопилось уже не один десяток людей, в большинстве молодежь. Гармонь разливала звенящие голоса в веселом, подмывающем ритме. Кое-кто подпевал, некоторые притопывали. С пожилых лиц сошли утомление и тягота.

— У ну-ка, где Мухаметов? — послышался со стороны задорный голос.

Несколько человек подхватили:

— Давай сюда Мухаметова!

— Башкирию веди. Гришка кроет, почем зря. Мочи нет.

Файзула Мухаметов поднялся с чьей-то койки и застенчиво подошел к кричащей группе.

— Ага! Вот он здесь. Явился.

— А ну, Файзула, покажи свою музыку! Смотри, он какую симфонию задает? Разве можно терпеть?

— Мой сегодня много работал. Устал. Отдыхать надо, — помотал Мухаметов головой.

— Да ведь мы тебя не работать заставляем. Все мы устали. Гришка тоже не вола вертел... Давай, вынимай свою свистулю!

Толпа разделилась. Одна половина продолжала слушать гармониста, другая всячески подуживала башкирина, —

это были его поклонники. Тот, наконец, сдался, вытянул из внутреннего кармана куртки самодельную тростниковую дудку и нерешительно поглядел на окружающих.

— Вали! Чего же ты?.. Тише вы! Дайте Файзуле!

Гармонист не прекращал игры. Его мелодии с кокетливыми музыкальными украшениями сменяли одна другую, наполняя веселыми звуками пространство «уголка».

Файзула, отойдя в сторону, где поменьше было людей, поднес к губам свой нехитрый инструмент, изобретенный его предками, вероятно, не одну тысячу лет назад. Грудь его расширилась, лицо напряглось, в полуоткрытом рту затрепетал кончик языка, — звук, слегка окрашенный своеобразной хрипотцой, очарованием полился по бараку. Десятки голов повернулись в его сторону.

Гармонист, сделав еще несколько переборов, смолк. Он знал: надо выждать. Играть дальше невыгодно, — большинство слушателей сейчас не на его стороне.

Толпа росла. Круг возле кураиста увеличивался. Стояли тихо, не выражая похвал. Лица грустили вместе с незнакомой песней, рожденной в степном приюльи. Голова музыканта-кураиста то откидывалась назад, то слегка склонялась. Прыгали по стволу загрубелые пальцы, над певучим звуком лилось что-то не от инструмента, — похожее на шмелиное жужжанье, — и все это вместе создавало своеобразную, ласково-грустящую мелодию.

Файзула не видел окружающего. Через пленку тумана перед ним проходили знакомые просторы степей, звон жаворонков над ласковыми волнами ковыля, задумчивый свист сусликов и несчетные табуны пасущихся коней. Он, Файзула Мухаметов, ветром носился среди них на каурой кобылке по горячим пескам и душистой траве, расширяя ноздри от сладкого, весеннего воздуха. Или лежал он в тени кустарников, смотрел в пустынное небо, похожее на огромное озеро, и неторопливо думал о том, что где-то далеко есть большие, красивые города, в которых живут самые главные комму-

нисты... Вот все большевики говорят, что люди на свете должны быть постоянно сытыми, хорошо одетыми, жить в светлых, просторных домах и все должны обязательно учиться. Но почему же Башар-агай не принял его в школу? Сказал: «Тебе двадцать два года. Поздно...» Разве Файзула виноват, что не мог учиться раньше? Почему дочь Ибрагима Хасана, красивая Сула, заявила, что в жены к нему не пойдет: он пастух, плохо одевается, и у него маленькая изба...

Файзула играл, не видя окружающего. Перед ним плыли снежные непроходимые сугробы, в которых потонула его бедная деревенька с крохотными глинобитными избышками. Были метели, гулял жестокий мороз. Ночи тянулись бесконечно. Десять лет назад, морозным утром, двое его сверстников убежали из родительского дома искать свою судьбу. Убежали в лаптях, в рваных чекменках, с сумками за плечами, в которых было только по караваю хлеба.

И судьбу свою они нашли. Теперь один из них в городе Уфе учил парней и девушек разным наукам. А второй строил железнодорожные мосты...

Файзула видел также и тот день, когда он сам оставил родную деревню и большую, рано посевшую мать с двумя сестренками. «Не плачьте, — сказал он им, — и ждите — скоро мы будем жить хорошо. Я тоже хочу быть настоящим человеком...»

Взгляд полузакрытых глаз кураиста безразлично скользил по знакомым лицам, — мысль носилась в другом, в далеком, призрачном мире.

К толпе слушающих осторожно, на носках сапог, приблизился Коренев с секретарем ячейки, случайно проходившие мимо барака. Появилось несколько молодых работниц из соседнего общежития. Так же стали, затаив дыхание.

Большинству, в особенности молодежи, эти мелодии были непонятны, но от них лилось какое-то странное очарование, заставлявшее вместе с музыкантом всех грустить и мечтать о чем-то далеком и малодоступном.

Когда кураист кончил играть и вытирал рукавом конец своей примитивной флейты, гармонист снова растянул было мехи, но стоявший рядом парень приятельски хлопнул его по плечу:

— Заткнись, Гриша. Побереги до завтра. Непривычны мы к этой грусти, а она, черт, крепко хватает.

Коренев подошел к своему ученику.

— Слушай, Файзула. А тебе надо серьезно заняться музыкой. Вот мы сейчас с ним говорили, — показал он на секретаря ячейки. — Два счета тебя устроит к настоящему музыканту. Хочешь?

Мухаметов утомленно и нехотя улыбнулся.

— Нет. Нада сначала уметь клепка. Потом уметь грамота. Потом техника.

— Ну что ж. Одно другому не мешает. Талант зарываться не следует.

Файзула, сделав физиономию виноватой, печально прищелкнул языком:

— Нельзя. Музык учиться нет время. Нада сначала клепка, сначала техника... Пять дел в один день — выйдет плоха.

Коренев знал о его настойчивом желании добиться во что бы то ни стало серьезных технических знаний. Он был уверен: башкирин вытянет. Упорство его невероятно, и способности большие.

— Ну, что ж, тебе с горы виднее. Вали, дуй, учись. Годков через десяток, когда будешь инженером, приду к тебе работать. Примешь, поди?

— Эге! Приходи, — серьезно ответил тот, запикивая дудку в карман. — Тогда будем вместе работать...

Идя из барака к себе домой, Коренев взволнованно думал о поднятых пластах человеческой целины. Припомнились рассказы Мухаметова о башкирской современной молодежи, фанатически рвущейся к культуре.

«Где больше угнетения, там ярче вспыхивают таланты и упорнее стремление к вершинам знания. Это вполне законно, и вместе с тем это чудесно... Как же радостно теперь жить!...»

В двадцать девятом бараке вскоре обнаружили четверых сыпнотифозных

из недавно приехавших с Северного Кавказа. Их немедленно отправили в больницу, остальных же временно перевели в другое помещение. Но наутро, при поголовном осмотре, насчитали еще двенадцать больных.

Это был третий в этом месяце неблагополучный по сыпняку барак.

Среди заболевших оказался также и Файзула Мухаметов. В больнице у Мухаметова температура сразу скакнула к сорока одному. Но осматривавший врач сказал: «Ничего, выживет, — сердце надежное...» и спокойно перешел к следующему больному.

Башкирин все время бредил, выкрикивая отрывистые, несвязные слова на своем родном языке. Бредовые мысли его были направлены к деревне, к семье, к лошадиным табунам. Когда же наступали минуты сознания, он внимательно оглядывал окружающее и осторожно подзывал дежурную сестру.

— Сестрица. Мы скоро будем здоров, выписывать надо: дела много. Работать, учиться. Мы много надо работать и учиться... — Он тянул носом, широким, приплюснутым монгольским носом, суживая и без того узкие щели глаз. — Лекарство шибко пахнет. Мы хотим больше лекарства, чтобы скорей быть здоров...

Ему сообщили, что в больницу приходил справляться о нем Андрей Коренев. Глаза башкирина блеснули радостью, вспыхнула улыбка. Может быть, он мысленно послал своему учителю благодарность, представляя себе его большую фигуру и густой, крепко внедряющийся голос...

Бригадир-башкирин Файзула Мухаметов, двадцати пяти лет, умер холодным осенним вечером. Умер, не ощущая дыхания смерти, не чувствуя болезненного состояния: разгоряченный мозг его рисовал пред ним какие-то яркие бредовые видения. Подошедшая сестра уловила только конец фразы, в которой несколько раз повторялось, звучащее по-птичьи, незнакомое ей слово: «Курай». Распаленная рука в это время ищуще шарила по одеялу...

III

Вечером налетел внезапным шквалом снежный буран, заполнив крутящейся, воюющей стихией все окружающее пространство. Пропали людские сооружения, исчезли небо и земля. Казалось, все стерто с земного лика. Казалось, одинокий, брошенный человек делает свой последний, отчаянный шаг.

А через час — мир предстал первоизданым.

Со степи еще дул порывами морозный ветер, но дали были уже прозрачны, и небо усеяно звездами. Вокруг лежали белые безмолвные просторы. Все было иным, не похожим на прежнее. Даже сама ночь чудилась более емкой и менее таинственной.

Коренев шагал устало, подавленный тяжестью, которую навалили на него в больнице. Слова, сказанные ясно и просто: «Умер два часа назад от тифа», не вмещались в сознание.

«Не может этого быть! Такие, как Файзула, не умирают так просто, глупо... Нет!..» — взволнованно вертелось у него в мозгу, заслоняя все остальное.

Снежное шоссе расплывалось в голубоватом, тяжелом сумраке, поблескивавшем точками огней. Справа, от кинотеатра, двигались людские силуэты. Проехал на машине, обдав снегом, начальник строительства.

Коренев ко всему окружающему был равнодушен. Надвигалась ледяной глыбой одиночество... Ночь. Снежное шоссе. Мелькающие человеческие тени...

«Смерть от укуса вши... Хм... Как же это нелепо! Возмутительно глупо!»

Память подсунила новые факты. На строительстве часть людей все еще продолжала жить в плохих, тесных бараках; временами еще чувствовался недостаток в спецодежде и продовольствии; нередко вспыхивали эпидемии. Все это сейчас с преувеличенной яркостью развернулось перед ним и грозно потребовало ответа: как он, Коренев, смотрит на это? Каково его отношение к действительности?

Над самым ухом неожиданно завывала автомобильная сирена, заставив испу-

ганно метнуться в сторону. В машине мелькнули лица иностранцев. Поднятый морозный воздух обжег щеки и лоб. Коренев посмотрел ей вслед, и от новой сверкнувшей мысли сразу сделалось стыдно до дрожи.

При мысли, что эту минутную слабость и сомнения мог прочесть в нем кто-либо посторонний, его бросило в жар. Хорошо, что все это осталось скрытым под черепной коробкой...

Спустя полчаса Коренев стоял на том месте верхней площадки комсомольской домны, которое три дня назад оставил Файзула Мухаметов. Ветер здесь дул, как почти всегда, со всех сторон, низко висело ночное небо, и железо кожуха

дышало ледяным зноем. Но он не замечал этого. Руки крепко сжимали ручку аппарата, сеющего звонкую металлическую дробь.

Клепку нужно было во что бы то ни стало закончить к сроку. Об этом старший бригадир и думал.

Думал он еще и о другом:

«... Мы должны поднять всю нашу молодежь. Это—позор. Так дальше не может продолжаться. Надо создать молодежные санитарные отряды. Создать в каждом поселке ячейки для борьбы за чистоту, за здоровье рабочего, за внедрение культуры в повседневный быт. Без этого — грош нам цена...»

(Продолжение следует)

Песня о нефти

НИК. АСЕЕВ

Мне песню о нефти писать пора.

Но ей

уместиться негде,

Текущей сейчас с моего пера

По белой бумаге нефти.

Бумага жеманится и форсит,

Сжимается в трубку,

корчится:

— Вот если бы он писал на фарси!

А это —

какое же творчество?

Бумажным капризам

нельзя потакать,

И я ей

голосом грубым:

— Ты в трубку свернулась?

Ну что ж! Протекать

Привычно нефти — по трубам!

Быть может, и я уж

не очень-то прав, —

Ташу ее сразу на вышки.

Ведь надо ж принять во внимание

нрав,

Утонченность,

оклонность ко вспышке!

И вот начинаю

с другого конца

Над ней

нагибаться и кланяться,

Чтоб

не исказить ей наспех лица,

Чтоб не потревожить глянца.

По рукоятку

меч засадив,

Сражались с дивами ханы —

И белый див,

и черный див

Падали

бездыханны.

Сшибались люди с земной корою,

У рек — отбивали мели,

Один за другим выходил

герой,

И песни о них премели.

Себя завлекать

не стоит труда

В преданий

дебри густые,

Но кажется:

белым дивом

вода

Была,

а черным —

пустыня.

Здесь каждый до песен

горазд и охоч.

Спроси,

попробуй, любого, —

Любому знакомы:

«Безумный и ночь»

И строки

«Сына Слепого»,

Верблюды,

туш волоча вороха,

Тащились,

как тучи, тихо

Сюда по серой коре Сурахан,

По грязи скользящей Зыха,

Здесь песни, как ленты

от свадьбы, легли —

То шелком, то бисером нежным,

То строчка откуда-то

из «Кюроглы»,

То

рифма из

«Лейли и Меджнум».

Огнепоклонники

шли на поклон,

На вечное пламя

храма.

Их ветры сушили, их солнце пекло,

Но шли, нагибаясь, упрямо.

И вот

после летней сухой маяты

Крестьяне, сойдясь на досуге,
 Внимательно
 слушают балты,
 Что сазой
 сдобряют ашуги:
 «Здесь странник жил,
 и память его
 Прошла на многие мили,
 И небо ржало,
 как конь боевой,
 Когда его хоронили».
 Но где же слово
 о наших днях?
 Где песни
 черная грива?
 Мы сотни мечей
 всадили до дна,
 До сердца Черного Дива!
 Верблюдов мы научили
 летать,
 Где свод небесный
 соржавлен,
 Где зноем
 пустыня была налита, —
 Конем небеса заржали.
 Мы не безумцы
 и не слепцы,
 И песня гремит
 не впустую, —
 Мы нефть отпускаем
 во все концы,
 Горючую и густую.
 Как будто
 прозой разит от нее,
 Никак нестроишь розы...
 Фантазии под этой струей
 Не взять — ни малейшей дозы.
 Здесь пахнет бензин
 и олеонафт,
 Темнеет и липнет
 бумага,
 Так что же нам делать,
 коли она
 Нужней нам,
 чем зелень и влага?!
 Цистерна к цистерне
 везут и везут
 Стотысячетонные грузы:
 Машинное масло,
 зеленый мазут
 По всем закоулкам Союза,
 Она заставляет ходить шатуны,
 Вращает станки и турбины,

Она оживляет
 все силы страны,
 Все поры ее
 и глубины.
 И вот мы бурим и бурим, и бурим
 Упорно и неустанно.
 И, нашу энергию покатым,
 Влетает поток
 Лок-Ботана.
 Дай время! Еще мы напишем стихи
 Получше,
 чем слушали ханы.
 Мы нефть перегоним еще на духи,
 Чтоб стала
 благоуханной!
 Цистерна к цистерне
 везут и везут
 Стотысячетонные грузы:
 Машинное масло,
 зеленый мазут
 По всем уголкам Союза.
 Здесь прошелестели
 отрепья веков,
 И песня о них —
 обычай,
 Но первая эта —
 про нефтяников,
 Дерущихся
 за добычу.
 Попробуй
 сделать кто,
 повтори,
 Что сделано нашей порою, —
 Так разве же это —
 не богатыри?
 Не подлинные герои?
 Поэтому —
 так начинаю и сам —
 Давайте за вышки держаться,
 Чтоб нефть прокатилась
 по всем голосам,
 Товарищей азербайджанцев.
 Верблюдов мы научили летать!
 Турбин оживили улитки,
 Чтоб всем, —
 кому жизнь была маята, —
 Блеснули зубы в улыбке.
 Пускай ее дальше и дальше везут,
 Чтоб каждая хата и сакля,
 Где был человек
 и раздет и разут,
 Духами и песней
 пропахла!

Джюль-Барс

Киноповесть

ЭЛЬ-РЕГИСТАН

I

Подножьем Смерти в недавнем прошлом назывались эти места, что лежат на стыке великих путей на Афганистан, Индию и Китай. Здесь среди вечных снегов и голубых ледников, рождаются реки, вспоившие целые поколения человечества. Суровая природа запирает эту страну зимой на глухие замки. Глубокие снега, наглухо закрыв перевалы, прекращают всякое движение по шатким тропинкам, нависшим над пропастями, в которых с рычаньем диких зверей бьются о каменные утесы быстрые реки, скатывающиеся с крыши мира — Памира. Редкие селенья восемь месяцев в году здесь отрезаны от всего мира. Прилепившись к каменной груди одного из высочайших хребтов, под тяжелым снежным покровом замирают миниатюрные клочки пашен в несколько десятков метров. Здесь еле вызревает ячмень. В долгие зимние месяцы, когда леденящий ветер с шакальим визгом носится по ущельям, вздымая бураны, люди питаются здесь вязким толлоком из сушеных тутовых ягод.

В короткие летние месяцы, когда открявываются перевалы, люди шагают здесь, держась за хвосты ишаков и яков¹⁾, осторожно перебирающих копытами по невероятно узеньким, выбитым по краям обледенелых хребтов, тропинкам и балконам. Медленно идут пешехо-

ды с привьюченным к спине грузом, прижимаясь к каменистым стенам оврингов. Редкие селения с домами, сложенными из дикого, неотесанного камня, только летом начинают свою суровую, полную лишений жизнь...

В одном из таких селений этого далекого горного края, на крыше такого жилища спит Джюль-барс. Из дыры, заменяющей дымоход, несет приятным домашним теплом, и Джюль-барс спит сладко, вбирая в себя знакомые, родные запахи. Его крутая и крупная голова удобно покоится на могучих вытянутых лапах, и ласковый весенний ветерок шевелит шерстинки на его спине. Он очень худ, Джюль-барс. Ребра вырисовываются на его впалых боках, покрытых бурой есклокоченной шерстью; и, если б не знать, что это — собака, можно было б подумать, что на крышу жилища забрался громадный волк и дремлет там беззаботно под весенними лучами солнца.

Спит Джюль-барс и видит собачьи сны. Видит своего хозяина, охотника-памирца Шо-Мурада. Старик, одетый в широченную мягкую обувь с загнутыми носами, в высоких чулках из цветной шерсти, карабкается по скалам крыши мира. Впереди Шо-Мурада Джюль-барс. Он нетерпеливо оглядывается на хозяина и машет пушистым хвостом: «Скорей!»

Верный друг и постоянный спутник охотничьих экспедиций Шо-Мурада, он дрожит от нетерпения и охотничьего азарта. Пригнув морду к земле, он бе-

¹⁾ Высокогорный бык.

жит, вбирая в себя влажным носом волнующие запахи следа, запахи, которые не способны ощутить ни одно двуногое существо, называемое человеком.

Сон какой-то странный, сон из обрывков собачьих воспоминаний... Видит Джуль-барс себя маленьким щенком, таким наивным кареглазым кутенком со смешными и нелепыми повадками. Лукаво загнув ухо, он катает неуклюжей лапкой по полу цветные мотки шерстяной домотканной пряжи, из которой вяжет длинные красивые чулки своему деду Шо-Мураду его внука. Ей всего лет шестнадцать-семнадцать, этой милой девушке со стройным, гибким станом, и ее грациозные движения как-то не вяжутся с прубой, почти нищенской обстановкой жилища бедняка — памирского охотника. Она заметила озорство Джуль-барса и, всплеснув руками, шлепнула щенка ладонью, шлепнула довольно чувствительно. Смешно поджав виноватый хвостик, он забился в угол, залез в широкое горло опрокинутого глиняного кувшина и обиженно и виновато смотрит оттуда на девушку, которая распутывает запутанные глупым щеночком мотки цветной пряжи.

Спит Джуль-барс на крыше, глубоко вздыхая от воспоминаний о детской щенячьей обиде. Но вот оборвался щенячий сон, и он опять видит себя взрослым, теперешним умным и сильным псом, спутником и другом Шо-Мурада, охотника. Видит, что выследил он наконец стадо диких баранов, муфлонов. Вон они вдали, забралась на самое небо, стоят, вытянувшись гуськом, на вершине высокого горного кряжа. Впереди, озирая окрестности, красуется вожак стада, старый, осторожный муфлон с большими, закрученными назад рогами и огромной черной бородой, посеребренной по краям. «Торопись, стреляй, хозяин, стреляй скорей в переднего, он учуял уже нас, и они умчатся сейчас стрелой, перепрыгивая через саженные пропасти! Скорей!» — волнуется во сне Джуль-барс. И видит себя застывшим, прильнувшим к скале в двух шагах от старика-охотника, который, расставив костяную рогульку-подпорку, целится, прищурив зоркий глаз.

Вадрогнул во сне Джуль-барс. Есть! Раздался выстрел, и передний муфлон, метнувшись в предсмертном прыжке, ружнул вниз, с вершины хребта, увлекая своим тяжелым телом обломки камня и щебень. Мчится радостный, взволнованный Джуль-барс, пружиня свое могучее тело, вниз — к месту падения муфлона. Умчалось испуганное стадо диких баранов, легко перепрыгивая через горные щели. Отстает одна из овец — она ужасно беспокоится за отпрыска своего, ягненка, который может погибнуть, провалившись по неопытности в пропасть.

Сладко дремлет на крыше горной лачуги огромный пес Джуль-барс, пощеничьи разметавшись под приятными лучами теплого июньского солнца. Тихо в небольшом селеньице, что приютилось в глубоком ущелье на берегу горной речушки. Высятся вдали неприступные горные хребты...

Тишина... Седой гордый пик взметнулся в прозрачную синеву памирского неба. Вечные снега на вершине этого высочайшего пика. Ледники соперничают с моренами голубизной своих вечных льдов, в которых купаются лучи весеннего июньского солнца.

Капают мелкие алмазные капли, стекая с тающей льдины. Капают все чаще и чаще, тоненькой, еле заметной струйкой, уполая куда-то под снежный покров, местами уже чернеющий подпалыми. Падает струйка прозрачной, как кристалл, ледяной воды с камня на камень. Тысячами бриллиантовых брызг спадает с каменной ступеньки маленький водопад. Резвясь и ласкаясь, бегут шаловливыми змейками крохотные горные ручейки. Бегут, прыгая с камня на камень и соединяясь. Ворча и пенясь, катится с гор небольшая речушка, небольшая, но сердитая, мчит свои воды бурный Вахш — мощная полноводная река...

Прыгая с камня на камень, идет к реке из горного селеньица девушка за водой, та самая милая девушка, которую видел только-что в своем щенячем сне на крыше огромный пес Джуль-барс. Идет девушка босиком, прыгая с камня на камень, и тихо напевает под нос какую-то песенку, не то о весне, не то о

любви. А по тропинке по берегу бурной реки едут на конях три веселых, жизне-радостных пограничника. Бодро цокают копыта коней, звенят трензеля, поют пограничники боевую песню, и эхо вторит в горах. Три пограничника возвращаются к границе на свои заставы с курсов по усовершенствованию среднего состава, проводившихся в далеком городе — столице этого восточного края.

Стоит на камне девушка и смотрит с берега реки на трех пограничников, что едут по тропинке. Слушает песню боевую, жизнерадостную пограничную песню, исполняемую замечательными головами. Заметили красные командиры девушку на камне и переглянулись: «Хороша!» Симпатичнейший парень с золотистыми волосами, помначзаставы Григорий Ткаченко оторвать взгляда от девушки не может, — до чего хороша! Проехали мимо пограничники, девушка осталась внизу на камне, а Гриша Ткаченко все оглядывается, любуясь чудесной девушкой гор, — и смеются над ним товарищи, добродушно острят, взрывом смеха сопровождая каждую остроту. И тогда, взглянув последний раз на девушку, пришпорил своего боевого коня Гриша Ткаченко и крупной рысью опередил товарищей.

Но его остановили криком спутники: «Гри-и-и-ша! Посмотри, что с твоим Ораиком». Стянул повод Ткаченко, соскочил с лошади и нагнулся: подозрительная опухоль на левой передней ноге его боевого друга-коня.

— Растяжение жил, — поставили диагноз товарищи. — Тебе ехать дальше нельзя, придется лечить... Да, растяжение жил...

Гриша Ткаченко говорит по-украински и по-русски, — сельский председатель, сонный, мрачный детина, обросший бородой до глаз, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-украински. Гриша Ткаченко владеет, наконец, английским и французским, а сельский председатель — «ни-бэ, ни-мэ»... Председатель, оказывается, знает только шугнанский язык, редчайший язык, на котором говорит во всем мире каких-нибудь две-три тысячи человек, и плохо владеет даже фарсидским, на котором

Григорий Ткаченко знает, чорт возьми, десятка два слов!

Председатель направил Григория Ткаченко на постой в дом охотника Шо-Мурада. Шо-Мурад сумеет договориться с этим красным офицером, Шо-Мурад был проводником научных экспедиций и знает русский язык.

... Шо-Мурад лежит, прикрытый одеялом, на полу в своей темной охотничьей лачуге, а на крыше спит Джуль-барс. Прерывисто дышит Шо-Мурад, залепил губы, он облизывает их сухим языком — ужасно хочется пить, а внучки еще нет, не вернулась с реки. Бедно, но чисто в лачуге — на стене висит ружье Шо-Мурада с костяной рогулькой-подставкой. Сквозь дыру дымохода с крыши проскользнул солнечный луч, заиграв на резной рукояти старинного охотничьего ножа. На крыше спит Джуль-барс и видит сны.

... Видит он, как пробираются они с хозяином по тропке, вытоптанной горными козлами, к роднику. Здесь, неподалеку от родника, ставит свой капкан на барса старик-охотник. Они идут с хозяином проверить, не попался ли, наконец, в ловушку осторожный хищник.

Зоркий глаз у старика Шо-Мурада. Издалека чувствует врага чуткий влажный нос Джуль-барса, и шерсть его поднимается на затылке в грозный воротник: барс в капкане! Барс лежит неподвижно (наверно защелкнул тяжелый железный капкан его голову, разможил череп или задушил, сдавив горло). Неподвижно лежит барс, свернувшись в пятнистый клубок. Осторожно подходит к нему старик-охотник, держа ружье навесу. Джуль-барс идет впереди хозяина, медленно переставляя мохнатые, мягкие лапы. Шерсть его вздыбилась, челюсть оскалилась, обнажая страшные белые клыки.

Барс очевидно мертв, — так думает Шо-Мурад, подходя ближе. Он опускает ружье, и рычанье Джуль-барса служит запоздалым предупреждением для старика. Барс взметнулся в воздухе, как молния, мелькнула лапа хищника, защемленная капканом, отлетело в сторону ружье, — Шо-Мурад повалился на землю. Барс и человек сплелись в клу-

бок, катающийся по земле. С глухим клопочущим рычаньем мечется над клубком страшный в своем гневе Джульбарс и, улучив мгновенье, вливается острыми клыками в затылок барса...

Шевелит челюстями во сне Джульбарс, мотает головой, нервная дрожь сотрясает его сильное тело. На боку собаки рана — последствие той недавней, смертельной схватки с барсом, которую видит он сейчас во сне во всех подробностях. Острыми, как нож, когтями барс разодрал бок Джульбарса, и мухи роются над тяжелой открытой раной. В этой схватке со зверем собака спасла жизнь своего хозяина. Израненный, он лежит в своей лачуге, облизывая сухим языком запекшиеся губы. Наконец-то пришла любимая внучка — она сейчас напоит деду холодной водой из ручья и сменит лопухи на его ранах...

Джульбарс, внезапно открыв один глаз, проснулся и, вскочив на ноги, угрожающе ощерил клыки. Шерсть медленно вставала дыбом на затылке собаки-волка, и пес с лаем заметался, как ужаленный, по крыше, злобно скаля ослепительно белые и острые клыки. Невомоверно худой, с ввалившимися бурыми боками, он сейчас особенно напоминает собой волка, и широкая грудь его сотрясается от гнева.

Во двор, позванивая шпорами, вошел помначаставы Ткаченко. Кавалерийской походкой, немножко вразвалку, он направился к лачуге Шо-Мурада, а его боевой конь с закинутыми на седло поводьями послушно следовал за каждым его движением. В нескольких шагах от дома Ткаченко остановился, залюбовавшись собакой, которая ошалело металась по крыше, изрыгая пену из пасти, и улыбнувшись, по-мальчишески подпрыгнул вдруг, щелкнув пальцами под самым носом освирепевшего пса. Щелкнул пальцами, подпрыгнул — и ужасно смутился... В дверях домика стояла та самая девушка, на которую он загляделся там, внизу, на берегу ручья; она с удивлением рассматривала незнакомца — красного командира.

... Мечется с лаем по крыше Джульбарс, никак не может успокоиться. Стоит дрессированный конь с поводьями,

закинутыми на седло. Стоит один и, подняв голову, смотрит на собаку: «Чего она беснуется?» Ткаченко в комнате, где лежит старик Шо-Мурад, «Добро пожаловать в наш дом, — выговаривает больной охотник. — Извините, что не могу встать. Пэри вам покажет, где поставить коня...» Ее зовут Пэри, эту чудесную девушку...

Начзаставы Григорий Ткаченко идет, позванивая шпорами, небрежной кавалерийской походкой к загону. Конь, послушный, как ребенок, следует по его пятам. В сложенном из камней загоне дремлет дряхлый, полуслепой ишачок. В загоне грязно — пол пропитан навозом, в котором утопают ноги старого флегматичного ишака. В такой грязный загон не может поставить своего боевого друга-коня командир-пограничник Григорий Ткаченко.

Пэри украдкой наблюдала за странным поведением гостя-незнакомца. С крыши за каждым движением прищельца, насторожившись, следил Джульбарс. Сбросив плечевые ремни и скинув гимнастерку, Ткаченко вывел из загона старого ишачка и, вооружившись ржавой, зазубренной лопатой, принялся за работу. Напрягая мышцы, он размеренными движениями выкидывал из загона навоз, расступавшийся под ногами, как болото. Он выскреб всю грязь из загона, собрал навоз в кучу. Нарубив шашкой прутьев, он сделал веник и, чистенько выметая веником пол, неожиданно оказавшийся каменным, ввел туда ишачка и коня. Старый ишак и лошадь, прикоснувшись друг к другу ноздрями, познакомились.

Из кобуры седла Григорий Ткаченко достал бинт и, сделав компресс, туго забинтовал распухшую ногу своей лошади. Покончив с этим, он извлек оттуда же буханку хлеба, пачку чая «Центросоюз отборный», мешочек с колотым сахаром, две банки мясных консервов и направился к двери жилища. Джульбарс с бешеным рычаньем заметался по крыше...

... Сидит Гриша Ткаченко на полу, на кошме, у изголовья большого старика-охотника Шо-Мурада, угощает его сахаром, хлебом, консервами и ведет разговор. Пэри внесла закопченный чугунный

кувшин с кипятком, осторожно распечатывает пачку «Центросоюза отборного», втихомолку понюхала — как хорошо пахнет этот чай!

Разомлел, распарился от выпитого чая старик Шо-Мурад, бережно сосет сахар и рассказывает о своих охотничьих приключениях, о встрече с барсом, с которой мы познакомились раньше из сна Джуль-барса. Не будь Джуль-барса, погиб бы старик тогда.

Ткаченко осматривает рану на теле старика, непромытые раны, прикрытые какими-то лопухами — листьями. «Меня лечит наш знахарь, он очень стар и опытен» — оправдывается охотник. Возмущается Ткаченко: «Знахарь?! Он даже не промыл ран! Гнать в шею надо такого доктора!..» Ткаченко выскочил во двор, направляясь к тому месту, где расседлал коня. Опять появился этот чужой во дворе, — угрожающе рычит на крыше Джуль-барс, обнажая белые острые клыки. Ткаченко роется в кобурах седла, там должна быть походная аптечка.

Вода вскипичена и остужена, Пэри под руководством гостя промыла раны деда. Их смазывает иодом Ткаченко, накладывает бинты, перевязывает, и Пэри не спускает глаз с пальцев внимательного, отзывчивого гостя. Лежит, стиснув зубы, старый охотник, — порят раны... «Если б не Джуль-барс, охотился бы я сейчас в небе на птиц, — пытается он острить. — Если б не Джуль-барс...»

Отломив ломоть хлеба, Ткаченко вышел во двор. Опять заметался по краю крыши Джуль-барс, щеря клыки. «Джуль-барс» — ласково зовет его незнакомец. «Джуль-барс» — зовет он, посвистывая так, как свистят обычно собакам. Не желает Джуль-барс слышать своего имени в устах этого чужого человека, плевать он хочет на ласковый свист, — его доверия так просто не заслужишь! — он в гневе мечется по крыше, готовый при малейшем угрожающем жесте незнакомца прыгнуть вниз, броситься на него, опрокинуть его на землю.

— Ох и злой ты, Джуль-барс, злой ты, лю-ю-ю-тый! — ласково тянет

Ткаченко и бросает на крышу ломоть хлеба. Новый взрыв гнева потряс тело Джуль-барса. Он кинулся к тому месту, куда упал хлеб, приняв его за камень, чтобы схватить проклятый камень зубами, раздавить его могучими челюстями. Но это не камень, это оказался хлеб. Как защекотало в ноздрях от вкусного запаха печеного хлеба!..

Пусть он идет к чорту со своим угощением, этот незнакомец. Джуль-барс очень голоден, но он достаточно горд и самолюбив для того, чтобы не принимать подачек от первого попавшегося, чужого человека, с неизвестными намерениями явившегося во двор его хозяина. С презрением, повернувшись задом к хлебу, Джуль-барс лег на свой пост. Как вкусно пахнет однако проклятый ломоть хлеба, который Джуль-барс отшвырнул в дальний конец крыши, — слона потекла неожиданно из рта голодного пса, и Джуль-барс, крепко стиснув челюсти, положил свою крупную гордую голову на вытянутые вперед лапы.

... Гриша Ткаченко устроился спать во дворе, постелив под себя потники и укрывшись длинной кавалерийской шинелью. Голова его покоилась на седле, которое служило подушкой командиру пограничнику. Старик-охотник оценил деликатность своего гостя, который отказался от приглашения переночевать в единственной комнатке их лачуги, где лежал больной и где располагалась на ночевку его внучка. «Воспитанный человек, — сказал Шо-Мурад внучке про красного командира, — умеет уважать обычай Востока...»

Ночь прошла беспокойно, так как огромный, похожий на волка, пес, покинув крышу, расположился в нескольких шагах от незваного гостя, не сводя с него светящихся в темноте волчьих глаз.

Когда едва-едва посерело небо там, за хребтами, возвышающимися над Индией, и стада белых облаков, снявшись с груди одного из высочайших в мире пиков, медленно поплыли к западу, Джуль-барс покинул свой сторожевой пост и, обжевав лачугу охотника, вспрыгнул вновь на крышу. Он приостановился здесь в задумчивости, скосив глаз на то место, куда отшвырнул он вчера хлеб.

Ломоть лежал на месте. Джуль-барс вздохнул, облизнулся, сделал несколько шагов к ломтю, приостановился и поднял левое ухо, оглянувшись в сторону незнакомца. Джуль-барс отвернулся от хлеба, слюна длинными нитями потянулась изо рта. Собака прошла несколько шагов назад, отходя от того места, где лежал ломоть. Приостановилась. Опять посмотрела в сторону пограничника. Спит... Одним прыжком Джуль-барс очутился вблизи хлеба. Ткаченко спал, укутавшись в шинель. Схватив ломоть в зубы, Джуль-барс осторожно спустился с крыши обратно на свой пост во дворе и, еще раз убедившись, что незнакомец спит, принялся за еду.

Джуль-барс не успел еще доесть хлеба, гость внезапно зашевелился. Он открыл глаза и сладко потянулся, заломив руки. Потянулся так, что хрустнули кости. Джуль-барс вкочил, угрожающе зарычал на незнакомца. Мохнатая лапа собаки опустилась на недоеденный кусок хлеба. «Джуль-барс! — протянул опять ласково незнакомец. — Ты, видно, дежурил целую ночь, Джуль-барс. Не доверяешь мне, собачка?.. Неужели у меня такой подозрительный вид? — шутил Ткаченко, с добродушной улыбкой оглядывая злого пса. — А-а-а!.. — протянул он весело. — Вы все-таки соизволили снизойти до нашего угощения? Вы завтракали, а я вам помешал?» — продолжал он, насмешливо поглядывая на хлеб, зажатый собачьей лапой. Собака, гордо отвернувшись от незнакомца, бережно взяла хлеб и солидной рысцой затрусил в угол двора. Опустив здесь хлеб на землю, Джуль-барс вырыл когтями небольшую ямку и, положив в нее хлеб, забросал его землей. Гость с любопытством следил за этой операцией и расхохотался, заметив, что Джуль-барс, зарыв хлеб, еще раз ощерился в его сторону, как бы заранее предостерегая от попыток тронуть зарытую половину завтрака, и направился к своему прежнему месту на крыше.

Гриша Ткаченко, достав бритвенный прибор и приспособив маленькое зеркальце к луке седла, готовился к утреннему туалету. Небольшое горное селение просыпалось. В побледневшем небе

на страшной высоте парил гриф, вылетевший спозаранку за добычей.

Гриша Ткаченко был уже одет, умыт и чисто выбрит, когда Пэри вышла во двор. Взяв кувшин, направилась к выходу на улочку, и Ткаченко, догадавшись, что она идет за водой на реку, торопливо вывел из загона коня. Девушка спускалась по тропинке вниз, к реке, и за ней шагал помначзаставы Ткаченко. Конь следовал за хозяином, осторожно переставляя большую ногу. Через горный ручей, на ту сторону ущелья на «турсуках» («гупсарах») переправлялось несколько крестьян со старинными деревянными сохами. Надутые бараньи меха и огромные полые тыквы, подвешенные к сбитым жердям, образовывали плот, привязанный к хвосту лошади. Крестьянин, понукая лошадь, пускал ее вплавь, и она тащила за собой небольшой плот, груженный грубыми орудиями для обработки земли. Была весна — было время пахать.

Конь пограничника пил воду, аппетитно отфыркиваясь. Девушка наполняла кувшин. Помначзаставы в бинокль рассматривал местность. Он видел в бинокль, как двое крестьян уже пахут дедовской, деревянной сохой крохотный участок своей пашни. «А у вас есть земля?» — спросил он, неожиданно повернувшись к девушке. «Есть, но дедушка болен» — прошептала она смущенно, не поворачивая головы. Конь, подняв голову, вдыхал воздух. Вода струйками стекала в ручей с его замшевых темносерых губ.

«Вам помочь?» — спросил Ткаченко девушку, пытаясь взять кувшин. «Не надо» — отрезала она и, резко отстранив руку, быстро зашагала вверх по тропинке.

... «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил Ткаченко старика-охотника, садясь на кошку. «Спасибо, спасибо, сын мой, — ответил Шо-Мурад. — Твои лекарства имеют чудодейственную силу: я всю ночь спал, не просыпаясь...» Ткаченко высыпал на поднос горку голубого колотого сахара, открыл банки с консервированным мясом и разрезал на ломти хлеб. «Вот позавтракаем, я сделаю опять перевязку» — произнес он,

поднимая глаза на Пэри. Девушка потупилась, подавая гостю чашку с ароматным чаем.

... «Какая скала?» — спросил Ткаченко, отнимая от глаз бинокль. «В-о-он!» — отозвалась Пэри, указывая рукой на каменистую подошву гор. Они уже позавтракали и стояли вдвоем во дворе, и Пэри, отвечая на вопрос пограничника, показывала ему, где расположена принадлежащая Шо-Мураду пашня. В стеклах бинокля выискал, наконец, Ткаченко крохотный клочок земельки, поросшей чахлым бурьяном, справа от громадной скалы.

Джульт-барс, лежа на крыше и открыв один глаз, зорко наблюдал за поведением незнакомца. Разыскав во дворе большую плетенку, из числа тех, что обычно употребляют здесь, в горах, для выючной поклажи, Ткаченко починил английским шпагатом зияющую на ее дне дыру, взвалив плетенку на спину старого ишака и наполнив ее доверху навозом, погнал ишака впереди себя на берег ручья. Ткаченко поплыл на «гупсарах» вместе с ишаком и поклажей на тот берег реки, быстро добрался до крошечного участка Шо-Мурада, опрокинул здесь корзину с навозом и погнал ишака обратно. На том берегу реки, на крыше жилища Шо-Мурада, стояла Пэри и, прикрыв глаза от солнца ладонью, смотрела туда, где работал Ткаченко. Рядом с Пэри стоял Джульт-барс, настрожив уши.

Когда Ткаченко второй раз, нагрузив навозом плетенку, погнал ишака к реке на переправу, Джульт-барс, соскользнув с крыши, медленной рысцой затрусил за ним, держась на почтительной дистанции. Его заинтриговало, куда это второй раз гонит их ишака этот незнакомец.

На берегу реки Джульт-барс приостановился в сомнении. Незнакомец с ишаком уже достигли другого берега. Джульт-барс вошел в воду и поплыл...

Джульт-барс взобрался на скалу, оставляя на камне мокрые отпечатки своих мохнатых лап. На вершине скалы Джульт-барс отряхнулся. Скала возвышалась над крохотной пашней Шо-Мурада, и здесь трудился, разбрасывая навоз по полю, незнакомец в военной фор-

ме. Джульт-барс лег на скалу и спокойно наблюдал за его действиями своими умными карими глазами. Он уже не рычал...

Шли дни... Опухоль на ноге боевого коня почти спала, близился отъезд пограничника Григория Ткаченко. Эту неделю, что пробыл он в гостях у охотника Шо-Мурада, он ни минуты не сидел без дела. На его попечении здесь был целый «лазарет»: больной старик, конь, собака. Ткаченко взялся также и за лечение дикого, угрюмого пса-волка. Пэри держала собаку, крепко обхватив руками ее шею, пока пограничник остригал шерсть вокруг раны, промывал, смазывал и бинтовал ее израненный когтями барса бок. Джульт-барс рычал, вырывался, скалил клыки, но ласковый голос Пэри вынуждал его переносить прикосновение чужого, копавшегося в его ране.

За эти дни Григорий Ткаченко по собственному почину переложил несколько камней на крыше, замазав глиной щели в задней стене, прочистил дымоход, подбил гвоздиками расшатавшиеся ножки столика-сандала, выровнял яму, промытую ливнем во дворе, и наложил заплату на сохшееся кожаное ведро, давно валявшееся во дворе без употребления. Где бы ни находился Джульт-барс в это время, — на своем ли обычном посту, на крыше или во дворе, — он не спускал с гостя своих карих глаз, в которых светились ум и отвага. Он уже привык и не рычал при его появлении, позволяя Ткаченко даже проходить близко от себя.

... По обыкновению и в это утро Пэри отправилась к реке за водой. Едва светало. Река просыпалась в сизых дымках тумана, растворявшегося в робких лучах только-что проснувшегося солнца. Ткаченко еще спал, укрывшись длинной кавалерийской шинелью, положив голову на кобуру седла. В двух-трех шагах от него спал спокойным сном Джульт-барс.

Пэри спускалась по тропинке к реке, тихо напевая песенку. Присев на корточки, в задумчивости опустила девушка кончики пальцев в прозрачную воду. Ей стало грустно почему-то, когда она

вспомнила о близком отъезде пограничника.

Тихо заржал конь в загоне, нетерпеливо перебирая копытами по каменному полу. Повернул голову в сторону спящего пограничника и зажевал замшевыми губами: «Почему меня не ведут поить?» — заржал конь. Джуль-барс поднял голову и насторожил уши. Он посмотрел сначала на коня, потом — на спящего пограничника. Ткаченко зашевелился и открыл глаза. Утро. Надо вставать...

Пустынно на берегу реки. Расщелины скал, спускающихся к реке, поросли дикой фисташкой и низкорослым кустарником. Задумчиво перебирая пальцами, разглядывает свое отражение в воде Пэри. Вдруг она увидела в воде чье-то склонившееся к ней лицо. Вскрикнув, она обернулась. Над ней склонился помощник перевозчика Абдулло, огромный бородатый детина в грязной чалме, камотанной на низкий лоб. Лицо его изрыто оспой, толстые губы вывернуты, — редкие желтые зубы ослабли в тусклой, плотоядной улыбке. Глаза Абдулло шарят по девичьей груди, обрисовывающейся под тонкой тканью рубахи.

— Ты опять пришел? — произнесла с отвращением девушка. — Ты кочешь, чтоб я пожаловалась дедушке? — спрашивает она, выпрямляясь...

— Я люблю тебя, Пэри, — говорит он, раздевая девушку глазами. — Рано или поздно ты будешь моей... Твой дед долго не проживет, — добавил он с кривой усмешкой, внезапно схватив девушку за плечи.

— Как ты смеешь, негодяй! — кричит, задыхаясь, Пэри...

А Григорий Ткаченко уже одет и выводит коня из загона. Он выходит со двора, и дрессированный конь, как ребенок, следует по его пятам. Ткаченко идет, позванивая шпорами, небрежной кавалерийской походкой по тропинке вниз, к реке. В руках его — щетка, скребница и мыло. Конь с забинтованной ногой шагает за пограничником, а в нескольких шагах от коня солидной рысцой трусит Джуль-барс. Так и идут они гуськом по тропинке к реке: человек, конь и собака.

А на берегу борьба. Грязная чалма разматалась и змеей скатилась с головы низколобого детины, обнажая череп с пятнами, как у прокаженного. Губы плотоядно отвисли, в глазах блеск животного желания, — Абдулло тащит отчаянно сопротивляющуюся девушку в кусты, зажав ей тубетейкой рот. Повалил на землю... И мольба, и ужас в глазах Пэри...

Григорий Ткаченко спустился уже к берегу реки, сейчас будет у воды и конь. Вдруг скатился сверху камень. Ткаченко поднял голову и, всплеснув в волнении руками, ринулся наверх.

Пограничник и бородатый детина катятся вниз с крутого берега реки, сцепившись друг в друга. Они катятся к воде, ломая кусты и осыпая щебень. Остановились у самой воды, продолжая бороться. Перевес на стороне физически сильного низколобого парня с лицом дегенерата. Он лежит сверху, подмяв под себя пограничника, и рвет воротник гимнастерки с нашивками, душит Григория Ткаченко.

Джуль-барс бросился к Пэри, прижавшейся в страхе к стволу низкорослого фисташкового дерева. Отсюда она с напряженным ужасом наблюдает за борьбой и видит, как шарят по земле огромные пальцы детины, подмявшего под себя полуудушенного Ткаченко. Пальцы озверевшего Абдулло нащупали, наконец, камень-голыш, отполированный бурными водами горной реки. Он схватил этот тяжелый камень, поднимает... Он сейчас размоет этот камень камнем череп Григория Ткаченко.

«Джуль-барс!» — прозвенел крик девушки, и огромный пес, перемахнув стрелой через скалу, обрушился на спину убийцы. Камень выпал из рук. Страшен в своем гневе Джуль-барс, собака-волк. Он впился острыми клыками в перевозчика, и платье Абдулло лохмотьями взлетает вверх. Крик человека, рычанье собаки...

Абдулло, оставив Ткаченко, отчаянными движениями пытается сбросить с себя собаку-дьявола, которая рвет в клочья его халат, погружая острые клыки в мягкую часть его тела, он заползал на четвереньках, вскочил на ноги, вы-

тянувшись во весь свой опромный рост, и заметался по берегу реки, а собака повисла над ним, не разжимая зубов.

Оправившийся Ткаченко, взмахнув схвачтой в кулак рукой, нанес молниеносный удар в челюсть негодяя. Удар был настолько силен, что детину вместе с собакой подкинуло в воздухе, и он рухнул в воду.

Отчаянно взмахивая руками, плывет по реке низколобый парень, спасаясь от собаки-дьявола. Джуль-барс плывет следом и хватается за голые икры спасающегося бегством негодяя.

На берегу реки стоят пограничник Григорий Ткаченко и девушка гор, по имени Пэри. Пэри доверчиво опустила голову на плечо своего защитника-пограничника...

... К ногам Пэри бросился вылезший только-что из воды Джуль-барс, взволнованный, радостный. Он прыгает вокруг девушки, приветливо машет хвостом и отряхивается, осыпая дождем брызг Ткаченко и Пэри — и они весело смеются, заглядывая друг другу в глаза.

А на тот берег реки вылез низколобый негодяй. С неговерно разодранной одежды стекают прязные струйки воды. Абдулло погрозил кулаком тому берегу...

— Через два дня уезжаю, папаша, — сказал Ткаченко, похлопывая по плечу старика, сказал и с грустью остановил взгляд на Пэри. Пэри, взмахнув ресницами, потупилась. Она вязала носки, теплые памирские носки, с замечательным цветным узором. Старик полужал, опираясь локтем на круглую, длинную подушку. Из-за полуоткрытой дверцы выглядывала морда Джуль-барса. Он как будто понимал весь разговор, таким блеском светились его глаза...

— Жалко расставаться с тобой, мой сын... — медленно произнес старик-охотник. — Хотя ты и не вырос в горах, но у тебя благородное сердце, юноша! У тебя сердце настоящего мужчины, человек! Ты вспахал и засеял своим ячменем пашню бедняка Шо-Мурада... Шо-Мурад не забывает добра... У старика Шо-Мурада был такой же сын, как и ты, — и ростом, и походкой, и повадками он был похож на тебя... И сердце имел

такое же благородное. Сердце, которое было открыто для бедняков и закрыто для богатых. Только глаза — у тебя голубые, а у него были... как у нее, — тихо добавил старик, указывая на внучку, вяжущую носки.

— Она осталась сиротой, — сказал Шо-Мурад, и старческие глаза его подернулись влагой.

Джуль-барс, внимательно прислушивавшийся ко всему, что говорили люди, шевельнув ухом, скосил карий зрачок. Он заметил, как рука гостя тихо и ласково прикоснулась к руке девушки...

— Моего сына, ясного юношу, за то, что его сердце было открыто для бедняков, убили эмирские собаки, басмачи.. глумились над его женой, ее матерью.. И она, — произнес Шо-Мурад медленно, кивая на Пэри, — осталась сиротой на руках у бедного горца-охотника Шо-Мурада... Это было давно, теперь уже не бродят их шакальи своры по нашим горам. Их нет совсем, их истребили, проклятых...

— Есть еще... — отозвался Ткаченко. — Они переселились на ту сторону границы, которую я охраняю... затаились — до первого удобного случая... Выступить открыто боятся, но прорываться на нашей территории они и теперь не прочь. Вылезают иногда, прорываются...

За день до отъезда Григорий Ткаченко отправился проверять капканы старика-охотника Шо-Мурада. Старик отправил вместе с ним свою внучку Пэри, чтобы она указывала дорогу. Идут по горной тропинке, взбираясь на отвесные скалы, Григорий Ткаченко и Пэри. Джуль-барс впереди. Он всегда впереди; он знает, куда идут гость и девушка, и, нервно повизгивая от волнения, бежит, пригнув голову к земле и вбирая в себя запахи, нетерпеливо оглядываясь на пограничника.

Капкан пуст. Приманка съедена. На земле следы хищника. Он перехитрил охотника, съел приманку и не попал в западню.

Высятся горные кряжи. Суровые, неприступные. Карабкаются по скалам мужчина, женщина и собака. Ткаченко помогает девушке в трудных местах,

протягивая руку, бросая веревку. Присел отдохнуть на камне, — надо отдышаться после трудного подъема.

Ткаченко открыл банку мясных консервов, достал из сумки хлеб. Разделил на три порции: себе, девушке и собаке. Облизнулся Джуль-барс: хочется есть...

— Последняя банка консервов, — произнес Ткаченко. — Завтра я уеду, а дома у вас нет мяса...

— А мы привыкли без мяса, — отвечает девушка. — Дедушка стал плохо видеть, а дикие козлы близко не подпускают...

Джуль-барс, аппетитно чавкавший, стиснул вдруг челюсти и настороженно поднял уши. Глаза его загорелись охотничьим блеском. Его взгляд вперился куда-то вдаль... На соседнем краюже появилось стадо диких козлов. Джуль-барс взглянул умоляюще на Ткаченко, на девушку. Они весело болтают ногами, не замечая ни козлов, ни умоляющих взглядов собаки, ни нервно вздрагивающего ее хвоста. Джуль-барс заметил, что козлы насторожились. Он тихо взвизгнул и положил лапу на болтающуюся ногу Ткаченко. Пограничник в удивлении взглянул на лапу, перевел взгляд на собаку и заметил козлов.

Ткаченко поставил прицел на 1.000 — и целится. Выстрел гулким эхом раскатился по ущелью. Джуль-барс стремглав бросился вперед, — один из козлов полетел с кручи в пропасть.

Опрометными прыжками мчится Джуль-барс через скалы. За ним спешат Ткаченко и девушка — они бегут, взявшись за руки... Мелькнула трещина, зияя черной пастью, — Джуль-барс, не успев остановиться, сделал прыжок, чтобы перескочить расщелину, и, ударившись о каменную стену грудью, с хриплым воем полетел вниз...

Куст арчи врос в расщелину скал. За этот куст зацепился Джуль-барс случайно при падении. Внизу зияет глубокая и страшная пропасть. Бурлит, ворочая камни, на дне пропасти бешеный горный поток. Ткаченко пригнулся — головокружительная высота. Погибнет пес, сорвется — дрожат его лапы... Ткаченко, с лихорадочной поспешностью размотав

веревку, намотанную на пояснуцу, укрепил ее за скалу, передал один конец Пэри, сделал на другом конце две петли — и сбросил веревку вниз.

Ткаченко спускается по отвесной стене в пропасть, уцепившись за веревку руками. Еле держится Джуль-барс, слабеет, вот-вот оборвется вниз. Он поднимает глаза вверх, откуда приближается спасение. В глазах собаки надежда. Человек уже близко...

Ткаченко поддевает петлю под грудь Джуль-барса. Готово! Собака привязана. Оставив ее висеть, он поднимается по веревке на мускулах вверх, упираясь ногами в каменную стену. Тело собаки служит грузом, натягивающим веревку, по которой, подтягиваясь на мускулах, поднимается наверх пограничник. Тяжело. Приходится отдыхать, вися над пропастью на руках...

Вот и верхний уступ. Ткаченко поднялся благополучно. Теперь они вдвоем с Пэри должны вытянуть наверх Джуль-барса. Громадная собака, раскачиваясь на веревке, висит над пропастью... Веревка задвигалась — Джуль-барс пополз наверх на веревке, и в воздухе висят его беспомощно вытянутые лапы.

... Голова дикого козла болтается на спине у Ткаченко. Он шагает, взвалив тушу убитого животного, рядом с Пэри, и девушка спрашивает его заботливо: «Тебе не тяжело, милый?»

Бежит радостный Джуль-барс, задрал хвост. Пробежит шагов 40—50, остановится, повилает приветственно хвостом навстречу Ткаченко и Пэри и бежит к ним. Прыгает, пригибая спину к земле перед прыжком, путается в ногах, бросается на грудь то девушке, то пограничнику, шалит, беснуется от радости.

Вот и горное село внизу, под ногами влюбленных... Они обнялись в последний раз, вздохнули.

— Я возьму тебя к себе, будешь женошкой моей, любимая, — говорит пограничник. Вдыхает Пэри, чудесная горная девушка, доверчиво прижимаясь к пруди возлюбленного — пограничника Григория Ткаченко.

Солнце, приподнявшись на стременах, выглянуло из-за снежных хребтов, освещая

щая маленькое горное селение, приютившееся у каменной пруди горного кряжа. Оседлан боевой конь — плотно скатана шинель, привязанная к седлу сзади, ловко пригнаны кобуры.

Старик Шо-Мурад еще слаб, но он не может не проводить своего дорогого гостя, юношу, который в эти короткие дни своего пребывания здесь, стал ему дорог, как сын, заменил ему сына...

Пэри бледна — уезжает ее возлюбленный, неизвестно, вернется ли когда-нибудь в эти места этот голубоглазый юноша, пленивший сердце бедной девушки гор. Мрачен Джуль-барс. Он лежит в своей излюбленной позе на крыше и наблюдает своими карими умными глазами за всем происходящим внизу, за хлопотами отъезда гостя, который завоевал сердце сурового, нелюдиного пса, в жилах которого течет волчья кровь.

Чисто выбрит Ткаченко, в полной походной форме, — за плечами карабин, на боку наган, плечевые ремни, полевая сумка... В дверях стоит печальная, грустная Пэри... Старик Шо-Мурад, медленно передвигаясь, подошел к коню, проверил, хорошо ли затянута подпруга, и здесь у них произошел короткий разговор с пограничником — красным командиром.

— Еду, папаша... — сказал Ткаченко... — хотя и имею к вам мелкое дело... Не то, что мелкое, даже крупное... одним словом, вопрос...

Пауза. Ждет вопроса Шо-Мурад.

— Я извиняюсь, вашей внучке восемнадцать лет? — спросил Ткаченко, в смущении теребя гриву своего коня.

— В месяц Скорпиона исполнится восемнадцать, а что? — спросил старик, мягко улыбаясь.

— Да ничего, — ответил Ткаченко, еще больше смущаясь. — По законам советской власти девушка в восемнадцать лет уже невеста... а я холост, папаша... — говорит он, оправляя челку лошади.

— Перед тем как закрыться перевалам на зиму, в нашу страну приходит караван с хлебом, товарами... — медленно произнес старик Шо-Мурад. — Меня обычно нанимают проводником: никто лучше меня не знает больших дорог и

малых тропинок Подножья Смерти... Караван проходит мимо тех мест, где охраняешь ты границу, юноша... В этом году я возьму с собой Пэри, — скучает очень девушка, одна в кишлаке, без девушки... Заедем к тебе погостить и там, может, вернемся к разговору о том, что ты холост, мой сын, — говорит Шо-Мурад, уклончиво добавляя: — Вернемся к этому разговору, если ты этого пожелаешь...

Крепко сжал руку старика Григорий Ткаченко, прощаясь. Спрыгнул с крыши Джуль-барс, подбегает к ним, ласково виляя хвостом. У двери стоит Пэри, молчаливая, грустная, не сводя глаз с отъезжающего, любимого. Что-то быстро спрятала она на груди...

Обнял старик пограничника, оторвался, отвернулся. Стоит взволнованный Ткаченко, вытянувшись, как на параде, приложив руку к козырьку. Говорит Шо-Мурад внучке:

— Проводи нашего гостя, внучка, пожелай ему счастья в пути...

Выходят на горную тропинку Пэри и Григорий Ткаченко. Медленно идут, держась за руки, молчат. Шагает сзади них дрессированный боевой конь в походном снаряжении, с поводьями, закинутыми на луку седла. Рядом с девушкой шагает Джуль-барс с опущенным хвостом. Поднимает голову, заглядывает грустными, понимающими глазами то в лицо девушки, то в лицо Ткаченко.

Горная тропинка стелется над рекой, бушующей внизу. Она змейкой убегает вперед, теряясь вдали на груди суровых хребтов. Остановились пограничник, девушка, конь и собака. Взял за плечи любимую Гриша Ткаченко и смотрит ей долго, долго в глаза... Смотрит, оторваться не может. Конь трется лбом ему в спину, — не поймешь, то ли торопит хозяина, то ли чешет свой лоб. Собака лежит у ног и вопросительно смотрит на влюбленных, задрвав голову и еле-еле пошевеливая хвостом.

Обнял Пэри Григорий Ткаченко. Обнял и поцеловал. Волчком завертелся внезапно повеселевший Джуль-барс. Приседает, прыгает и дурашливо лает на влюбленных, радуясь их счастью. Ветерок раздувает гриву коня.

Но вот продел ногу в стремя Гриша Ткаченко. Вскочил в седло. Нагнулся. Поцеловал девушку последний раз и тронул поводья.

Уже отъехал несколько шагов Ткаченко. Осталась стоять на месте девушка. Слезы наворачиваются на глаза. В недоумении Джуль-барс: «Почему уезжает человек, которого он считал уже членом семьи Шо-Мурада? Почему остается Пэри?» Посмотрел Джуль-барс на Ткаченко, повернувшего корпус вполоборота назад, взвизгнул, шевельнул хвостом: «Не уезжай!» Посмотрел Джуль-барс на девушку, шевельнул хвостом, взвизгнул: «Не оставайся!» В глубоком недоумении Джуль-барс: Ткаченко куда-то уезжает. Пэри почему-то остается одна, тогда как по собачьему... уразумению уезжать или оставаться они должны вместе...

Удаляется Ткаченко. Помахав рукой, крикнул: «Приезжай, любимая, скорей!» И еще крикнул: «Прощай, Джуль-барс!» Джуль-барс услышал свое имя, взвизгнул, взглянул на девушку, вопросительно пригнул голову с заломленным ухом, приглашая ее следовать за собой туда, к Ткаченко, повернул голову в сторону уезжающего. «Джуль-барс!» — прозвучали в его ушах последние слова прощального приветствия. Его зовут... Его зовет тот, к кому он успел уже привыкнуть, кого любил всем своим собачьим сердцем... Джуль-барс, взвизгнув, побежал за отъезжающим. Но вот шаги его стали медленнее, неувереннее...

Он пробежал половину расстояния, разделяющего Пэри и Ткаченко, и остановился.

Стоит Джуль-барс на горной тропинке, между двумя дорогами его сердцу людьми, — отъезжающим и остающимся, стоит, и собачье его сердце раздирается сомнениями. Смотрит Джуль-барс налево — стоит Пэри, смотрит направо — удаляется Ткаченко. К кому итти, за кем итти псу Джуль-барсу? Он сделал несколько неуверенных шагов назад, в сторону девушки... Остановился... Оглянулся на Ткаченко... Опять посмотрел на девушку... Прошел несколько шагов обратно, по направлению к Ткаченко... Встал... Встал и завыл Джуль-барс над-

рывным, волчьим воем, в который вложил он все сомнения, всю тоску, все тревоги своей мятущейся души.

Пэри схватилась за грудь. «Джуль-барс!» — прозвенел крик девушки. Сомнения юнло, как рукой, — Джуль-барс стрелой помчался к девушке, и только один раз на ходу, не удержавшись, оглянулся на Ткаченко. Пэри вынула что-то цветное, запрятанное на груди, и протянула запыхавшейся собаке. Джуль-барс схватил зубами сверток. Девушка что-то коротко сказала своему четвероногому другу, и собака помчалась вдогонку Ткаченко, сжимая сверток в зубах.

Догнав Ткаченко, она запрыгала вокруг лошади, бросаясь на седло. Пограничник стянул повод, остановил коня. Джуль-барс вытянулся, упершись передними лапами в бок коня. В руках у пограничника пара памирских носков с замечательным цветным узором, вытканым любимой на память. Помахал рукой Ткаченко, посылая приветствие Пэри. У ног коня Джуль-барс. Стоит, запрокинув голову с умными карими глазами, и слушает: «Пойдем со мной, Джуль-барс, — говорит пограничник. — Дружить с тобой будем... служить вместе будем... а она... она, наверное к нам приедет...».

Тронул коня пограничник. Стоит Джуль-барс на тропе, запрокинув крутую голову с умными карими глазами. Из-за гор, подпирающих Индию, выплывает тяжелая туча, плывя наперерез солнцу...

День пути оставался до пограничной заставы. Густые камышковые джунгли и заросли джиды пошевеливал прохладный ветерок. Была ночь. Луна, робко пробираясь сквозь тяжелые облака, изредка освещала джунгли, которыми славится побережье реки Пяндж, непроходимые джунгли со звериными тропами, протоптанными в густом камыше. Глеют угольки потухающего костра, у которого спит Ткаченко, не раздеваясь, в полной походной форме, положив под голову седло и обняв карабин, торчащий из-под шинели. Спит на небольшой прогалине, а его расседланный конь па-

сется неподалеку, шагах в пятидесяти-шестьдесят.

Была ночь, но джунгли не спали. Где-то хрустнула ветка и замерла... Пискнули полевые мыши... Где-то далеко-далеко тоненьким фальцетом застрекотали лягушки... Зловеще закричала сова и умолкла... Захлопал крыльями сонный фазан... Порыв ветерка донес издали рокот вод... Истерически всхлипнул ребенок... Это не ребенок, — так плачет шакал... Опять хрустнула ветка... Черный жук толкает впереди себя круглый катышек навоза. Такой небольшой жук, а так хрустнул веткой... Захрюкали поросята. Дикая свинья прошла, хрюкая, ведя за собой целое потомство поросят... Джунгли ночью не спят, живут лихорадочной жизнью камышковые джунгли на побережье Пянджа. Если вслушиваться в ночь, — она полна звуков, эта темная азиатская ночь... И только царь джунглей, королевский тигр, скользит бесшумной тенью меж камышей, мягко переставляя свои лапы-подушки.

Спит Ткаченко, укрывшись длинной кавалерийской шинелью. Под пеплом потухли последние угольки костра. Конь пограничника, продолжая пасть, ушел с прогалины в камыши и здесь сладко дремлет на ногах...

Луна, выглянув на секунду, опять зашла за тяжелые облака. Они с медлительной важностью ползут по ночному азиатскому небу. Склонившись пушистыми кистями, тихо шепчутся о чем-то камыши... Опять хрустнула ветка... Пара светящихся точек появилась в темноте... Мелькнула неясная тень, за ней другая... Две пары светящихся точек... Три... Скользят неясные тени... Захлопал крыльями сонный и глупый фазан... Несколько пар светящихся точек... Они приближаются к тому месту, где сладко и беззаботно дремлет конь... Неясные тени, бесшумно скользя, приближаются... Число светящихся точек увеличивается... Это — глаза, светящиеся во тьме азиатской ночи фосфорическим блеском... Волчья стая крадется к задремавшему коню пограничника... Она движется полукольцом, осторожно пробираясь сквозь камышковые джунгли. Чу!.. Опять хрустнула ветка! Бледный луч

луны, выскользнувшей на секунду из-за облака, осветил огромного, матерого волка с хищно ощеренными клыками, осветил и погас... В ногах у Ткаченко что-то зашевелилось.

Полукольцо светящихся точек сузилось, охватывая коня. Движение волков стало еще осторожней, еще бесшумней... Что-то темное, непонятное отделилось от ног Ткаченко... Спит пограничник, прильнув щекой к зажатому в руке карабину... Еще ближе придвинулись к коню хищные огоньки светящихся глаз... Волчьих острые клыки вцепились в шинель у самого горла Ткаченко, там, где равномерно шевелился в спокойном дыхании кадык... Темная тень промадного волка склонилась над спящим Ткаченко... Луна, выглянув еще на мгновение, осветила вздыбленную бурю шерсть... Белые клыки схватили за руку Ткаченко, он открыл глаза, вскакивая на ноги. Раздался хриплый вой — не то собачий, не то волчий. Темная тень метнулась от Ткаченко, сделав промадный прыжок. Раздался захлебывающийся, пневный лай... Выстрел... Еще один выстрел... И опять гневный лай, знакомый нам лай Джуль-барса, который, разбудив Ткаченко, с хриплым воем ринулся туда, где сжимала в кольцо боевого коня волчья стая.

Конь, с развешивающейся гривой, скачет по джунглям, разрывая грудью камыши. За ним огромными прыжками мчится матерый волк, вожак стаи. На тропинку выскочил Джуль-барс и, перерезав дорогу вожаку волчьей стаи, сшибся с ним грудью. Спешат к месту схватки волки. Выстрел... Второй выстрел... Двое из волчьей стаи катаются по земле в смертельных конвульсиях. На звериной тропе стоит с дымящейся винтовкой Гриша Ткаченко... Бежит трусливая волчья стая... Мчится навстречу Ткаченко по тропинке конь, и рядом с ним Джуль-барс, взволнованный, пневный, повизгивая от нервного напряжения.

Дрессированный конь на полном скаку остановился в двух шагах от своего хозяина. Его бока вздымаются, мелкая дрожь пробегает по тонкой коже. На тропинке, освещенной луною, стоит, запрокинув крутую гордую голову, Джуль-

барс. Он воет протяжно и вызывающе, и победные звуки его воя разносятся далеко по камышевым джунглям на прибрежья реки Пянджа...

2

«Отмечаю успешные действия служебно-розыскной собаки по кличке «Джультбарс», в чрезвычайно короткий срок лично выдрессированной начзаставы N-ского погранотряда тов. Ткаченко Г. Так, 15 августа с. г. при обходе границы Джультбарс обнаружил следы переправы нарушителей и, направившись по следу вглубь нашей территории, настиг пружпу в 12 человек нарушителей-контрабандистов и активными действиями вынудил их лечь на землю и не двигаться с места до прибытия пограничников...»

Это выдержка из приказа по N-скому погранотряду. Она висит на стене в изящной рамке под стеклом над ночной тумбочкой у аккуратно прибранной кровати в чистенькой небольшой комнате. Судя по некоторым признакам, это комната красного командира. На вешалке шинель с пограничными нашивками и одной шпалой. Над кроватью шкура барса, а на ней карабин, шашка, полевая сумка. На письменном столе стопка книг. Судя по корешкам, их владелец интересуется многим: здесь «Война и мир» Толстого, «Учебник таджикского языка», здесь томы собрания сочинений Ленина и «Война будущего» Фуллера, «Сталин по национальным вопросам» и «Согдийские рукописи» изд. Академии наук, «Неизданные стихи Пушкина» и «Поднятая целина» Шолохова, стихи Луговского рядом с «Уставом войск погранохраны», «Жизнью декабристов» и брошюрой «Уход за копытами коня»... Над библиотечкой на стене — портрет К. Е. Ворошилова. Железный нарком улыбается своей мягкой улыбкой... Комната просто и уютно обставлена. На отдельном столике прекрасный радиоприемник, патефон, альбомы с пластинками. На ночной тумбочке у кровати — стопка чистого белья: рубашки, полотенца, платки, а поверх всего носки, прекрасные памирские носки с замечатель-

ным узором, вытканым руками Пэри. В окно видна коновязь и длинное здание коношен заставы N-ского погранотряда.

Белые опрятные домики пограничной заставы, расположенной на стыке трех восточных границ, на подошве холмистой гряды, поросшей желтой осенней сохшейся травой. Мирные будни. Едут с водопою пограничники на неоседланных конях. Поют походную песню. Проезжают мимо низеньких собачьих будок, выстроившихся в два ряда; все они однотипные, выкрашенные в светлые тона. Их штук 20, этих собачьих будок, и земля вокруг них посыпана желтым зернистым песком. Отдельно от этих 20 будок стоит 21-я, более обширная по размерам. На каждой будке с фронтона прибита четырехугольная дощечка с именем собаки — обитательницы домика. Вот будка «Арно», будка «Смелого», «Чижика», «Бека», «Джека»... А над обширной будкой красуется визитная карточка «Джультбарса».

Расставляют коней по коновязи пограничники. Трубоч на вышке сыграл сигнал: «К ужину». В кормушке заложены охапки душистого сена. Лошади ржут, перебирая копытами. Идет развеска ячменя и раскладка по торбам с вышитыми именами лошадей.

А из собачьих будок вылезли обитатели. Это сторожевые и розыскные собаки различных пород — здесь черно-коричневые доберманы-пинчеры, бурые немецкие овчарки и огромные белогрудые псы — овчарки местных пород, ростом с доброго теленка. Они подняли разноголосый лай, встречая пограничников, которые разносят им аппетитный ужин в белых, эмалированных мисках-тазиках.

Трубоч спускается по лестнице с крыши. А на крыше сторожевая вышка, на которой стоит, вглядываясь в даль, пограничник-часовой. Вдали катит свои мутные лессовые воды река, отделяющая границы СССР от соседней восточной страны. Зорко вглядывается в даль пограничник-часовой в полной походной форме с винтовкой. Над его головой трепыхается алый флажок Страны советов. А у ног, на сторожевой вышке, распо-

ложился в своей любимой позе наш старый знакомый, Джуль-барс.

Он скосил карий глаз, заглядывая снизу вверх на пограничника-часового. Тот улыбнулся и вступил в разговор с собакой: «Иди ужинать, Джуль-барс» — сказал он, и собака слабо вильнула хвостом. «Слышишь, иди ужинать!» — повторил он. Собака подняла голову. «Иди, а то ужин остынет... Скоро ведь тебе дежурить» — продолжал пограничник. Собака сладко зевнула, обнажив огромную, усеянную белыми клыками, пасть, и поднялась, потягиваясь всем телом.

Заметно изменился Джуль-барс. Бока уже не впалые, как прежде, пополнел, поправился; почти не заметно прежней раны на боку, разодранном когтями барса; грудь раздалась еще шире, шерсть уже не клочится, — видно, его моют, чистят щеткой. Движения его эластичны и уверенны. Он спускается по лесенке с вышки на крышу, подошел к краю, хозяйским оком осмотрел окрестности, пошел к лесенке, спускается по ней на землю, спокойно перекладывая мохнатые лапы со ступеньки на ступеньку.

Около его будки ждет большая эмалированная миска с ужином. Джуль-барс идет к ней по усыпанной песком дорожке между двух рядов собачьих будок. С достоинством признанного вожака несет свою крутую голову с умными карими глазами. Подошел к своей будке и неторопливо принялся за еду.

Солнце садится на том берегу реки, на чужой территории соседней восточной страны. Собаки уже окончили ужинать и забрались в свои будки. Миски убраны. Поужинал и Джуль-барс. Около его будки стоит пустая белая миска. Сидит Джуль-барс, почесывая лапой за ухом.

Скоро на дежурство... Смеркается... Часы показывают 7 часов вечера. Из белого зданьца вышел пограничник и приложил к губам свисток. Засвистел — Джуль-барс вскочил на ноги и затрусил по дорожке, посыпанной песком. Он трусил солидной рысцой, издавая около некоторых будок короткий лай. И сейчас же после лая из намеченной будки вылезла собака, сладко зевала, потя-

гивалась и следовала за Джуль-барсом. Так, неторопливо, обежал строй собачьих будок Джуль-барс, десять раз коротко залаял, и десять собак, одна за другой вылезши из будок, следовали гуськом за вожакom. Здесь были и доберман-пинчеры, и немецкие овчарки, и огромные сторожевые псы местной породы.

Несколько пограничников во главе с начальником заставы Ткаченко с террасы любовались действиями Джуль-барса. Он неторопливо трусил впереди собачьего строя, и десять собак, держа дистанцию, следовали за ним гуськом.

— Ох и умница! — произнес в восхищении один из группы пограничников.

— Ну-у! — протянул, улыбаясь, Ткаченко. — Надо знать, чей это пес...

— В такой срок так научиться!.. — восхищенно сказал первый.

Джуль-барс остановился на небольшой площадке против помещения штаба заставы. Остановились и все десять собак. Джуль-барс подал короткий «голос», и все десять собак, как по команде, сели мордами к нему. Джуль-барс медленно обежал строй своих четвероногих подчиненных, оглядывая каждого строгими глазами, как инспектор на смотру. У всех собак одинаковые широкие ошейники с металлическими кольцами.

В момент, когда Джуль-барс подошел к левому флангу собачьего строя, одна из собак огрызнулась на соседнюю, и Джуль-барс, подскочив к ней, нанес провинившейся удар своей увесистой, тяжелой лапой. Порядок был восстановлен — собаки застыли, не сводя глаз со своего вожака.

Взрывом хохота встретили этот инцидент стоявшие на балконе.

— Ну и дисциплина! — произнес один из пограничников.

— О-о-о! Он такой, — сказал Ткаченко, и в голосе его зазвучали теплые нотки. — Talent! Ведь только подумай — три месяца, как мне его подарили... Сам разводит собак, ночью проверяет посты!..

Джуль-барс уже подал «голос» своей команде и, заняв головное место в собачьей колонне, побежал деловитой рысцой, ведя гуськом за собой четвероногих подчиненных.

Белые домики заставы остались позади. Бежит Джуль-барс, а за ним десять собак. Вот и река, широкая, полноводная река. Бежит Джуль-барс, вожак собачьей команды, вдоль берега реки, посередине которой возвышается на отмени пограничный столб с надписью: «СССР». Река изобилует отмелями и перекатами. Пустынный берег, по которому ведет в сумерках свою команду Джуль-барс, порос кое-где кустарником.

Бежит вожак Джуль-барс, за ним — гуском десять собак. Одна отделилась, осталось девять, бегут... Отделившаяся легла за куст. Бежит Джуль-барс, а за ним — уже восемь собак. Отделилась вторая, залегла в яму. Семь собак сопровождают Джуль-барса. Отделилась третья, занимая свой пост по охране границы. Шесть... пять... четыре... Тает число собак, следующих в затылок Джуль-барсу. Отделяются собаки, занимая свои сторожевые посты и маскируясь.

Остался один Джуль-барс. Уже темно. Он стоит, вглядываясь в чужой берег, и прислушивается к рокоту вод, вносящимся в воздух. Пошел, прибавив шаг. Мелькнули огни заставы... Джуль-барс поднялся на террасу, толкнул лапой дверь и вошел в ярко освещенную комнату начальника заставы N-ского погранотряда Ткаченко. Ткаченко оторвался от книги, повернулся:

— А, Джуль-барс, расставил посты? — спросил он, ласково поглаживая собаку, которая положила свою голову на его колени. Вздохнул Джуль-барс, печально заглядывая карими глазами в лицо друга.

— Что, моя собачка?.. Вспоминаешь их?.. — спросил тихим голосом Ткаченко. — И я скучаю... тоскую по ней, — произнес он со вздохом... — Ну, потерпи, ведь они обещали приехать к нам в гости... Время уже быть каравану, скоро закроются перевалы, а от нее нет никаких известий, Джуль-барс, — продолжал Ткаченко, а собака слушала внимательно, заломив сторожкое ухо... — Я ведь ее люблю, Джуль-барс... Мы, понимаешь, дали друг другу слово... — признается Ткаченко своему четвероногому другу.

Приветливо шевелится пушистый хвост собаки-волка. Задумался, загрустил, подперев щеку, пограничник Григорий Ткаченко. Вспомнилось прощание на горной тропе с любимой девушкой Пэри.

Откуда-то издали несет мелодичный звон бубенцов. Это не бубенцы разудалой российской тройки, захлебывающейся в быстром беге, — это совсем другое. Это — медленный, тягучий звон в ленивом ритме неторопливых, спокойных движений, даже не движений, а, скорее, поступи.

Он все ближе и ближе, этот разногласный и величественный хор звуков, рождающихся от ударов металла о металл. Разный тембр, разные тона, разные характеры и настроения сотканы в причудливый узор звучаний умирающего экзотического Востока. Здесь и медь тончайших подносов, и серебряная трель озорного бубенчика, и резкие ноты цимбал, и тупой басовый ропот чугунного колокольчика со свинцовым языком. И вся эта гамма звуков ползет над вершинами суровых пиков, кутающихся в серые плащи облаков, стелется над бешеными горными речками, прорвавшимися сквозь расщелины скал, сползает по отвесным стенам зияющих мраком пропастей, фантастическим эхом переключаясь по горным долинам.

Из этих звуков рождается караван, нескончаемой змеей разметавшийся по тропинке, убегающей, сколько хватает глаз, в горы. Верблюды, как бусинки, продетые на ниточку, кажутся игрушечными с далекого расстояния, как бы не двигаясь с места... Но стоит подойти ближе — и перед вами с горделивой важностью продефилируют, степенно переставляя огромные мохнатые ступни, верблюды, навьюченные мешками, ящиками, тюками с мануфактурой, сельскохозяйственными орудиями. На изогнутых шеях они с достоинством несут свои огромные головы с презрительно оттопыренными губами, обнажающими желтые громадные зубы.

Нескончаемо длинен этот караван, ведающий в страну, которая 8 месяцев в году, с закрытием снежных перевалов, бывает отрезана от всего мира, запасы

продогольствия и товаров на всю осень, зиму и весну. Медленно шагают верблюды, соединенные один с другим грубой шерстяной веревкой, привязанной к колышкам, продетым через ноздрю. В конце каравана несколько пеших ведут под уздцы горячих, неоседланных коней (это племенные лошади, для улучшения породы присланные в этот далекий горный край). Впереди каравана степенно следует каравановожатый на дородном сером ишаке, а рядом мелко семенит ножками старенький осел Шо-Мурада, позади которого сидит, держась руками за дедушкин пояс, Пэри.

Караван, звеня разноголосыми бубенчиками, подвязанными к шее верблюдов, любовно украшенных ожерельями из белых и голубых фарфоровых бус, взбирается на гребень перевала. Отсюда тропа, извиваясь змеей, убегает вниз, в глубокое ущелье, исчезая за каменными уступами. Спуск крутой и тяжелый, верблюды осторожно переставляют ступни. По бокам каравана едут на ишаках погонщики-вьючники, перекликаясь гортанными голосами. В самом конце каравана обнаруживаем мы знакомого, низкогобого детину, перевозчика Абдулло, которого рвал на берегу реки Джулбарс за нападение на Пэри и Ткаченко. Он ведет разговор на ходу с одним из погонщиков, смуглолицым юношей, длинные босые ноги которого, свисая по бокам ишака, едва не задевают землю.

— Какая это жизнь, — говорит Абдулло, скривив губы. — Мой брат счастливее меня... Он удрал из этих проклятых мест через реку, на ту сторону границы и великолепно живет!..

Флегматичный длинноногий парень тычет острым концом палки в ишакий запряжок, понукая животное: «Х!.. тц!.. тц!.. тц! Хэ! тц!.. тц!..» Ишак лениво лягается, вскидывая задние ноги, и упорно не прибавляет шагу.

— Была мельница — отобрали! — продолжает Абдулло. — Занялся перевозом — обложили! Тьфу!.. Пришлось наняться в этот караван...

В голове каравана семят ножками два ишака. На одном красуется каравановожатый, старик в опромном барань-

ем тулупе, с седой патриаршей бородой, и Шо-Мурад, который, не расставаясь со своим охотничьим ружьем с рогулькой, пристроил его сбоку, к широкому ишачьему седлу. Ведут разговор старики о том, о сем. Разговаривают церемонно и напыщенно-вежливо, так, как умеют разговаривать старики только на Востоке.

— Удивляюсь я, почтеннейший Шо-Мурад. Почему вы перевозите сей уважаемый край? Здесь я не нахожу для жизненного преуспеяния ничего, кроме камней и совершенного отсутствия дорог, — важно изрекла патриаршья борода.

— Здесь тысячи дорог, надо уметь их видеть, ваше превосходство! Отсюда, например, по тропам напрямик до границы — два часа ишачьей езды, — произнес Шо-Мурад, указывая палкой на запад. Пэри мечтательно взглянула туда, где исчезал, умирая за горизонтом, багровый закат.

— Через три-четыре дня, доведя караван до места, я поеду с внучкой в гости на границу, — прибавил Шо-Мурад, перехватив взгляд девушки.

— Ходатайствую перед вами, уважаемый, повергнуть от меня пожелания счастливого, здоровья овцам, верблюдам и другим членам хозяйства ваших родственников на границе, — произнес изысканно-вежливый старик, шевеля нависшими бровями.

— У меня, собственно, нет там родственников... Мы едем в гости к одному молодому... — начал было Шо-Мурад, но осекся вдруг смущенно. Внучка сзади ущипнула дедушку в бок, удерживая его от излишней болтливости.

— Понятно! Понятно!.. — закивал патриаршей бородой каравановожатый. — Позволительно ли будет мне надеяться, что в недалеком будущем вы будете иметь удовольствие возить позади себя на ишаке, кроме внучки, еще и правнука? — тонко намекнул старик, с добродушной усмешкой взглянув на девушку.

Шо-Мурад, смутившись окончательно, забормотал что-то невнятное. Пэри спрятала вспыхнувшее лицо за спину девушки.

Солнце исчезло уже за горизонтом. Вечерняя тьма, торопливо сбегающая с гор, окутывала ущелье, в котором располагался на ночлег караван. Погонщики, переключаясь гортанными голосами и немилосердно дергая за веревки, сажали верблюдов на колени, спружая тяжелые выюки. Верблюды ревели, возмущенно ворочая горбатыми головами на длинных, изогнутых шеях.

Уже трещали костры и клочкотало сало в чугунных котлах, партиями вели с водопоя верблюдов погонщики. Они шли снизу и возникали внезапно из тьмы, вступая на отрезок тропы, ярко освещенной пламенем костров, и тени верблюдов принимали фантастические очертания пляшущих доисторических бронтозавров.

Пэри в задумчивости медленно идет по тропинке вниз. Наверху, на площадке, шагах в двухстах от Пэри, горят костры, вокруг которых двигаются силуэты людей и животных. Девушка приостановилась... Вот так же убежала тогда вниз горная тропа. Так же робко журчал где-то меж камней маленький ручеек, и по тропе спускался небрежной кавалерийской походкой вразвалку Григорий Ткаченко, а за ним шагала дрессированный конь... По такой же тропе он уехал, ее возлюбленный, и метался в сомнении Джуль-барс...

«Гриша... Джуль-барс... Что они делают сейчас?» — думает девушка...

Если б могла она проскакать сейчас какой-нибудь час-полтора на хорошем коне, что не боится висящих над пропастями узких карнизов, если б могла взобраться на скрытый ночной темнотой перевал, перед ней замерцали бы вечерние огни заставы N-ского погранотряда. Если б заглянула в одно из освещенных окон, увидела бы уютную комнату со скромной мебелировкой и барсовой шкурой на стене над кроватью; увидела б, что за письменным столом, ярко освещенным настольной электрической лампой, сидит предмет ее мечтаний — Гриша Ткаченко. Складка залегла на переносице ее возлюбленного. Он сидит, подперев рукой лоб, и читает книгу «Основы тактики и стратегии» генерала фон-

Клаузевиц и делает на полях отметки карандашом.

Но вот, как и каждый вечер, скрипнула дверь, которую толкает лапой Джуль-барс, входя в комнату. Обернулся Ткаченко. «Алло! — протягивает он приветливо. — Мистер Джуль-барс, плис! Ау ду ю ду? — Всегда так шутит Ткаченко, приветствуя своего друга по-английски, и, переходя на русский язык, спрашивает: — Посты расставлены?» Джуль-барс визжит и по-щенячьи тявкает от удовольствия, садится рядом с пограничником на полу и кладет свою голову на любимое место — на колени Ткаченко. Так сидит он, не шелохнувшись, ворочая умными глазами и изредка вздыхая от любви.

Ткаченко, отрываясь от книги, закуривает папиросу. Дым кольцами вьется над абажуром настольной лампы. «Что-то не едут наши, Джуль-барс, — произносит вполголоса Ткаченко, следя за тем, как кольца, разрываясь на тоненькие нити, растворяются в воздухе... — Не едут, говорю, — продолжает он, погладив собаку по голове. — А ведь скоро закрываться уже перевалам. Может, Шо-Мурад не пошел в этом году с караваном?» — спрашивает он у собаки. Хвост Джуль-барса чуть-чуть виляет по полу.

Взглянул на часы Ткаченко. Уже девять вечера: «Ты бы поспал немного, Джуль-барс. Тебе через три часа проверять посты. Иди, полежи на ковре, а я заведу с тоски пластинку, что ли...»

Джуль-барс, поднявшись, подошел к кровати и лег на ковер, постланный на полу. Он лежал в любимой позе, удобно положив на голову вытянутые сильные лапы, и слушал:

В нашу комнату вы часто приходили,
Где нас двое — я и пес Дуглас,
И кого-то из двоих любил...
Только я не знаю — кого из нас... —

крутится блестящий диск пластинки. Играет патефон.

... А на горной тропинке встреча. Абдулло ведет с водопоя одну из племенных лошадей, следующих с караваном. Увидев Пэри, остановился, огля-

делся по сторонам, — никого нет, — силуэты спокойно сидящих у костров людей шагах в двухстах-трехстах...

— Здравствуй, красавица! — проговорил он, приблизившись к девушке. — Почему ты меня все избегаешь? Молчишь? — Он огляделся еще раз и быстро зашептал над ухом девушки: — Бежим со мной за границу... Лошади есть... Отсюда часа полтора езды...

Пэри отшатнулась, но Абдулло, схватив ее за руку, страстно зашептал:

— Одну тебя... В шелку будешь ходить, куплю колец, браслетов... Брат у меня там... Бежал при отступлении эмира... Богатый!.. Любить тебя буду как!..

— Ты — любить?.. Тебя — любить? — промолвила Пэри, вырывая с отвращением руку. — Я люблю другого! Я еду к нему. Пусти! Пусти! А то сейчас закричу.. Пусти, говорю! — крикнула она с возмущением и, вырвав руку, быстро зашагала по тропинке к кострам.

Абдулло, вскочив на коня, догнал ее и внятно произнес, нагнувшись:

— Если пикнешь хоть слово кому-нибудь, задушю и тебя, и твоего старика вот этими руками... — и он протянул к ней огромные, скрюченные пальцы. Пэри отшатнулась, прижавшись спиной к скале.

Тихо на горной площадке. Спит величавый каравановожатый, завернувшись в огромный бараний тулуп. Там и здесь спят намаевавшиеся за дорогу погонщики на кошмах, посланных у догорающих костров. Не спят верблюды, — вытянув шеи, они жуют отвислыми губами свою жвачку, с достоинством ворочая головами.

Абдулло поднял голову, приподнялся на локте. Тихо на горной площадке. Все спят. Сел Абдулло, внимательно огляделся. Вынул острый нож из кожаной кобуры на поясе. Отрезал кусок кошмы, на которой лежал только-что. Пошел, согнувшись, держа в одной руке нож, в другой — кошму.

Идет, крадучись, Абдулло в дальний конец площадки. Здесь тоже догорающий костер и силуэт человека, сидящего к нему спиной. Человек дремлет, сидя у костра. Разомлел от жары, от

усталости и заснул, сидя, держа подмышкой винтовку. Это один из погонщиков, дежурный. Он охраняет тюки мануфактуры, племенных лошадей, которые с хрустом в зубах едят сено, наваленное прямо на тюки.

Абдулло, стараясь держаться в тени, подкрался к сидящему дежурному. Взмахнул ножом... но не ударил, заметив, что дежурный спит. Осторожно обошел его, прокрался к лошадям и присел в тени на короточки. Быстро разрезал ножом кошму на четыре куска. Обматывает копыта одного из коней этой кошмой. Готово! Теперь — к тюкам с товарами...

Дежурный клюет носом, спит... И вдруг Абдулло, вспоровший один из тюков, в котором оказались куски шелка, замечает, что он просыпается... Одним прыжком перескочив через потухающий костер, негодяй кинулся на человека, не сбросившего еще с себя окончательно сна.

Рот дежурного зажат одной рукой. Взмах второй руки — и нож погрузился в грудь погонщика по самую рукоять. И когда выпала винтовка и с коротким криком задергался человек, мы узнаем флегматичного длинноногого юношу, с которым вел в пути разговор о жизни Абдулло. Юноша повалился на землю, задергался и застыл. Торчат из-под драного халата босые пятки...

Перекинув винтовку через плечо, Абдулло вскочил на коня и бесшумно отделился от костра. Ночь поглотила фигуру всадника на неоседланном коне...

Лагерь спал безмятежным сном. Не спали только верблюды. Вытянув длинные шеи, они жевали свою жвачку, шевеля презрительно оттопыренными губами.

Спит и Григорий Ткаченко в своей комнате на заставе. У изголовья тикают часы, показывая 1 час 10 мин. утра. Мощный фокот вод слышен издалека. Широкая река плещется на отменях, журчит на перекатах. Ночь темная, безлунная...

В эту темную ночь Джуль-барс совершает обход своих собачих постов. Он покидает ярко освещенную комнату де-

журного по заставе и уходит в ночь к реке...

А к берегу реки пробирается темный силуэт всадника. Бесшумно ступают копыта коня, обмотанные толстой кошмой. Ночь... Шумит река: плещется на отмелях, журчит на перекатах.

Джюль-барс бежит по берегу реки, чутко вслушиваясь в звуки ночи. Его уши настроены. Он то и дело опускает морду к земле, вбирая в себя запахи.

В яме, неподалеку от берега, лежит доберман-пинчер. Он тоже вслушивается в ночь, шевеля коротко обрубленными ушами. Насторожился. Вытянул шею, вглядывается... Над ним вырос огромный силуэт собаки-волка. Доберман-пинчер приветственно завилял маленьким обрубок хвоста. Это Джюль-барс проверяет, не спят ли его четвероногие дозорные.

Всадник под'ехал к самому берегу реки. Приостановился на секунду, прислушался. Шумит река — плещется на отмелях, журчит на перекатах. Всадник соскользнул с коня, пригнулся, разматывает кошму с копыт коня. Это — Абдуло, убийца погонщика.

А шагах в двадцати пяти от него за кустом лежит собака. Она спит сладким сном и не замечает всадника, который по пологому берегу осторожно в'ехал в воду. Собака спит и видит во сне то, что было с ней наяву. Она огрызнулась в строю на соседнюю собаку, а строгий Джюль-барс нанес ей лапой удар за нарушение дисциплины.

Всадник уже выехал на отмель и переходит вброд мелкий перекат. Журчит вода под копытами коня.

Силуэт Джюль-барса вырос над спящей собакой. Он смотрит на нее, укоризненно поблескивая своими умными карими глазами. Тихо заворчал. Собака проснулась, вскочила, увидела Джюль-барса и, виновато поваливая задом, легла на свое место. Джюль-барс отошел.

Он не прошел и 20 шагов, как насто-рожился. Движение его стали нервными и еще более бесшумными. Он уткнул нос в землю и, закружившись на одном месте, повернул обратно от реки... Про-бежав десятка полтора шагов и круто

повернувшись, вернулся обратно. Обню-хав еще раз подозрительное место, он ринулся к реке и застыл. Он внимательно обнюхал кусок кошмы... Вот и дру-гой, такой же...

Джюль-барс исчез. Он пропал за ми-нуты полторы, не больше, и вернулся не один. Он ведет за собой пограничника с винтовкой на-изготовке. Собака ука-зала человеку на кошму и повела его к самой воде. У воды — следы конских ко-пыт. Человек, пригнувшись, прикрыл шинелью след и осветил его под ши-нелью электрическим фонариком.

— Это не местная лошадь — слишком крупный след, — пробормотал погранич-ник.

А Джюль-барс нашел еще два куска кошмы и обнюхал их, придя в необы-чайное волнение. Пахнет лошастью и еще кем-то, очень знакомым. Кем же пахнет? Необычайное волнение охватило Джюль-барса, — очень знаком этот враждебный запах! Вспомнил! (В памяти Джюль-барса молниеносно промелькнула сцен-ка на берегу горной речки, когда, по приказанию Пэри, он бросился на че-ловека, душившего Ткаченко. От кошмы пахнет этим человеком.) Джюль-барс пришел в необычайное волнение и, бро-сившись к следу, спускающемуся в реку, зарычал неожиданно.

— Что с тобой? Тише! — зашептал, вскочив, пограничник.

Шинель распахнулась. Свет от элек-трической лампочки упал на собаку. Че-ловек, перешедший границу, уже выез-жал на тот берег. Он увидел освещен-ную светом электрического фонарика собаку. Человек ухмыльнулся и поднял коня в галоп.

С рассветом на стоянке каравана под-нялась тревога. Погонщики, галдя и раз-махивая руками, окружили труп своего убитого товарища. К месту происш-ствия спешил степенный старик-карава-новожатый в сопровождении Шо-Мура-да. Последний взял из рук одного из проводников нож с запекшейся кровью и внимательно осматривает его лезвие и рукоятку.

— Нехватает одной лошади, нет вороного жеребца! — вскричал кто-то в

ту минуту, когда к месту происшествия подбежала Пэри.

— Этот нож, — сказал медленно Шо-Мурад, — выделан в наших краях.

— Он! Это он! — вскричала в волнении Пэри. — Это он убил и, похитив лошадь, бежал за границу, звал меня с собой...

— Как? — спросил старик-каравановожатый, подняв седую, мохнатую бровь. — Как? — повторил он, обращаясь к Шо-мураду. — Ваша внучка знала о том, что готовится убийство, похищение казенной лошади и бегство, и ничего не сообщила нам?

Шо-Мурад растерянными, умоляющими глазами обводит суровые лица погонщиков.

— Мы повезем с собой труп до места назначения каравана, — строго произнес каравановожатый, — и передадим его вместе с девушкой следственным властям. Повернувшись спиной к Шо-Мураду, он медленно и важно пошел...

— Разрешите доложить, товарищ начальник! Сегодня ночью в секторе «А» имел место переход границы неизвестным конным, обнаруженный Джуль-барсом... — рапортует дежурный, вытянувшись перед начальником заставы.

— Вы правы, — сказал Ткаченко, рассматривая кусок кошмы с выдавленным отпечатком подковы, — местные лошади не имеют таких копыт, да и подкова не местная, она — с шипами. Ткаченко показывает дежурному на то место, где выдавлены шипы.

... А караван продолжает свой путь по горам, растянувшись на целый километр. Удары металла о металл рождают разноголосый и величественный хор звуков. Здесь и медь тончайших подносов, и серебряная трель озорного бубенчика, и резкие ноты цимбал, и тупой басовый рокот чугунного колокольчика со свинцовым языком. И вся эта гамма звуков ползет над вершинами суровых пиков, кутающихся в серые плащи облаков, стелется над бешеными речками, прорвавшимися сквозь расщелины скал, сползает по отвесным стенам зияющих мраком пропастей, фантастическим эхом

перекликаясь в долинах. Гордо и важно дефилируют верблюды, медленно переставляя огромные мохнатые ступни, украшенные помпонами и ожерельями из голубого фарфора, верблюды, навьюченные мешками, тюками и ящиками. На одном из верблюдов раскатывается подвязанный поверх мешков труп, завернутый в кошму, из которой торчат голые пятки мертвого длинноногого юноши.

Едет на ишаке старик-каравановожатый, храня строгое молчание. Семенит ишачок Шо-Мурада, который робко произносит:

— К вечеру достигнем Ущелья Слез... Там басмачи убили моего сына и еще десять юношей, сердца которых были открыты для бедняков и закрыты для богатых.

Молчит строгий старик. Не отзывается. Прячет за спину дедушки заплаканные глаза Пэри...

Опять ночь, и опять шумит пограничная река. Плещется вода на отмелях, журчит на перекатах. В темноте произносит вполголоса человек:

— Надо переходить выше, там глубже, но, по-моему, безопаснее. Вчера я видел как-раз против этого места человека с собакой...

Группа всадников в темноте. Их человек пятнадцать-двадцать. На головах чалмы, халаты крест-накрест опоясаны патронташами. Среди них Абдулло, одетый и вооруженный так же, как они. Группа тронулась гуськом вдоль берега реки.

Остановились. Готовятся к переправе. Привязывают винтовки к седлам, завязывают узлом хвосты лошадей, приторачивают скатанные халаты. Каждый надевает на себя пояс с двумя громадными пустыми тыквами. Это — вместо пробкового пояса, употребляемого для плавания.

Первым вступил в воду Абдулло, ведя под уздцы украденного накануне жеребца. Плещется вода, журчит на перекатах. Один за другим спускаются в воду спешенные всадники.

Здесь глубоко. Вода уже достигла груди Абдулло, а он выше всех, —

остальным по горло. Фырча, плывут лошади. Шумит река.

Мокрый Абдулло достиг берега. За ним выходят из воды остальные. Хранят молчание. Одеди винтовки. Торопливо режут на куски кошму, обматывают копыта коней, чтобы не оставить за собой следов. Готово! Можно садиться. Ночь поглотила всадников. Все тише и тише всплески и журчание, и ропот вод пограничной реки.

... В Ущелье Слез расположился на ночлег караван. Ущелье узкое, как горло кувшина, замкнуто с четырех сторон отвесными скалами: один выход и один вход. Спят погонщики на своих кошмах, укутавшись с головой в теплые ватные халаты. Жуют губами верблюды... Ярко горит костер, около которого сложены грузы, охраняемые двумя безоружными дежурными. Единственную имевшуюся в караване винтовку похитил прошлой ночью Абдулло.

Ворочается на кошме Шо-Мурад, не может уснуть. Не спит и Пэри, расположившаяся на ночлег рядом с ним. Придивнувшись к дедушке, она шепчет:

— Понимаешь, дедушка, он грозил задушить и тебя, и меня, если я скажу... Он еще раньше приставал ко мне...

Растерянные, печальные глаза у старика:

— Они могут не поверить тебе, внучка, — говорит он тихо. — Ну, спи, спи! Если что-нибудь случится, я поеду к нашему гостю и попрошу его помощи. Красному офицеру никто не осмелится не поверить...

... А всадники во главе с Абдулло уже подехали к горам. Под копытами лошадей — каменная тропа, можно снимать кошму с копыт: камень не оставляет следов... Едут гуськом по тропе, гарцуя на конях, — разбойничья банда. Переговариваются:

— Товаров там хватит каждому из нас на всю жизнь, еще останется. А верблюды!.. — говорит Абдулло.

— Главное — благополучно переправиться обратно. С ними-то мы справимся легко, а вот как будет на границе... — произносит едущий рядом с Абдулло

человек с сабельным шрамом на лице.

— Границу я знаю, как свои пять пальцев. Для меня перейти — плюнуть! Только помни условие: помимо своей доли, я получаю девушку, — говорит Абдулло.

... Часы показывают ровно 12 часов ночи. Ткаченко оторвался от книги, обернулся и произнес:

— Вам время на работу, товарищ!

Поднял голову Джуль-барс. Он лежит на своем излюбленном месте — на ковре у кровати. Встал, потянулся могучим телом, сладко зевнул. Зевнул и Ткаченко, потянувшись на стуле. Джуль-барс подошел к другу, потерся мордой о его колено и пошел к двери.

Джуль-барс спустился по ступенькам с террасы во двор заставы и деловитой рысцой затрусил в ночь...

... Беспорядочные винтовочные выстрелы прорезали ночную тишину, эхом отдаваясь в ущелье, где расположился на ночевку караван. Один из дежурных, сидевших у костра, повалился навзничь, другой бросился бежать; но пуля его догнала и сбросила с тропы вниз на острые камни. Верблюды заревели, тяжело поднимаясь на ноги. Сонные погонщики, сбрасывая с себя халаты, испуганно протирали заспанные глаза. Старик - каравановожатый, всплескивая руками, задергал себя за бороду, не понимая, что происходит вокруг. Шо-Мурад крикнул Пэри:

— Прячься! Беги вниз!

И, мешкаясь, стал шарить руками, ища свое охотничье ружье. Он забыл, что ружье с рогулькой так и осталось привязанным к седлу ишака...

В Ущелье Слез с гиканьем влетела банда. Копыта коней бешено зацокали по камню.

Дрожаящими от волнения руками старик Шо-Мурад пытается развязать узел веревки, которой привязано его ружье к седлу, брошенному с вечера на землю.

— Беги, говорю тебе! — говорит он девушке, которая не отходит от своего дедушки, помогая ему развязывать проклятые узлы.

Верблюды сбились в кучу так же, как

и погонщики. Бандиты, соскакивая с коней, сгоняют погонщиков к костру, за которым только-что сидели дежурные. Подняв руки вверх, идет к костру, приседая от страха перед дулом винтовки, каравановожатый.

— Брось! — раздался повелительный окрик над головой Шо-Мурада, и глаза его увидели черное дуло винтовки. Полуотвязанное охотничье ружье старика осталось на ишачьем седле.

— Здравствуй, моя голубка, — насмешливо произнес тот же голос, — заждалась наврное, ожидаючи меня, своего дорогого мужа...

Нагло улыбающийся Абдулло склонился над Пэри. Девушка закрыла лицо руками.

— А тебя мы расстреляем, дорогой тесть, за попытку оказать нам вооруженное сопротивление, — услышала она. — Тоже «сочувствующий»!

Джульт-барс в волнении кружился на одном месте. Влажный ил, образовавшийся нанос у самого берега реки, был весь испещрен следами конских копыт и человеческих ног. Эти следы возбужденно нюхал Джульт-барс, похожий при бледном лунном освещении на огромного волка. Он едва слышно повизгивал, и тело его дрожало от волнения.

Он нюхал следы на пустынном берегу реки, едва освещенные бледным светом лунного блика, поднимая голову, выжидательно глядя в темноту и вновь опускающая ее, вбирая в себя чутким холодным носом запахи следов, оставленных на иле. Тихо взвизгнув, Джульт-барс пробежал по следу шагов десять-пятнадцать и остановился, пригнув морду и фыркая ноздрями. Шерсть медленно поднималась дыбом на хребте собаки-волка, образуя страшный воротник на шее. Джульт-барс нашел кусочек кошмы, от которого пахло знакомым запахом его заклятого врага — Абдулло. Он, и никто другой, прикасался руками к этому маленькому кусочку войлока, обнаруженному Джульт-барсом.

Обнюхав в последний раз войлок и тихо взвизгнув, Джульт-барс, не отрывая носа от земли, побежал в ночь. Отпечатки конских копыт исчезли, —

Джульт-барс ориентировался теперь только по одному запаху, который оставили обмотанные кошмой копыта коней.

Ночь. В темноте едва белеют домики заставы. Застава спит мирным сном. Спит Ткаченко, дышит ровно и спокойно. Тихо тикают часы у его изголовья, на ночной тумбочке.

В комнате дежурного по заставе тоже тикают стенные часы. Не спит дежурный, смотрит на часы, — без четверти два. Поворачивается к своему помощнику, произносит:

— Почему нет до сих пор Джульт-барса?

Помощник смотрит на часы, недоумевающе пожав плечами, ответил:

— Да, ему пора бы уже вернуться...

Джульт-барс далеко... Луна, выбравшись из-за облаков, осветила предгорья хребта... На каменистой тропе стоит Джульт-барс. Он уткнулся носом в землю, обнюхивает что-то... Много кусков кошмы набросано на тропе. (Здесь бандиты сняли с копыт кошму, — камень не оставляет следа.) Джульт-барс тщательно обнюхивает каждый кусок кошмы, медленно передвигаясь... Опять вздыбилась шерсть, образуя воротник на шее собаки. Все куски кошмы он обнюхивал спокойно, а в этот внюхивается с явным волнением. Вот другой, такой же... третий... Четыре куска кошмы привлекли особенное внимание собаки-сыщика. Джульт-барс даже взвизгнул, найдя четвертый кусок. К этим кускам прикасались те же руки, которые оставили свой запах на кошме, найденной прошлой ночью на берегу реки. От этих кусков идет запах его врага, Абдулло... Он размотал эту кошму с копыт своего коня на тропе, — Джульт-барс не ошибся.

Собака ринулась вверх по тропе, не отрывая носа от почвы. Бледный лунный свет осветил силуэт собаки-волка, и она исчезла, как привидение, за поворотом...

Ночь. Едва белеют в темноте домики пограничной заставы. В комнате дежурного по заставе яркий свет. Часы показывают два часа. Дежурный говорит по телефону.

— Сектор «А»? — говорит дежурный. — Был у вас Джуль-барс на обходе? Был? Во сколько? В 0 часов 45 минут? Больше не видели?

Дежурный кладет трубку и снова ее поднимает.

— Алло, Иванов? Был у тебя Джуль-барс сегодня? Во сколько? В 1 час 5 минут?

Дежурный кладет трубку, смотрит на часы: уже 2 часа 5 минут ночи. Нет Джуль-барса. Дежурный хмурится. Смотрит на часы помощник, тоже хмурится.

— Может, он забежал прямо к товарищу начальнику? — говорит дежурный.

Помощник встает, направляясь к двери.

Движения Джуль-барса по-волчьи бесшумны. Он крадется, изогнувшись, осторожно переставляя мохнатые лапы с замшевыми подушками подошв. Взобрался на скалу. Пополз к краю. Осторожно заглядывает вниз.

Видит Джуль-барс: внизу ярко горят четыре костра, освещая ущелье Слез. У одного из костров лежат связанные по рукам и по ногам люди. Среди них старик — каравановожатый. Ужас в его глазах. Сторожат пленников двое бандитов с винтовками.

Видит Джуль-барс: к другому костру стаскивают бандиты ящики, мешки, тюки... Одни подтаскивают, другие разбивают ящики, осматривают содержимое, вспарывают тюки, выясняя, что ценнее, а что не стоит везти.

Видит: один из бандитов со смехом выбрасывает из ящика пеналы, массу изящных ученических деревянных пеналов. Другой сыплет пеналы в костер... Горят пеналы... Ярко вспыхнули грампластинки, — целый ворох пластинок бросил в костер один из бандитов, и все захотали.

Вот тюки с литературой. Их вспарывает сам Абдулло, с руганью высыпая содержимое. Масса книг: «Русская азбука», «Таджикская азбука», «Учебник географии», «Арифметика», сельскохозяйственные брошюры: «Что сеять на Памире», «Почему плуг лучше омача?», томики Ленина, «Сталин — о зажиточ-

ной жизни в колхозах», художественная литература. Масса тюков с книгами. Их вываливает в одну кучу Абдулло. Навалил целую гору и острит:

— Мы разведем костер и поджарим на нем всех «сочувствующих»! Пусть поджарятся в собственном соку! — острит Абдулло, и все хохочут.

Видит Джуль-барс: тюки с мануфактурой и другими ценными товарами бандиты стаскивают к третьему костру; здесь же выючат верблюдов...

И еще видит Джуль-барс: у четвертого костра лежат рядом связанные два человека — мужчина и женщина. Вглядывается Джуль-барс сверху, вытягивает голову. Что-то знакомое чудится ему в этих двух, лежащих рядом... Это Пэри и ее дед — Шо-Мурад.

Джуль-барс пополз обратно на животе. Сполз со скалы, и, пригнувшись, пошел осторожно, бесшумно переставляя мохнатые лапы на мягких замшевых подушках. Крадется Джуль-барс вниз, к кострам...

Часы в дежурной комнате на пограничной заставе пробили: раз, два, три. Три часа! Дежурный поднял телефонную трубку:

— Сектор «А»! Сектор «А»! Товарищ Никитин, вышлите сейчас же дозорного по берегу до сектора «Б». Предупредить, что навстречу ему выйдет дозорный из сектора «В».

Дежурный опустил трубку и вновь поднял ее.

— Алло! Иванов! Вышлите дозорного по берегу до сектора «А». Внимательно осмотреть местность!

Дежурный опустил трубку и повернулся к помощнику.

— Пойду будить начальника. Надо доложить, что Джуль-барс исчез...

Джуль-барс крадется к костру, у которого лежат связанные Пэри и Шо-Мурад. Собака окользят бесшумной тенью, прижимаясь к каменной стене и держась в ее тени. Шагах в двадцати-двадцати пяти от костра собака легла на живот. Полоса света шириной в один-два метра перерезает ее путь. Одним молниеносным прыжком Джуль-

барс пооскочил эту коварную полосу и пополз опять на животе, приближаясь к цели.

— Пошевеливайтесь живей, — кричит Абдулло бандитам, стаскивающим тюки с мануфактурой к верблюдам. — Нужно с рассветом покинуть это проклятое место.

Вместе с главарем банды человек, лицо которого изуродовано сабельным шрамом, — они садятся в стороне на ящик и совещаются:

— Старик знает здесь каждую тропку, — говорит Абдулло, — я его ставлю нас вывести в такое место, где мы переждем день, чтобы границу перейти завтра ночью.

Главарь банды поднял расщепленную бровь.

— А если он откажется?..

— Если он откажется, мы его вздернем на веревке, — отвечает Абдулло.

— В крайнем случае поведу я, — говорит главарь банды, — мне эти места тоже немного знакомы. В это ущелье я заманил лет пятнадцать назад одиннадцать сопляков из большевистского добротряда и всех кокнул...

Джюль-барс подполз к Пэри и Шо-Мураду и осторожно завилал хвостом. Они лежат спиной и не видят его. Собака ткнула носом в спину девушки, ткнула носом и лизнула ее закрученные за спиной руки. Ужас на лице Пэри сменился недоумением. Девушка со связанными руками и ногами делает движения, чтобы перевернуться и посмотреть, кто это лижет ей сзади руки.

Свет костра падает на Джюль-барса. Задняя половина его тела в тени.

Пэри вдруг заметила, что к ним приближается Абдулло. Тело ее приняло то же положение. Девушка так и не увидела, кто шевелился за ее спиной.

Шерсть опять поднялась на загривке собаки, — Джюль-барс увидел Абдулло. В горле набухал готовый заклокотать гневный ком. Собака бесшумно отползла назад. Теперь она скрыта темнотой; только глаза горят в темноте фосфорическим блеском.

Не дойдя нескольких шагов до старика и девушки, Абдулло остановился,

как бы что-то вспомнив, и пошел обратно.

Как раскаленные угли, горят глаза Джюль-барса. Прижавшись всем телом к каменной стене, он будто врос в скалу.

Электрические фонарики освещают почву у самого берега реки. Плещется, журчит вода, — шумит пограничная река. Согнувшиеся силуэты пограничников бродят по берегу, освещая почву карманными электрическими фонариками.

— Их было человек двадцать, — произнес кто-то тихо в темноте.

Следы, много конских и человеческих следов в том самом месте, где вылезла на берег банда. Электрические фонарики осветили отпечатки конских копыт и следы человеческих ног. Пригнувшиеся силуэты изучают следы.

Полоска света от электрического фонарика упала на маленький след. Это не конский и не человеческий. Среди конских и человеческих следов — четкий отпечаток больших собачьих лап.

— След Джюль-барса, — произнес вполголоса начальник заставы Ткаченко. — Такое впечатление, что неизвестные при переходе реки наткнулись прямо на него.

— Может, он убит, — тихо послышалось что-то предположение.

— Вполне возможно, — сдавленным голосом произнес Ткаченко и пошел от берега, освещая уходящие вглубь советской территории следы. Прошел, согнувшись, шагов пятнадцать-двадцать, выпрямился. Следы исчезли, провалившись, как сквозь землю.

Суровая окладка залегла у губ Ткаченко.

— Эх, если б был Джюль-барс, — произнес он, — он бы раскрыл тайну, куда исчезли следы.

Опять подполз Джюль-барс к спине девушки. Облизал ее связанные руки, обнюхал веревку... (Теперь уже свет от костра не падает на собаку — она лежит в тени.) Обнюхав веревку, Джюль-барс склонил голову набок и попробовал узел на зубы. Осторожно смыкая

челюсти, Джуль-барс грызет веревки, связывающие руки Пэри. Пальцы девушки притрагиваются к голове собаки, ощупывая ее.

— Джуль-барс, — прошептали еле слышно ее губы. В глазах вспыхнула радость и надежда...

Острые белые клыки собаки перегрызли веревку, связывающую руки девушки, и они ласково треплют голову собаки. Джуль-барс, не изменяя своей позы, облизывает руки девушки, едва слышно повизгивая радостным визгом.

Вдруг пальцы девушки насторожились, застыли. К костру, у которого лежат Пэри и Шо-Мурад, приближается Абдулло.

Шерсть медленно встает дыбом на загривке собаки. Руки девушки крепко обхватили ее морду, призывая не издавать ни звука. Джуль-барс затаил дыхание, прильнув еще плотнее к земле. Абдулло подходит к костру, щелкая нагайкой по сапогам.

— Имею возможность предложить вам, дорогой тесть, выгодную комбинацию. Через пару часов мы тронемся, и ты поведешь нас по таким тропинкам, которые ты знаешь, в такое место, где мы можем в безопасности переждать день, до наступления темноты, — говорит он, присев на корточки против старика.

Руки Пэри еще крепче сжали челюсти собаки. Джуль-барс закрыл глаза...

— Как хочешь, — сказал Абдулло, вставая, — дорогу мы найдем и без тебя. Я хотел спасти тебе жизнь... Всех расстреляем, а тебя повесить придется, дорогой тесть, за упрямство...

Ужас в глазах Пэри. Пальцы ее сжимают челюсти Джуль-барса... Закрыл глаза старик Шо-Мурад, стариковские глаза, подернутые влагой. Не выдержали нервы.

— Придется отложить до утра выяснение всего этого дела, — говорит начальник заставы дежурному. Комната дежурного ярко освещена электричеством. Стенные часы показывают 3 часа 40 минут.

— Держите непрерывную связь с секторами, — говорит, направляясь к

двери, Ткаченко, — если будет что-нибудь новое, дайте мне знать немедленно...

Пэри приподняла голову, провожая взглядом удаляющегося Абдулло. Последний, подойдя к костру, куда подтаскивали тюки и вьючили верблюдов, готовя их к выступлению, крикнул:

— Живее, живее! Вы копаетесь, как кроты!

Засновали, засуетились бандиты: одни тащат тюки, другие разбивают ящики, осматривая их содержимое, и определяют, что есть ценного, что можно увезти с собой.

Пэри, осмотревшись, перевернулась на другой бок и припала к собаке.

— Джуль-барс, мой Джуль-барс, — шептала она, прижимая голову собаки к своей груди, — почему ты один, а где же он? — лепетала она.

Приветливо двигается пушистый хвост собаки. Но глаза ее, загорающиеся фосфорическим блеском, устремлены к кострам, вокруг которых суетятся бандиты, грабители каравана.

Джуль-барс, взвизгнув мягко, схватил зубами за платье Пэри и потянул. Девушка взглянула на собаку. Джуль-барс потянул еще настойчивее, как бы приглашая девушку бежать, следовать за собой.

— Я не могу бежать, Джуль-барс... Я не могу бросить дедушку. Они его убьют сейчас же, как только увидят, что я бежала, — шепчет она растерянно собаке, которая умоляюще тянет девушку за платье, приглашая ее бежать.

— У меня завязаны ноги, — прошептала в отчаянии Пэри. И, внезапно повернув голову, заметила, что, отделившись от костра, к ним направляются Абдулло и человек с сабельным шрамом на лице в сопровождении двух бандитов с винтовками в руках.

Девушка резко повернулась к собаке.

— Беги, Джуль-барс, — зашептала она прерывистым шопотом, — беги скорей! Спешу к нему! Пусть он придет к нам на помощь!

Джуль-барс, заломив ухо и склонив немного набок голову, внимательно

вглядывался в лицо девушки, стараясь разгадать смысл торопливых слов, которые она произносила.

— Беги! — сказала Пэри, указывая рукой назад, в ту сторону, откуда появился Джуль-барс.

Абдулло и человек с рассеченным лицом приближаются к пленным в сопровождении двух вооруженных бандитов. Их лица не предвещают ничего доброго. На их лицах мрачная угроза...

Собака бесшумно отползла назад. Ее глаза загорелись фосфорическим блеском. Загорелись и погасли.

К белому зданию штаба пограничной заставы в ту же ночь под'ехало двое всадников. Спрыгнув с коня, один из них поднялся по ступеням лестниц на террасу и, позванивая шпорами, вошел в помещение дежурного.

— Джуль-барса нет нигде, товарищ дежурный, — сказал он, прикладывая руку к козырьку фуражки. — Следов прорвавшейся конной группы также нигде не обнаружено, — промолвил пограничник.

Дежурный взглянул на часы: 4 часа утра.

— Ну что ж, — сказал он, в задумчивости отводя взгляд от часов. — Через часа полтора начнет светать...

Джуль-барс возник из тьмы, как при видение. Он стоит на краю обрыва и смотрит вниз, на мерцающие огни родной пограничной заставы. Бока его вздымаются от быстрого бега, высунутый из пасти язык болтается, свисая на добрые 10 — 15 сантиметров. Сердце бешено колотится в груди. Слиплась шерсть. Он весь мокрый, вспотел и, как видно, очень устал.

Простояв одно мгновение, Джуль-барс помчался вниз по тропе. Он мчится огромными прыжками, тугой пружиной отталкиваясь от земли, туда, где мерцают огни.

— Скажи, по какой тропинке нам нужно идти, иначе мы зажарим тебя с внучкой живьем. — Это произносит негодяй Абдулло, склонившийся над связанным стариком Шо-Мурадом.

Пылает огромный костер из книг. Шелестит, свертываясь и серея, бумага. Языки пламени лижут странички с печатным текстом.

— Скажешь? Скажешь? — захлебывается в злобе человек со шрамом на лице, хлеща нагайкой беспомощного старика.

— Не убивайте его! — кричит истерически Пэри, заламывая руки.

Грубые руки подхватили старика и девушку...

Джуль-барс сразмаху влетел в комнату дежурного по заставе. Дверь, с треском распахнувшись, оглушительно хлопнула по стене. Собака, остолбенев от яркого света, полсекунды стояла и ринулась вон из комнаты.

Ткаченко спал полураздетый, прикрывшись длинной кавалерийской шинелью, когда в комнату влетел Джуль-барс. Он сразмаху бросился на кровать, стащил с друга шинель и твякнул над ухом так, что Ткаченко сразу проснулся, сбросив ноги на пол и звякнув шпорами. С Джуль-барсом творилось нечто необычайное. Он бросился на грудь пограничника, с тромким лаем носился по комнате, кидался на кровать и на стену, где на барсовой шкуре висел карабин, маузер в деревянной кобуре и шашка начальника погранзаставы. Он лаял тревожным и захлебывающимся лаем, носясь по комнате, как угорелый, и сбивая предметы. Волнение собаки передалось Ткаченко.

Торопливо натянув гимнастерку, он пристегнул шашку, револьвер и с карабином в руках выскочил вслед за собакой.

— Тревогу! — коротко отрезал он дежурному.

Дежурный бросился к телефонной трубке:

— Седлать! — также коротко бросил он в трубку.

Джуль-барса уже не было. Он мчался мимо знакомых домиков к конюшне, где при свете фонарей дежурный взвод быстро и скоро седлал коней. Джуль-барс носился, как одержимый, визжа, бросался на людей, хватал за ноги лошадей, мягко покусывая их так, как

будто бы они задерживали выезд пограничников.

Ткаченко вскочил на коня. Джульбарс ринулся вперед, в ночную тьму.

В Ущелье Слез горел огромный костер из книг. Пламя освещало узкую площадку, на которой сбились в кучу навьюченные верблюды, тревожно ворочая длинными шеями. Звенели колокольцами. Шли последние приготовления к отъезду. Бандиты крепили веревками вьюки.

— Отрезать эти побрякушки! — приказал человек со шрамом, и несколько человек бросилось выполнять его приказание. На землю с жалобным зноном полетели колокольчики и бубенцы.

В нескольких шагах от огромного костра из книг лежали связанные Пэри и Шо-Мурад. Жар обдавал их лица, и пот солеными струйками стекал в рот...

— Значит, не скажешь? — спросил еще раз старика человек с рассеченным лицом и коротко добавил, отвернувшись. — Сначала повесить старика, а потом... расстрелять их!

И он указал на жалкую кучку связанных погонщиков...

Два бандита подошли к Шо-Мураду. В руках одного из них шерстяной аркан с петлей на конце.

— Умоляю тебя, спаси дедушку! — взмолилась к Абдулло Пэри. — Я... я... согласна быть твоей женой, — воскликнула она, и из ее глаз брызнули слезы.

— Он омрачит наше счастье, голубка. Мы с ним расходимся в политических убеждениях, — загоготал негодяй.

Сереет небо. Летит по горной тропинке Джульбарс, как стрела, выпущенная из тугой тетивы. Язык его высунут. Бока вздымаются. Сердце бешено колотится в груди. Выскочив из-за поворота, мчится по горной тропинке вверх Джульбарс, а за ним, на бешеном карьере, скачут на конях пограничники во главе с Ткаченко. Тропа узка и обрывиста, — малейшее неправильное движение, и конь со всадником полетят в пропасть, в которой бушует горная речка.

Сереет небо. Светает. Тяжелые тучи важно ползут над седыми суровыми пиками хребтов, окутанных туманами.

Сверху четко видно все то, что творится внизу, на узкой площадке Ущелья Слез. Догорают костры. Предраассветный ветерок зашевелил серые, истлевшие в огне странички книг, сожженных в костре. Высятся огромная куча пепла. Дымятся переплеты книг...

И видно сверху, что караван завьючен и готов к выступлению; и еще видно — взобрался один из бандитов на скалу и привязывает к цепкому деревцу орчи шерстяную веревку, на конце которой висит петля. Ведут к петле старика Шо-Мурада с завязанными назад руками.

Джульбарс все больше и больше сбавляет темпы своего бега и переходит в рысцу. Ткаченко стягивает поводья разгорячившегося коня. Пена комьями спадает с лошадей на каменистую почву.

Движения Джульбарса становятся все медленнее и медленнее. Он уже идет шагом, прижав уши и оглядываясь назад на пограничников. Остановился. Лег...

Ткаченко рукой подал сигнал: «Спешиться!» Коноводы принимают лошадей и отводят их в сторону.

Джульбарс лежит в настороженной позе, нетерпеливо оглядываясь на Ткаченко, который, осмотрев в бинокль местность, отдает шопотом приказание: «Занять вход и выход из ущелья».

Джульбарс пополз, приглашая Ткаченко следовать за собой. Пополз Ткаченко и с ним два снайпера-пограничника с ручными пулеметами.

А внизу, на площадке, болтается петля. К петле, подгоняя прикладами, подводят старика Шо-Мурада бандиты. Надо на что-то поставить старика; надо что-то выбить из-под его ног, чтобы повесить...

Абдулло нашел выход из положения. Один из бандитов встал на четвереньки. Дрожащие ноги старика Шо-Мурада на спине вставшего на четвереньки бандита. Двое конных продевают петлю через голову старика.

Джунь-барс подполз к краю скалы, нависшей над ущельем как-раз против того места, где вешают Шо-Мурада. Ткаченко и два снайпера, подползшие вслед за Джунь-барсом, увидели, что петля уже продета, что сейчас «живая табуретка» уйдет из-под ног Шо-Мурада и все будет кончено. Можно стрелять в людей, но это не спасет уже старика, — веревка прочно привязана к арке, петля охватывает горло.

Ткаченко тихо сказал что-то снайперу. Тот залег за пулемет. Секунда — и пулемет, прострочив ниточку по скале, перерезал веревку, и Шо-Мурад свалился на спину своего палача.

Сейчас же, как только раздались выстрелы в обоих концах ущелья, появились из-за скал дула ручных пулеметов. Бандиты оказались в ловушке.

— Бросить оружие! — скомандовал сверху Ткаченко, взмывая руки с зажатыми в них бомбами.

Одним прыжком Абдулло бросился к Пэри и, подняв ее, выставил впереди себя, как щит. Освободив одну руку, он выхватил нож и замахнулся, чтобы всадить в спину девушки, как вдруг заревел, выпуская ее. Сзади в его затылок вцепился своими страшными челюстями Джунь-барс и, повалив великана на землю, грызет его, рвет, как тогда, на тропинке.

Оставив лежать обезвреженного врага, Джунь-барс бросился на остальных бандитов. Он мечется, как дьявол, по узкой площадке ущелья, хватая то одного, то другого; летят клочья халатов, брошены винтовки, — обезумевшие от страха и боли люди валяются на животы, пряча лицо от собаки-дьявола.

И когда Пэри бросилась на грудь Гриши Ткаченко, блеснул солнечный луч, и над ущельем низко-низко с победным гулом закружились три самолета с пятиконечными звездами на крыльях.

Мастера

Роман

Г. НИКИФОРОВ

(Продолжение ¹)

VII

Карпухины успехи крупнели с каждым днем, он хорошо научился служить (а может быть, и прислуживаться), еще лучше умел угождать хозяевам. А пустырь между тем заселялся, и как-то незаметно отошли в сторонку буйные травы. Во всем том, что происходило на пустыре, прозорливые люди видели знамение времени: многих виденное огорчало, многих радовало. В дворянских поместьях и угодьях уже бродила тревожная мысль о реформах, и кто там был поумнее — бежал в города искать счастья и удачи, иные в Питер, иные в Москву; сами хозяйства не вели, лишь получали исправно с крестьян оброк, мечтая увековечить такое свое положение. Говорили о новых веяниях, о купце, который все прибирает к рукам. Передавали пугающие слухи: как «по российскому пустырю» гуляют широкие пожары крестьянских восстаний.

Вздыхали:

— Ежели освободить — пережгут всех, перережут. Не освободить — на вилы подымут, по бревнышку размечут.

Но еще мирно позванивали колокола московских церквей, и молилось «о преуспейнии» начинавшее жиреть купечество.

— И скажи ты мне, для-ради души успокоения, за коим бесом развели здесь хозяева твой шум этот? — допрашивал Алфей Сусекин Карпуху. — Птиц распугали, небо копотью запорошили, а толку я что-то и не вижу совсем.

Алфей был явно недоволен и громко выразил свое недовольство, но еще тлела надежда, что все как-нибудь утихнет, и пустырь опять возникнет во всем своем великолепии.

— Гы-ы! — посмеялся Карпуха. — Чисто ты маленький... Мы тут такой ли бардадым (слово, пойманное Карпухой в разговоре мастеровых) разведем, приходи, кума, любоваться. — Поглядел на птицелова. — Малиновок-то ловишь?

— Утесняют жизнь, — продолжал рассуждать Алфей, — а что к чему, никто не знает...

В этот момент достиг его слуха карпухин вопрос, возмущив человека своей нелепостью.

— Какие же в эту пору малиновки? Надо спрашивать со смыслом. Теперь пора щеглят дожидать. Хы! малиновки, чудачок, в мае прилетают, и опять же — какие малиновки? Садовые или, к примеру, лесные.

Сусекин увлекся «птичьим» разговором и не замечал карпухиного равнодушия. Птицелова радовали тугая осенняя улыбка и паутинный в небе дым. Завод с огнедышашей вагранкой, железный со-

¹) См. «Новый мир», кн. 6, с. 8.

дом и голосистый ныне кабак Халявина казались ему дерзостным умыслом неведомого лиховеда, имя которого (чего и не подозревал Алфей Сусекин) было — время. Высоко, в полнотелой синеве пролетали чижи; разнобойное щебетанье их сразу привлекло внимание птицелова: просветленная улыбка на губах его была, как беспредметная молитва, в которой не был упомянут идол.

— Чижи,—сказал он и, проследив путь их, пошел за бугорок, в сторону далекой лесной полосы.

Поблекшие травы встречали птицелова поклонами, из лесу вышла навстречу ему скорбная осень, а позади дымил завод единственной трубой своей, и тяжело вздыхала паровая машина, пел еще вентилятор, раздувая жаркую утробу вагранки.

Карпуха проводил Алфея снисходительной усмешкой и немедленно забыл человека. Принюхиваясь к дымку завода, он открыл свой особый, уже привычный мирок, где властвовал голос слесарного мастера, Доната Перелькина.

— Э-э, Сань-Ваня, живы будем, все добудем!

Чтобы добыть свое счастье, Карпуха бежал по заводу, исполняя поручения Фридриха Ивановича, мчался «на своих-на двоих» в город, а вечерами одолевал грамоту, чуя в ней первоисточник всякого успеха. Читал стихи, не понимая их смысла, лишь прислушиваясь к тому, как звучат ловко «слаженные слова:

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.

Осень, действительно, наступила, в слесарной мастерской было холодно. Рабочие козыряли всеми святителями, упоминая в родословной их одну-единственную мать, работали с припляской, чтобы как-нибудь согреться, дули в закопченые пальцы с приговором:

— Хоть бы печь догадались поставить, кол вам в дышало!

— Эко диво! — говаривал иногда Фридрих Ланге.—Мы платим деньги, значит, нечего растабаривать. Работайте веселей, вот и согреетесь.

Отзывал Карпуху в сторонку.

— Ты поглядывай тут, а которые разговорами занимаются, примечай.— Шлепал парня для отвода глаз по затылку:—Гляди у меня, уши выдеру!

— Слушаю-с, Дрикс Иванович,—охотно соглашался Карпуха,—догляжу.

Плаксиво скорчив физиономию, выжимая «слезинки на плутовские глаза свои, жаловался:

— Пропадать мне, я вроде сирота, отец в неизвестности.

— Мы, брат Карпуха, у нашего бога все сироты,—сочувственно утверждали рабочие,—ты не тужи: наживем ременные гужи — повесимся...

Оставшись в своей сторожке, слушая осенние запевы, по-взрослому мечтал Карпуха. Полюбив свое уединение и мечтая, принимался сочинять нечто пользительное, для продажи чувствительным купчихам или купцам, благополучно, с подобающим приличием, проводившим близких своих на кладбище. Зарабатывал парень на людской притворной скорби, сам научившись притворяться, принимая житейскую эту науку, как талантливый актер принимает выгодную для себя роль. Так сочинил он однажды неутешной купчихе стишок:

В младых годах, свет вольный покидая,
Меня ты в небесах, супруг любезный, не забудь.
Я над могилою твоей, в горечи рыдая,
Душевно боль замкну в истерзанную грудь.

Расчувствовавшись, поплакал сам, со всем уж настоящими слезами, зато и торговался с купчихой до остервенения. Купчиха к тому времени сумела приглушить первоначальную скорбь и больше полтины к условленной трещине не прибавила. Так впервые узнал Карпуха подлинную цену творческому вдохновению.

Все шло своим чередом по неписанным законам жизни: братья Ланге поощряли улыбками оборотистого Фридриха, а старательный мастер Донат Перелькин неукоснительно проводил в жизнь отчетливую мысль хозяев: каждое движение рабочего брал на учет, малейшая задержка в производстве приводила его в бешенство, минута, проведенная рабочим

за куревом, вызывала со стороны регивого мастера змеиное шипение.

— Отдыхаешь? — с ехидной ласковностью спрашивал Донат отирающего пот рабочего. — Ну, ну, отдыхай, Сань-Ваня. Работа не медведь, в лес не уйдет.

Добывал из кармана потрепанную тетрадочку.

— Сейчас я тебе отметочку, Сань-Ваня, сделаю, — приговаривал он, — за курево в рабочее время четверть денечка сбросу... Дорогонько тебе табачок обойдется.

Рабочий бросал цыгарку.

— Да ведь я, Донат Евстигнейч, кажись, изо всей силы гоню. Неужели четверть дня?

— А ты как думал, мать-хвать! — распалаясь, кричал Перелькин. — Ты будешь раскуривать, а хозяева за тебя работать, — так, что ли, Сань-Ваня?! Нет, ангелок, этак дело не пойдет, за такую работу за дверь турманом...

За дверями, между прочим, уже похлестывала снежная метель, как бы усмиряя человеческую непокорность, то есть опять-таки шло, как положено, своим чередом. И самым трезвым свидетелем происходящего был семнадцатилетний Карпуха, ему именно и подмигивали рабочие с дружеской доверчивостью.

— Слышал, браток? Четверть дня с трудовых счетов долой.

Грозили в спину Доната:

— Сволочь несусветная, все для хозяев старается, а тут инструменту нет: как хошь, кружись, один напилек на десятилетиях...

Карпуха мог бы записывать все слышанные им ругательства, он их просто запоминал, но, запомнив, отбрасывал с пренебрежением высокого сочинителя, которому нужен был материал исключительно для продажи приличным покупателям.

— Петька, ты куда, чортов кум, сверло попер? Заведи свое, ребра поломаю...

— Ну, ну, раззява, захлопни хлеба, сам сдачи дам! Подумаешь, какое дело: сверло!

Материал был явно негодным. Карпуха, прислушиваясь к тому, как свистала за стеной привастая метель, думал, что в жизни его уходящий день этот будет

самым незначительным, ибо не удалось услышать такого слова или разговора, который можно было передать, по скрытой должности своей, Фридриху Ивановичу и тем отличиться, в чаянии награды и хозяйского расположения.

Позванивали молотки, повизгивали стертые напильники, ныли сверла, пахло железными опилками. Донат Перелькин господствовал тут, как некий средневековый властелин, чуя, однако, что имеются еще всевидящие глаза Фридриха Ланге, подчиняться которому почитал слесарный мастер за высшее для себя приятство; и, случалось, в самозабвенном усердии терял он грань между рабом и господином, и гордость Доната была гордостью из одной чаши благополучия с хозяевами...

— Наше дело святое, — шумел он, — от казны заказы получаем, так-то вот! У нас в договоре обозначено: «Мы, нижеподписавшиеся, Московская городская управа, и, значит, мы, завод братьев Ланге...» — Ставил колесом грудь: — Вот оно куда сига-нуло.

В то время, в февральские беспутные вьюги, и подняла невеселую свою голову царская свобода. Оброчный Карпуха стал вольным человеком в семнадцатилетнем возрасте, но воли своей никак не объявил, продолжая продавать ее по мелочам братьям Ланге.

Время течет, как вода в мелководной реке: где через перекаат хлещет, где омут ищет, приляжет к берегам и не шелохнется: еще два года промахнули, буд-го ветры пронеслись.

Фридрих Ланге, жох и скупердяй, говорил братьям своим:

— Теперь, можно сказать, дорожка открыта. Копейка на копейку, рубль на рубль полезет. Катеньку сунешь кому надо, четыре других придут. Казна — это не Фомка с Еремкой...

— Орудуй, голуба, орудуй! — похихатывал Павел. — Я всегда надеялся: господь-бог да царица небесная не оставят.

— Оно, ежели господь-то бог, да еще с городской управой, так и совсем ладно, — иронизировал Генрих.

Веселую братья встречали весну. Дела пошли на широкий охват, об оград-

ках могильных думать забыли. Качнулась после Крымской войны тихоходная Россия, глянула через плетень на Европу и задумалась. Кумекали, мерекали государевы слуги: отстала Россия на сто годов от Европы. Решили: поспешать надо, а то как-раз на задворках очутишься. Тут еще недавние крепостные: там, слышь, бунтуют, в другом краю помещика по ветру пустили, сами в леса ушли, многие в Туретчину подались. В городах тоже неладно: кто промыслом занимался, вольнонаемных рабочих требовал, чтобы не кнутом людей на работу гнать, а нуждой.

Весна хорошая, улыбчивая. Братья Ланге озирали Москву. Дымит город высокими трубами фабрик и заводов (построились — будто из земли выросли).

Фридрих, наблюдая необычное оживление города, задумывался все чаще и все мрачней (так с ним бывало всегда перед веселыми делами предстоящей работы), в задумчивости оттакал Карпуху за то, что носил парень несуразные мысли обзавестись семьей в девятнадцать лет и попытался в несчастливую минуту испросить разрешения.

— Дурень,—сказал Фридрих, сдувая с цепких своих пальцев карпухины волосы,—зачем тебе Алевтина? Собрались тоже — два гольша, у обоих ни шиша. Умственной ловкости у тебя нет.

— Да-с, кому счастье, кому счастье,—посочувствовал Перелькин плачущему Карпухе.—А может, у тебя, действительно, умственной ловкости нет? Ты подумай...

Тяжко болев мыслями и ревматизмом, Фридрих, поздно возвращаясь домой, брякался на диван, грязный, огромный, нелюдимый. Ночью стонал и ворочался.

— Уж попросил бы ты лекаря, что ли, чем так маяться-то,—замечала жена, Татьяна.—Ведь не только себе, другим покою не даешь: и кряхтишь, и охаешь... Чистое наказание!

— Ладно тебе! Спать захочешь,—успокоил Фридрих жену.—Лекаря, матушка моя, просить, деньги нужно платить.

— Велики деньги: трешница!

— Хм!—невольно улыбался Фридрих.—За трешницу у меня иные рабо-

чие целую неделю чертоломаят. Вот тебе и трешница!

Поднимался, совал ноги в теплые валенки, уходил в чистую половину. Тяжелый, в одном белье, накинув пальто, он часами шагал от стены до стены по ковровым дорожкам, мучительно думая над вопросом: как же обойти других, выскочить вперед?

— Мелочью занимаемся, мелочью...—бормотал он.

И вдруг лицо его расплывалось в широкой и несвойственной этому человеку улыбке. Объяснилась она потом, может быть, через месяц (любил Фридрих попридерживать мысли свои), в игристом разговоре братьев.

— Я, голуба, веру имею в нашего Фридриха, голова у него вместительная,—доказывал Павел старшему брату, Генриху.

Генрих поднимал мечтательные глаза свои, останавливал их на лице Павла.

— Ну?

Павел смеялся, смех был младенческий, крошился. Длинный нос Павла в минуты особого веселья нырял в густые усы.

— Что ты, голуба, нукаешь? Ты не нукай, я тебе правду доказываю: раз Фридрих задумался, значит, чего-нибудь измыслит.

Фридрих измыслил.

А перед тем случился еще разговор, очень краткий, рассчитанный на взаимное понимание с полуслова:

— Глядишь, Карпуха?

— Гляжу, Дрик Иваныч.

— Сарай-то деревянный, литейная недалеко, и, кроме того, рабочие тут, пьяницы и трубокуры все, не доглядишь — сожгут. Хотя и застраховано, а все-таки...

— Так точно, Дрик Иваныч, сожгут-с,—соглашался Карпуха.

Братьям Фридрих объявил:

— Будем изготавливать лесопильные рамы.

— Ну? — полюбопытствовал Генрих.

— Еще станки всякие: токарные, сверляльные, строгальные, болторезные... самое выгодное дело.

Чутьочку Генрих стал внимательней

(играл он всегда хорошо в равнодушные), отошел в сторонку и так, издали, стал кружить около сарая, который в утробе своей не вмещал, конечно, замыслов.

Фридрих неотступно следовал за старшим братом своим, продолжая гудеть:

— Люди мои говорят, будто в каждом городе заводилки образуются. Проверяя я — выходит правильно, действительно.

— Сарайчики, — заводилки! — явно насмешничал Генрих.

— Ну?

— Убрать надо, убрать, — догадался Фридрих.

— Тогда и станки можно будет изготовлять, — выразил свое одобрение молчаливый Генрих, останавливаясь как-раз на бугорке, откуда была видна одинокая алфеева хата.

VIII

Карпуха высоко ценил фридрихову науку, она была сильнее весеннего поэмы, соблазнительнее раздумчивых майских ночей, заманчивей соловьиного свиста Алевтины, который звал Карпуху ежечасно, и, может быть, потому и ожесточилось его сердце, а голова работала наперекор любовному влечению. Он собрал как бы в горстку все лучшее, что могло быть в человеческой душе, и, казнясь и торжествуя, пошел, молчаливо попрощавшись с прошлым, в ту сторону, где плясала, бесстыдно обнажившись, краснорожая выгода. Должно быть, дальнейшее поведение Карпухи было для него чистейшим наслаждением.

В зеленый праздник троицы веселился особенно шумно трактир Сидора Хаялина. Ночью жгли у рожицы костры и разноголосо пиликали гармошки. Карпуха читал Алевтине убедительные стишки о любви, и Алевтина находила, что Карпуха самый красивый на всем свете и самый необыкновенный.

Говори, ни на миг не смолкая,
Бесконечно, мой друг, говори.
Нас заставит молчать, разлучая,
Суета восходящей зарни...

Подарок старого казачьего офицера для Карпухи оказался лучшим любовным пособием.

— Любишь ты или так говоришь? — спрашивала Алевтина.

Карпуха, как бы в душевной простоте, стал уверять всеми словами, что любит до бессонницы и сновидений, самых несуразных и соблазнительных.

— Вроде у меня душа из тела выпала, и хожу я на манер чумового. Чем хочешь, побожусь! А ежели не веришь — уйду в дальнюю сторону, не увидишь меня до гробовой доски...

Карпухино сознание было уже тронуту книжными описаниями любовных приключений, и целил он в самое чувствительное место женского сердца, которое истекает, если не любовью, так жалостью.

Алевтина после таких слов не требовала уже клятв и уверений. А вдруг и в самом деле уйдет Карпуха в чуждальную сторону, и не увидит его Алевтина до гробовой доски?

Она кладет его голову к себе в колени, она еще стыдится целовать Карпуху. Потом как-то случается, что все уже становится нестыдным, очень близким и таким естественным, даже необходимым, после чего каждая, самая незначительная отметинка, самая крохотная черточка на лице милого бывает дороже жизни.

Карпуха определил и наметил дальнейшее поведение свое так же, как это проделывал птицелов Алфей, когда, накрыв сетью кусты, вспугивал птицу. Метнувшись, она застревала в петельках, беспомощная и вялая (алфеевы уроки угодили в благодарную почву); тогда птицелов брал птицу в руки, и если птица была стоящая, отсаживал ее отдельно, чтобы не смешать с другими.

Карпуха говорил в эту троицыну ночь сначала жалостно, упирая на чувство, потом слова его приобрели оттенок покровительственный, а под конец он держался полновластным хозяином.

— Отец у тебя, Алевтина, вроде над землей летает, даже чудно. Сдохнуть-помереть, правда, ты меня слушай. Землянка ваша скovyрнется набок, ее продать надо — за что, ни за что. Я и по-

купателя найду. Мы тогда в город, тут вот с краешку и поместимся у кого-нибудь. А птицы что ж? За птицами и оттуда ходить можно, запрету нет.

Тут Карпуха пустился расписывать, как все будет хорошо, когда они заживут вместе, вроде как на виду у солнышка. Говорил он до тех пор, покуда у Алевтины не обозначились на глазах слезы покорности и простодушной доверчивости к его словам.

Отбили часы полночь. Безмолвные, поверженные наземь, расслабленные водкой, мастерские валялись по пустырю. Бродили в небе отяжелевшие тучи, пошвыстывал теплый ветерок, продираясь через кусты.

Карпуха пришел к Алфею с приготовленными словами обольщения и ласковости.

— Сироте на земле завсегда места не оказывалось,—сказал Алфей, выслушав Карпуху. Улыбнулся и глаза бессонные распахнул.—Ночки-то стоят, боже ты мой милостивый!

Поднял птичий садок, выставил на свет лампы:

— Гляди, одна к одной, и все малиновки!—похвалился он.—Эх, птицы ты не понимаешь, Карпуша, душа у тебя ожелезила... Нет? Ах ты, друг ты мой, куст зеленый! Я в кустах-то нынче до полночи просидел, ну и не задаром же.

Играя веселыми и необычайно легкими словами, Алфей приволок охалку свежескошенной травы, бросил в сенях.

— Ты тут ложись, утром-то пораньше поднимемся: ты — на работу, я — на охоту. Ты не тужи больно, мы с Алевтиной тебя пожалеем.

Выбежал на улицу и, вернувшись, сообщил весело:

— Ночь — будто шуба теплая, темная-претемная, и шевелится.

Ночь, действительно, шевелилась. Карпуха слушал, как широкогрудый ветер бился о стены хаты и, перевалившись через крышу, буйствовал на пустыре. Карпухе думалось в эти минуты хорошо и складно. Все припомнилось ему, и последний с Фридрихом разговор, простой, очень доходчивый, понятный такой разговор:

«— Глядишь, Карпуха?

— Гляжу, Дрикс Иваныч...

— Сарай-то деревянный, литейная недалеко, и, кроме того, рабочие тут, пьяницы и трубокуры все, не доглядишь — сожгут. Хотя и застраховано, а все-таки...»

Полуденов поднялся, выглянул на улицу. Ветер взметывал тяжелые тучи, пахло отсыревшей пылью, болотной закисью, еще потной травой. Темень густая, беспутная, будто бы землю, как пивную бочку, перекатила в глухой, отсыревший подвал. Все тропинки лежали в карпухиной памяти отчетливо и ясно, однако пошел Карпуха, доверяясь исключительно чутью своему, и не ошибся, уткнувшись как-раз в стену сарая. Выдавил стекло в раме, просунул голову. Сердце постукивало, как на молитве, тихо и ровно, и чадил к тому же вместо ладана тепловатый, в железном чане, керосин. Огонь мигнул сначала мышинным глазком, потом метнулся в сторону, пополз вдоль стены...

В сенцах алфеевой хаты стоял зеленый, троицын дух. (У реки, на пригорках, росли богородская трава, шалфей и чемерица.) Карпуха притворил дверь, лег и укрылся дерюгой; сейчас только услышал он бой сердца. Хотел было подняться, чтобы удостовериться, хорошо ли выполнил тайный замысел Дрикса Иваныча, но тотчас же успокоился, когда в отдалении густо и упряжающе гаркнул гром, и тьму пронизала молния. Карпуха перекрестился, лишь только хлынул дождь, а гром, уже выскочив на середину пустыря, раскололся огненными черепками.

Утром между разметанных и потухших головешек стоял одиноко токарный станок, рабочие разыскивали инструмент, и метался тут же Фридрих Ланге, талантливо изображая волнение на счастливом лице своем. Так произошло это мелкое дело, не отмеченное даже в столичных газетах, и все же Карпуха Полуденов, негласный исполнитель хозяйских помыслов, отметил, что отсюда и начались его настоящие жизненные успехи.

Через два месяца (не прело-поспело) на месте сарая возвышался бревенчатый

корпус в два этажа. Внизу весело погромыхивали четыре токарных станка, два строгальных и два сверлильных, а наверху работали веселые кустромичи-модельщики. В конторке-пристройке бойко щелкал на счетах очконосый канцелярист. И все, конечно, шло своим порядком. Лишь однажды Фридрих Ланге, встретив Полуденова, вдруг задумался, оголил глаза.

— Ты вот чего, — сказал Фридрих, не заметив и тени смущения на лице «доверенного», — чего обормотом ходишь? Не у кого-нибудь, — у братьев Ланге служишь.

Вытащил бумажник, сунул Карпухе скомканную трешницу:

— Возьми, оденься.

Карпуха после этого, действительно, принарядился; он стал удивительно ловким в кургузовом пиджачке, высоким в смазных сапогах, красивым в суконной фуражке с лаковым козырьком. Конторщик, Епимах Лазаревич Киндеев, скучнейший «словолой» и горький запивоха, завидев Карпуху, перенес в удивлении очки свои с переносицы на лоб и забормотал витиеватую несурязицу:

— Достолубезный юноша, дозволю смиренно излить душевное умиление перед тобою ничтожному смерду, сиречь Епимаху Киндееву, каковой Епимах вчера возмях, ныне таит надежду опохмелиться. Воззри же, сколь в очах моих трепетного страха, и угости страждущего Епимаха.

Высморкался, отер слезу, заговорил грезю:

— Ты, Карпушенька, не женишься ли, кой грех? Или, может, именинник?

— Не бормочи! — сурово оборвал Карпуху пьяньенкого канцеляриста. — Может, и женюсь, тебя спрашивать не буду.

— Ах-мах, — пожалел Киндеев, — знайт, гуляй мимо? Горды вы, молодой человек, и бесчувственны, о чем и сожалею душевно, ибо как-никак, а Епимах может еще пригодиться. Любую умственную бумажку составить может Епимах по всем статьям существующего закона и, кроме возвышенного образования, имеет погибшую специальность адвоката...

Прислушиваясь к скрипучей музыке новых сапог, Карпуха шагал от стены до стены, не скрывая своего презрительного к Епимаху невнимания. Трешница, пожертвованная Фридрихом Ланге, занимала его в эти минуты больше всего, только теперь принял и понял эту трешницу Карпуха Полуденов как поощрение и сразу повеселел. Епимаху он сказал:

— Пой, кукушка, твоя верхушка. Как тебя только Дрикс Иваныч на службе держит?

— Фридрих Иванович держит меня на службе за мою умственную категорию, молодой человек. Оным качеством обладает Епимах Киндеев, не в пример другим субъектам, хотя бы и государственную должность занимающим, ибо я могу измыслить недосыгаемое для человеческого ума.

— А стишок сочинить можешь? — заранее торжествуя, спросил Карпуха, — или, скажем, послание предмету любовного сердца?

— Пустяки-с, молодой человек, несolidного размышления дело, но, коль скоро явилась в том надобность, претставствий не предвижу в легкомысленном том сочинении. Но возникает вопрос, что излагать: восторги ваших чувств или же душевную скорбь по случаю измены коварной девы?

— Восторги чувствов лучше всего, — выбрал Карпуха, красуясь перед пьяньенким конторщиком, подсказывая начало стишка: — «Любовны чары принимаю...»

— Позвольте, молодой человек, — обидясь, заговорил конторщик, — испытание в стихосложении предназначено мне, и к тому же, заметьте, слагаю стихи без надлежащего вдохновения.

Поднял карандаш, точно копьё, мипутку подумал, запрокинув голову, и начертал без помарок:

С высот венериних ко мне снисходит
Твоя любовь в торжественной ноши,
Восторги чувств в обилии находит.
О, Епимах, ликуй и трепещи!

Стишки эти конторщик прочитал с великолепным презрением, чем окончательно и сразил Карпуху.

— Косушку я, так и быть, куплю,— подобрел Полуденев,— а ежели сможешь секрет один сделать, за угощением не постою. Ты не думай, Епимах Лазарич, я не такой...

— А какой?

— Я тоже всё понимать могу.

— Сие любопытно,— признался Киндеев; запер конторку.— Оправдаю великие и богатые милости твои, Карп Серафимыч, но требую доказательного приложения для составления вышеупомянутого секрета.

Летний день медлительно истлевал у лесочка в порыжевшем, без лучей, солнце. Отяжелевшая пыль ложилась на потускневшие травы, и еще неугомонный кузнечик потрескивал где-то, как будто пел отходную утомленному дню.

Епимах снял очки, лицо его сразу погрузнело, тощенькие бачки, обежав острые скулы, застряли в глубине провалившихся щек, и оттого все лицо, солидное в очках, вдруг стало смиренным до унижения.

— Окончен день, и твердь погасла,— вздохнул он, поощряя тем самым уходящий день к будничному его умиранию.— Не обмани, Карпуша, Епимаха,— намекнул конторщик насчет обещанной косушки.— Удалимся на лоно природы и продлим нашу беседу.

Тут он вышел за дверь степенным шагом делового человека и направился в сторону реки, к ее заливику, где синели чутко дремлющие камыши.

Карпуха не обманул, предстоящая беседа понудила его на расходы. Он выставил перед Епимахом косушку и на пятак тощей закуски, сел тут же, подстелив платочек, чтобы не запачкать зелью новых брюк.

Киндеев принял косушку дрожащими и как бы умиленными руками; даже тусклые глаза его вдруг покрылись слезливой изморосью, когда водка, булькая, полилась в широко открытый рот.

— И как ты такое зелье глочешь?— подивился Карпуха епимаховой жадности.— Горько, поди-ка, страсть!

Захватив щепоточку квашеной капусты, обсасывая пальцы, Киндеев за-

держал ответ. Глаза его просветлели, и лицо через минуту преобразилось, как будто напозла откуда-то затаенная гордость с некоторой долей мечтательной печали. (Печаль, положим, мечтательна всегда.)

— Молодой человек,— медлительно произнося слова, отвечал Епимах,— скудость нашей жизни необозрима и для всестороннего ума непереносна весьма, наипаче, когда ум сей имеет непроборимое свойство проникать и видеть. А что я вижу? — вдруг оживился Киндеев.— Грядет на Россию хам, потрясая золотой мощной, и нет упомянутому хаму препон, ибо он есть дитя, порожденное историей. И вот я, поверженный во прах, с благородным побуждением души моей, предназначен пресмыкаться у ног хама, сиречь, капитала, каковой капитал, отвергая человеческое, берет все на практические веса, даже возвышенные чувства.— Епимах поднял над головой полштоф.— Водка, именуемое зелье, есть просветленные слезы дьявола, когда был он еще ангелом. Вяня? Ну, ежели сие недоступно уму твоему, говори ты,— предложил конторщик,— я все обмозгую.

Киндеев произнес последнее слово самоуверенно, а может быть, просто хотел подчеркнуть свое превосходство над Карпухой, но ничего этим, пожалуй, не достиг, и даже киндеевское рассуждение насчет хама и капитала было Карпухой не принято всерьез и прошло мимо его внимания. Писарек обиделся и, обидевшись, вылил остаток водки в рот. Горестные, с большим запозданием, посетили его мысли: «Наказуй, господи, ибо я еси создан тобою в беззаконии для земного унижения». Оглядел Карпуху и остановился на лице его. С незначительным таким умом было лицо, или, может, и с умом, только слшком уж густо покрытым большой хитростью и плутовством. Совсем другим знал Епимах это лицо тому лет восемь назад, хотя было оно теперь до неузнаваемости затерто, не припоминалось, как следует.

Между прочим рассказать можно следующее, самое близкое Епимаху Киндееву, чего по слабости своей и трусости

сти он вспоминать не решался. Жили дворяне Несветовы, жили и умерли, и от дворян Несветовых остался последний — незаконнорожденный Елимах Киндеев, сын дворянина Несветова и дворовой девки Ефросиньи. «По совети говоря, никто еще из живущих не бывал заинтересован в жизни другого так, чтобы принять эту жизнь и понять ее по-настоящему. Люди сталкиваются друг с другом, подобно морским камушкам и, столкнувшись, тотчас же расходятся» — так думал Елимах, которому пьяный поп отыскал в святцах насмешливое имя.

«Трудно человеку жить на свете с размышлением» — решает Елимах Киндеев и нечаянно спрашивает Карпуху:

— Что ты скажешь, молодой человек?

— Землю ты обмозговать можешь ли? — спросил Полуденов.

— Все едино, могу и землю обмозговать, — удостоверил Киндеев.

— Вот хорошо как! — вслух восторгулся Карпуха, пересаживаясь ближе к Елимаху, взволнованно шепча что-то, чего Киндеев сразу и не понял; только потом, удивленно выбросив гусачью шею свою и согласно кивая головой, он приговаривал тихо:

— А-а, ну-ну. Фу ты, чорт!

— За угощением не постую, — шептал Карпуха, — сдохнуть-помереть, не постую, Елимах Лазарич.

— Так, так, — приговаривал конторщик, — отлично-с и сугубо... Воззри, боже, на раба твоего и помилуй! Ах, молодой человек, до чего же пронзителен ты и подл, но по неразумению своему, или, напротив, по низменному разуму не можешь того уяснить. Однако иду на соблазны твои непоколебимо, чтобы, еще и еще терзаясь, тем самым очиститься...

IX

Ночь, духота, пыль и невыносимая жара от вагранки. Густые тени по углам. Бродит по литейной угарный сон. Обнял сон ученика литейщика, задавил сторожа у дверей, обрушился на плечи мастеровых.

На прокопченной стене, как-раз напротив вагранки, покашливают часы; кашляют часы с удивительно длинными промежутками, будто раздумывают: а точно ли отбивают они время? и нужно ли отбивать его?

— Три часа, — шепчет кто-то, зевая и потягиваясь, — скоро должен притти сам...

— Пошумит?

— Это уж как есть.

— Может, и вдарит?

— А что поделаешь...

Поет за стеной вентилятор, держась все время на высокой, убаюкивающей ноте. За грудой сваленных в углу моделей и мелких опок раздумчиво потрескивает сверчок. С пухлой, приготовленной для литья земли приподнимается всклоченная голова с измазанным сажей лицом, с ошалелыми спросонья глазами.

— Ну-к что, я ничего... — бормочет голова. — Ах, чорт, вот история!..

В дверях литейной показался Фридрих Ланге, прошел к вагранке, сел на опоку около дежурных мастеров, помолчал.

— Часика через два, Фридрих Иваныч, — сказал старший литейщик, — раньше никак невозможно.

— Невозможно? — переспросил Фридрих. — Ну что ж, на себя пеняйте, работа сдельная.

Поднялся, поглядел на спавших в ожидании чугуна литейщиков.

— По-божьи работаете: ни шатко, ни валко, ни на сторону, — сердито буркнул он, обходя литейную, пристально проверяя каждую формовку.

За спиной Фридриха стоял старший литейщик и все оправдывался, и слова его были нескладными.

— Понимаем, конечно, правильно, ну только то примите в расчет: два раза ремень обрывался на вентиляторе.

— К чортовой матери шорника!

— Конечно, правильно, Фридрих Иваныч, только ремень как есть гнилой. Вот какое дело, Фридрих Иваныч... Часика через два чугун поспеет.

— Через два часика и жалованье вам пойдет, я плачу только за работу, — напомнил Фридрих Ланге, скалясь по-

волчьих на литейщика. — Мне два часа дороже любого разговора.

Выкатил голые глаза свои, прохрипел угрожающе:

— Не можешь работать — откажись! Дело понятное со всех сторон.

Говорил Фридрих неторопливо и вроде мимоходом, но голова старого литейщика упала еще ниже, картуз свалился сам собой, спина ссутулилась, стала покорной.

Худосочная московская заря толкалась в тусклые стекла литейной. Фридрих Ланге не замечал зари и уж конечно не слышал, как хлопотливые воробьи, усевшись на ободанных сучьях ветелки, радостно бормотали что-то во славу наступающего утра.

Литейщики разбирали ковши, старший мастер пробивал летку вагранки.

— Господи благослови. Подходи, кому горяченького, с пылом, с жаром, с комариным салом!..

Ругались вразброд, с приговором, чтобы разогнать полусонь, развеселить хозяина.

Яркая струя расплавленного чугуна хлестнула из летки, рабочие ловко подставляя ковши, отходили быстро, бежали от формовки к формовке. Запахло серой и тяжелой гарью. К вагранке на ручном блоке подвели огромный, на двадцать пудов, ковш, обмазанный внутри глиной. Начинаясь отливка станин. Медленно остывал в литниках чугун, он тускнел, подергивался пленкой. Пересохая пыль искрилась, взметывала гривой, хлестала по глазам, перехватывала дыхание.

Сладко позевывая, морщась и чихая, пробирался между формовок Павел Ланге. Заметив Фридриха, умиленно зашептал.

— Ах, как прелестно, он уже тут. Хе! Кто рано встает, тому бог подает.

— Теперь бы нам хорошего мастера в литейную, — встретил Фридрих Павла. — Для хорошего мастера никаких денег не пожалею.

Постучал окованным наконечником трости в готовую отливку:

— Не чугун — творог.

— А, по-моему, отливочки, что сливочки, — похвалил Павел.

— Сливы! — недовольно загудел Фридрих. — С дерьма сливочки... В чугуна толк понимать надо.

Братья, выходя из удушливой, насыщенной гарью и угаром литейной, пересекают двор, где в беспорядке валяются опоки, котельное и полосовое железо. Раннее утро развернулось над двором, солнце перебросило через крышу литейной веселую, сияющую золотом бровь, и оттого беспорядок во дворе кажется предпраздничным.

Заголосил свисток завода, густо и как-то особенно умиротворяюще откликнулись другие, очень далекие и потому казавшиеся особенно нежными; пели они еще нестройно, даже робко и уж очень неуверенно, — похоже, испытывали молодые голоса, срываясь и падая.

Фридрих любил слушать эту юношескую пререкличку заводских гудков; он остановился, холодные глаза его чуточку потеплели. Гудки были как бы музыкальным оформлением его мечтаний: «Честь-почтение, Фридрих Иванович, с любовью низкий поклон... Ах, ах, как же вы, Фридрих Иванович, вознеслись, глазам истинное удивление! Эка размахнулись: пять каменных корпусов, три тысячи рабочих. Хе-хе! Ведь это, ежели по рублику с каждого в день дивиденда, так и то — боже ты мой!»

— Овчинка выделки не стоит, — бормочет Фридрих.

— Ты о чем, голуба? — любопытствует Павел.

И отрезвевший Фридрих говорит особенно явственно, как будто бы он и не мечтал совсем:

— Развернуться негде, Павел, участок-то маловат, пожалуй. Ты вперед думай, как и что. — Вздохнул во всю ширину груди. — Восемь лет работаем, Павел. — Ничего, конечно, и то слава богу, а все-таки.

Во дворе появился человек. Господи боже, как он появился, ведь и не передашь, пожалуй. Шел, приседая на носках, и сюртучишко его подметал ржавую пыль. Может быть, он, угадывая мысли Фридриха Ланге, хотел подчеркнуть их умопомрачительную пышность усердным потряхиванием головы своей и виляющим задом. Был он невысокого

роста, но плотный, как срезанный комель; широкое лицо сияло отчетливым умилением; в особенности хорошо выглядела борода, похожая на распушенный хвост глухаря. Человек снял с головы суконовый картуз; из кольца в кольцо волосы, зачесанные по-женски, назад, мягко развалились посередине.

— Кхм! — кашлянул человек этот, встряхнув еще раз кудрями. Направился, заходя сбоку, к хозяевам.

Фридрих весь так и просиял, и до того даже, что стал улыбаться; но улыбка, такая неуместная на его лице и неподходящая к его глазам, полностью не получалась, лишь перекосила щеки и оглушила встречу. Фридрих тотчас же сурово сомкнул губы.

— Ну вот, — оборотился он к Павлу, — вот это и есть токарный мастер. Или я не говорил тебе? По фамилии будет Семякин.

Кивнул снисходительно и вбок мастер, сказал кратко:

— Подходи, подходи, Капитон Иванович.

Семякин, шагнув, все же остановился в почтительном отдалении, усиленно разглядывая доньшко картуза, просаленный до блеска кружочек там.

— Прикажете-с? — почтительно спросил, качнувшись в сторону механической.

— Что ж, приказывать тебе нечего, валяй, наворачивай. Чего это ты глядишь так, будто с прискорбием? — заметил Фридрих семякинскую улыбку, которой встречал этот человек проходивших рабочих.

— Мастера-с? — осведомился Семякин.

— Ну, не очень чтобы, я попроще которых... Гляди, разглядывай, с нынешнего числа и зачинай с богом...

Мастер Семякин в тот же день заступил полномочным распорядителем токарной. Оказался Капитон Иванович человеком вспыльчивым и крикливым, голос у него был петушинный, с ядовитой хрипотцой, в чем в скорости все и убедились, — то-есть в ехидстве его и в большом тяготении к рукоприкладству.

Конечно, в усердии своем Семякин хотел перегнуть всех, и первым делом слесарного мастера Доната Перелькина, и не то, чтобы льстил хозяевам, но умненько похваливал, по-житейски рассчитывая, что похвала и для мудрой души вроде патоки бывает, а дураки — так целой стайкой откликаются.

— Ах, Сань-Ваня, — удивлялся Перелькин, наблюдая за Семякиным, — доподлинный медсосос человеческой жизни!

Пообжившись, Семякин частенько таскал за бороды токарей и неистово при этом волил (чтобы хозяева слышали).

— Сюкин сын, разбойник, погубить меня хочешь. Запорол шпинтон, сюкин сын, запорол!

Отбегал в сторонку, всплёскивал руками, причитал:

— И за что меня владычица, мать божья, наказала, и в кого я такой несчастный зародился, — ни покою мне, ни счастья, мучители вы мои, изверги страшные!..

— Всего на миллиметр лишку, Капитон Иванович, — смущенно бормотал провинившийся токарь. — Гоню на самой последней передаче, ну, и того... Дело поправимое, Капитон Иванович.

— «Поправимое»! — передразнивал Семякин и уже видел, что токарь забыл драную свою бороду и даже сам готов тут же и прощение себе выпросить у мастера; бабье лицо Семякина розовело. — Ты меня учить будешь? — говорил он, приходя в норму.

Промерив кронциркулем тело шпинтона, Семякин тербил уже собственную бороду, придумывая способ, как исправить «запоротую» деталь.

— Ну что, подработал, говоришь? — спрашивали товарищи токаря.

— Да ведь что ты будешь делать, когда спать ляжешь, — борода не купленная, — почёсывался токарь. — Ну, промежду прочим, жалостно говорит больно, прямо в пот вгоняет.

— Такому мастеру голову гайкой проломить, за то сорок прехов простится, — вслух соображал москвич.

— Хе-эх! Проломил один такой, костанной ногой!..

Слова были пугливы, как мелкие птицы.

— Вы откуда, ребята? — спрашивал москвич.

— Мы, то-есть? Мы отсюда, со всех сторон: кто Смоленской, кто Тульской, кто Рязанской. Мы, значит, слава богу: жива душа в теле на этой неделе, и то ладно.

— За большими рублями приехали?

— А то што! В кармане вошь на аркане, блоха на цепи.

— Вот это как-раз и хорошо, — одобрял москвич. И щегольнул прибауткой: — В кармане нет гроша, зато легка душа! Оно и лучше: по крайности, плакать не о чем. А душа — поди-ка ее поймай: ты в кабак, душа в рай... У кого рупь есть, сказывай?

— Рупь? — переглядывались рязанцы. — Эка ты махнул куда!

— Ежели рупь на выпивку, дык тогда беспрерывно добывать нужно, — соглашались туляки.

— Трудновато перед получкой, — соглашались смоляки. — Рупь — это где же?..

— У Халявина, у Сидора Семеныча, — догадывались все враз.

— Стой, ребятки, закрывай хлеба, — казначей идет!

Москвич отбежал в сторону, — фуражку с головы шмяк об пол, — закаменев, вытягивался около ворот.

В мастерскую, в ослепительных сапогах, в кургузом пиджачке, шествовал Карпуха Полуденов.

— Карпу Серафимычу! Гы-гы! — изогнулся бойкий москвич, удалой слесарек Степка Побыткин. — Токаря да слесаря — последние у царя! Подкинь рублишко на выпивку, Карп Серафимыч.

Все как будто шло хорошо, и Карпуха улыбался совсем по-дружески, так что Побыткин совсем расположился к Полуденову и голову держал склоненной. Но Карпуха прошел по-хозяйски, то-есть совсем не обратив на слесарька внимания, и тогда кто-то подхихикнул, будто в сердце колынул: дескать, налетел с ковшом на брагу! Тут уж Побыткин не выдержал, подскочил к Полуденову и заступил дорогу.

— С тобой, сучья отравка, разговаривают!

Был Побыткин выпивши или его так просто заело, побледнел он и не пропуская Карпуху, уперся.

— Ты чего, ошеломел, что ли? — остановился Полуденов. — Не припас я для тебя денег. Отойди, а то смажу! — погрозил Карпуху, но рук из карманов не вынимал.

И тут произошло совсем уж неожиданное: Побыткин сорвал с головы Полуденова новенький его картуз и высморкался в самое донышко.

— Смажь продажную харю, чортов сват, — сказал Побыткин, — а то девки любить не будут.

Карпуху точно ветром качнуло. В первые пять секунд он только прыгал, нелепо размахивая руками, видимо, хотел взлететь. Рабочие смеялись теперь откровенно и дерзко, что уж совсем было переносно, и все, конечно, ждали хорошей потасовки. Но Карпуха перестал прыгать, перекинулся весь и даже сделал попытку улыбнуться, будто ничего и не произошло.

— Хорошо-с, — тихо произнес он, поднимая брошенный Побыткиным картуз, — обратимся к Дриксу Иванычу. Озоровать мы не позволим. — Отряхнул с картуза пыль и подкладку платочком вытер. — Законом не позволено, чтобы озоровать.

Вот в самую эту минуту и выскочил откуда-то токарный мастер Семякин и сразу загоревал, так скорбно загоревал, будто душу обронил где-то и не мог найти:

— Что же, ты, Степан Побыткин, совесть позабыл, бога не помнишь? Ах ты, горе ты мое, гореванское, до чего человек упасть может! А господь-то за всеми делами дозирует, кто, значит, безвинно обижает человека или облик свой, сотворенный по образу и подобию божьему, в пыль бросил, под ноги проходящих грешников. — Приблизился к Побыткину, сгреб его за вихры. — Ты покорись, непокорный Степан, потому всякая покорность приближает нас ко господу. До чего же ты воспален злобой, хотя еще молод и по видимости безгрешен.

Семякин вложил всю пятерню в буйные волосы Побыткина, вложил и не отпуская до тех пор, покуда молодой слесарек не упал на колени.

Х

Пьяньский и отчасти горестный Епимах, подкупленный щедрыми посулами Карпухи, занят был одной мыслью: как доказать и показать умственную свою «катеорию». После длительных и чрезвычайнo путаных рассуждений о превратностях судьбы он пришел к заключению, что самым великомудрым в житейском обиходе, превосходным и счастливым в делах своих является обыватель. «Ибо, — рассуждал Епимах, — не решится творение сие быть великодушным или, скажем, дерзновенным не только в поступках, но и в помыслах своих, доколе существует закон и начальство, которому положено устанавливать распорядок жизни и поведение человека».

Умозаключение это привело Епимаха к тому, что впоследствии стал он определять поведение свое как непроходимую, но геройскую глупость, утешаясь тем только, будто мудрые мира есть, по существу своему, глупцы, случайно победившие обывательскую практику. К таким победителям относил он стихотворцев Пушкина и Лермонтова, но читал их тайно, проливая слезы в пьяном своем состоянии.

— Вот, — говорил он Карпухе, плутая в бессвязных помыслах своих, — ты и подобные тебе существуют и значатся потому только, что за ваше существование заплачено богу кровью превосходящих вас и как бы вознесенных над землей. И еще неведомо, пребываете ли вы под солнцем, или же есть одно только воображение, осуществленное природой в наказание дерзновенным?..

— Ты не прорицай, — прерывал Карпуха епимахово рассуждение, — мне такое совсем ни к чему. Ты мне существенную землю обмозгуй, как обещаю, за то и водкой угощаю, и расход терплю. Понял, или туго?

— Какую землю? Почему землю? — лопотал помраченный конторщик. — Ты

есть червь, зараженный наживой, червь, испепеляющий красу жизни, червь сугубый и неистребимый. (Епимах был явно пьян.) И я тебя понимаю, потому что для понимания замыслов твоих нужна малая долька чистого ума.

— А ежели понимать можешь, значит, производи настоящее действие. Болтословить я тоже могу, ты не думай, — сказал Полуденов и поглядел этак исподлобья, словно Епимах был для него таким человеком, которого можно употреблять, как лопату для добычи клада; тут уж влияние имела Фридрихова наука, стоявшая так высоко, что других наук и не надобилось, и были науки излишни, как мусор, засоряющий трезвое рассуждение. — Водку глохчешь, а дела не делаешь, — ворчал Карпуха.

— Я умозаключаю так, молодой человек, что возымели вы желание утвердиться хозяином на собственной земле через любовь девицы Алевтины. Точно ли я понимаю?

— Еще, что ли, за полштофом сбегать? — предложил Карпуха, отклоняя таким образом ответ свой. — Ты так бы и говорил. Мне, думаешь, жалко!..

И действительно, Карпуха вдруг (чего не ожидал Епимах Киндеев) оказался щедрым и даже расточительным. Он сбегал в трактир Халявина с такой быстротой, которая могла показаться действительной только во сне. Чорт его знает, почему так старался парень и производил расход, было вначале неизвестно; все это разъяснилось потом, после того, когда дело было сделано, хотя результаты дела дали плоды через год.

— Пей, — сказал Карпуха и предложил конторщику совсем уж роскошную закуску: кусок жареной колбасы и два рыбых огурца. — Друг я тебе или не друг?

— Конечно, это самое... — бормотал Епимах, — не только друг, но и душевной близости человек, что и удостоверяю подписом с приложением казенной печати. Но почему ты не пьешь сам, мерзец, сего уяснить не могу?

— Ты и не уясняй, — посоветовал Карпуха. — Я же говорю тебе: ты один, и я один, а ежели оба человека, так мы

можем такое сделать, что все птицы запоеют, одохнуть-помереть, не вру. Ты, значит, так, а я — этак, вот и выйдт вместе.

Сидели приятели по праздничному обыкновению на берегу реки. Веселый денек проплывал над землей, чадила полька, бегали по широкой песчаной косе кулики-авдотьки, и стояла особая, хрусткая тишина, так что могло показаться, будто город спит послеобеденным сном, оттого и не слышно было уличного клокотания, только кричали одни петухи, усугубляя тем самым душную тишину дня.

— Мне с тобой, с таким идолом, дело нужно делать, — внушал Полуденов Епимаху, — ты вскинь глаза-то. Ежели дело выйдет, я тебя, может, целый год поить буду. Слыхал? Ну, и вот, я для всех по совести, ты не думай. Алфея так люблю, и Алевтину тоже.

— Что есть любовь? — как бы очнувшись, спросил Епимах. — Любовь называемая есть пламень природы и душевное сокрушение, молодой человек, но, однако, и прежде всего движение сокрытых сил, каковые силы таят в сути своей начало всех начал. Без любви пересохнут моря, упадет солнце, распадется видимое и невидимое, не зацветут цветы и перестанут лаять собаки. Что?.. Ах, вы еще многого не уясняете, молодой человек, и, между прочим, не предвидите козней соперника вашего, Побыткина Степана.

Конторщик глотнул из бутылки. Был он как бы в помрачении, и все же глаза его сияли достаточно светло, и еще горел там разумный огонек.

— Побыткина Степана ты оставь без внимания, — сказал Карпуха; — моль и нестоящий человек, и Алевтина его не подпустит. Я тебе о другом, я насчет алфеевой земли. Ты, смотри, разговор не распускай, — я может, через любовь страдаю, Побыткин для меня не заноза, за мной Дрикс Иваныч стоит. Мигну Дриксу Иванычу — и кощенное дело: ищи-свищи Степана Побыткина.

— Погоди, погоди, — пытался что-то сообразить Епимах, — значит, у тебя вроде дальнее направление ума. Хы! Удивителен человек в душевной мерзо-

сти своей, ровно как и в недостижимых порывах благородства.

Помолчал, разглядывая откушенный огурец, и вдруг скользнула по щекам его осмысленная улыбка.

— А ведь я все время думал, Карпушенька, что дурак ты непроходимый и вполне законченный. Воззри, господи, на Епимаха и не осуди за участие мое в грабеже обездоленных! Позолоти ручку, Карпуха, клади пятишницу, и да будет все по желанию твоему.

— Пятишница не счет, пятишницу я могу, — торопливо согласился Полуденов, — ты только землю обмозгуй.

Получив пятерку, Епимах задумался. Свое превосходство над Карпухой хотел он особенно подчеркнуть важным своим раздумьем: хочу, дескать, осчастливлю, хочу — нет, кланяйся и проси! Так именно и понимал Карпуха епимахово раздумье и, действительно, кланялся и юлил, как только мог.

— Может, еще за полштофом сбегать, Епимах Лазарич, ты скажи, я в один мент слетаю.

— Не суесловь и не мешай думать, — отмахивался конторщик. — Дело минутного напряжения, чтобы чисто и по закону.

Однако «минутное напряжение» слишком уж затянулось, так что Карпуха начал беспокоиться и потихоньку вздыхать, сожалея о произведенных им расходах, к тому же Епимах неожиданно заснул, хмельная голова его, не выдержав раздумья, упала в траву. Невиннейшая улыбка долго блуждала по лицу мудреца, как некий признак живой мысли.

Карпухина затея покачнулась в самом начале. Счастье, которое заключалось теперь в измышлении пьяного конторщика, казалось ненадежным. Чувствуя приступы сердечного замирания, Карпуха отер неожиданную слезу. Томясь и тоскуя, он жаждал утешения. Молчаливый день был глух и холоден. В ощутительную близость осени как будто погружилась природа, хотя солнце еще и пригревало, и последнюю солнечную ласковость чувствовал даже спящий Епимах, оттого и улыбался так сладостно,

что Карпухе стало прямо тошно на него глядеть.

Карпуха поднялся, плюнул досадливо и, не раздумывая, отправился за утешением к тому же Алфею Сусекину, земельный участок которого хотел приобрести, пользуясь дружбой самого птицелова и любовным расположением его дочери, Алевтины. Одно время (еще в самом начале любовного увлечения) Карпуха Полуменов был склонен жениться на Алевтине, рассчитывая получить таким несложным путем хату и земельный участок, но со временем, то-есть после фридрихова внушения, женитебный план стал казаться слишком невыгодным.

Полуменов пришел к Алфею опечаленный и как бы обреченный на гибель, и слеза, оброненная им у недвижимого тела пьяньенского конторщика, набухала вновь, но уже как подлинное свидетельство любовных переживаний и сердечной боли.

— А-а, святая душа на костылях! — весело встретил Полуменова Алфей. — Как-раз во-время; только-только малинки заварил, с охоты пришел. Ловко ты, Карпуха, урафил! Чего это у тебя ликто перекошило? Ты не горюй! Жизнь, ежели не больно много желать, совсем вольготная: яко наг, яко благ, яко нет ничего! — Тут Алфей подмигнул на Алевтину: — Девка-то без тебя истосковалась, редко ходишь, парень. Видишь, как воспламенилась? Ну, говори прямо: видишь или не видишь?

— Вижу-с, Алфей Петрович, — совсем неслышно проговорил Карпуха. — Вижу и мучусь, сдохнуть-помереть, мучусь.

— Так ты чего же? Ах ты, господи-боже ты мой! — всплеснул руками и едруп, весело засмеявшись, кинулся в своем клеткам и о малинке позабыл в радостном ликовании своего сердца. — Ну-ка приближайся, чего я тебе покажу, браток! — Принял с клеток холстинку. — Вот они, мои красавицы! Лазоревки называются.

Карпуха присел на корточки. В клетках, прыгая по жердочкам, метались мелкие, лишь вдвое больше наперстка, птици; яркая зеленъ оперения их и го-

лубые ошейники казались нарисованными замысловатым художником, который поставил своей целью позабавить хотя бы и взыскательный глаз.

— Задиры — не приведи господь, — пояснил Алфей, — но между прочим птици веселье и никогда не унывают. Погоди, я их расскажу скоро, тогда они петь зачнут. Поют, будто по струнам бегают. И ты вот еще заметь: чедовека только три дня боятся, потом привыкают, и ничего. Вот еще снигири такие же или шуры — тоже чедовеку доверяются, и тогда совсем бывает весело с ними, а ты говоришь: жить наплевать, когда около тебя сердечная любовь и все такое...

— Я не говорю, Алфей Петрович... — тотчас же отказался Карпуха и тут же загорелал, начал жаловаться на свое сиротство, и до того это выходило у него убедительно, что Алевтина расплакалась даже, а когда Алфей отлучился на минутку из избы, бросилась целовать Карпуху, обещая не расставаться с ним.

— Уйти надо в город, — торопливо убеждал Карпуха Алевтину, — мы в городе свое дело откроем. Его подбей, тогда мы заживем. Ты у меня вроде купчихи будешь, сдохнуть-помереть, правда.

Вернувшись, Алфей нашел их смиренхонько сидешими у окна за столом; он полюбовался, но про себя только, и лишь после первой чашки малинового чая попросил Алевтину посвистать лазоревкой. Алфей, надо сказать, всегда был уверен в том, что лучше его охоты ничего нет на свете и что все должны обязательно интересоваться этим. Алфеев мир был легким и веселым: осенями его радовали стайки щеглов и чижей, зимами любовался на снигирей, веснами он плакал, слушая малиновок и соловьев, плакал от большой, не вмещавшейся в сердце радости. Бывало и так, что из хилой избушки выйти нельзя, такие бушевали метели, — тогда птицелов разговаривал с птицами. Жили у него «сиделье» соловьи и черноголовые слапки, брали корм с руки, с ними и разговаривал Алфей, обещая каждой птице особенную, развеселую весну. Ночью пел за стеной студеный ветер, и

в пении том угадывал Алфей человеческую тоску о безобидной жизни, которая обязательно (когда-нибудь) наступит. Поутру, если день случался воскресный, он шел в трактир Сидора Халывина, куда собирались птицеловы похвастаться кенарами, обязательно «знаменитыми», каких больше и на свете нет. Алфей не любил кенаров, считал эту птицу заводной, не стоящей внимания.

Карпуха еще с самого первого начала учуял простоту алфеевой души.

«Сто лет проживет, дураком останется», — часто думал он, воспринимая фридрихову науку и как бы проверяя умственные способности птицелова. И радовался: «Ежели бы не дурак, тогда и не подпустил бы».

Для Карпухи тоже существовал свой особый мир; в этом замечательном для него мире совсем не слышно птиц и уж, разумеется, никаких песен разгульного ветра, — мир был прост, как изношенная подошва, и было в мире этом все буднично и расчетливо до чрезвычайности: «Главное, чтобы свой угол, конечно же, теплый, с теплой же паутиной по углам, с пирогами, которые празднично пахнут хорошим таким, сытым спокойствием. Хорошо еще не думать, а ежели думать, так только вокруг своего двора, сидя в тенистом садике, за надежным таким заборчиком».

Карлухины мечтания были прерваны беспокойным бормотаньем Алфея. Птицелов высунул голову в открытую створку окна, намереваясь, должно быть, выскочить на улицу через окно.

— Ах ты, будь здоров, расти большой! — взволнованно проговорил он, обернувшись в избу, и тотчас же выскочил за дверь.

Тут только и очнулся Карпуха и, очнувшись, заметил, что Алфей и Алевтины нет около него, и сидит он один, тупо уставившись в окно, как бы зачарованный видением. По лужку перед избой, с толстой книгой подмышкой, с саженкой в руке, расхаживал Елимах. На голове конторщика красовалась фуражка с зеленым околышем и крупной кокардой. Гусачья шея была вытянута непомерно, утлое лицо имело выражение

недоступной важности и какой-то особой горделивости, так что Полуменов спервоначалу и не признал пьяненького писарька.

«Вот бес, ну и бес! — подумал Карпуха. — Не обманул все-таки».

Вышел на улицу, чтобы послушать разговор.

— Расположенная в указанной местности земля, по точному указанию городской управы, есть утвержденная законом собственностью купца второй гильдии, именуемого Халывина Сидором Семеновичем, — внушал Елимах растерянному Алфею, — а потому, на основании сорок второй страницы разносной книги, — уже издевался Елимах, — предполагается к сносу всякая незаконная постройка, но ежели, паче чаяния, таковая воздвигнута, тогда... — конторщик поднял над головой толстую книгу, уронив саженку, — ... тогда именуемая постройка переходит в полное и безусловное владение землевладельца.

Алфей озирался, как бы ища помощи и защиты, простой ум его не мог проникнуть в тайное намерение Елимаха, так грозно изрекавшего неведомые птицелову законы.

Карпуха уходил в это время к халывинскому трактиру, Алевтина плакала, сидя на завалинке избы, и шагал в отдалении Елимах, измеряя саженкой участок.

Воротился Карпуха к вечеру, был он весел необыкновенно и еще с порога крикнул Алфею:

— Обаял, сдохнуть-помереть, обаял! «Так и так, говорю, Сидор Семеныч, побойтесь бога и все такое, потому как, значит, сироты — податься некуда. Получите-с, говорю, деньгами, кровными денежками за вашу землю». Ну, тут его прямо в слезы вдарило. «Бери, сказал, за полторы сотни и молись богу за меня». Я сейчас бац ему в ноги, получил форменную расписку — и скорее за дверь, чтобы не раздумал.

Завиральную, но смелую историю эту, хитроумным Елимахом сочиненную, передал Карпуха простодушному птицелову в один дых.

Алфей не успел еще опаматоваться, он слушал и не понимал и все строил

догадки: пойдет ли попрежнему давно запроващенная жизнь, или скакнет в сторону, где не только птицам — облакам путь заказан? Сделав пальцем замысловатый вензелек на отпотевшем стекле окна, спросил:

— Значит, нам теперь шапку в охапку и на все четыре стороны, Карлуша, или как?

— Вот и это, как ее... — запнулся Полуденов, но в ту же секунду и оправился. — Зачем так говорить? Все, как есть, будет попрежнему. Ты здесь, Алфей Петрович, ну, и птицы с тобой, и Алевтина с тобой, я тоже, как-никак, всегда около. У меня и купчая по всей форме: «Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого, августа месяца, десятого дня, я, мешанин города Москвы, Алфей Петров Суескин, продаю крестьянину деревни Рудневой, Карпу Серафимовичу Полуденову...»

Подмигнув Алевтине, заговорил быстро, боясь: «Леший его знает, вдруг опомнится!»

— Тут и разговаривать нечего, одна проформа, для отводу глаз. Ты и не думай, Алфей Петрович. Свои, ну, и жить по-свойски будем.

В умилении и для полного удостоверения искренности своей Карпуха, уходя, расцеловался с птицеловом и уж совсем по-родственному обнял Алевтину.

Возвращался в свою сторожку легкими шагами, будто на крыльях летел, и ликования своего не скрыл перед ожидавшим его Епимахом. Сразлета вышвырнул на стол пятишницу и, в ознаменование счастливого события, отправился с конторщиком в трактир, все к тому же Сидору Халявину.

— Да возвеселится сердце мое и возрадуется душа ныне, присно и вовеки веков! — торжественно провозгласил Епимах, опрокидывая первый стаканчик в алчный рот свой. — Обляпсили дельце, Карлуша! Чего молчишь? — Торопливо налил второй стаканчик. — Прииди и поклонися ны, сучий ты сын.

— Кланяться что! — усмехнулся Карпуха. — Кланяться без угощенья — для тебя не велика корысть.

— Сие сушая правда, — согласился Епимах и немедленно выпил еще, — но

ежели рассудить, продаю благородную совесть мою за чечевичную похлебку и потому терзаюсь, — загоревал Епимах. — Восчувствуй, молодой человек! Может, за совершенное злодеяние лик мой окунуть в поганую лохань следует, ибо мерзец я несусветный.

— Ты мне слова не произноси, — попросил Карпуха, — ты про себя терзайся, зато и винище лакаешь.

— Ага! Про себя?.. Отлично-с, молодой человек!

Епимах рванул тощие бачки свои, изпод очков пробилась пьяные слезы.

— Кому повем печаль мою! — возопил он. — Единственно тем и утешаюсь, что в мире сем терзаются и плачут миллион подобных мне, и не одним мною ограничена вселенная. Хотя паскудник я, господи, перед тобой, однако же внешне истерзанной душе, блуждающей горестно и одиноко на прешной земле. Но ты, — ткнул сухим пальцем в карпухинову грудь, — ты нагл и смел...

XI

Смелыми по-настоящему были хозяева загода, братья Ланге, в особенности отличался Фридрих: он учуял пробуждение страны, угадал ход отечественной промышленности. Изредка, но самоуверенно похохатывая, изрекал (он обычно изрекал теперь, так был самообольщен, будто мудр и непогрешим):

— Не повергни нас враги на поле брани, жили бы мы тогда в нечисти и дряни...

— За битого двух небитых дают, — веселился Павел. — Так ли я рассуждаю?

— Ты не рассуждай, — грубо обрывал Фридрих, — ты лучше дело делай.

— Несправедлив, голуба, ой, как ты несправедлив ко мне! — весело обижался Павел. — Вот я недавно итоги подводил в книгах, то-есть подводил-то конторщик наш Киндеев, я только умствительно соображал: сорок пять тысяч чистого дохода по книгам значится. Хе! Это же, душечка, на мою долю пятнадцать тысяченок приходится.

— Ничего не приходится, — бурчал Фридрих. — Деньги кругооборот любят. Пойми и не препятствуй.

— Ну? — вступился молчаливый Генрих, взыскательно поглядывая на всклокоченные осенние облака. — Я и не прятать буду...

И в деревянных сараях, именуемых в официальных бумагах «корпусами», братья пускали в кругооборот считанные барыши. Молча, деловито, расчетливо.

Лишь кричат и славословят, и горделиво радуются мастера.

— У меня в механической двадцать станков на ходу, — потряхивая кудрями, похвально токарный мастер Семякин.

— Эй-эй, Сань-Ваня, не зевай по сторонам! — покрикивал Перелькин Донат. — Вас, чертей, сто человек, и все лодыри, за каждым гляди да поглядывай.

Озирал слесарную. Руки в боки. Король не король, но, видимо, властитель, приближенный к тому, кто господствовал и распоряжался, и, может быть, поэтому Доната боялись пуще хозяина.

«Лодыри» огрызались, как только могли. А что они могли? Выругаться за спиной мастера, только и всего. Если же обида была непереносной, шли в трактир Халявина, а по праздникам — на реку, и напились до умопомрачения, когда казалось, будто обида — не обида и горе вполгоря.

Всю ночь до зари шел тогда пьяный разгул, выкрикивали песни (их не пели, а выкрикивали), дрались «на любки».

— У Ланге бушуют, — пугливо замечали обыватели.

— Наши мелодцы веселятся, — смеялись мастера, хитренько подмигивая, самодовольно оглаживая бороды. — Харошо! Нагуляются — смирнее будут.

Трактирщик Халявин Сидор Семенович сидел у окна и прислушивался к церковному перезвону, и умиротворенно проговаривал трактирщик:

— Ах, красота невыразимая, благодать господня!

Пахло густым наваром щей, и тоненькая струйка лампадного масла, перегорев, синела над головой. Румяный песок перед окнами веселил сердце.

Хлопала дверь трактира со звоном и дребезгом, и слышал Халявич:

— Бери четвертуху, Сема, валяй, крой

на все медные и серебряные! Душа свербит, Сема!..

Любил слушать трактирщик церковный перезвон. Нужно понимать «чувствительную» душу любителя. Он, этот любитель, поглядывает в широкое, неизмеренной глубины небо, наблюдает за стайками белых голубей, взлетающих над крышами соседних домишек, принюхивается к аромату сдобного пирога и, конечно же, совсем не слышит отчаянного вопля своих потребителей:

— Крой на все медные и серебряные, душа свербит, Сема!

Отодвинем в сторонку любителя церковных перезвонов — в жизни его все ладно и благополучно устроилось. Даже машиностроительный завод братьев Ланге расположился поблизости от трактира, так что лучшего и желать нечего, и текут рубли в кассу Халявина, не задерживаясь подолгу в карманах рабочих.

Так идут годы, так пробежали десять удачливых лет.

Седые зимы проносятся над городом, над крышами завода Ланге. Зимы добрые (для Халявиных), и зимы злые (для рабочих).

Вечером, при свете коптилок и керосиновых ламп, копошатся в земле литейщики, работая у формовок. Зимний вечер пронзительно-холоден. Кто-то уже успел сбежать в трактир Халявина, выпить и еще принести с собой. В глухом закоулке литейной, за грудой железных опок и деревянных моделей собрались трое. Глухо и полутемно, за стеной скулит тонкий ветер. Пьяненький литейщик, наклонив кудлатую голову к простоватому лицу рязанского мужика, бубнит:

— Ты, Аржак, вот чего: ты еще ни хрена не знаешь, а мы тут, можно сказать, за рупь за двадцать кровь продаем хозяевам. Ты это пойми, крокодил, чорт! Не жилось тебе, дураку, в деревне... Ну-ка, тащи, выплеснем по ста кашку.

Рязанец, распустив усы, пил, кряжал и, зажмурившись, нюхал с наслаждением корочку хлеба, потом уже «во все глаза» таращился в рот опытному ли-

тейщику. Язык рязанца выговаривал, заплетаясь:

— Это конечно, что говорить, особливо ежели, когда дома кусакать нет чего. Хе-хе... Земля отродилась, тощая земля, опять же подушные, семья, мать-старуха... Тоже понимать нужно.

— А-аа... Ну, ну... Понял больше половины. Пей, Аржак, хлобысни малость.

Аржак пил. Ночь за стеной все глуше, ветер тоскливее. И тогда, пользуясь тем, что хозяева отсутствуют, Аржак, положив корявое лицо свое на зачерствелую ладонь, принимался подвывать ветру:

И э-э-э, да ну, да и э-эх .

Хриплый голос долго вытягивал песню, обрывался и не мог вытянуть.

В эту ночь хозяева, Фридрих и Генрих Ланге, в вагоне второго класса (шиковать, так уж шиковать!) ехали на Всероссийскую промышленную выставку в Петербург.

Покупая в кассе два билета, Фридрих все подергивал плечами и даже сопел, искоса поглядывая на Генриха.

Генрих, догадавшись, сейчас же и улыбнулся (улыбался он всегда умно и как-то по-особому пронзительно).

— Ну-ну, нечего тебе кряхтеть, не разоримся. Поди-ка, на Всероссийскую выставку едем, не куда-нибудь. Ты как думал!

— Я думал в господский вагон перед Питером перейти, — ворчливо проговорил Фридрих, — все ж таки дешевле обойдется.

Генрих сунул руки в карманы пальто, отвернулся, остановил в одной точке глаза свои, — значит, сердился.

— Ты, вроде, у нашего Карлуши (Карпухи) Полуденова уроки берешь, — заметил он, — прямо два сапога — пара.

— Что ж, я не отказываюсь, — согласился Фридрих, — парень образовался. Он у меня вместо памятной книжки: чуть чего — он, пожалуйста, рапортует. Таких ценить нужно.

В уютном купе вагона было тепло и очень спокойно. Подобрев, Генрих скупово говорил:

— Станки наши — дай бог заграничным...

Фридрих — еще скупее:

— Достигли, брат.

В Петербурге пришлось раскошелиться, снять в гостинице номер, угощать распорядителей выставки. Фридрих покрякивал, но терпел, а под-конец и совсем разошелся, когда услышал от верного человека о решении начальства награждать завод братьев Ланге серебряной медалью.

Возвращались домой с легким сердцем, не жалея о понесенных расходах.

— Ну, как говорится: была не была, а повидалась, — веселился Павел.

После петербургской выставки Фридрих все чаще начал задумываться и как-то особенно деловито помрачнел; лишь изредка, проходя двором завода, оглядывая бревенчатые стены, бубнил, сдвинув на глаза широкополую шляпу свою:

— Тесновато, тесновато, развернуться негде.

Словам этим внимал, между прочим, и Карпуха Полуденов и даже попытался почтительно пискнуть однажды:

— По всей видимости, строиться надобно, Дрикс Иванович.

— Ну-ка, подойди ко мне, голуба, — приказал Павел.

— Зачем же-с, я и отсюда все слышу, — уклонился Карпуха.

Подходила весна, одиннадцатая со дня существования завода. Карпуха оказался угадчиком. Еще по снегу начали подвозить лес и занесли два корпуса: кузницу и сборочную мастерскую, прямо бок-о-бок с токарной.

— Ха! А ведь участочек-то маловат будет, — посмеивался Карпуха; глядел в сторону конторщика Киндеева: — Как ты соображаешь, Епимах Лазарич?

— Провидец ты, молодой человек, провидец и уловитель счастья. Фридрих Иванович намекал тут братцу своему, Генриху Ивановичу.

— Намакал?

— И достаточно явственно, и даже в моем присутствии изрекли.

— Что изрекли? Да говори ты толком, ради истинного господя! — волновался Карпуха.

— Изрекли нижеследующее... Но до чего же, молодой человек, залились вы багровым румянцем! Гм... изречение хо-

зяина, Фридриха Ивановича, я, по виду вашему судя, должен сообщить вам в более уединенном и веселом местоположении, тем более, Карпушенька, что на дворе опять весна и вновь цветут надежды.

— А иди ты к бесу!

— Отлично-с.

Карпуха обозлился, но так и не узнал, что же изрек Фридрих Ланге. Корпуса между тем очень быстро выросли и наполнились станками. У ворот завода можно было видеть рабочих; они приходили к воротам и часами простаивали тут, ожидая «заглавного» хозяина, которым был все тот же «Дрикс» Иванович. Обычно выходил к воротам Карпуха Полуденов; он толкался среди рабочих, прислушивался к их разговорам и отбирал нужных, пропуская некоторых в конторку к «самому». Но однажды, случилось, «сам» позвал Карпуху в дом свой. Долго сопел Фридрих Ланге, разглядывая выученика по-хозяйски и с затаенным любопытством. Кратко сказал, указывая на стул:

— Садись, мошенник.

Карпуха не оробел, но для-ради приличия остался стоять.

— Сколько хочешь получить за участок? — спросил Фридрих. — Говори сразу.

— Сколько положите, Дрикс Иванович. Вы уж без обиды.

— Угу, без обиды, говоришь?

— Так точно-с.

— Без обиды положу тысячу рублей.

— Никак невозможно, Дрикс Иванович, — затосковал Карпуха и лицо сделал сиротское, горестное до последней возможности. — Ожидаю две, Дрикс Иванович.

— А по морде не хочешь?

— Как угодно-с, Дрикс Иванович...

Сами извольте рассудить — на трешнице не оденетесь.

— Что?! — вскинулся Фридрих. — Какая-такая трешница?

Карпуха глядел, не отрываясь, в лицо хозяину и по-особому, намекаяще ухмылялся.

И вдруг Фридрих завозился на стуле и, кажется, чуточку покраснел даже, хотя это могло и показаться.

— Теперь припомнили-с? — нежнейше осведомился Полуденов, приближаясь на носках к столу. — Я к тому, Дрикс Иванович, что сироту завсегда можно обидеть. Только я, напротив, каждый день молюсь богу за вас, — сдохнуть-помереть, молюсь...

— Ну и ну! — удивлялся Фридрих Ланге. — Вырос ты, парень, молодцом вырос... Придется, должно быть, заплатить две тыщенки, ничего не поделаешь. Ай, какой же ты молодец! какой же ты мошенник! — ласково провожал Фридрих Карпуху.

Тут он вспомнил что-то — и, вспомнив, объявил Полуденову:

— Вот чего, голова с мозгами, скажика ты Киндееву, когда в контору зайдешь, — скажи, чтобы отметил он по книгам Карпа Полуденова заведующим заводским двором. Да уж иди, иди, нечего растабаривать, благодарить и все такое, ни к чему это совсем.

XII

Мастера цехов ходили поздравлять хозяев с расширением производства, получили мзду за усердие и соответствующее наставление.

— Премии сочинить нужно, награды для рабочих, которые стараться будут, — внушал Фридрих. — Уразумели?

— Золотая голова! — умилялись мастера, расходясь по цехам. — Премия рупь-целковый, а усердия на целую сотню. Да теперь любой, можно сказать, в лепешку разобьется, потому каждому лестно.

Урчали станки, обрабатывая чугун и железо, гудели вентиляторы.

Грязь, дым, несусветная жара, лохмотья копоти, и тянется день, которому не видно конца. Рабочие гудят:

— Закон есть? Или никакого закона?

— Молчи шибче, Побыткин, молчи, Степа...

— Ха! Законник выискался какой! Вот он, Фридрих-то Иванович, услышит, узнаешь тогда закон...

— По пятнадцать часов гоним, и каждый день так.

— Вольному воля, спасенному рай, зато ведь и копеечка с коньком. Слава

богу, до семидесяти рублей в месяц огребаем, а в литейной и того больше,— возражали премированные и награжденные.

— Ничего, ничего, — отвечал на жалобы недовольных токарный мастер, Капитон Семякин. — Бог — он труды любит. Хорошо поработаешь, сытно поешь.

Оглядывая хмурые лица рабочих и гроникаясь жалостью к ним, к себе и вообще ко всем живущим на земле. Голос мастера Семякина приобретал удивительно мягкую задушевность, казалось, голос этот прикасался к самому сердцу слушателей.

— Господи боже ты мой, ниспосли мудрое терпение твое в заскорузлые души людей. Э-эх, ребята, ребята, ведь ежели вникнуть, все мы наперекосы живем. Я, к примеру, Побыткина однажды за волосы отгаскал, а почему, спрашивается? Единственно по жалости моей к человеку, захотел умиротворить, чтобы не заносился слесарь Побыткин и помнил, что над нами всегда незримо повисает карающая рука господя нашего.

Семякин улыбался во все стороны, раскидывая в чувствах своих и полез обниматься к ученику, Митьке Лепихину, которого чаще других таскал за волосы. Митьку даже по имени не называли, и вдруг такое ему отличие.

— Ну, будь ты проклят трижды, анафема! — вслух удивился сверловщик Семеныч. — Пропашее твое дело, Турурок, — предупредил он Лепихина. — Ты не робь се-таки, может, и обойдется.

Летний день пропылил за стенами завода и остановился за леском, об'ятый горестной синевой, насыщенной запахом человеческого пота, отчего морщилось небо и беспутно метались облака.

Сипя и задыхаясь, взывал гудок, и все, глотавшие пыль литейной на заводе братьев Ланге, все, что потели у верстаков или сгибались у токарных станков, находили тот гудок лучшей в мире музыкой. И, уходя, обязательно задерживались у халявинского трактира, чтобы причистить душу, освежить мысли..

— Ах, народ! До чего же замечательный народ, настоящие князья! — крутил головой трактирщик Халявин.

— Эй, хозяин, корзину пива! — приказывали «князья».

— Сидор Семеныч, ведро водки на всю честную компанию!

— Шевели ногой, ходи козырем!

Халявин распускал толстые губы, оглаживал широкую бороду. Сегодня все тут. Окна, двери настежь. Сегодня самый развеселый день, об этом даже в городе знают. У проходной завода, у дверей трактира толпятся жены и дети рабочих: на заводе братьев Ланге получка. И самым почетным в этот день являлся конторщик Епимах Киндеев; это он, и никто другой, придумал плачливаться с рабочими в трактире.

Разложив на буфетной стойке платежную табель, выбросив доотказа гусачью свою шею, Епимах вызывает рабочих по алфавиту:

— Аникеев Григорий! Гряди, голубица моя!

— Хо-хо! Голубица и есть!

Епимах протирал очки, улыбался.

— Приветствую тебя, свет очей моих, Екатерина Никитична, получи за благоверного твоего сорок три рублика. Изобрази тут вот (тыкал в табель пальцем) крестик и отходи к сторонке. Ах-мах, до чего нынче жены строгие пошли, супругу своему единопостельному доверия должного не оказывают...

Епимах весело подсовывал Екатерине Аникеевой табель, и куда она выводила крестик, он щелкал на счетах и, пощелкав, объявлял:

— Теперь, милая моя мамочка, зри сюда вот и сообщай: за прогул двух с половиной дней — три рубля семьдесят копеек.

— Ах ты господи, — вздыхала жена рабочего, — где ж он гулял?

— Вот этого я, ангелок мой, не знаю. Мое дело отметить и денешки удержать, да-с, удержать, дабы знал и помнил супруг ваш, что мы стоим на страже законности и порядка...

Конторщик выдавал деньги и вызывал следующего рабочего.

Трактир гремел и веселился. Сипло подвывала веселая машина, звенела опорожненная посуда, щелкали в соседней половине бильярдные шары, горланили свои песни подвыпившие рабочие,

визгливо ругались жены и неистово вопили детишки.

Карпуха Полуденов стоял за спиной Елѣмаха и выставлялся, щеголяя перед женами рабочих и дочерьми их «деликатными» словечками, сделанной у цырюльничка прической «с хохолком» и серебряной цепью от часов, раздернутой во всю ширину живота. В дни получек Карпуха принаряжался, к тому же платили всегда в праздники, чтобы не пропало даром рабочее время.

Позвякивая серебром, шли гурьбой на «Дунькин луг», к реке. Тут был самый разгул. («Веселись душа и тело, вся получка пролетела!»).

Дулись в «три листа».

— Прошел!

— С нашей!

— Даю рублевку.

— Замирил полтинничком.

Сияло солнце, томительно пахло польню, булькала водка, хрустели на зубах малосольные огурцы.

— Да что у нас, семеро по лавкам, что ли? Дуй, ребята, до горы!

Дули...

Жили в трущобах, в доме кабатчика Халявина, называли дом «Халявинским кильдымом». Селились артелью; для артели той содержали стряпуху (не кухарку, а именно стряпуху). Была стряпуха жирной бабой, говорила с перепоя басом, к мастеровым относилась покровительственно. Никто стряпуху не выбирал, она появлялась сама и, появившись, утверждалась раз и навсегда, как непререкаемый закон. Все знали, что зовут стряпуху Матреной, и больше о женщине никаких сведений. Проходили годы, может быть, пять или десять годов, стряпухи сменялись, умирали, уходили, прикопив деньжонок, на покой, в деревню, но этого как будто не замечали, и стряпуха носила одно неизменное имя: Матрена. И внешность Матрен всегда оставалась одной и той же: ноги — как тумбы, с расширенными багровыми венами, груди — «Афонские горы», зад — кругом обойдешь, три каравая с'ешь.

Выручает нас Матрена,
Да-ах, артельная жена...

Пестрая, будто раскрашенная колокольня, появлялась Матрена в праздничный, развеселый денек на Дунькинском лугу, в руках пунцовый платочек с жареными семечками, на голове цветистая шаль. Идет Матрена и озирает пьяное свое семейство, и все Матрену привечают, каждый круг зазывает к себе. Матрена выбирала степенных, с которыми поговорить можно.

Гудели колокола сорока сороков московских церквей. Рабочие завода Ланге, захватив водки, дешевой колбасы и хлеба, отправлялись к реке — поваляться в кустарнике на траве, расправить утомленные плечи, отдохнуть и помечтать о хорошей жизни. Тишина, щурится солнце сквозь ветви деревьев, переливается в глазах далекая небесная пурпурность. Старый сверловщик Семеныч, забросив руки за голову, сладостно позевывая, говорит ученику, Митьке Лепихину:

— Ну-ка, Турурок, долбани стаканчик!

— Не пью, Семеныч.

— Э-э, браток, — удивленно мычит Семеныч, — какой же из тебя мастеровой образуется, если не пьешь? Хм! Ну, ладно. Ты, Турурок, не слушай меня, старого дурака, ты действительно не пей, ты лучше того... учишься, а то всю жизнь-судьбу пропнешь. Да, мы вот пропили, и вообще... Понял? Ты лучше почитай что-нибудь образовательное, для утех.

Из кустов выползли еще несколько человек, между прочим Побыгкин Степан, злой слесарек.

Митька Лепихин (он же Турурок) как будто бы того только и ждал. Волнуясь, бойко принимался он за «образовательное чтение»:

— «Не ясен сокол напущает на гусей и лебедей, напущает Еруслан Лазаревич на рать силу великую князя Данилы Белого, и стал побивать рать силу великую, сколько бьет, вдвое того конем топчет, и всю силу побил, пересек и конем перетоптал, а самого князя Данилу Белого живого в полон взял».

— Чорт, здорово! — замечал Побыгкин. — Вот это богатырь!

— Не в тебя... Такого Семякин за вихры не отгаскает.

— Правильно, — соглашался Побыткин. — А ну-ка, что там дальше?

— И до чего жалостно все...

— А-а, Матреша, милости прошу к нашему шалашу! — приветствовал Семеныч подошедшую стряпуху. — Ты чего же?

— Праздную, Семеныч. Вольготный денек ноне, боже мой, господи! В кабаке получку получают. Орган задыхается, Колпачиха, бандарша, ребят зазывает, девки поют, вот я и пошла.

— Карпуха Полуденнов хороводит-ся? — спросил Семеныч.

— Беспременно даже, — весело сообщила Матрена и стрельнула исподлобья хитрым глазом на Степана. — Только нонче один, без Алевтины: Алевтина будто и на голос его не подпускает, только я не верю.

— Ну, ежели подпустит — зарежу, — пообещал Побыткин. — Он, сволочь такой, обманул ее, а теперь насмехается.

— У тебя, поди-ка, сердце нудит? — жирно посмеялась Матрена. — Шел бы ты к Колпачихе, охотку сбить. Девки у нее новые, из деревни пришли... Ну-ну, не буду, ты не сердись, Степа. Ох ты, господи! Две обедни нынче простояла, в грудях тяжело, — может, ослобонит кто...

— Тыфу, будь ты проклята с разговорами! — озлился Побыткин. — Старуха ведь.

— Кто это? — колыхнулась Матрена. — Гляди-кось, Семеныч, какая же я старуха?

— Ладно тебе, он заигрывает. Ты у нас атлет, — похвалил Семеныч, — одна расписная на всю деревню.

Они смеялись и радовались тощей радостью, и каждый приберегал в сердце надежду, будто воскресный день будет лежать на берегу всю их жизнь, и расписная стряпуха Матрена тоже останется, как необходимое и прекрасное дополнение к местной природе. Побыткин Степан — и тот смяк, однако Лепихина Митьку за его чтение не одобрил.

— Ты, Турурок, не эту азбуку читаешь, тут одни балясы. — Потянулся

за книжкой, насмешливо перелистал. — Один раз я тоже читал, ну, та книжка прямо в сердце бьет. Об неграх. Я плакал даже. Плачу, а надо мной смеются. Прочитал им — задумались...

Швырнул книжку под кустик, окончательно осужденную им за «балясы».

Между тем Дунькиным лугом проходили Карпуха и Епимах, один — трезвый до стеклянной светлоты разума, другой — пьяный, но лишь по первому взводу; они шли и рассуждали между собой и, должно быть, никого не замечали, так были заняты.

— Вычетов у нас, Карпушенька, сто восемьдесят один рубль и тридцать копеек, — весело сообщал Епимах, — а по табели, для официальности, значится всего тридцать один рубль. Смекаешь, сколько нам очистилось? Ты в своей доле хозяин, я — в своей, но, между прочим, прохвосты мы первостатейные. однако умолчу, чтобы не нарушать безмятежный покой души твоей.

Епимах жаждал внимания и хотел говорить без конца, такая была у него привычка, в особенности, когда выпивал; тогда он заносился непомерно и произносил такие мудрые слова, что сразу, по одним словам только, можно было определить о высокой образованности этого человека. И все же главное в Епимахе была его святая способность к покаянию. Глотнув стаканчика три-четыре водки, он плаксиво всхлипывал и начинал каяться; так это продолжалось дня два, покада не придумывал Епимах новой пакости, для очередного своего покаяния. Так жил и забавлялся помаленьку Епимах Киндеев.

— По семидесяти пяти рублей прилипло к нашим преступным рукам, Карпушенька, — продолжал изливаться конторщик, — по семидесяти пяти рублей трудовых, рабочих денежек. Эх, эх, друг ты мой перпелесовый!

— Прекрати покаяние, — отозвался Карпуха, — оставь это самое которым подурес.

Хотел было отойти в сторону, чтобы поглядеть, не собрались ли где молодые девицы, но тут же вспомнил, что ему к девицам без гостинцев подходить не полагается и что расходовать, по-

жалуй, и не стоит. Карпуха повернул к реке.

День обещал благополучно отойти, и уже солнце легло на камыш.

— Вон идет Полуденов, — испуганно дернулся Митька Турурок, — к нам подходит.

И вдруг заговорила стряпуха Матрена (кстати, кончились жареные семечки), заговорила она с необычайной поспешностью, будто читала что:

— Их ты, господи! Такой ли прекрасный кавалер, девки так и льнут, а он всем с шеститки отказывает. Облюбовала его Алевтиночка, ан дело сорвалось. Карпуша на отличку ото всех, и, говорят, повышенье ему хозяевы назначили, — тогда, значит, Карп Серафимович дал красной девице полный отказ. И хоть был промежду ними грешок, ну только об этом никто ничего, и когда об'явится грешок-то, неизвестно.

— Врешь, чортова сводня! — не выдержал Побыткин. — Я про это самое лучше тебя знаю.

— Аль испробовал? — не сбиваясь с тона, насмешливо осведомилась Матрена. И понесла чешать снова, не дожидаясь ответа: — Алфей запивать стал, чего от роду не было с ним. Ну, и Колпачиха ловкая тоже баба, подкатилась к Алевтине, к себе звала, на сытое житье, наряжать обещала. Ты, говорит, у меня по высокой цене пойдешь...

Митька Лепихин дунул в кусты, чтобы на глаза карпухины не наткнуться. Сверловщик Семенчы спал, и Матрена угомонилась. Летний день совсем отощал и посинел. Пополз от реки туман.

Побыткин Степан лежал в кустах. Прислушиваясь к гармонным переборам, к тому, что давно уже не было музыкой и лишь бередило сердце, как неумный накрик, Степан боялся думать, будто стряпуха Матрена сказала правду. Он любил Алевтину и плевать хотел на любую правду о ее поведении, но все-

таки (Степан хотел перехитрить самого себя). Ему было очень больно, и в воображении его проплывали почти ошутимые картины падения Алевтины. Иногда, встречаясь с Алевтиной, он пробо-вал спрашивать ее обо всем, и, главное, все поподробнее, а потом сам же и кричал, чтобы она замолчала и что он совсем не хочет ничего знать, — так ему было стыдно своих расспросов. После он долго не мог успокоиться, потому и книжки читать начал, чтобы сердце унять.

Степан поднялся, побрел, спотыкаясь и чуть не падая, приобрел прямо через кусты, здесь он придавил ногой Митьку Лепихина.

— Ты чего делаешь, Турурок? — удивился Побыткин. — Почему не идешь домой?

— Я плачу, Степан Веденеич, — отозвался Митька. — Матрена правду говорила; Полуденов надругался над Алевтиной, теперь она тоскует, и я не знаю, что будет.

— Ага, надругался...

Побыткин не знал, как ему поступить; он надумал было пойти сейчас же к Полуденову Карпу, притвориться пьяным и затеять с ним драку, — так он хотел отомстить, то есть раскровянить благополучную карпухину морду. Сначала показался замысел таким заманчивым, и все было будто в'явь: Карпуха лежал поверженный наземь, и стелановы кулаки молотили по ненавистной физиономии врага, и бегал вокруг Митька Турурок, яростно приговаривая: «Прибавь жару, Степа, бей, не жалей!»

Так мечтал слесарек Степан Побыткин, лелея надежду отомстить обидчику; он вел Митьку за руку, обиженного судьбой ученика, по прозвищу Турурок. Шли приятели, продираясь через кустарник. В загустевших сумерках лежали совсем уж не видные тропинки, они бежали от реки к большаку.

(Продолжение следует).

Гольфштрем

Роман

МАКС ЗИНГЕР

Часть третья

(Окончание¹)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Полярная «стрела» неслась на юг в просеках тайги, в каменистых теснинах. В международном вагоне было пусто. Директор Рыбтреста Кремнев видел из окна вагона одиноко стоявшие вдоль линии Мурманской железной дороги островерхие деревянные домики, комлистые, низкорослые ели и сосны. Кремнев получил из Москвы срочную телеграмму о том, что единственный сын Коленька заболел тяжелой формой дизентерии. Сдновременно директора Рыбтреста вызывали с докладом к наркому в Москву. Директор просматривал, сидя в купе, пачку листов, заполненных столбиками цифр, и делал пометки в своей записной книжке. Но, как только принимался за подсчеты, сейчас же вспоминал далекую Москву и своего Коленьку, которого не видел с самой весны. Мысль сверлила: «Быть может, приеду, а его уже схоронят!»

Одиннадцать лет назад в Москве, где Кремнев после фронта учился в Институте красной профессуры, умер Мишенька — первый сын Кремнева. Из детской консультации присылали каждый день разных врачей. Все они были малы и неопытны. Все они щупали опав-

ший животик Мишеньки, иссыхавшего от болезни, мерили температуру, рекомендовали черничные кисели, клизмы, говорили о том, что беда теперь с ребятами.

Утром в комнату к Кремневу, сидевшему за книгами, вбежала с криком соседка по квартире, не отходившая от постели больного. «У Мишеньки младенческое!» — крикнула она.

Кремнев раньше не слышал этого слова. Но сейчас, произнесенное тревожно, оно стало ему сразу понятно и показалось решающим и страшным. «Младенческое!» — это очевидно наступал конец его ребенку, с которым он связывал столько светлых надежд.

За озерами в окне вагона виднелись снова перелески и болота. Развешивая черное кружево дыма по верхушкам деревьев, мчался поезд на юг. Кремнев смотрел в окно и думал о Москве, куда попал после ранения под Перекопом. Отлежавшись в госпитале, Кремнев получил в Хамовническом совете ордер на комнату в одной из бесхозяйственных квартир по Зачатьевскому переулку. Так назывались квартиры бежавших хозяев. Стены комнаты, клееные обоями под крокодилову кожу, забуровились и были все в грибах. Некогда крытый лаком потолок чернел копотью от железной печки. Стекол оконных почти не было, — их заменял картон вперемежку с фанерой.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 5 и 6 с. г.

Дневной свет скудно проникал в комнату. Целыми днями через все пять лампочек хлестала светом бронзовая с хрустальными подвесками люстра. Свет был даровой, с электрической станции никто не приходил проверять счетчик. Утром Кремнев бежал на морозную кухню умываться студеной водой из-под крана и набирал воды в медный чайник. Надо было запастись водой, потому что ее могли выключить без предупреждения. Ночью перед сном Кремнев помогал жене Наташе мыть посуду и напевал фронтовые песенки.

Ночью, накануне болезни Мишеньки, набухший алебастр потолка обвалился, раскидав трубы железной печки, замусорив комнату. Кремнев долго чистил скребкой... На четвертый день болезни ребенку стало плохо. Ребенок лежал с открытыми, но безучастно смотревшими глазами. Он не глядел ни на кого. Он не произносил ни слова.

— Мишенька умирает! — вдруг крикнула Наташа и заметалась по комнате. Крик ее был пронзительный и всполошил всю квартиру. В комнату Кремневых стали собираться соседи. Они входили осторожно по-одному на цыпочках и становились поодаль от детской кровати.

— Да-а-а!.. Пульс не прощупывается! Смотрите, у него уже стеклянеют глаза, холодеют ручки, — сказал Кремневу врач.

Кремнев взял исхудавшую руку ребенка и вдруг отдернул от нее свою. Рука ребенка была холодна и скользкая от смертельного пота.

Вагон плавно покачивался на рессорах. Перед Кремневым в дверь купе, ведущей в умывальную комнату, было вделано большое зеркало. Он взглянул в него и увидел свое чуть бледное, небритое вот уже два дня лицо. Оно посинело от щетинившейся бороды и казалось старше обычного.

«Коленька заболел дизинтерией-шига. Необходим твой приезд».

«Телеграмма срочная, — думал снова Кремнев. — Неужели опять?»

«А вдруг пошло на улучшение? Быть может, спала температура, наладился стул, — Коленька будет жить! — за-

теплилась вдруг надежда. — Дам телеграмму с дороги, пусть мне ответит в Ленинград до востребования, — что с Коленькой?»

В Ленинграде у окошечка «до востребования» не было никого.

— Нет ли Кремневу до востребования?

— Предъявите ваш документ!

Кремнев показал партбилет.

— Получайте!

Телеграмма задрожала в его руках.

«Коленька в Кремлевской больнице. Температура нормальная. Врачи обещают улучшение. Наташа».

Кремневу захотелось сразу петь, танцевать и обнимать всех. Он горячо благодарил женщину, сидевшую за окошечком «до востребования», и рассказал о своей радости.

«А селедочка-то, сволочь, набила нам морду!» — вдруг вспомнил Кремнев, когда поезд отходил из Ленинграда на Москву. И мысли директора снова понеслись в туманное и штормливое Мурманское море.

Мы ее в губах поджидаем, а она в губы не идет, проклятая! С чем я явлюсь теперь к наркому! Где, скажет, селедка? В шею он меня погонит! У нас не любят, когда оправдываются. Но по тралфлоту мы перевыполнили годовое задание на тридцать процентов. Качество рыбы прекрасное! — И настроение Кремнева, угасшее было, вдруг снова поднялось.

На вокзале его не встретил никто. Он подъезжал к своей московской квартире на новеньком такси и с волнением стоял у парадной двери, возле медной таблички, на которой была выгравирована его фамилия. Кремнев не решался позвонить, чтобы вдруг не услышать печальную новость.

Он не был в Москве около полугода.

Давно лелеял Кремнев мечту поработать безвыездно у себя в московской квартире. Там, в его комнате, заставленной книжными полками, не было ничего лишнего, все было необходимо для работы и облегчало ее. Всегда справа на столе у него лежали ножницы и пузатился флакон гуммиарабика, всегда слева в медном стакане, будто стрелы в

колчане, торчали тонко очиненные карандаши, раскинувшись цветным павлиньим хвостом. От стола, не вставая, можно было достать рукой до полок и выбрать для работы необходимую книгу. Все книги стояли в строгом порядке, который никем не нарушался.

Кремнев смотрел из окон такси на город. Ломалась старая Москва и на ее место поднимался новый юный город...

— Коленька выздоравливает!— встретила Наташа Кремнева у дверей и бросилась к нему на шею.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На бюро окружкома в синем деревянном корпусе, расположенном возле памятника жертвам интервенции, секретарь обкома докладывал о развитии производительных сил на Кольском полуострове.

— Рыба — один из элементов в борьбе за это развитие производительных сил, — говорил секретарь. — Партия борется не только за рыбу. Выполняя волю вождя, мы создаем гидроэлектростанции, мы электрифицируем Кольский полуостров. Не только одна рыба в центре нашего внимания. Мы не можем рассматривать рыбу изолированно. Рост рыбной промышленности идет одновременно с ростом всего края, с развитием геологических изысканий и с ростом путей сообщения.

Раньше говорили, что рыба — стихия, а планировать стихию — нельзя. «Если будешь планировать, то обязательно преувеличено. И всегда будут прорывы. Кто может учесть такие неожиданные помехи, как штормы и туманы? Подходы трески и сельди неизвестны!» Не без влияния вредителей были конечно эти настроения. Аппарат треста еще совсем недавно был засорен косным и чуждым нам элементом. Он недостаточно быстро откликался на самые важные требования жизни. Мы стоим сейчас на пути к полной ликвидации недостатков работы треста. По указанию наркома построен свой морской Мурманский техникум. Он даст нам в ближайшие годы новые кадры. Это бу-

дут наши капитаны и наши моряки, которые не знали Агаловых, Пургавиных, Елимахов Могучих, Спаде и прочих мурманских акул. Это будут комсомольцы, партийцы, которые знают своего вождя и свою социалистическую родину. Но поймите: человек, который приехал на полгода в Мурманск, не хочет, да и не может, связывать себя с широкими перспективами края. Эти широкие перспективы требуют того, чтобы человек не был здесь случайным гостем, а поработал на Мурмане, скажем, пятилетку.

Вы понимаете совершенно ясно, что вопрос о закреплении кадров имеет решающее влияние в борьбе за рыбу для страны. А основным стимулом для чуждых настроений есть прежде всего отсутствие культуры и благоустройства.

К нам приезжал в порт Сталин. Он сделал нам указание, что Мурманск — столица растущего Севера. Он интересовался планировкой города. До приезда Сталина были такие настроения у наших коммунальников: «У нас своих стройматериалов нет, а если все возить из Ленинграда или Архангельска, многого не настроишь! Нет глины! Нет кирпичных заводов! Лето короткое! Зима снежная, протяжная и темная!»

Эти люди забыли об одном, о главном, — что вопрос о городской культуре решал судьбу развития края. Построили мы завод с проектной мощностью на двадцать пять миллионов кирпича и начали строить такой же завод дополнительно. Из деревянного Мурманска мы строим теперь Мурманск каменный, как указал нам наш любимый вождь.

Первой нашей задачей было ликвидировать настроение, что будто стихия определяет улов. С этим настроением нельзя было сделать ни шагу вперед. Мы повели решительную борьбу с остатками вредительства, с диспропорцией большого флота и узкого берега. В борьбе возникали новые задачи. Поднялась рыбообрабатывающая промышленность. Потребовались холодильники, консервный завод, судоремонтный, заводы по переработке рыбьего жира, рыбьей шкуры, утилизационные

заводы, перерабатывающие отходы рыбных предприятий.

Настроения чеховидного порядка способствовали тому, что у многих работников окружного масштаба отсутствовала широкая перспектива.

Внимание партии к Северу особенно большим стало после приезда товарища Сталина. Был решен вопрос об электрификации Мурманской дороги, о Туломской гидростанции, о горно-химических делах, об обороне берегов, о слиянии двух рыбных трестов, о планировке города и о многом другом.

Бюро с глубоким вниманием слушало доклад секретаря окружкома.

В синем деревянном доме окружкома слышно было, как стучали внизу по городской улице молотками о камень рабочие на мостовой и громыхали грузовые машины со строительными материалами. По высоким лесам взбирались на работу строительные рабочие.

В Мурманске нехватало земли, чтобы шириться городскому строительству, и город уходил не вширь, а ввысь. По указанию вождя росли высокие дома полярного порта Мурманска.

Для судоремонтного завода отвоевывался кусок земли у моря, у обсушки. Там, где строился судоремонтный завод, еще несколько лет назад ходили при полной воде большие бота. Надо было отобрать у моря кусок земли, заливаемый при полной воде во время наибольшего подъема приливной воды. Территорию обнесли шпунтовой стенкой, дощатыми сваями. Отсыпали дамбу высотой до пяти метров. В одном месте стенки оставили ворота, которые можно было закрывать щитами — шандорами. Пока эта дамба отсыпалась, вода заходила в котлован во время прилива через ворота и скатывалась при отливе обратно через те же ворота в залив. Около десяти гектаров земли было отвоевано у моря...

В один из больших отливов, когда дно котлована было сухо и вода вся ушла, дощатые щиты были закрыты. Их засыпали со стороны котлована землей. Инженеры-строители судоремонтного завода надеялись, что вода на приливе не попадет в котлован, дно

котлована останется сухим, и вся работа будет производиться при малых затратах, как обычно на сухом месте. Но море не хотело сдаваться и уступить человеку права на свой грунт. При среднем уровне прилива на дне котлована стала появляться воронка, пробивавшаяся не через дамбу, не через стенку, но из-под грунта. Море проверяло крепость возведенного против него людьми сооружения.

Воронка росла и увеличивалась в диаметре. Вода выбивалась из воронки в виде ручейка, но затем, с каждым получасом, по мере повышения прилива, закипала все сильнее и грознее и наконец забила фонтаном. На шпунтовой стенке, на дамбе с южной стороны, были одновременно замечены разрушения. Земля стала оседать, ее, видимо, размывало. И, когда с отливом вода ушла, то часть ее, оставшаяся еще в котлованах, продолжала разрушительную работу. Образовалась промоина шириной около шести метров, словно здесь упал большой снаряд.

Инженеры, посоветовавшись с рабочими, решили разгородить большую котлован на отдельные участки дамбами, оставив один свободный вход. Промойны были заделаны. Стали отсыпать дамбы внутри, сообразуясь с расположением будущих цехов. Первым была отгорожена площадка литейного цеха, вторым механический цех и третьим котельное отделение. Воду выкачивали насосами из квадратов — участков, отгороженных дамбами. Каждый участок засыпался отдельно.

... Зимой работать было трудней. То поднималась вьюга и серел от снежной пыли и без того сумеречный день. То неожиданно ударяли морозы, и над водой целыми днями пологом висел сплошной туман. Вода в заливе не замерзала, но давала большое количество испарений. Работали на обледеневших сваях. Было скользко. Топили много топоров... Пурга поднималась такая, что не видно было работавшего рядом соседа. С темнотой полярной ночи спорили прожектора.

В один из вьюжных, зимних дней набережную судоремонтного завода сдали

в эксплуатацию. Пятнадцать рыболовных траулеров стали одновременно на ремонт у пяти новых причалов судоремонтного завода — залечивать раны, полученные на рыбном фронте.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром, прямо с поезда, Кремнев зашел к себе в Рыбтрест. Здесь он долго ходил из угла в угол и бросал слова стенографистке. Нужно было дать статью для окружной газеты. В тресте Кремнев пробыл недолго, потом, не заезжая домой, отправился в новый только-что отстроенный Дворец культуры — на общегородское собрание партийного актива.

Мурманская ночь была светла и тепла, — светило незаходящее солнце.

Центральным комитетом партии работа Кремнева была признана неудовлетворительной. План лова по траловому флоту трест выполнил, а сельди не наловил даже для своих сотрудников.

— Селедка, она несознательная, — говорили между собой рыбаки. — Мы ее в губах поджидаем, а она, проклятая, по морю гуляет и не думает к нам в губы заходить.

В своей речи секретарь окружкома коснулся и недолова. Кремнев успел именно к этой части речи.

— Всем очевидно, что нам необходимо в третьем квартале перекрыть недолов второго квартала, — говорил секретарь. — Месяц назад мы проверяли фактическую готовность наших организаций к тому, чтобы покрыть недолов. Результаты проверки печальны. У нас есть уже первые сообщения о подходах сельди в Кольском заливе и на Восточном берегу в Иоканьге, но надо прямо сказать: большинство рыбных предприятий даже теперь, после крепкого урока, к сельдяной путине не готовы!

В первом ряду сидели краснофлотцы с прибывших в Мурманск военных судов и не спускали глаз с директора треста, следили за всеми его движениями.

— Страна просит рыбку, а он рыбку не дает! Ему климат не подходит! — говорил один из краснофлотцев на ухо соседу. — А партия ему лепит выговор!

— Страна рыбку не просит, а требует! — поправил его сосед.

Когда слово было предоставлено директору треста, кто-то случайно хлопнул в ладоши и робко спрятал руки в карманы. Директор шел к кафедре спокойно, как всегда на всех собраниях. Говорил медленно. Как будто все обвинения касались не его. Он не жалел слов для того, чтобы показать все недостатки работы своего треста, и много говорил о мерах борьбы с этими недостатками. Кремнева слушали плохо.

Директор говорил о пересмотре личного состава треста, о том, смогут ли сотрудники треста понять важные хозяйственные задачи, которые ставит перед ними страна. Быстрейшая уборка рыбы! Иначе некуда будет ее принимать. Техника трала не освоена. Освоен только спуск и подъем трала. Но самого трала как следует еще не знают. Необходимы кадры по новым орудиям лова. Надо бросить партийцев на тралфлот. На бондарном заводе низкая дисциплина, слаба профработа.

Кремнев видел, как люди поднимались с сидений, уходили к окнам, закуривали, не слушая его доклада. Обращаясь к президиуму, он видел только перед собой ровню расставленные настольные лампы, их зеленые светящиеся абажуры.

Ночью с заседания Кремнев прошел в радиорубку Рыбтреста. Он попросил у вахтенного радиста сводку вылова рыбы за истекший день, быстро пробежал показатели лова траулеров, затем глянул на промысловую карту, где в семьсот двенадцатом квадрате кучкой стояли двадцать пять траулеров, добывая треску. Карта флажками показывала место каждого траулера в море. На каждом флажке был обозначен номер траулера. Тоскливо пищал ключ радиста, переговаривавшегося ночью с рыболовными траулерами, промышлявшими в Баренцовом море, в Гольфштреме.

Радист вдруг отодвинул наушники на лоб и, обернувшись к директору, радостно сказал:

— Шестьдесят пятый сообщает — нащел рыбешку!

Кремнев подошел к карте и быстро разыскал шестьдесят пятый траулер.

— Молодец Костин, старается! — сказал Кремнев.

— Радист с тральщика мне сейчас передавал, что не спал уже две ночи кряду. Опять зовет меня, начинаю прием, — сказал вахтенный радист и стал записывать в журнал.

Директор перегнулся через голову радиста и с волнением следил за тем, как тот, внимая точкам и тире, поющим в наушниках, записывал быстрым и четким почерком:

«Сельдь от Зеленцов прошла прямо в реку. Первая тоня — полтонны, вторая — четыре, третья — двенадцать, сейчас принимаем без контроля. Основной косяк сельди в двух милях западней».

Кремнев больше года не был в отпуску. Доктора говорили, что ему необходимо подкрепить сердце, но как-то все не находилось удобного времени для отпуска.

Из треста Кремнев возвращался домой под утро. Свистели рядом маневровые паровозы, перетаскивая с места на место вагоны-ледники, на которых чернели слова: «Срочный возврат». Паровозы собирали составы вагонов-ледников. Ледяные поезда подкатывали к тралбазе и уносили отсюда далеко на юг приготовленный груз охлажденной и мороженой рыбы. Синие мглистые улицы Мурманска были еще по-ночному пусты. Директор думал о том, что стихию можно победить высокой техникой, машинами. Полярную ночь можно победить прожекторами, сильными лампами, высокой лодманской службой. Баренцево море еще молодое в промысловом отношении. Растет советский траловый флот. Траловое дело на верном пути.

На спуске от Рыбтреста к тралбазе Кремнев увязал в липкой и жирной грязи, пристававшей к подошвам и делавшей сапоги тяжелыми, как обувь водолаза.

— Товарищ директор! — окликнули Кремнева по дороге. Он оглянулся. Перед ним стоял капитан Дорошенко.

— Уходишь? — спросил его Кремнев.

— Да, вот иду сегодня в центральный район искать рыбешку.

— Буишко захватил? — спросил его Кремнев, не останавливаясь и продолжая вместе с капитаном итти на тралбазу.

— Два буя взял! Трал хорший, сам проверял! Все из'яны мой тралмейстер исправил на месте! Взял с собой трех матросов добавочно, на случай, если кто из команды заболит в море. Рейс-то ведь месячный, у меня в море больным будет замена, промысел не пострадает. Думаю, не заругаешь меня?

— Ладно, Дорошенко! Только постарайся искать малым тралом! Ходи по изобате! Не кружи зря! Я сам в море скоро буду! Ты мне, Дорошенко, косячку найди хороший!

— Пойдем 25.08, 25.09, потом свернем на ост, если и там не будет, — продолжал Дорошенко, — то восточным склоном 23.10.

— Только смотри, Дорошенко, не нервничай! Не хворай! Капитан ты молодой! Надо больше выдержки в таком деле!

— Да вот я просил отпуск еще весной. Хотел к жене съездить в Одессу. Не дали.

— Вернешься с поисков, найдешь хороший косяк, сам тебе дам отпуск. Непременно пошлю в Кисловодск. А что, жена приехала твоя? — спросил Кремнев.

— Приехала с сынишкой.

— Скучновато, значит, в рейс итти от молодой жены. Ну, это — ничего! Месяц пройдет незаметно. Тогда и отдохнешь, как следует. Я сам прослежу.

Директор пожал руку Дорошенко так крепко, что хрустнули пальцы, и нервно зашагал к себе домой, на тралбазу, по скользким шпалам железной дороги.

Ночью, придя с заседания, он принялся ходить по пустой комнате, где стояло несколько чемоданов и кофров с ярьбками разных городов. На столе его дожидался холодный обед — поту-скневшие в застывшем жиру котлеты и с жирной толстой пленкой заолодевший суп. Кремнев не притронулся к супу, а налил стопку коньяку и, залпом опорожнив ее, закусил хлебом и копченым окуньком.

На столе в комнате стояли пустые банки из-под рыбных консервов и об'еденный скелет морского копченого окуня. Стол не убирался уже несколько дней. Из соседнего дома раз в два дня приходила работница и приводила в порядок его холостецкую квартиру. У Кремнева не было времени пообедать днем. Обедал он обычно ночью, когда хотелось спать после долгих хождений по тралбазе, заводам или после заседаний в тресте.

Взглянув в угол комнаты, где стояли чемоданы, Кремнев вспомнил частые речи на собраниях о «чемоданных» настроениях. И подумал о самом себе.

Вот они стоят, его чемоданы! Сейчас по всему Мурманску, по всем углам многочисленных квартир стоят вот такие чемоданы, сделанные из фанеры и оклеенные дерматином. Они принадлежат морякам, рыбакам, строителям, приехавшим сюда, на Север, в новый город, который растет, как в сказке. Еще в прошлом году здесь было пятьдесят пять тысяч, а теперь — сто тысяч жителей! Так буйно вырос молодой город на советском Мурмане.

И вот чемоданы! Сто тысяч чемоданов! Немые советчики всех людей, приехавших в новый город. Шкафов нет в квартире. Все — в чемодане! Чуть что, чемодан в руки и — на поезд!

У Кремнева квартира в Москве была со всеми удобствами. Там жила его семья. Сынишка учился в московской образцовой школе, привык к ней, к учителям. Кремнев был мобилизован по партийной линии на ликвидацию прорыва в Мурманском рыбтресте и остался по распоряжению партии в Мурманске. Вот уже три года, как он работал здесь. Он не думал о себе, не обзаводился мебелью, не украшал стен своей квартиры ни картинами, ни зеркалами, не стал ковров на деревянные некрашенные полы. Его комната имела нежилой вид. Он часто спал, не раздеваясь, потому что на раздевание и одевание уходило время, а он хотел его использовать для сна, потому что за сутки приходилось спать всего лишь несколько часов. Он ходил в сапогах, потому что их надевать не стоило труда и времени. Он

ходил в косоворотке, потому что она была без галстука и надоедливых запонок и также мало требовала времени для того, чтобы ее застегнуть на пуговицы.

И теперь, после заседания, увидав вдруг скелет обглоданного морского окуня с вытаращенными глазами, эти пустые банки из-под рыбных консервов, он подумал о том, что поступил неправильно, живя в такой обстановке. Она не располагала ни к работе, ни к отдыху. Быть может, такая обстановка и отгоняла его жену в Москву и разрывала его семейную жизнь на два города, заставляла его часто думать о Москве, об Остоженке, где по двору бегал его Николенька, где по вечерам в театрах или на собраниях была его Наташа.

В неказистом доме на тралбазе этажом ниже Кремнева жил начальник снабжения Рыбтреста Чечулин. Мобилизованный партией для работы в Мурманске, он переехал сюда со всей семьей. У него была такая же квартира, как и у директора, и все комнаты были так же расположены. Но они выглядели по-другому. Чечулин выкрасил масляной краской под дуб и лакировал стены своей квартиры, так что при электрическом свете по вечерам стены светились. Находясь в этом сияющем доме, трудно было представить, что вот сейчас за его стенами стоит туман, густой, как молоко, или сыплет в лицо неугомонная пурга, или моросит мелкий осенний дождик бус, превращая в месиво грязные мостовые города.

У окна большой комнаты Чечулина стоял шкаф-радио, последняя московская новинка. Хозяин слушал у себя после полуночи радиостанции Европы. Придя после работы домой, Чечулин принимал душ, в выходные дни он взбирался на высокие скалы за городом и, восторгаясь, смотрел на Мурманск. Все скалы были словно забрызганы кровью. На серебристо-черных камнях сверкали кроваво-красные вкрапления...

Кремнев редко бывал у Чечулина, но всякий раз, когда видел, с какими удобствами живет его товарищ, он думал, что все работники треста должны стремиться к тому, чтобы жить по-человече-

ски в своих квартирах и находить заслуженный отдых после рабочего дня и жарких собраний.

В дверь отрывисто позвонили. Кремнев взглянул на часы. Было половина третьей ночи. «Незаходящее солнце! Ничего не поделаешь! Гости среди ночи прут!»

Кремнев открыл дверь, в дверях стоял могучий «Батя» — директор Полярного научного института.

— Зашел, думал, что не спишь, и ведь как точно угадал! Нельзя в такую ночь спать. Да ты что же окна закупирил?! На улице воздух — прямо Крым!

Батя подошел к окну и распахнул обе створки, в комнату шумно ворвался ветерок с моря.

— Что не спишь, все, небось, думаешь? — спросил Батя, прохаживаясь по комнате и жадно вдыхая свежий воздух, примчавшийся с моря.

— Когда, Батя, думать, если не ночью? Самое подходящее время! Тихо, никто не звонит по телефону и в дверь никто, кроме тебя, не ломится.

— Да ты не сердись, я к тебе с радостной вестью, — сказал Батя.

— Ты мне селедку дай, мне радостней ее ничего нету!

— Я тебе ее и даю.

— Вы мне ее уже год даете, да я слепой, не вижу ничего!

— Будет сей год селедка! — сказал Батя. — Непременно будет!

— В который раз меня надуваешь? Мы и так запорщиков все лето в сверхнапряжении продержали, все лето! И не попробовали даже селедочки!

— Зимой ожидай ее, зайдет в губы, проклятая! Зайдет непременно! Немного осталось теперь ожидать. Она придет, ей некуда деваться! А запорщиков надо держать!

— Держим!

— И треска будет на Мурмане богатая. Мы сейчас по шесть тонн поднимаем и хвастаем друг перед другом большими под'емами. А зимой тральщики по восемнадцати тонн под'емы будут делать, вот что!

— Эх, хватил! Говоришь, словно оракул! Откуда у тебя такие замечательные прогнозы?

— Гольфштрем, Гольфштрем! Он нам сей год верный помощник! Потеплел Гольфштрем сильно за последнее время. Треска от нас сей год в Норвегию не пойдет, останется вся советской.

Кремнев стал ходить вслед за Батей по комнате и повторял: «Гольфштрем, Гольфштрем!» Потом остановился и сказал:

— Я, Батя, на Гольфштрем давно надеюсь, но больше всего на ударников рыбного Мурмана! Вместе с Гольфштремом мы задание выполним и по треске, и по селедке!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зачетная сессия прошла для Спиридона Малыгина успешно. Молодой помор был переведен на второй курс Мурманского морского техникума. Снова над Мурманском светило незаходящее летнее солнце, превращая ночь в день, сбивая с толку приезжих издалека людей. Спиридон Малыгин уходил с капитаном Дорошенко на «Зубатке» штурманским учеником-практикантом в рыбный Гольфштрем.

Семья Буслаевых переехала из Мурманской в Мурманск. Сусанна мечтала о поездке в Ленинград, где собиралась учиться в университете, но родители и слышать не хотели об этом. Механик Никирим-Куку часто заходил к Буслаевым, которых знал давно, и много рассказывал о своей морской жизни, о работе на траулерах. Сусанна слушала моряка с восторженным вниманием. Ей нравились его рассказы о том, как боролись моряки со штормом, как пробивались с рыбных изобат взволнованного Гольфштрема обратно к себе в порт с полным грузом рыбы.

— Никирим-Куку, — сказала однажды Сусанна, отведя механика в сторону, чтобы не слышала мать, — возьмите меня как-нибудь с собой в рейс на промысел!

— Ты что, милая! Куда тебе с нами моряковать! Протошнит тебя рейс, непотребных слов наслушаешься! Тот горя не видал, кто на море не бывал.

— Да я не из пугливых, — обидчиво сказала Сусанна.

— Вот уж и полезла в пузырек! — сказал механик, заглядывая в рассерженные глаза Сусанны. — Понимаешь ты, что не место девушке на траулере! Ищи себе работы поспокойней, сподручней! Неужели в Мурманске тебе ничего другого не найдется, как на траулерах в море болтаться! Да и хватит ли у тебя силенки, чтобы справиться с нашей морской работой? Ведь у меня на судне поблажки нет никому! Приказано — делай, на море — как на фронте! Работать надо и выполнять все приказы без промедления. Ты, Суска, займись каким другим делом!

— Теперь нет такого дела, в котором женщина не смогла бы справиться, — сказала Сусанна. — Ты газеты читаешь?

— Читаю иногда, когда время находится на берегу.

— Слышал, что теперь есть женщины-парашютистки, женщины-летчицы, женщины-трактористки? Да сейчас женщины наравне с мужиком идет.

— Не спорю, может быть, и так. Но баба, она всегда бабой и останется, где бы ни была. Что с нее возьмешь? Того гляди, укачается на-смерть, привезешь покойника в порт, а потом отвечай, зачем брал с собой в рейс.

Осенью Сусанна была принята в Ленинградский морской техникум на механическое отделение. Ребята смотрели на Сусанну кто с удивлением, кто с усмешкой.

— Хорошая девчонка, ей бы с нами на берегу гулять, на зеленых конференциях, а она в море хочет молотить! — говорили моряки, учившиеся в морском техникуме.

Кузнец Ефим Любушкин заботливо объяснял Сусанне, как браться за кувалду, как ударять:

— Учись, деваха, я поблажки никому не дам! Назвалась пруждем — полезай в кузов!

И Ефим Любушкин браковал у Сусанны болты, а у ребят принимал после третьей сварки.

— Далек еще тебе до наших орлов! — подзадоривал Любушкин Сусанну. Но к концу года и Сусанна стала проставлять свои номера на изделиях, которые изготовляла в кузнице техни-

кума с не меньшим искусством, чем ее товарищи.

Спиридон Малыгин заходил после каждого рейса к Буслаевым на квартиру, спрашивал, нет ли писем от Сусанны, и нетерпеливо ожидал ее приезда. Уступая просьбам Спиридона Малыгина, капитан Дорошенко согласился взять в первый летний рейс и Сусанну Буслаеву практикантом-механиком.

До Кильдина траулер «Зубатка» шел спокойно, но, как только остров остался позади и открылось неохватное море, на котором гуляла широкая волна, траулер стало прикладывать. Сусанна не раз до того ходила на шняках и елах в море, и ее никогда не укачивало на маленьких госудинах. Но здесь, на качливом траулере, она сразу почувствовала себя плохо. К обеду не вышла, от ужина отказалась.

Спиридон утешал ее:

— Ты, Сусанночка, не огорчайся из-за этого. На каждого моряка шторм действует по-своему: одни во время шторма едят много, до того едят, что просто не верится, как человек может столько съесть, а другие, наоборот, от еды отказываются. У одних настроение во время шторма становится очень веселое, песни играют, смеются без причины, а другие, наоборот, скучные становятся, как осенние мухи.

Сусанна поступила так, как посоветовал ей Спиридон. В свободные от вахты часы выходила к рыбоделу шкерить или пикать рыбу. Первые дни ей приходилось трудно. Руки наливались усталостью, трудно было разогнуть плечи, когда приходила к себе в каюту после работы. Но потом свыклась.

В столовой моряки стеснялись ругаться в присутствии Сусанны. И капитан Дорошенко говорил Спиридону Малыгину о том, что хорошо в каждый рейс брат с собой на траулер женщину-моряка, — больше культуры будет на траулере, подтянутся моряки.

Поисковые траулеры обнаружили главные косяки трески. Мурманск получил по радио сведения о самых рыбных квадратах Баренцова моря. Надо было

не упустить момента. Артур Калнин гнал все свободные траулеры к рыбным изобатам. Радиосводки с Баренцова моря сообщали о больших подемах, дошедших до шести тонн. За двенадцать дней траулер набирал полный груз и шел в порт, досрочно выполнив задание на сто процентов.

«Зубатка» уходила во второй летний рейс. На видном месте стенгазеты траулера была помещена заметка штурманского ученика Спиридона Малыгина. Он сам нарисовал акварельными красками броский заголовок к своей заметке и подписался «Зубаткой», той рыбой, которая хватала моряков за сапоги и проолифленные буксы, даже будучи вытаскана из воды.

«Страна требует рыбы.

Все знают об этом, но рыба одна не знает. Что бы ей подождать, пока наш тральщик выйдет в море. Так нет же! Норовит проклятая трещина менять свои подводные становища. Гуляющая она. Ведь и человеку хочется иногда погулять, сходить, например, в ресторан «Арктику», дернуть полфедора при свете незаходящего солнца или северного сияния.

Хороший был у нас стармех. И человек хоть пьющий, но дело понимающий. После долгой работы пришел и ему черед идти в отпуск. Наш славный траулер «Зубатка» стоял на базе в ремонте. Свои задания он выполняет на все сто. Команда слаженная. Нету толчеи при подеме трала. Каждый знает свое место. Никто зря не суетится. А рыбешки с каждым днем в трюмах все больше и больше наливаются. Салогрейки с каждым днем все больше и больше готовят для страны ценный медицинский жир.

День стоим. Два стоим. Стоим десять суток. Кольца поршневые пригоняем. С ног сбились наши механики. Ночами не спят. Никому из нас не хочется, чтобы наша славная «Зубатка» себя перед всеми уронила. Судоремонтный завод к нам своих мастеров прислал. На двенадцатый день отвалила наконец наша «Зубатка» от пристани.

Берем в Тюве-губе пресную воду. Напоили досыта тянки, пора бы и в путь! Не тут-то было! Машина тыркмырк — и ни с места! Новый стармех говорит, что кольца припнаны плохо и нет компрессии. Машина не берет.

Обидно «Зубатке» в порт с пустыми трюмами возвращаться. Не было такого с «Зубаткой». Из Мурманска шлют к нам снова мастеров и группового механика. Вместо того, чтобы работу сразу сделать хорошо, по-хозяйски, приходится вторично кольца поршневые напильвать. Ребята наши отдохнули в Мурманске порядком. Самая охота промышлять, а тут стой в Тюве-губе и корми мошку и комаров. Простояли в Тюве-губе сутки. Групповой механик вылезает из машины темнее трубочиста и говорит: «Ну, теперь, думаю, машина будет работать!» — и показывает большой палец.

Был в Мурманске такой сапожник, обузить сапоги да приговаривает: «Ничего! Обожметса! Обожметса!»

И нам сказали, что кольца поршневые обожмутся. Сутки в море отмолотите — и все будет ол-райт. Так и вышло.

А стоит ли, чтобы и дальше так выходило? Не лучше ли будет, если стармех будет сдавать машину своему преемнику на-ходу в море. Для дела это будет вернее и лучше. Сдай машину в полном порядке и ступай хоть в отпуск, хоть в ресторан «Арктику», куда хочешь. И не пора ли указать судоремонтному заводу, чтобы работать надо честно, что рыба в море нас не ждет, а страна рыбу требует.

«Зубатка».

Траулер «Зубатка» вернулся в порт с расплавленными подшипниками. Капитан Дорошенко сдал полный груз рыбы и пошел на судоремонтный завод, чтобы протолкнуть свой заказ.

— Что же вы, дорогие товарищи, — обратился Дорошенко к директору завода, — третий день подшипники заливаются. Бывало, дашь утром подшипники залить, — к вечеру готово! А теперь вы что же думаете, неделю канительть.

Рыба пришла, она нас с вами не подождет, пока мы подшипники зальем.

Директор завода закурил пахучую было папиросу, посмотрел на капитана Дорошенко исподлобья и сказал:

— Вот если бы у вас на траулере во время лова стали бы появляться из треста разные работнички и делать разные указания: то у вас неладно, да то плохо, да это никуда не годно, невесело бы вам стало работать, не правда ли? У нас на заводе отбоя нет от людей с траулеров. Ходят, как в старину в Киев на богомолье ходили. Придется запретить допуск посторонним лицам на завод. Больше ничего не придумаешь. То машинист, то третий механик, то второй, то старший, то наконец сам капитан пожалует. У меня ваших траулеров на заводе не один, а два десятка стоит. И вот целыми днями хождение и разговоры. Делаем, что требуется, делаем, как можем, вы нас не агитируйте, мы не маленькие, знаем, что рыба стране нужна и все прочее, — резко сказал директор.

— Прямо вам скажу, дорогой товарищ директор, делать-то вы делаете, но пока очень плохо, лишь бы с рук сбить, — сказал Дорошенко. — На заводе у вас самая махровая обезличка. Вы мне рейс срываете в самое рыбное время. Вы понимаете, что мой траулер — один из лучших по промыслу, а вы мне его на черную доску поставить хотите.

— Вы не скандайте, а говорите делом, — ответил, несколько понизив голос, директор. Он почувствовал, что к их разговору начинают прислушиваться другие, находившиеся в кабинете.

— Я делом и говорю! Если к вечеру мне сегодня не дадите подшипников, я найду на вас управу, — сказал Дорошенко, отчеканивая каждое слово.

— Какой номер вашего заказа? — спросил директор.

Дорошенко протянул бумажку. Директор посмотрел сквозь очки и сказал:

— Сегодня к вечеру будет готово и доставлено на судно. Ну и скандалист же ты, Дорошенко!

— Вот так-то лучше будет. Ну, значит, по рукам!

У входа на тралбазу капитана остановил секретарь окружкома:

— Дорошенко! Ты почему здесь болтаешься, а не в море?

— И рад бы в Гольфштрем, — грехи не пускают! Судоремонтный маринует траулер в порту. Самое рыбное время, а мы стоим без дела!

— Кого маринуют? — насторожился секретарь окружкома.

— «Зубатку» маринуют. Подшипники третий день вытаскивают!

— Вы вот все друг на друга жалуетесь! — сказал секретарь окружкома. — Моряки на судоремонтный, судоремонтный на моряков. Но дело все-таки у вас поставлено ненадежно — и в море, и на берегу. Вам партия доверила сохранность флота, и вы должны оправдать доверие партии. Вы жалуетесь на кадры. У вас кадры плохи, загоняют хорошие машины. Надо кой-кого заменить. Без этого не обойдется. Но в основном плоха эксплуатация флота. Это результат невнимательного отношения технического руководства к эксплуатации. Скажи, товарищ Дорошенко, разве наш моторист менее грамотен, чем вчерашний колхозник, ставший сегодня хорошим трактористом и справляющийся со своей задачей в тяжелейших условиях. За срыв плана вылова рыбы отвечает прежде всего трест и все директора — капитаны траулеров. Никакие ссылки на судоремонтный тебе не помогут! Сегодня выходи в море! Страна требует рыбу, и мы должны ее дать! Поднимай сегодня отходной, и на этом кончим!

Секретарь окружкома зашагал к управлению тралового флота. Но перед тем, как зайти в прокуренное насквозь помещение, секретарь свернул к причалу, посмотрел номера стоявших траулеров. Он спросил вахтенного у каждого судна о причине задержки и о сроках выхода судна на промысел и все записывал себе в книжечку.

У начальника управления тралового флота секретарь окружкома опять встретил капитана Дорошенко.

— Плохо ты руководишь мотористами, Дорошенко, если у тебя машина часто требует ремонта, — выговаривал капитану начальник тралового флота. — Тебе государство доверило материальные ценности, и ты должен их беречь.

А у тебя это дело поставлено, я вижу, ненадежно. Подтяни команду, сам подтянись, лучше оберегай траулер!

Дорошенко вышел из кабинета, как будто похоронил кого-нибудь из близких.

— Ты Дорошенку побереги мне, у тебя немного таких капитанов, — сказал секретарь окружкома начальнику управления тралового флота. — Я ему у ворот всыпал. Да ты ему здесь еще подбавил, партиец он молодой, капитан — и того моложе, не слишком ли ему будет в один день столько выговоров. Парень программу до сих пор выполнял одним из первых. Правда, он горячлив. Так на то он и южанин. Мы ведь знаем, что судоремонтный хромает на все четыре ноги. И у Дорошенко, вероятно, есть все основания к справедливому неудовольствию. И ты тоже хорош! Почему у тебя целая эскадра стоит у причалов?

Секретарь окружкома вынул записную книжку и стал перечислять стоявшие в простое траулеры. Чунин, достав из-под счетов длинную сводку траулеров, горячо объяснял секретарю окружкома причины простоя.

— Что ты мне, как маленькому, рассказываешь! — сказал секретарь окружкома. — Ты понимаешь, если мы будем продолжать варварски обращаться с флотом, то сколько ни строй траулеров, их нехватит! Сколько ни закладывай ботов, их не напасешься! Кадры, говоришь, плохи! А я заявляю тебе, что и с нынешними кадрами можно работать. Необходимо ими лучше руководить и больше о них беспокоиться!

Дорошенко вернулся в порт с полным грузом через восемнадцать суток. Его «Зубатка» вышла на третье место в траловом флоте. На улице Сталина в Мурманске поднимались высокие каменные дома. Целая улица обрастала каменными корпусами. В этих корпусах должны были жить капитаны и старшие механики тралового флота. Должен был здесь получить квартиру и капитан Дорошенко. Милица, сидя за столом и показывая Володьке, как писать буквы, мечтала о новой квартире. Она думала о том, как хорошо получится, если окна их квартиры будут выходить на залив.

Милица будет видеть все приходящие и уходящие суда, легко заметит «Зубатку» и пойдет вместе с Володькой встречать отца. Володька рос в детском саду. Милица целые дни проводила вместе с сыном в саду. Это была ее общественная работа. Она часто думала о том, что обманула Николая, безгранично влюбившего ей. И это особенно было тяжело для Милицы. Она не думала более о Чечулине и старалась не встречаться с ним.

Дорошенко вернулся из шестидесятого рейса. Шестьдесят раз в году отлучался из дому капитан. Некоторые рейсы были двухнедельные, другие, в Мотовский залив за сельдью, укладывались в четверо суток. Шестьдесят раз в году отлучался капитан из дома, где его трепетно ждал Володька и готовилась к встрече жена.

— Ты заработался, Колиха! — сказала Милица. — Тебе в отпуск пора! Поедем вместе в Одессу! Погостим немного у моих родных. Освежишься. А потом — обратно в Мурманск на новоселье в высокие дома!

— Я и сам так думаю. Да вот сколько ни говорил в управлении, все оттягивают, просят сходить еще в один рейсик! И отказываться как-то неудобно.

Но вечером, получив очередной отказ в управлении, решил обратиться лично к Чунину с рапортом.

За большим столом сидел человек в синем морском кителе с яркими пуговицами. Китель был расстегнут. Пудмышкой у человека торчал градусник. Часто дребезжал звонок телефона. Стараясь не выронить градусника, начальник управления тралового флота Чунин осторожно снимал телефонную трубку и хрипло говорил: «Халло!» Звонили из Рыбтреста, из окружкома, из «Полярной коммуны», из Полярного института, из десятка мест звонили в течение каждого часа. В кабинет начальника стучались капитаны и штурманы тралового флота. Просили продлить отпуск, проверить неправильный расчет выходного пособия, требовали квартиру или комнатушку какую-нибудь, каждый просил или требовал чего-то. Основной задачей начальника было, как можно скорее бросить простаивавший у причалов свобод-

ный траловой флот в море на промысел. Суда простаивали сутками у причалов из-за мелкого ремонта. Треска не дожидалась тральщиков и перемещалась из квадрата в квадрат. Тральщики теряли рыбное время.

Над столом под портретом Сталина висела доска руководящего командного состава всех траулеров Мурманского порта, от первого номера до сотого. Под каждым номером значилась фамилия капитана и старшего механика рыбного траулера. Начальник управления знал в лицо каждого капитана и знал дефекты каждого траулера. Не раз встречался начальник с капитанами и старшими механиками в море и на берегу. Чунин знал подробно во всех мелочах жизнь каждого из своих командиров.

В кабинет начальника вошел капитан Дорошенко.

— Как с моим отпуском?

— Так ты же написал мне рапорт! Чего же спрашиваешь?

На столе перед глазами Чунина лежал короткий рапорт капитана Дорошенко:

«Я передал судно вновь назначенному капитану Кологривову. Но отпуск мне задержали. Работать больше без отпуска не могу, что хотите со мной, то и делайте.

Дорошенко».

— Не можешь работать? «Что хотите со мной, то и делайте»! За такое заявление не премируют, брат.

Дорошенко вдруг отвернулся от начальника. Нижняя челюсть капитана запрыгала, и человек не удержал подступивших к самому горлу слез.

— Ты что же это, брат! Ай-яй-яй! А еще с поморами хочешь равняться! Так бы и сказал мне, что изнервничался, лечиться надо, а то вот: «что хотите, то и делайте со мной». А мы тебе путевку дадим в Кисловодск! Езжай немедленно и лечись, брат!

— Я шестьдесят рейсов сей год сделал, — сказал, успокоившись, капитан Дорошенко. — Честно помолотил!

— Так завтра приходи, мы тебя тут оформим. Я сам прослежу за этим. Ступай, кланяйся Милице Николаевне... — и Чунин порывисто махнул рукой, едва не выронив градусника.

Только здесь узнал Дорошенко о том, что Чунин болен туберкулезом, и стал настойчиво просить начальника немедленно ехать на юг, не запускать болезнь.

— Все раз'едутся по курортам, а кто же рыбу будет промыслять? Езжай ты, а после тебя уж и я соберуся, — сказал Чунин.

На утро в управление к Чунину снова пришел Дорошенко. Он взял свое заявление обратно и сказал:

— Придется еще разик сходить в рейс. Капитан Кологривов слег, простыл на работе. Вернусь в порт, тогда поеду отдыхать!

— Нет, уж извини, брат! Делай теперь со мной, что хочешь, а я тебя погоню в Кисловодск!

— А как же с капитаном для «Зубатки»?

— Дело не твое, а мое! Подыщу, не беспокойся! А вот теперь получай свое.

И Чунин протянул ему путевку в Кисловодск на имя капитана тралового флота Дорошенко.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сельдь пришла с моря в Ура-губу несметными косяками, рыбаки закрыли ей обратный выход. Сельдь оказалась в плену, откуда путь ей был на рыбацкое судно, в Рыбтрест, на стол потребителя. Десять тысяч центнеров рыбы в сутки подавал Мурман стране. Надо было принять сельдь от ловцов, перевести ее до Мурманской базы, обработать и отправить сотню вагонов каждый день на юг, в советские города. В течение одних суток выгружали с тральщиков, парусников и ботов на тралбазу и с нее перегружали в вагоны десятков тысяч центнеров сельди. Высокоуловистые кошелковые невода и дрефтерные сети черпали сельдь из Ура-губы. Наливались сельдью траулеры. Потеплевший Гольфштрём заманил сельдь в Ура-губу Мотовского залива, мурманские люди взяли эту рыбу в плен. Директор Рыбтреста Кремнев, получив первое сообщение из Ура-губы, выехал туда на маленьком моторном боте и через шесть часов был уже на месте, где у скалистых берегов стояло несколько хижин

Финнов-колонистов и держалась веками неvspуганная тишина.

Запорные станции по губам следили за подходом сельди при помощи контрольных сетей. Как только сельдь близко подходила к берегам, контрольные сетки, словно верные часовые, уже давали знать об этом наблюдавшим за ними запорным станциям.

Первое сообщение, полученное Кремневым из Ура-губы, говорило кратко:

«В контрольную сетку Ура-губской запорной станции попало две сельди-четырёхлетки. Недалеко от запорного невода держится большой косяк сельди».

Бот Кремнева входил в Ура-губу одновременно с сельдяным косяком. Кремнев видел, как из-под винта мотора высоко выбрасывалась в воздух сельдь.

Определить мощность зашедшего в Ура-губу сельдяного косяка было трудно из-за большой глубины губы. Если перекрыть губу в самом ее устье, то надо было ставить запорный гигант, которого не выдвигали еще на Мурмане. Этот запор должен был быть глубоководным, высотой больше ста метров и протяжением свыше тысячи метров. Какая сила могла бы удержать на воде такую тяжесть?

Кремнев возвращался обратно в Мурманск на моторном боте зимней морозной ночью, когда по густосинему, почти черному небу перебежали огоньки полярного сияния. Много раз видел Кремнев сияние на Мурмане, но в эту ночь оно было особенно сильным и длительным. Яркая огненная полоска загоралась незаметно и высоко над самой головой Кремнева, и вдруг от этой светящейся полоски с быстротой, опережающей мысль, по всему небу, как эхо в горах, вспыхивали отзвуки — нежные цветные полутона.

— Это не будет авантюрой, — говорил на бюро окружкома Кремнев, — если мы перекроем не только малые губы, находящиеся в Ура-губе, но и всю Ура-губу в ее устье. Мы не дадим сельди уйти обратно в море, а пошлем всю ее на Ленинград по железной дороге. Мы рискуем дорогим запорным неводом-гигантом. Цена ему миллион рублей.

Мы можем его утопить или привести в негодность, но уж если мы выиграем, то выиграем много! Я думаю, что о таком улове, который ожидает нас в Ура-губе, не слыхали еще на Мурмане, и даже Каспий удивится нам. Наше решение о запоре-гиганте будет производственным риском. Но тот не выиграет, кто не рискует. Наша обязанность — сельдь закрыть и в сохранном виде направить на юг. Я за гигант-запор.

На бюро согласились с Кремневым. Селедку ждали больше полугода. Больше полугода в огромном напряжении Рыбтрест держал все запорные станции по губам на западе и на востоке Мурмана. И вот, наконец, несметные полчища сельди зашли в Ура-губу. Всем, от секретаря окружкома и до ловца-колхозника, думалось теперь только об одном: как бы закрыть дорогу селедке обратно в море и перекачать ее на юг, в Ленинград, к центру Союза Республик, к Москве.

Все устье большой губы обозначилось линией плавающих бочек, которые подерживали на себе тяжелый груз гиганта — запорного невода. От берега и до берега тянулись кильватерной колонной эти бочки. Верхница и нижница этого запора были надежно закреплены отдоринами. Верхница — к берегам за могучие поседевшие от снегов камни, а нижница — на якорях, чтобы селедка не могла пройти в море под неводом. Сельдь ходила вёрхом, косячилась, гуляла. Наличие косяков в губе можно было определить сразу по цвету воды, который становился в местах скопления сельди ярко-фиолетовым. Косяки пугались шума моторных ботов и могли нажать на гигант-запор, затопить его, и тогда основная масса прорвалась бы из губы в море. Поэтому Кремнев стремился как можно скорей выловить обметанную сельдь. Опасаясь, что она все же прорвет запор и найдет себе дорогу в море, Кремнев не сообщал в центральную печать о мощности зашедшего в Ура-губу косяка. «Выловлю, тогда расскажу, как ловили; выпущу сельдь в море, — пусть судят меня тогда как негодного директора» — думал Кремнев.

Четыреста карельских, восемьсот мурманских, сто ленинградских, две сотни архангельских колхозников-рыбаков да несколько сот муромских гословцов пришли в Ура-губу, где до того спокойно работала небольшая запорная станция. Около двух тысяч рыбаков прибыло в Ура-губу на ботах, парусниках и тральщиках. На судах расположились сберкасса, почта, радиотелеграф, поликлиника, клубы, выездная редакция мурманского окружного партии «Полярная коммуна», кооперативные лавки, коммерческие магазины, столовые. На большом паруснике, где расположилась культбаза, бригада финских артистов давала представления финнам — рыбакам-колхозникам — на родном языке, тут же в свободные часы велись беседы по технике лова, читались лекции и доклады, работало кино.

Сельдь ловили преимущественно ночью. Днем она опускалась глубже. Пугливая сельдь ночью успокаивалась. И тогда на воде горели тысячи огней пловучего советского города. Скалистые, высокие, нависшие, стояли засыпанные снегами берега. Ветрами снег на камнях был плотно прибит и тверд, как камень. И здесь, между камнями, зимой, за Полярным кругом, пробивался, смеясь над морозом, шумливый горный ручей. Изпод снега глядели черновинки низкорослого кустарника. Камни берегов были в снегу, но нигде в губе не было ни одной льдины. Слышны были мерные стук сотен моторных ботов, неистовые крики чаек, слетевшихся, казалось, со всего Мурмана в эту рыбную губу.

Люди жили по-бригадно, по-колхозно и на воде, и на берегу. Если в одной палатке на берегу все из одной бригады не помещались, то рядом ставилась вторая палатка. Люди из одного колхоза стремились быть ближе друг к другу и на лову. «Тайсто» («Боец»), «Тармо» («Энергия»), «Пох'яла» («Север») — финские рыбацкие колхозы, — «Всходы коммунизма», «Путь Ленина», «Заря социализма», «Красный маяк» — русские рыбацкие колхозы, — пришли к Ура-губе. Этими именами звались и палатки, в которых жили здесь ловцы. Из колхоза приехали с ловцами и девушки.

Здесь, в рыбацких палатках, как в копаческих ленских артелях, был закон безжония. Девушка-рыбачка, как и мамка в копаческой артели, была другом рыбаков и их помощником, чинила белье и прохудившуюся одежду, варила обед на тагане, как в старину мурманские поморы. В свободные часы люди отправлялись в низкорослый березнячок рубить карликовую березку на дрова. Часть ловцов оставалась на берегу: сушили невода, перебирали и чинили дырчатые сети и подготавливались к новому замету. Старший бригадир колхозной бригады следил за всем и в палатке, и на лову. Все распоряжения бригадира выполнялись беспрекословно.

В палатках поморов жили десятки ловцов, носивших одну и ту же фамилию. То были Малыгины, Заборщиковы, Чунины, Кожини, Стрелковы, Чухчины, Воронины. Имена рыбаков и рыбачек с мурманского Севера были древние и казались ловцам из Астрахани и Ленинграда, промышлявшим в Ура-губе, необычными. Поморы: Иовини, Евтихийи, Аверкии, Евлагии, Ионикии, Македоны, Гервантии; поморянки: Фервуфы, Андии Фомонды. Жившие на берегу обеды в своих палатках, а те, кто месяцами жили на плову, — столовались в пловучих столовых.

К тральщикам, стоявшим на рейде, часто подходили, связавшись в треугольник, три карбаса с обметанной кошельком сельдью. Длинным каплером вычерпывалась трепещущая сельдь из кошелька на траулер, где она солилась и убиралась в трюмы. Фиолетово-серебристый дождь денно и ночью лил из кошельковых неводов на траулеры. Сельдяной поток несся по желобам в трюма траулеров, парусников и ботов в течение трех долгих зимних месяцев. Суда наливались сельдью и уходили из Ура-губы в Мурманск. Опускались ворота запорного невода-гиганта. Суда ждали этого с нетерпением и устремлялись вон из губы на простор морской дороги. Диспетчерский бот руководил всей работой, давал указания о времени открытия и закрытия ворот запорного невода, ведая расстановкой судов в часы приемки сельди. Во время отлива сельдь скатывалась

вместе с водой к запору и задерживалась возле него. Сельдь кипела у запора и пенила воду, словно река на порогах. И здесь, у места скопления сельди, белыми проворными облаками пронеслись жадные чайки, выхватывая добычу друг у друга.

Два охранных бота открывали ворота и пропускали по указанию диспетчерского бота суда во время прилива, когда сельдь снова поднималась вверх по губе. Боты тщательно охраняли запорный невод-гигант. Тральщик, пройдя по запорному неводу, мог порвать его и открыть в океан дорогу селедке. И часто ночью с охранных ботов слышались предостерегающие выстрелы. Боты предупреждали подходившие близко к запретной зоне суда. В первую очередь диспетчерский бот пропускал быстроходные дизельные траулеры, направлявшиеся со свежем в Мурманск. За ними стремились как можно скорее притти к мурманским причалам и стать под разгрузку остальные суда с полным грузом. Причалов нехватало в Мурманском порту, и потому суда, шедшие из Ура-губы в Мурманск, развивали предельную скорость. Тот, кто раньше всех приходил в порт, тот и получал скорее место у причала.

Тянулись из Ура-губы в Мурманск колонны судов, наполненных сельдью. Тянулись маршрутные поезда с юга на Мурман с пустой тарой, лесом, такелажем. Тянулись маршрутные поезда на юг с Мурмана, груженные бочками жирной полярной селедки.

Астраханские ловцы привезли на Мурман свои песни. Подсушивая кошельковый невод, астраханцы пели дружно:

Запоем мы ту и эту,
Ды-раз!
Ничего подачи нету,
Ды-два!

Тяжелый, как камень, кошельковый невод не выходил из воды; тогда ловцы затачивали песню снова:

А вот не шла, а вот пойдет,
Ды-раз!
А вот пойдет, а вот пошла,
Ды-два!

Поморы слышали изо дня в день песни астраханцев и в самые жаркие дни сами переняли песню у южан, облегчающую труд. И возле поморских ботов часто слышалась астраханская песня:

По деревне шел медведь,
Ды-раз!
Девки вышли посмотреть,
Ды-два!

Каждая бригада жгла при подсушке невода свой факел. Бригад было около ста, и сто факелов горело во тьме полярной ночи. В каждой шлюпке-ахтерке светился фонарь, и сотни огоньков ползали по Ура-губе, как светлячки в далекой южной черноморской ночи.

Тральщики транспортировали сельдь в Мурманск, но некоторые сами ловили без помощи колхозников, сами черпали из кошельков каплерами сельдь в мощном рыбном водоеме.

По заливу к запорному неводу-гиганту шла ахтерка, в ней было три человека. Один был в кожанке и высоких болотных сапогах, другой — в полушубке, а тот, кто сидел за веслом, был в рокане и буксах, а голову его закрывала широкополая зюйд-вестка. Это был Спиридон Малыгин, пошедший вместе со всем своим курсом на сельдяной аврал, в Ура-губу. Широкошей, сидевший в полушубке запретным, Артур Калнин, переброшенный трестом из рыбных квадратов Гольфштрема в сельдяную Ура-губу. Рядом с Калниным сидел в ахтерке Кремнев, он шел в обычный свой дозор.

— Артур, смотри, зверь выстает! — крикнул Спиридон, показывая рукой в сторону запора, где длинной шеренгой вытянулись пустые бочки, покачиваемые зыбью.

— Закрыли беднягу вместе с селедкой! — сказал Кремнев, привстав в ахтерке.

— Придется и тюленю погибаться, — сказал Артур, разыскивая зверя в бинокль по заливу.

— Да жирный-то какой, дьявол! Нагулялся вдоволь, поел селедочки! А ну, мы его сейчас майна-бубух! Держи на него, Спиридон! — крикнул Артур.

Тюлень то исчезал в воде, то снова выставлял свою полированную, лоснящуюся голову, блестящую в лунной ножи.

— Стреляй! — сказал Спиридон. — Чего сватаешься! А то мы за ним так век не угоняемся.

Артур выстрелил из двухстволки. Взметнулись белым облачком быстрые чайки и закричали испуганно пуше прежнего.

— Готов! — крикнул радостно Калнин, увидев, как зверь растянулся недвижно на воде. — Давай на полный ход, смотри, утонет, дьявол!

Он положил двухстволку на днище ахтерки и взял загребное весло и круто подвернул к зверю. Зверь был еще живой. Истекая кровью, он тяжело и гулко сопел.

— Вот сейчас я его! — крикнул Калнин, доставая из-за пояса финку.

В этот миг зверь вздрогнул вдруг в последнем издыхании, ударил тяжело ластом по лежавшей на днище неразряженной двухстволке. Раздался выстрел, и Калнин одновременно крикнул:

— Ранил меня, проклятый! В ногу саданул! Давай скорей на медпункт! Да помогите мне сапог стянуть...

Человеческая кровь смешалась в ахтерке с густой звериной кровью убитого тюленя.

Жизнь в Ура-губе кипела попрежнему.

— Пы-пы-пы-пы! — тарыхтели маленькие ботишки, которые ловцы окрестили «петушками». Это были суденышки старой постройки, тридцатилетней давности. И рядом с ними убирала рыбу новые советские комбайны с широкими вертящимися площадками для выметки невода. Кремнев дважды в сутки сам ходил к запорному неводу, проверял губу, не сорвало ли главного запора, не просачивается ли где сельдь обратно в море.

На берегу и на судах ловцы после работ шли в баню. Под высокой скалой у самого берега, рядом с маленьким домом, помещалась дезинфекционная камера, которую поморы окрестили «вошебойкой». Здесь выпаривали одежду и белье мывшихся в бане ловцов. Здесь остро пахло формалином. Выходя из

бани, каждый ловец получал сухую дезинфицированную одежду.

Посреди губы стоял флагман «Буревестник», охранявший запорный невод-гигант. Темную полярную ночь прорезали с «Буревестника» километровые лучи прожекторов. Фиолетовые лучи пробегали по длинному ряду бочек, поддерживавших невод-гигант, и, переметнувшись в сторону, вдруг зажигали тысячами искринок заснеженные скалистые берега Ура-губы. То вдруг сноп света вырывал из темноты край скалы, на котором сутулилась отдаленная палатка и мелькали силуэты людей. Глядя на яркие электрические лучи, Кремнев вспоминал общегородское собрание мурманского партактива, где говорили о том, что полярную ночь победят прожектора, техника и люди. Да, они действительно ее побеждали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Казалось, что вся сельдь вышла из Баренцова моря на мурманскую тралбазу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый районы тралбазы были забиты рыбой. Несколько дней работу производили на каботажной пристани, за пределами тралбазы, где не было никакой защиты от ветра и снега. Снег бил в лицо, руки мерзли на морозе и студеном ветру. Ноги по колено увязали в липком снегу, таявшем от соли. Спецодежды не хватало на всех. Рабочих добирали ежедневно. Спецодежда не успевала поступать за рабочими на тралбазу. Не было уголка, где бы не стояли штабеля бочек, наполненных сельдью. В случае пожарной тревоги здесь, на тралбазе, не прошла бы ни одна пожарная повозка. Поезда не успевали отвозить из порта на юг заготовленную сельдь. Рыбные мастера напоминали зайцев, на которых охотились борзые — пожарные. Система штрафов не помогала, и сами пожарные отлично понимали это. Недоснабженный лесом бондарный завод во-время не успел приступить к сельдяному аврау. В Мурманске не хватало тары. Чечулин во-время не запланировал и не затребовал подвижной состав к порту Мур-

манску, и штабеля бочек с сельдью про-
стаивали на тралбазе, занимая драго-
ценное, до вершка учтенное место.
Ошибка Чечулина была исправлена при-
бывшим с места лова Кремневым. К
Мурманску двинулись товарные поезда.
С железной дороги стали поступать в
Мурманск бочки. Это были бочки всех
краев и областей Советского Союза и
всех европейских рыбных стран. Нор-
вежские, шотландские, керченские, астра-
ханские, с трафаретами Сахалина, Кам-
чатки. Если посмотреть на эту тару, то
можно было сразу заметить, что она
была разная по размерам, но обладала
одинаковыми признаками — почтенным
возрастом и сильной изношенностью.
Ни одна бочка не держала рассола. Ре-
монт бочек производился тут же на ме-
сте у железнодорожной ветки. Сельдь
неуемным потоком торопила и без того
спешную работу бондарей.

— Ездил по Лавнам да по совхозам
с чужими женами, да так все и про-
ездил! Не приготовил во-время леса для
бондарки! Видишь, с чем сей год рабо-
таем, куда селедку убираем? Все тебе
надо сказать спасибо, — говорила тетья
Поля показавшемуся на посолзаводе
Чечулину.

— Да что ты, тетья Поля, кто мог
думать...

— Вот именно, племянничек, кто мог
думать, да вот ты-то верно не подумал
ни о подвижном составе, ни о таре.
Тебе б метелку в руки дать — по амба-
рам крыс гонять, а не ответработником
ставить.

Придя на следующий день в трест,
Чечулин как обычно развернул свежую
«Полярную коммуны» и, отхлебывая го-
рячий чай, стал читать первую поло-
су. На ней жирным шрифтом было на-
печатано:

«Суровое предупреждение.

Начальник снабжения и временный
управляющий Рыбтреста по случаю
отъезда т. Кремнева на лов, т. Чечу-
лин, зная мой приказ об удвоении
квартального плана добычи рыбы, по-
дал заявку на подачу вагонов в теку-
щем месяце, исходя из прежнего, ма-
ленького плана. Теперь, если мы не
добьемся своевременно увеличения

представленной им заявки на восемь-
сот вагонов, то успешно идущий лоз
сельди в Мурманске будет сорван по
вине Чечулина. Вместо деловой прак-
тической работы на приемке, уборке,
обработке и отгрузке рыбы Чечулин
пишет приказы, чтобы избежать лич-
ной ответственности. В результате при
перевыполнении февральского плана
добычи рыбы недовыполнен план обра-
ботки и отгрузки рыбы.

Ввиду этого приказываю снять
т. Чечулина с работы как несправив-
шегося».

Под приказом стояла подпись нар-
кома.

... Все сдвоилось перед глазами Че-
чулина...

Составы вагонов-ледников шли с Се-
вера на далекий Юг, из Мурманска в
Ленинград и от него по всем направле-
ниям. Каждый день отходили из Мур-
манска эти поезда. Мурманск выка-
чивал рыбу из Баренцова моря и не-
устанно посылал ее туда, где шла ново-
стройка.

— Вот вы мне Калнина ругали, — ска-
зал Кремнев, встретив «Батю» — дирек-
тора Полярного института, шагавшего
к себе по шпалам железной дороги до-
мой на тралбазу. — Вот, мол, Калнин
дилетант, что он против науки, что он
только командует в море и руковод-
ствуется указками старых поморов. Я
взял Калнина под свою защиту. Ведь
это же было неверно, что Калнин был
против ваших прогнозов. Но он стоял
за верные промысловые прогнозы. Он
говорил мне всегда, что промысловые
прогнозы требуются ему, как рыбе вода,
как человеку воздух. Но ему требова-
лись верные промысловые прогнозы. А
до тех пор, пока вы не научились давать
их, он пользовался приметам старых
поморов и собственными приметам и не
плохо пользовался. Траловый флот свое
выполнял. Ниже ста процентов не рабо-
тал ни разу. Вы стали давать теперь
хорошие прогнозы. Так что же, — ми-
лости просим, давайте нам их и дальше,
нам с ними рыбу легче облавливать.

Артур Калнин несколько лет прохо-
дил на тральщиках по Мурману. Он ви-
дел и знал жизнь моряка на тральщике.

Механики работали одновременно на двух должностях, выполняя обязанности и салогрея. Часто граксу выкидывали за борт или делали всего лишь один выгрев печени в котле салогрейки. В гравсе оставалось от двадцати пяти до пятидесяти процентов жира, а если ее вторично выгреть и дать отстояться, то можно было легко добыть еще дополнительно значительное количество жира. Механики не были заинтересованы в полном использовании граксы. За вытопку жира они получали наравне с остальной командой. Артур Калнин ввел на траулере должность салогрея. Вытопка жира поднялась почти вдвое...

Молоки трески и других промысловых рыб обычно выбрасывались с тральщиков в море. Чайки белым облачком налетали на легкую добычу и дрались между собой из-за жирных кусков. Калнин вычитал в одном из журналов, что на Дальнем Востоке молоки используются и имеют промышленное значение. Тогда и он настоял на том, что все тральщики, выходящие на промысел, обязывались собирать граксу и молоки и доставлять в порт для утилизации. Вернувшись в порт после облова большого косяка трески, Артур Калнин пригласил к себе на флагманский траулер руководящих работников Рыбтреста. Повар траулера приготовил два блюда для гостей. В меню замысловато значилось:

1. «Фрид Великого океана».
2. «Фрид Северного полюса».

Каждому посетителю была предложена любезным хозяином анкетка, в которой учтиво просили дать свой отзыв о новом блюде.

Все с любопытством и потихоньку от соседей расспрашивали Артура Калнина, из чего это он, «собственно», приготовил такие замечательные блюда. Желаящим Калнин распорядился выдать по второй порции, и таких желающих нашлось немало в кают-компании флагманского траулера.

Пробу отправили в Ленинградский пищевой институт и на консервные заводы Союза. Отовсюду были получены хорошие отзывы. После этого молоки прочно завоевали себе место в производстве.

Полугодовой план вылова сельди по Мурману был перевыполнен до срока. Ударников путины послали в дома отдыха и наградили деньгами и мануфактурой. Собравшись в доме отдыха, сельдяники мурманских колхозов написали в Москву наркому короткое письмо:

«Дорогой товарищ Микоян!

По твоему приказу для нас, ударников сельдяной путины, досрочно выполнивших план по вылову сельди, был устроен пятидневный отдых. Сейчас мы находимся в Мурманске. Нас здесь хорошо встретили и оказывают благодаря тебе большое внимание. Эта забота о нас, выполнивших твое задание, придает нам новые силы для борьбы за сельдяной план, за первое место Мурмана в Союзе по добычи рыбы.

Дорогой товарищ народный комиссар! Борясь за выполнение плана первого квартала по вылову сельди, мы повседневно чувствовали твою помощь, каждый из нас видел, какое огромное внимание ты уделял рыбной промышленности. Мы благодарим тебя за заботу об ударниках, за устройство нам, ударникам сельдяной путины, пятидневного отдыха. Мы заверяем тебя, что будем работать еще лучше, чем до сих пор, будем подтягивать отстающих и добьемся общего подъема. Здесь в Мурманске мы не только отдохнули, но и получили политическую зарядку для дальнейшей работы».

Следовало полторы сотни подписей.

Ночью на флагмане «Буревестник», стоявшем в Ура-губе, старший радист принимал сводку вылова сельди по всей губе. Закончив поздно прием сводки, он успел связаться еще с трестовским радистом и принять с десятка частных долговых радиogramм. Прощаясь и закрывая передачу, трестовский радист сообщил на «Буревестник»:

— Артур-то наш загнулся в больнице. От антонова огня. Общее заражение крови. Спасти никак не удалось.

Радист на «Буревестнике» отбил «ОК», что значило «ясно вижу», и, закрыв прием радиogramм, побежал докладывать Кремневу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как в годы гражданской войны красные курсанты целыми курсами уходили на фронт, когда наступал ответственный момент и фронтовикам требовалась подмога, так и сейчас, в сельдяной аврал, курсанты морского техникума все работали на тралбазе. Тридцать дней кряду Спиридон Малыгин знал только тралбазу и койку в студенческом общежитии. Не было времени, чтобы погулять, пойти в клуб или театр. И, когда закончилась сельдяной аврал, Спиридон Малыгин в первый раз после долгого поста зашел в ресторан и быстро захмелел от пива. За столиками сидели моряки с пришедших в порт траулеров. Одни говорили о том, что погода — собака, что самая плохая стоянка лучше самого хорошего похода, другие говорили о том, что им наскучило сидеть на берегу и они с радостью пойдут сейчас хоть на полюс, что лучше походной жизни нет, там все размерено, все по часам, по вахтам. Пары кружились между столиками, задевая локтями сидевших за пивом моряков. Взгляды музыкантов перебегали от нот к людям, танцовавшим в зале или сидевшим за столиками.

И вдруг Малыгин увидел Сусанну. Он ждал ее весь вечер и думал уже, что она не придет.

— А я тебя заждался, Сусанночка! — сказал Спиридон. — Ты меня извини, я без тебя тут захмелел немного и, может быть, не то скажу, что надо. Опять на траулерах будешь молотить?

— Приехала на летнюю практику.

Спиридон взял Сусанну за руку.

— Какая она у тебя холодная, — сказал Спиридон.

— Зато об твою обжечься можно! — сказала, смеясь, Сусанна.

— Ты меня прости, Сусанна! — Я все хочу спросить тебя вот о чем: ты с тем ленинградским лыжником встречалась, конечно, а вот будешь еще с ним переписываться или нет?

— А если и переписываюсь, то что?

— Нет, я так просто хотел спросить!

— Об этом просто не спрашивают! Скажи, что ты хочешь?

— Да я ничего не хочу.

— Так, значит, можно мне переписываться?

— Нет... то-есть, конечно...

— Что конечно?

— Конечно лучше не переписывайся!

— Но мне теперь, Спиридон, и родители уже не указывают, как жить. Я сама взрослая стала, — чуть выпрямившись, сказала Сусанна. — Что же ты указываешь мне?

— Я не указываю тебе, а прошу.

— Почему?

— Потому что люблю тебя, — сказал Спиридон и оглянулся, как будто боясь, что вдруг кто-нибудь услышит его.

Но никто, кроме Сусанны, не слышал слов Спиридона. За столиками звенели посудой и просторными пивными кружками. В воздухе тягуче пахло пивом и гремел джаз-банд. Сусанна посмотрела на Спиридона ласково и вдруг отвернулась.

Спиридон проводил Сусанну до самого ее дома и пришел к себе в стан далеко за полночь. В стане было безмятежно тихо. Мамка спала, широко раскрыв рот. На комодике тикал старинный будильник, купленный еще дедом в Норвегии. Свернувшись калачиком, спала в старой шапке покойного Евстахия Малыгина большая серая кошка.

Перед тем как раздеться и лечь в постель, Спиридон открыл сундучок, стоявший возле кровати и служивший одновременно сиденьем в стане. Надо было найти к завтрашнему дню верхнюю рубашку поновее. Под робой на дне сундучка лежала в сафьяновом переплете древняя книга с золотыми тисненными буквами по корешку. Ее привез на Мурман еще Евстахий Малыгин. Спиридон не в первый раз видел книгу, от которой пахло древностью и прелью. Не раз принимался читать ее. Язык книги был древний и трудно одолимый. Но сейчас Спиридон взял книгу и с интересом развернул ее на главе «Достопримечательные и знаменитые путешествия». Там говорилось о приезде Петра I на Север.

«... Третье пришествие Великого Государя в Архангельск было в лето 1702 Мая в 30 день... Сегож года Великий

Государь благоволил на Новой Двине в новопостроенной городской крепости построить храм во славу Бога, во имя Св. Апостол Петра и Павла, и украсил его всяким благоукрашением церковным: ризами, книгами, сосудами и прочими принадлежностями. Июня в 29 число в тезоименитый день Его Величества Преосвященный Афанасий освятил оную новосозданную церковь. Великий Государь сей же день пожаловал Преосвященного саккосом, в котором он служил в сей литургии и употреблял при прочих Священнослужениях всегда. Во время отправления Божьей службы и во весь день храм был украшен Государевыми разными знаменами, большими и малыми. Из всех верхних окон и с кровли поставлены были разные знамена и флаги. По отпетии всего, как только Великий Государь вышел из церкви, вдруг от приведенного в порядок воинства явились ружейные и пушечные торжественные громы, что стоящий на церковном крыльце Государь слушал с несказанной радостью. По сем Великий Государь отправился на другую сторону чрез Двину в шлюбках во свой дворец. В сей день, еще два дня торжественные за собой ведущий, был стол у Его Величества всем знатым чиновникам и стрельба продолжалась до самого вечера. Сего стола великолепие довольно показывают сороковые бочки, пополам распиленные и наливаемые ренским вином и простым, и пиво каждому открытое...

Все сии Высочайшие Премудрого Монарха путешествия имели единственною целию просвещение сынов Российской Империи, а паче защищение здешняго края от нападения Шведов, каковое и действительно в 1701 году в 24 день июня случилось.

Петр Великий, пробуждаясь рвением любезное свое Отечество привести в знатность другим народам, благоволил почтить Архангельск и тем, что в нем первые строились корабли, которых флаг, неоднократно развевався среди пространств морских волн, доставлял России великую славу».

На этом Спиридон захлопнул книгу, положил ее под подушку, закрыл глаза и живо представил себе Петра, чуть

горбящегося, непомерно высокого, шагающего огромными шагами.

— Архангельск возвеличил, а не подумал о Мурманском Севере. А вот он, Мурманск, стоит советский, от него во все стороны в любое время года идут советские корабли, которых флаг, неоднократно развевався среди пространства морских волн, доставляет Союзу Советских Социалистических Республик великую славу. Эскадры траулеров идут в Гольфштрем за рыбой. Мурманская сельдь известна каждому гражданину Союза.

Спиридон погасил свет, потянулся и сразу заснул. Утром рано пошел в торговый порт к стоящим там ледоколам. Площадь близ памятника жертвам интервенции еще была расцвечена в честь недавнего приезда Сталина. В порту шумно бункеровались прибывшие ледоколы. Грохот под'емных кранов слышался издали. Угольная пыль облаками носилась над кораблями. Малыгина в порт не пропускали. У него не было пропуска. Спиридон стоял у контрольных ворот, поджидая кого-нибудь из товарищей с прибывших ледоколов.

— Спиридон! Корешок! Ты кого тут поджидаешь? — спросил его проходивший моряк.

— Да хотя бы и тебя! Ты с какого шипа?

— С «Челюскина».

Товарищи поздоровались и пошли по направлению к Дому культуры.

— Слушай, Спиридон! У нас один корешок списывается с корабля по болезни. Не пойдешь ли с нами в рейс? Мы будем добирать команду.

— А я за этим у контрольных ворот с самого утра маячил. Счастье поджидал.

— Счастье маленькое. Знаешь, как на ледоколе, только первые три года плохо, а потом человек привыкает.

— Ну, не тяжелей, чем на траулере! — сказал Спиридон. — А я и на них считался ударником, на учебу выдвинули. Но для такого мирового похода думаю, что разрешат мне прервать учебу месяца на два-три.

— Да к началу зимы будешь обратно в Мурманске.

Вечером Спиридон был на ледоколе. Он уходил в далекий полярный рейс, в неизвестность, простившись с Сусанной, которая никак не соглашалась на отъезд Спиридона.

Над городом пронесся дождь. Крупные капли дождя брызнули по глади спокойного залива. Деревянные дома потемнели. Теперь уже не оккупационные военные суда — «Кохрен» и «Адмирал Об», — два полярных советских корабля главенствовали над портом высокими своими мачтами и яркими флагами.

Отсюда из Мурманска советским кораблям открывалась морская дорога во все моря и океаны, омывающие землю.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Спиридон Малыгин возвращался в мурманский порт героем. Газеты печатали его портреты. О нем говорили на рыболовных траулерах:

— Это тот самый Спирька, который плавал с нами, старика Евстахия сын. Отсидел парень на льдине два месяца в плену, зато теперь уж отдохнет.

Молодой помор до этого путешествия не представлял себе просторов своей родины. Теперь, проехав по железной дороге, соединяющей два отдаленных океана, он видел новые стройки, видел Москву, снявшую купола церквей и заменившую их высокими копрами шахт метрополитена. Улицы Москвы были украшены красными и голубыми полотнищами, спускавшимися с высоких домов на залитые асфальтом обновленные улицы. Красные полотнища говорили о революции, голубые — о том, что революция победила не только на земле, но и в воздухе.

Спиридон не поверил себе, увидав на платформе Белорусско-Балтийского вокзала Сусанну. Она искала кого-то.

— Сусанна! — крикнул изумленный Спиридон. — Ты кого встречаешь.

— Тебя, Спиридон!

Здесь они обнялись впервые, и на своей щеке Спиридон почувствовал теплые слезы, и самому вдруг захотелось плакать от избытка радости. Год назад Сусанна провожала Спиридона в далекое полярное плавание. Она просила его не

ходить в этот дальний рейс. Мать Спиридона стояла тут же и долго махала дрожащей рукой единственному сыну, покидавшему ее. Мурманск и картина расставания с любимой девушкой теперь предстали перед Спиридоном, глубоко взволновав его.

— Мы проверим друг друга этим рейсом, — вспомнил свои слова Спиридон. — Если действительно любим, так никакая разлука не разобьет нашу любовь. Но за себя я скорей поручусь, чем за тебя, Сусанна!

На прощанье он робко поцеловал ее в щеку. И вдруг теперь перед ним снова стояла Сусанна. Она стала еще лучше, роднее и ближе ему. Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза, гладил руку и засыпал бессвязными вопросами...

Спиридон не узнал Мурманска. Морзяк уезжал, когда в городе было всего лишь пятьдесят пять тысяч жителей. Теперь их было свыше ста. Высокими каменными домами поднялись мурманские улицы. Десятки океанских кораблей всех флагов и наций стояли у мурманских причалов. Слышался рев и грохот подъемных кранов, поднимающих плодородный камень аппатит с пристаней на пароходы. Разрослись причальные линии. Вдали виднелись новые корпуса судоремонтного завода. Спиридон Малыгин не узнавал тралбазы. Там все было по-другому. Корпуса новых промышленных предприятий, механизировавших весь процесс рыбообработки, стояли, главенствуя над тралбазой. Малыгин смотрел на мостовые, утопавшие некогда в грязи. Теперь перед ним блестели тесаным камнем широкие, ровные улицы. Направо от Дворца культуры Спиридон увидал корпуса новых зданий, которые живо напомнили ему недавно виденную незабываемую многомиллионную сказочную Москву. Председатель исполкома, с которым Спиридон осматривал новый Мурманск, сказал:

— Хороши дома! Это улица Сталина! Здесь будут жить капитаны, старшие механики и штурмана тралфлота! Здесь и тебе приготовлена квартира! Мы помним тебя как ударника «Кеты» и «Зубатки».

— Я еще поработаю в тралфоте! — сказал Спиридон, и глаза его блеснули. Спиридон радовался тому, что он на Мурмане, на родном Севере, который стал неизмеримо лучше в короткий срок.

Наутро Спиридон разыскал Дорошенко. Товарищи обнялись, как братья. Спиридон пришел в восторг, когда Милица Николаевна угостила его настоящими поморскими шанежками.

— Совсем поморянка стала! — благодарил за шанежки Спиридон.

— Ты на тралбазе еще не был? — спросил Дорошенко. — Так сходи непременно сегодня. Посмотришь, как и что делают большевики на мурманской земле. Новые заводы, новые траулеры и рыбы добыли вдвое больше против прошлогоднего. Мурман становится знатным краем по добыче рыбы.



Сказочно-исполиньские двигатели — тропические ветры пассаты, — не зная отдыха, сотни тысяч лет широчайшей струей мчат нагретые палящими лучами экваториального солнца атлантические воды в Мексиканский залив. Тепловодной широкой рекой бежит Гольфштрем по океану из Мексиканского залива, от вечной весны Мексики к вечной зиме Арктики. Разрезав воды Атлантики и облизав теплым языком берега Скандинавии, течение дробится на два многоводных темноглубых потока. Один из них струит далеко на Север, огибая Свальбард, другой дышит теплом в Баренцово море, согревает и кормит берега нашего Мурмана. Каждую весну могучие косяки промысловой рыбы движутся на восток Баренцова моря по теплой дороге течения на сытые корма. В Гольфштреме и промышленяют траулеры, набивая рыбой доверху трюмные чердаки.

Когда-то египтяне поклонялись всемогущему Солнцу. Быть может, жили в древнее время на Мурмане люди, поклонявшиеся всемогущему Гольфштрему. Замерзают, становятся на зиму все

губы — заливы, все бухты Полярного моря. Работают ледоколы в замерзающих портах нашего черноморского Юга. А на Мурмане, в Кольском заливе, на крайнем Севере, шумят зимой лебедки, гремят подъемные краны и бороздят по незамерзающим водам острогрудые корабли. Стоит в снегах скалистый и суровый Мурман, а у ног его плещет Гольфштрем, открывая морскую дорогу круглый год во все стороны.

Как сторож, ходит в море Гольфштрем, не допуская к Мурману льды с севера, отжимая их в своем атлантическом тепле. Дымят над Гольфштремом зимой и летом рыболовные траулеры в размеченных квадратах Мурманского моря и перекликаются в тумане предостерегающими гудками. И даже темной ночью, когда в далеких советских городах спят люди, вахты моряков поднимают тяжелые траулы с глубин моря и шумно рассыпают рыбный серебряный дождь в ящики, стоящие на верхней палубе.

К весеннему Гольфштрему присматриваются синоптики и гидрологи, чтобы вернее определить погоду и условия предстоящей ледовой навигации. Гольфштрем регулирует ледовитость Баренцова моря: чем теплее он с весны, тем меньше льдов остается к лету в море. По гидрологическим данным ученые раскладывают пасьянс ожидаемого улова, предсказывают морякам верное место и ход промысла.

Великая теплоцентральный Атлантического океана защищает человека от полярного холода, но и эта океаническая сила не смогла бы в одиночестве оживить скалистый Мурман. Понадобилась океаническая горячая сила коммунизма, чтобы в туманах Севера, на скалах Мурмана сказочно выросли новые селения и города, чтобы реки, текущие в Полярное море, давали свет и тепло новым городам, привели бы в движение новые заводы, чтобы целые эскадры рыболовных траулеров выходили в море в любую погоду от разбуженных берегов Мурмана за рыбными богатствами для рабочих великой страны.

Пятая армия

Книга первая

МОСКВА 1918 ГОДА

Роман

РАИСА АЗАРХ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поутру 5 июля Лерс пришла на с'езд с небольшим опозданием. Театр уже был полон, и ей пришлось разыскивать место поудобней. В коридоре верхнего яруса она встретила Николая Стрелкова, который сменял караулы, и они вместе вошли в ложу, рядом со сценой. Отсюда была видна только часть зала, зато сцена с президиумом была совсем рядом. Группка левых эсеров держалась особняком: Камков, Черепанов, Карелин окружали Спиридонову, которая многозначительно перебирала листки записок.

В тот момент, когда Лерс и Стрелков занимали уступленные им места, — это была ложа охраны, — был об'явлен отчет Центрального исполнительного комитета.

Яков Михайлович Свердлов быстро подошел к небольшому пулпиту, стоявшему влево от стола президиума, нерешительно оглянул зал, и на мгновение Марина подметила совершенно непривычную для этого смелого, резко очерченного лица мягкую застенчивость. Неспущая глаз с Якова Михайловича во все время его речи, Марина поняла, что

небольшая борода прикрывает нежные, почти юношеские линии подбородка и что именно борода делает Свердлова старше и солидней. Отчетная речь была ему явно в тягость.

— Деятельность ЦИК настолько тесно связана с деятельностью Совета народных комиссаров, — начал Свердлов, — что мыслить один отчет без другого совершенно невозможно. ЦИК как верховный орган Советской республики дает общие указания, намечает линию работы, определяет общую политику, но проведение этой линии в жизнь, разработка тех или иных практических мероприятий по управлению государством в точном смысле этого слова являются делом рук Совета народных комиссаров. Моя задача как докладчика о деятельности ЦИК ограничивается указаниями на ту общую политику, которая проводилась нами со времени прошлого с'езда... После IV с'езда левые эсеры ушли из СНК, но в Центральном исполнительном комитете остались. Если Брест был первым камнем преткновения для левых эсеров, то сейчас разногласия между нами и левыми эсерами — это продовольственный вопрос... Был декрет об организации деревенской бедноты, где мы создали для специальной цели

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 5 и 6 с. г.

особый комитет, который отличается в деревне своей специфичностью, где были наилучшие элементы — самые бедные слои крестьянства. Мы знали, что зажиточные слои крестьянства отвернутся от нас, и не только отпадут от нас, но и будут против нас. Мы знаем, что деревенская беднота составляет большую часть населения. И мы во всех своих выступлениях были уверены, что они будут с нами. Мы знаем, что единственными представителями бедноты... бедноты и рабочего класса является одна наша партия, партия коммунистов-большевиков...

— Только одна наша партия, — повторил вслед за Свердловым молодой юноша в солдатской гимнастерке, сидевший возле Марины. — Вы все записываете? — смутился он, видя, что Марина быстро что-то пишет в тетрадке.

— И ваши слова записала.

— Зачем?

— Чтобы рассказать товарищам на фабриках и заводах, кому рабочий класс доверил оружие революции!

Стрелков обрадовался.

— Да, народ у нас, как на подбор, одной мысли, одной закалки. Но зато какое различие национальностей: русские, латыши, евреи, венгерцы, украинцы, поляки...

— Интернациональный отряд?

— Нет, из сводных отрядов при Чрезвычайной комиссии отобрали наиболее выдержанных и стойких.

— Но ведь там преимущественно матросские отряды?

— Не только матросские! Матросские: отряд Попова — черноморцы, это на Трехсвятительском, отряд Полякова — балтфлотцы, на Лубянской. Но есть и отличные пехотные части, например латышские стрелки; они несут охрану Кремля вместе со сводными частями московских рабочих.

— Это мои товарищи в Кремле, — с гордостью сказал голубоглазый уроженец Рижского залива.

— Я хочу остановиться на вопросе, который не будет, вероятно, затронут впоследствии, по которому мы разошлись с левыми эсерами, — продолжал Свердлов. — Товарищи уже получили от

ВЦИК указание или, вернее, предложение исключить из среды местных советов правых эсеров и меньшевиков... Это было в тот момент, когда к нам пришли вести о широком контрреволюционном заговоре, организованном, с одной стороны, у нас в Москве, а с другой, в целом ряде других городов, — в Казани, Симбирске, — заговоре, организованном главным образом при участии правых эсеров. Левые эсеры не поддержали нас в нашем востуме. Они голосовали против исключения, против изгнания, полагая, что это нецелесообразно... (Из зала раздалось: «Позор!»)

— «Позор» — по-чешски «осторожно», «берегись», и вот мне кажется, что надо чего-то беречься, — тихо, наклонившись к своему соседу, сказал другой товарищ из охраны, видимо, чех.

— ... Четвертый основной вопрос, по которому эсеры проявили болезненную нервозность, был вопрос о смертной казни. Работая в Верховном трибунале, они после первого же приговора заявили о своем уходе, — докладывал с'езду Свердлов.

— Ходики какие-то, а не политическая партия!

— И плохие ходики, плохо время показывают, — сострил Стрелков.

— Так и хочется им сказать нашу украинскую поговорку: «Повернись, дядько, перо сзади».

— Вы украинец?

— Да, с Полтавщины. Отступал с товарищами до Царицына, дрались мы там с беляками, ранили меня, — вот и в Москве. Теперь здоров и в строю, — весело улыбнулся он.

Спокойный доклад председателя Центрального исполнительного комитета все сильнее начинал беспокоить левых эсеров. Его прерывали выкрики, неслись истерические возгласы. Когда Яков Михайлович объявил об уходе левых эсеров из Верховного трибунала, поднялся оглушительный гам, стук. Свердлов постоял несколько минут молча, а потом, неожиданно оставив тон докладчика, властно потребовал:

— Позвольте, товарищи, попросить вас возможно меньше мне мешать... Я скоро кончу, будьте добры немного по-

молчать. Те выкрики, которые здесь раздаются, были бы для меня вполне понятны, если бы левые эсеры во всех вопросах, связанных со смертной казнью, выступали так же, как они выступают в данном частном случае. Смертные приговоры мы выносили десятками и в вынесении их принимали совершенно равное, совершенно одинаковое участие как мы, «кровожадные» коммунисты, так и левые эсеры. Но левые эсеры заявляют, что они против смертной казни. Тут нужно сделать корректив: против смертной казни по суду, но смертная казнь без суда допускается. В одном случае признаем смертную казнь, в другом случае — отрицаем... Вы должны будете указать, — сказал он, несколько торжественно обращаясь к съезду, — считает ли верховный орган Советской России целесообразным применение самых суровых кар, вплоть до смертной казни, по отношению ко всем контрреволюционерам. Ваше право сказать то или иное. Мы будем подчиняться вашей директиве, вашей воле, но мы глубоко уверены, что полное одобрение встретят все наши действия в борьбе с контрреволюционерами, которую мы вели до сих пор.

Выступавшая затем Спиридонова увеличенно медленно подошла к трибуне, неспеша разложила свои бумажки, вложила руку в руку и деланно-слабым, временами повизгивающим голосом заговорила:

— Разрешите доложить вам, товарищи, о работах отдела ВЦИК, каким является отдел крестьянской секции...

Затем шло изложение сущности аграрной реформы.

— Когда большевики приняли закон о социализации земли. Социал-демократы, резко расходясь с эсерами в этом отношении в понимании крестьян, руководятся догмами Маркса, своим марксистским багажом, и они считают, что крестьянство, как социальная категория в настоящем, в будущем будет изжито, и мы, эсеры, боролись с этим научным взглядом, боролись на практике с социал-демократами всего мира...

— Это лаврово-михайловская формула у нее там выписана, — насмешливо

сообщила Марина красноармейцам. — Тухлятина!

— ... Роль и задачи этой секции состояли в том, чтобы организовать крестьянство, чтобы вовлечь его в водоворот социальной борьбы, чтобы развить его убеждения, чтобы привлечь его к советской власти, втянуть в социальную революцию, как втянулся пролетариат, и заставить крестьянство полюбить советскую власть, как любит ее пролетариат городской...

— Значит, чтобы полюбить, надо войти в организацию. А я, грешным делом, думал, что входишь тогда, когда уже полюбил эту самую власть. Но, оказывается, для любви надо входить. Лига любви, а не крестьянская секция, — подсмеивался вслух латыш.

Все сначала было хорошо, по словам Спиридоновой, в этой «секции для любви к советской власти», но вот первая весна стала проходить.

— ... Когда столкнулись две партии на Брестском договоре, началось сведение счетов, и наша секция начала страдать от того, что они были в ссоре...

— От любви до ненависти — один шаг, — заверил и украинец.

— ... Нам приходилось бороться за существование крестьянской секции, приходилось вырывать из горла силой каждый десяток тысяч рублей...

— На любовь это немного накладно, — смеялись красноармейцы.

— ... Приходилось защищать, отстаивая их необходимость, приходилось ставить себя в боевую позицию, угрожая Крестьянским съездом, чтобы утвердить ту или иную сумму. В настоящем съезде, так как товарищи крестьяне, записавшиеся во фракцию большевиков, подчиняясь своей дисциплине, будете голосовать против себя, на этом съезде крестьянская секция аннулируется...

С места раздался голос:

— Товарищ председатель, не могу вытерпеть! Что-нибудь одно: или вы говорите, или дайте мне слово...

— Будьте добры подать в письменной форме, — отвечал председатель.

— Я прошу вас об одном: или вы говорите, или дайте мне слово, ради бога, — повторил тот же голос.

В группе беспартийных посреди зала стоял широкоплечий крестьянин. Он держал в руке смятый картуз и растерянно глядел вокруг. Добродушный смех левого сектора его не смутил, и он еще раз добавил, так, что стенографистки вряд ли услышали:

— Не могу больше вытерпеть. Все нуто от этой дьяконницы воротит!

Спиридонова растерялась: свалить все на козны большевиков было невозможно — влекомый в царство любви стоял тут же, живой, теплый, думающий, потерявший терпение от всей той галиматши, что наговорила здесь народная радетьельница.

— ... Мы поднимаем вопрос о созыве Крестьянского съезда...

На правом секторе захопала, но не особенно восторженно. Видно, вопрос о созыве нового съезда находился еще в головах вождей и до сведения «масс» доведен не был.

— ... И вот, — немного смущенно продолжала Спиридонова, — я перехожу к небольшому содокладу тов. Свердлова. Да, товарищи крестьяне, нас разделили в крестьянстве, началась диктатура теории, диктатура отдельных лиц, влюбленных в свою теорию. Тогда мы стали отходить от большевиков и стали защищать крестьянство. И лично я... характерно, что я сейчас выступаю перед вами, как яростная противница партии большевиков, я, которая тотчас по выходе из тюрьмы спаялась с ними в борьбе...

В зале весело рассмеялись.

— Короткое спаивание, — пробурчал Стрелков. — Сначала возле Керенского вертелась.

— ... Я, спаянная с крестьянством, знаете, как сильно, я, в искренности которой вы не можете сомневаться...

Красноармеец-украинец вскочил и громко, так, что пронеслось по всему залу, сказал:

— Нахалка!

— ... Вы, товарищи большевики, крестьяне...

Спиридонова начала пронзительно кричать что-то нечленораздельное.

Марина наклонилась к Стрелкову и рассказала историю с болванкой на Прессовом заводе.

— Что вы сделали? — коротко, как на посту, спросил Стрелков.

— Ничего. Думала, что случайность. А сейчас... видите... не программные ли это действия?

— Слушайте, слушайте, товарищи! Сейчас самые страшные слова пошли! — послышалось в ложе.

— ... Продовольственная диктатура — это та опасность, которая грозит деревне. Те, кто здесь хлопали, сами подписываете себе приговор. Они хлопают диктатуре пролетариата (грянули новые хлопки и застучали, как град, по правому сектору). И если вы хлопаете диктатуре пролетариата над миллионами, над массами, вы сорветесь...

И Спиридонова опустила руки вниз, показывая, как сорвутся большевики.

— Каркай себе на голову! — не выдержал даже Стрелков. — Кто сорвется, это будет видно...

— ... И глубочайшей неудачей, ошибкой является декрет о диктатуре продовольственных отрядов, о диктатуре деревенской бедноты... Теперь перейдем к другому вопросу — о смертной казни...

— Товарищ Свердлов, призовите эту бедноту к порядку! — понеслись возгласы из группы в середине зала, где сидели беспартийные.

Спиридонова поперхнулась, но, видя, что никто ее не останавливает, продолжала:

— ... Нам ничего не надо брать из старого арсенала. Этот арсенал имеет организованную армию, — мы ее отрицаем...

— Вот как! — вспыхнул Стрелков. — Они отрицают армию! — Ему хотелось сказать крепкое словцо, но он удержался.

— ... Мы отрицаем все то, что имела в своих руках буржуазия...

— Поотрицай, поотрицай, а мы многим воспользуемся, — вновь заметил Стрелков.

— ... Как бы ни повернулось колесо истории, знайте, что история левых эсеров, попав в перелом всех империализмов, которое уже захлестнуло и партию большевиков...

— Тьфу! — не выдержал Стрелков и так грохнул стулом, что Лерс не слышала уже конца речи; до нее долетели только отдельные слова о царстве равенства, братства и справедливости, которое всем своим последователям обещала Спиридонова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

— Товарищи, — сказал Владимир Ильич, с характерным выпадением буквы «р», — позвольте мне, несмотря на то, что речь предыдущего оратора местами была чрезвычайно возбужденной, предложить свой доклад от имени Совета народных комиссаров в общем порядке, касаясь главных, принципиальных вопросов, как они этого заслуживают, и не вдаваться в ту полемику, которой так желал предыдущий оратор и от которой конечно полностью отказываться я не собираюсь.

Ленин пришел во время речи Спиридоновой и, когда она доходила до визга, оборачивался к ней, удивленно пожимал плечами и что-то быстро-быстро записывал на отдельных аккуратно сложенных листках.

Когда Ленин, подойдя к трибуне, внимательно оглядел весь зал, словно вздох облегчения пронесся по Большому театру.

Слово Ленина, страстное и сдержанное, было, как и весь его облик, близкое, родное, давно знакомое, потрясающее и успокаивающее своим внутренним изяществом и гармоничностью.

Ленин говорил непринужденно и вместе с тем строго, мало жестикулируя. Движения всего тела незаметно дополняли его речь; она текла плавно, без малейшего напряжения, как река мерная и полноводная.

Это была знаменательная речь Владимира Ильича на V съезде советов 5 июня 1918 г.

Марина слушала его, растроганная и гордая тем, что она живет в великий век Ленина, что принадлежит к его партии, служит его классу.

В наступившей тишине слышны были только возня и перешептывание на правом секторе да шмыгание отдельных людей между рядами. Но когда Ильич стал говорить о создании новой, организованной, дисциплинированной Красной армии, раздался возглас: «Керенский!», а потом отдельный выкрик: «Мирбах!», и еще о чем-то загудели в отдельных эсеровских рядах.

В ложе, где сидела Марина, началось волнение: «Как они смеют кричать, когда говорит Ленин!»

Владимир Ильич ответил на хулиганство правого сектора:

— Меня несколько не удивляет, что в таком положении, в котором эти люди оказались, только и остается, что отвечать криками и истериками, руганью и дикими выходками (рук о плескания), когда нет других доводов...

— Есть доводы! — как железом по стеклу, проскрипело по залу.

Ленин не обернулся на возглас и, внимательно разглядывая раскудахтавшееся гнездо, продолжал:

— Девяносто девять сотых русских солдат знают, каких невероятных мук стоило удалить войну, они знают — чтобы построить войну на новом социалистическом и экономическом базисе...

— Мирбах не позволит! — прокаркал тот же голос, и началась возня: пересаживали кричащего, чтобы его нельзя было разглядеть.

— Нужны невероятные усилия, надо было одолеть войну разбойничью, — продолжал Ленин.

Все сидели, затаив дыхание, и слышны были поскрипывание перьев стенографисток, шорох карандашей. Записывала не одна Марина. Саркастически улыбаясь, судорожно строчил Черепанов. Спиридоновой на трибуне не было; после своего драматического этюда она сошла вниз и села в партере.

— ... Мы открыто предложили честный демократический мир... Мы знаем, что революция есть такая штука, которая изучается опытом и практикой, что

только тогда революция становится революцией, когда десятки миллионов поднялись...

Аплодисменты заглушили речь Ленина. Раздались крики: «Да здравствуют Советы!»

— ... Эта борьба, поднимающая нас к новой жизни, начата 115 миллионами людей; надо к этой великой борьбе присматриваться с глубочайшей серьезностью. В Октябре, когда основалась советская власть, 26 октября 1917 г., когда...

Опять раздалась нечленораздельные крики на правых скамьях, и поднялись неистовый шум, с одной стороны, буря аплодисментов, с другой.

Ильич продолжал:

— Наша партия большевиков, ее представители во ВЦИК предложили партии левых эсеров войти в правительство, — она отказалась. В тот момент, когда левые эсеры отказались войти в наше правительство, они были не с нами, а против нас...

При этих словах опять начался шум на скамьях левых эсеров.

— Мне очень неприятно, что пришлось сказать нечто такое, что вам не понравилось, — улыбаясь в сторону эсеров, сказал Ильич.

Правый сектор пришел в движение.

— ... Если казачий генерал Краснов...

Шум и крики не давали Ленину продолжать речь.

— Как будто на вертеле их поджаривают, — улыбнулся Стрелков.

— ... Когда 26 октября вы колебались, сами не зная, чего вы хотите, откачивались итти вместе с нами...

Шум начинал нарастать; орали справа, на них шикали слева. Возмущение всех этажей Большого театра переливалось через край.

Владимир Ильич стоял, заложив пальцы за жилет, и спокойно выжидал. Улучив момент, он, несколько не желая умерить страсти эсеров, насмешливо продолжал:

— Правда глаза колет. Я напому вам, что те люди, которые колебались, которые сами не знают, чего они хотят, отказываются итти с нами, слушают

других, которые рассказывали сказки. Я вам сказал, как солдат, бывший на войне...

Камков стоял подле Свердлова и что-то ему неистово кричал. Одно мгновение казалось, что он бросится к Ильичу. В это время левые эсеры поднялись с мест. Спиридонова, молитвенно сложив руки, стояла в кольце своих последователей.

Ильич продолжал таранить стену:

— Когда говорил предыдущий оратор, наше громадное большинство на съезде ему не мешало. Да это и понятно...

Спиридонова продвинулась вперед, и вся эсеровская фракция, как стадо, ринулась за ней.

— Если же эти люди предпочитают со съезда уходить, то скатертью им дорога! — сказал Ленин.

— Я бы им тележки для быстрейшего выкатывания соорудил, как нищей братии, — обратился к Марине Стрелков.

Уходя, эсеры шумели и галдели, а кучки других партий — максималисты, анархисты — кричали и за уходящих.

— Пойти посмотреть, как бы с караулами у них неприятностей не вышло. Товарищи слушают, наэлектризованы, — сказал Стрелков и вышел.

В зале стихло. Владимир Ильич продолжал:

— Уловить отдельные выкрики и бросить в народные массы призывы, которые равняются прекращению мира, и бросание нас к войне — эта политика людей, совершенно растерявшихся, потерявших голову... Та партия, которая доводит своих наиболее искренних представителей до того, что они падают в это болото обмана и лжи, — такая партия является окончательно погибшей партией. Нельзя не знать рабочим и крестьянам, каких невероятных усилий, каких переживаний стоило нам подписание Брестского договора. Неужели нужны еще сказки и вымыслы, чтобы раскрасить тяжесть этого мира, к которым прибегают наиболее искренние люди из этой партии? Но мы знаем, где народная правда, и ею мы руководствуемся, в то время как они мечутся в истериче-

ских выкриках. И с этой точки зрения подобное поведение полной растерянности хуже всякой провокации. Особенно, если мы сопоставим сумму всех партий в России, а этого требует научное отношение к революции. Никогда нельзя забывать о взаимоотношениях всех партий вместе. Отдельные лица, отдельные группы могут ошибаться, могут не уметь объяснить свое собственное поведение, но если мы возьмем сумму всех партий России и будем смотреть на состояние их, ошибки быть не может! Посмотрите, что говорят теперь, слышал призывы левых эсеров, правые эсеры, Керенский, Савельев и прочие... Да они в настоящую минуту хлопают, как бешеные. Они рады втянуть Россию в войну теперь, когда это нужно Милюкову... И сейчас так говорить о брестской петле — значит на шею русского крестьянина накидывать помещичью петлю. Когда нам здесь говорят о бое против большевиков, как предыдущий оратор говорил о ссоре с большевиками, я отвечаю: нет, товарищ, это не ссора, это действительный, бесповоротный разрыв, разрыв тех, которые тяжесть положения переносят, говоря народу правду, но не позволяя опьянить себя выкриками, с теми, кто себя этими выкриками опьяняет и невольно выполняет чужую работу, работу провокаторов...

Марину окликнули. Обернувшись, она увидела в двери ложи Стрелкова, который делал ей настойчивые знаки. Стараясь не шуметь, она беззвучно встала, на цыпочках прошла ложу. В коридорчике подле ложи после ярко освещенного зала было совсем темно, Марина еле видела Стрелкова. Он, взволнованный, на ходу быстро говорил ей:

— Они толпятся в коридорах, запрудили проходы, хотят устроить митинг на площади. Спиридонова пытается снять с наружных постов караулы. Я подумал: тебе как женщине удобнее с ней.

Перепрыгивая через ступеньки, они направились к главному выходу. Марина внутренне собралась, шла напряженная, но спокойная. Она сказала Стрелкову, который, остановившись, возился у двери:

— В случае необходимости закрой все выходы!

Затем она прошла у вешалки и вмешалась в беспорядочную толпу левоэсеровской фракции, собравшуюся в коридоре главного под'езда.

У двери Марина увидела Спиридонову, которая кротко беседовала с часовым.

— Вы большевик? — спрашивала она караульного, наступая на него.

Юноша, польщенный вниманием, все же поста не оставлял.

— Нет, беспартийный, — отвечал он.

— Из деревни родом?

— Все мы оттуда.

— Сами землю пашете?

— Нет, сам не пашу.

— В наем отдаете?

— И в наем не отдаю.

— Как же она у вас родит?

— Родить нечему, если и земли нет.

— Безземельный! Видите, товарищи, — патетически обратилась Спиридонова к толпе, — как они выполняют свои обязательства перед крестьянским народом! Земли у него совсем нет!.. Так это вы от безземелья к большевикам в гренадеры записались? — закивала она часовому.

— Как так в гренадеры записался! Организация послала, выбрали, я и пошел...

— Какая организация? Может, ты из комитетов бедноты?

— Ясно, не от комитетов богачей!

— Мне и моим товарищам по фракции не ясно...

— Это все и есть ваши товарищи по фракции? — спросил караульный.

— Что ты, дорогой! — отвечала Спиридонова. — Это только те, кто смог через большевистские рогатки пробиться, остальных не пропустили. Большевики себе сами мандатов настряпали!

— У них все поддельное, а за нами вся страна, все трудовое население!

— Все ли? — наивно спросила Лерс. Она стояла рядом со Спиридоновой, ближе к красноармейцу: — Здравствуйте, Барков! Кто вас учил на посту разговаривать?

Спиридонова состроила недовольную гримасу:

— Это вам, барышня, не прежний режим! Сейчас солдат — вольный гражданин, где хочет, там и разговаривает...

— Вы хотите сказать: красноармеец, — не меняя тона, заметила Марина и прямо поглядела в лицо Спиридоновой. — Советская власть заложила основание Красной армии декретом от 23 февраля!

— Под декретами о свободная страна! — закивала Спиридонова.

Красноармеец обрадовался:

— И вы здесь, товарищ Лерс! Кто еще есть из нашего района?

— А какого района будет эта барышня? — строго допрашивала Спиридонова.

— Барышня и красноармеец — Рогожско-Симоновского района! Что еще вам угодно узнать?

Марина перешла в наступление неожиданно и смело. Она как будто выросла, и ей казалось, что вокруг нее много воздуха, простора, друзей. К такому приему она прибегала всегда, когда оказывалась во враждебной толпе. И в марте, в Академии художеств, когда друг ее стал интернационалистом и она осталась одна во враждебном стане служителей искусства; и в стенах Таврического дворца, на первом женском думском митинге, где она говорила о равноправии половом и равноправии классовом; и в Харькове, в дни апреля и мая, на площадях и заводах, где свирепствовали меньшевики и эсеры; и на берегу Нейшлотского озера, где в июльские дни ее хотела утопить отдыхающая питейская буржуазия. Арестованная для вида пулеметчиками, она твердо решила, что предаваться воспоминаниям и изживать свое первое девичье разочарование нужно в действии, а не под шум нейшлотских волн...

— Вы молчите, — строго сказала она Спиридоновой, — тогда буду говорить я. — И она словно выросла над толпой, грозная, повелительная. — Как смеете вы снимать караулы?! Разве вы не знаете, как это карается революционным законом?! Как смеете вы мешать работе съезда, или не знаете, что такое воля масс?!.

Голос Лерс звучал смело и уверенно,

взгляд ее, несмотря на маленький рост, через голову Спиридоновой охватывал и подчинял толпу.

Спиридонова попятилась. Не давая ей опомниться, Марина продолжала уже лирически:

— И это вы, товарищ Спиридонова! (При этом она грустно вздохнула.) Мне было девять лет, когда отец вслух прочел нам в газете о вашем покушении на Римана, об издевательствах над вами, о вашем горе! Я плакала, завидовала вам, гордилась вами! Мне так хотелось быть на вас похожей! Я ликовала, что это сделала женщина! Потом я узнала, что надо бороться иными средствами, организованным напором на всю систему царизма, а не на отдельных людей. Училась, дралась. Да, дралась! — она повысила голос. — Вон там (она показала к выходу) меня, беременную, взяли в плен юнкера! Вон туда (она показала в сторону Думы) два раза меня вели расстреливать!

Она обвела всех огненным взглядом и продолжала:

— Вы кичитесь своим правом? Вы свое право потеряли! Вы не представляете трудящихся! А у меня, у всей моей партии, есть такое право! Оно завоевано в бою. За нами миллионы! Не мешайте нам!..

Марине сделалось невероятно жарко. Она почувствовала, что долго с таким напряжением говорить не сможет. Но тут в толпе она заметила Горлова.

— Вон стоит товарищ, член вашей партии. Пусть он честно скажет, имею ли я право так говорить! Он дрался в наших отрядах все дни Октября, ходил ночью разведчиком и захватывал артиллерию, прорывался сквозь юнкерские отряды на вокзал, за винтовками, брал Ильинские ворота. Пусть он здесь скажет, имею ли я право говорит все это! Рабочий, он должен знать, что такое дисциплина. Что он думает по поводу того, что, подчиняясь фракционной поручке, его товарищи по партии мешают говорить Ленину, выкатываются из зала, на его глазах снимают караулы?!.

— Товарищ Горлов! — Она обернулась к Ивану Горлову. — Вспомни, как ты хотел застрелить цыгана, когда тот

самовольно напал на юнкерскую цепь!.. Вспомни, как ты принял по моему распоряжению команду, когда мы сидели на грузовиках под юнкерскими пулеметами!.. Вспомни все это и скажи, как должно покарать того, кто нарушает революционный закон, военную дисциплину Республики Советов в ожесточенном бою!..

Она говорила отрывисто, и слова ее падали, как капли раскаленного металла, в гущу толпы.

Все обернувшись к Горлову. Подавив понятное смущение перед такой именитой аудиторией, он поправил ремень кобуры маузера и, сам еще не зная, что скажет под настойчивым взглядом Марины, вышел вперед. Чтобы выиграть время и собраться с мыслями, Горлов спросил:

— Вы меня звали, товарищ Лерс?

— Не товарищ она вам! — крикнула Спиридонова. — Не на ее зов вы должны откликаться...

Горлов вскинул голову и молчал.

— Здесь я спрашиваю! Почему ссылаются на вас эта барышня?

К такому тону Горлов не привык. С ним считались, его ценили... «Как смеет она орать на меня в присутствии всей фракции?.. Но ведь это Спиридонова, — проносилось у него в голове. — Что делать? Разве его партия не была до сих пор сторонницей большевиков? Но Спиридонова заявила, что большевики теперь враги крестьянства... Что ж я, как баран, должен мгновенно блеять за ней: ме-ме. Она меня не убедила! Не флюгерить же мне по дуновению руководителей! Да и руководители ли они, чорт их знает!»

Он не спускал с Марины глаз с того момента, как она вышла из боковой двери. Он знал отвагу Лерс, но все же не верил, что она одна вклинится в гущу его крикливой разношерстной фракции, и любовался ею. «Не оставлять же мне ее одну, и не пешка я какая-нибудь» — уже со злостью подумал он, подбадривая себя, и заговорил срывающимся от волнения голосом:

— Я всегда шел вместе с большевиками («Чорт с ним, чего мне бояться!»),

сам не понимаю, почему, как баран, вышел с вами...

«Ну и дисциплина у них» — подумала Лерс и улыбнулась.

Горлов принял ее улыбку за поощрение и продолжал:

— Никогда еще Ленин не говорил так прямо, так верно, как сейчас! (Казалось, Горлов рубит канаты, привязывавшие его к эсеровскому берегу, сплеча, со всего размаха). Вы хотите узнать о товарище Лерс? Так что же мне сказать о ней? Она... Она... — Горлов старался подобрать наиболее подходящее слово. — Она — лучшая женщина восстановления! — выпалил он сразу и, понимая, что этими словами он никого не убедил, быстро пояснил: — В последних днях беременности она одиннадцать дней несла трудную разведку, вооружила весь район винтовками и пулеметами, шла с нами в наступление на Китайгород и Кремль. Одним словом, делала все, что надлежит делать члену Военно-Революционного комитета... Не глядите, что она такая молодая, она к массе не поддельвается, ни наружностью, ни словом! Такая всегда!

Горлов с восхищением показывал Лерс своей партии. «Да, я люблю ее» — неожиданно для самого себя подумал он.

— Она настоящий боевик, — заявил Горлов. Он знал своих товарищей по партии, знал, что они ценят все героическое, необычайное, и именно такой ему представлялась Лерс.

Часовой выпрямился и попросил растерявшуюся Спиридонову освободить проходы. Толпа недоумевала. Настроение резко снизилось. Все жалось к двери, ведущей в зал.

Оттуда несся шум прибоа, то смолкая, то нарастая вновь.

— Не кончил ли говорить Ленин? — сказала своей свите Спиридонова, чтобы как-нибудь выйти из создавшейся неловкости, и направилась к двери.

Лерс продолжала еще несколько минут, а потом, оставив всю свою сдержанность, вприпрыжку через коридор, скамьи, лестницы пустилась к ложе, к своему месту, по дороге улыбнувшись Стрелкову, который все время

был неподалеку и все отлично слышал.

Нет, Ленин не кончил, он только начинал развивать свой изумительный доклад, похожий на первый весенний, майский грозовой дождь.

Марину охватило ощущение свежести, надежды, силы.

— Мы пришли в такую полосу, — продолжал Ленин, — которая является самым тяжелым периодом в нашу революцию. Перед нами стоит самый трудный период, и не было еще более трудного периода в рабоче-крестьянской России, именно период, который остался до урожая...

— Социализм, повторяю, перестал быть догмой, как он перестал, может быть, быть и программой, новой мы не написали, а старая никуда не годится. Раздобыть хлеб, — вот в чем основа социализма...

— И вот мы говорим себе, в тот момент, когда гора стала крутой и телегу приходится перетаскивать через самые большие крутизны, вопрос о капитализме перестал быть вопросом партийных разногласий, а стал вопросом: устоите ли вы в борьбе с кулаками в союзе с крестьянством, не спекулирующим хлебом, устоите вы теперь, когда надо бороться, когда предстоит тяжелая работа...

— Куда уж им устоять, ноги у них тонковаты!

Лерс оглянулась. Это говорил вернувшийся с караула Барков.

— Те социалисты, которые уходят в такую минуту (Спиридонова вновь помчалась к двери, но за ней ушло меньше, чем пришлось), когда десятки и тысячи гибнут от голода, в то время, как другие имеют такие большие излишки хлеба, что не продали их до августа прошлого года, когда установили твердые цены на хлеб, против чего вся демократия восставала, кто знает, что народ терпит неслыханные муки голода, потому что не хотят продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне, те — враги народа, губят революцию и поддерживают насилие, те — друзья капиталистов. Война им, и война беспощадная!

Небо метало молнии, дождь превратился в ливень.

— И тысячу раз будет не прав тот, тысячу раз оппортунист тот, кто позволит себе хоть на минуту увлечься чужими словами и сказать, что это борьба с крестьянством, как говорят это неосторожные и невдумчивые эсеры. Нет, это борьба за то, чтобы спасти социализм и разделить хлеб в России правильно... И если будет бой, то на этот бой мы пойдем смелыми декретами, ни капли не колеблясь, это будет настоящий бой за социализм, не за догму, не за программу, не за партию, не за фракцию, а за социализм живой...

Живой социализм! Внутри у Лерс все запылало. Живой социализм! Зацветут цветы, травы, деревья, дети, новая, непревзойденная жизнь!

— Перед нами до нового урожая, — продолжал между тем Ленин, — до подвоза этого урожая в голодные местности Петрограда и Москвы, перед нами стоит тяжелый период русской революции. Самый тесный союз городских рабочих с деревенской беднотой, с деревенской трудящейся массой, которая не спекулирует хлебом, — вот что спасет революцию. Съезд наш показывает, что этот союз, несмотря ни на что, крепнет, ширится и растет не только в России, но и во всем мире!

Раздались бурные аплодисменты. Съезд гремел, а с ним гремела и вся страна.

Владимир Ильич перечислил присланные телеграммы и сочувственные письма, свидетельствующие о том, что, несмотря на рогатки, сведения о революции проникают всюду, вызывая восторг пролетариев.

Закончил Ленин свою незабываемую речь на тягчайшем перевале революции так:

— Как ни труден и как ни тяжел период, который нам предстоит пережить, мы обязаны сказать всю правду и открыть глаза на это, ибо только народ своей инициативой и своей организацией выдвинет все новые и новые условия и, защищая социалистическую республику, поможет нам. И мы говорим: «Товарищи, нет ни тени сомнения, что если мы

пойдем по этому пути, который выбрали и который события подтвердили, если мы будем твердо и неуклонно идти по этому пути, если не дадим себя ни фразами, ни иллюзиями, ни обманом, ни страхом сбить с правильного пути, то мы имеем величайшие в мире шансы удержаться и помочь твердой победе социализма в России, а тем самым помочь победе всемирной социалистической революции.

Зал грохотал, вопил, пел, смеялся. Как просто стало в груди! Как омылась и зацвела природа!

2

Оголенный старый пенёк, в котором потоки ильичевых слов вымыли глубокое дупло так, что видна была зияющая дыра, оголенный старый пенёк вылез на сцену и, делая небрежное лицо, заговорил. К нему отнеслись снисходительно-иронически. «А может быть! Может быть! Ведь случается, что и старые пни, если в них хоть искорка жизни осталась, случается, что и старое дает побег», думала умиротворенная, как и многие другие, Лерс. Слушала кое-как. Из камковской речи записала: «Обычные наказания жучка на палочке и пугание им малолетних».

— У нас оказалась не советская власть, а лакеи германского империализма.

Дальше Камков развивал уже слышанную аргументацию о продовольственных отрядах, которые он, Камков, выкинет из деревни за шиворот.

— Наша партия не мало трудилась для Советской России, но, к сожалению, это теперь воплощается в диктатуру германского империализма, диктатуру Мирбаха.

Камков пугал еще чем-то, но его слушали мало, почти не хлопали и свои.

Затем пошли представители других партий, являвшие зрелище не менее убогое. Когда Светлов от фракции максималистов пожаловался, что ему крайне трудно говорить в такой приподнятой атмосфере, кто-то, вспоминая чеховскую героиню, крикнул: «Дайте ему ат-

мосферы!» Светлов обвинял Ильича в том, что ничего из его речи он, Светлов, не мог записать. («Не по плечу!» — громко сказал красноармеец из ложи.) Затем Светлов заявил, что вообще он ничего против советской власти не имеет, но что развиваться ей мешает Брестский мир, а потому-де Брестский договор необходимо разорвать во что бы то ни стало.

О Красной армии съезд услышал от Черепанова такое:

— Нам говорят, что все, что мы должны делать, это создать армию по последнему слову техники. А вы знаете, что армию создают десятки лет, сотни научных специалистов готовят эту армию... Это ясно каждому младенцу, и все ваши громкие слова о создании регулярной армии — это просто самые фанфаронские слова...

— Почему он называет товарища Ленина знатоком с Женевского озера? — спросил у Лерс красноармеец после слов Карелина, который тоже оказался смущенным «острой политической борьбой».

— Ленин долго жил в эмиграции, долго жил в Женеве, и фраза эта — из старых дореволюционных споров, — ответила Марина.

— Керенский нас не скомпрометировал, потому что, вы знаете, связь наша была временная, она была неестественной связью и незаконным сожительством...

— Послушайте, до чего они договорились, — смеясь, заметил Стрелков, — до признания своего незаконного сожительства... Выйдем лучше, больше слушать невозможно.

И Стрелков вышел покурить, прихватив с собою Марину. В коридоре они увидели Горлова; он вышел вновь со всей своей фракцией, когда принималась резолюция, предложенная фракцией большевиков. Эсеры внесли резолюцию недоверия деятельности Совета народных комиссаров, которая была со смехом отвергнута. Марина ждала, как поведет себя Горлов. Сосед по Пустой вновь качнулся вправо.

— Вы нас провокаторами, предателями обозвали, войну нам беспощадную

объявили. Что ж, мы ее принимаем! Властители, правящая партия!

Ему хотелось, чтобы Лерс ответила какой-либо бранью, а она глядела ласково и только улыбалась.

— Домой вместе пойдем, или, может быть, с предателями боитесь, елки зеленые! — прохрипел он, сам не веря тому, что говорит.

На душе у Горлова было очень скверно; все казалось ему кошмарным, гнетущим сном. И никто не помогает разобраться! «Ну, как же она могла бы помочь, когда я ее так разбил» — подумал он, поглядев вслед Марине, которая пошла кому-то навстречу.

Лерс окликнул крестьянин из Ельца. Он был весел и бодр: ленинский проливной дождь и его отлично освежил.

— Спасибо, товарищ барышня, что вы нам до заседания помогли! — сказал он Марине. — Переходить было легче, приняли, как равного, никто не уговаривал. Это хорошо! Надоели уговоры. Сами, небось, все видим!

Лерс крепко пожала ему руку, и от этого разговора у нее прошли и муть, и жалость к Горлову. «Сергей, как в воду, канул. На съезд не ходит, что ли?» Не успела она подумать это, как увидела выходящих из противоположных дверей Кудрявцева и Стрелкова.

Сергей видел, что Марина говорит с каким-то крестьянином и прощается с ним за руку.

— Гляди, товарищ Стрелков, сколько знакомых у нашей Лерс!

— Этого делегата и я знаю, вчера у входа познакомился.

— Агитировали? — насмешливо-любовно спросил Сергей.

— Нет, она ходила, разглядывала, я на нее натолкнулся...

— На Лерс похоже. Решит, что как лучше, — и достаточно. Много еще в ней индивидуалистического, своевольного!

— Как и в каждом из нас, — заметил Стрелков.

— В тебе меньше, в ней больше.

— А ты хотел бы всех под одну гребенку, по одной линейке?

— На войне, как на войне! Импрови-

зировать надо поменьше! Это ведь нас и отличает от эсеров, которые за партизанские отряды. Мы — за регулярную Красную армию...

— Не только это, а еще многое другое... Да ты бы ей сам все это устно изложил!

Сергей ухмыльнулся в бородку. У него заискрились глаза, вокруг глаз собрались морщинки.

Сергей всегда казался Марине безбрежным пшеничным полем. Золотое поле, которым она никогда не владела и не будет владеть! Для себя от Сергея она ничего не хотела! Но она всегда чувствовала этот дорогой, любимый запах, запах чужих полей. Она думала о том, что Сергей ее не любит, а если и любит, то не так, как должен любить ее единственный, настоящий, который не может жить без нее. И все же это чувство наполняло ее всю. Если бы, просыпаясь, она не могла глядеть в даль начинающегося дня с сознанием, что может встретить Сергея, день показался бы ей грустнее. Она жила с сознанием, что всегда может пойти к Сергею и сказать ему нежные, только ей одной известные слова, но не шла и ничего не говорила.

— Что случилось на Прессовом? — холодно спросил Сергей, когда Лерс подошла уже совсем близко.

— Мы провели свою резолюцию в этом эсеровском гнезде, — в тон ему ответила Марина, стараясь догадаться, что ему уже известно. «Нет, о Мухине ничего не знает, иначе говорил бы спокойнее и ласковее», — подумала она. — Были только свои, приезжих не было.

— И Горлова тоже?

Она удивилась, заслышав в вопросе нотки настороженности. «Что за дьявольщина, почему он так Горловым интересуется?» — и не поверила своей догадке.

— Значит, Горлова не было, когда было произведено покушение! Или сознательно не пришел, или уклонился, не мог поручиться за себя!

Лерс покраснела:

— Какое покушение? Просто, сорвалась болванка...

— Покушение, по-вашему, бывает

только с револьвером или с бомбой? — Он укоризненно покачал головой. — И вы это трогательно решили, что покушались на Марину Лерс, а не на члена партии. Ну, когда вы все-таки научитесь во всем видеть только партийное, а не ваше, личное?

У Лерс запершило в горле. Она глядела на Сергея, стараясь собраться с мыслями. А собравшись, почувствовала тупую, как от удара в грудь, боль. Перевела дух. Так... Все прошло. Медленной обычной, подбирая слова, ответила:

— Вы полагаете, по этому поводу следует сделать запрос на с'езде и дать сигнал глушить наших по всем углам? Разве вы не видите, как Ильич с ними разговаривает? Ведь не для эсеров эта речь, а для тех ослепленных тупой злобой людей, которых они обманывают! Историю с болванкой раздувать нельзя. Это значило бы верить в их силу, в их активность, в их боеготовность! Я не отрицаю своей партийной молодости, но в этом виновата и моя общая незрелость... Товарищ Кудрявцев, вы не правы! Нет, не правы! Да вряд ли вы так и думаете, — несмело добавила она.

Она только сейчас поняла, что это все — от его глубокой жалости, любви и нежности. Он хотел, чтобы о попытке ее убить знали все, он так гордился ею. А получилась нотация, бабьи попреки.

«И так всегда» — с огорчением и злостью подумал Сергей.

Лерс шла и спрашивала себя: ставила ли она когда-нибудь личное выше партийного? Ведь ее работа, ее жизнь, вся она — частица общественного, в котором слито все личное, а личное для каждого из них так глубоко общественно. Неужто он не понимает? Не может быть! Просто, сознательно сам себя обманывает. Видно, так ему легче и проще...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Совет рабочих депутатов, объединенный (весной Симоновский и Рогожский районы слились), работал в бывшем здании Ремесленного училища. Белый дом

в два этажа стоял во дворе. Теперь дворик кажется крошечным, а тогда он представлялся большим, почти необъятным. На пространстве от ворот, железных, сделанных на совесть, круглые сутки открытых, до крыльца вмещались тысячи.

Почему же сейчас дворик Совета выглядит обычным двором провинциального училища, замкнутым и тесным? Почему сейчас не волнуешься, переходя через него в тишине, почему идешь совсем по-иному, чем в те дни, когда звал других и сам уходил отсюда на северные рубежи Советской республики?

Потому, что движение разлилось, расширилось; потому, что раздвинулись границы; потому, что воля, горение, усилия сотен стали предметом жизни и борьбы сотен тысяч, миллионов, десятков миллионов людей советской земли. Потому, что мир раздвинулся, да так ли еще раздвинется, охватив все человечество!

А «вчера», в июле 18-го года, борьбой за будущее рабочих Рогожско-Симоновского района руководили из этого белого двухэтажного дома с двориком на переднем плане историческим плацдармом. Из окон видно было, кто приходил. И по тому, как товарищи шли через дворик, можно было определить настроение на «АМО», на «Бари», Трубопрокатном, «Гужоне», «Рале», в пошивочных...

В то утро во дворе было большое оживление. Сидели на крылечке, стояли у ворот. Вид групп был явно праздничный. Ждали сообщений о с'езде.

2

Уже выходя из дома, Лерс знала, что сегодня иванов день. Шляпниковы спозаранку ушли к заутрене. Одевались долго и тщательно. Прислуга металась по этажам; хлопали дверями, как показалось Марине, более непринужденно, чем обычно.

Сама она всю ночь не спала. Собирая Марину, Аннушка поведала шопотком:

— Борис домой ночевать не пришел.

Думали, у Зиминьих, Груша на рассвете бегала, а Зимина второй день дома нет. Как узнала «сама», что и Зимин не ночевал, перекрестилась, спозаранку барышень подняла, всем домом в церковь ушли, один только Коля остался.

— Спит? — машинально, думая совсем о другом, спросила Марина.

— Нет, ковыляет подле нашей двери! Так думаю, что тебя дожидается.

На лестнице стоял сумрак. Комнаты пулеметчиков и Горлова были плотно закрыты и молчаливы.

«Горлов после вчерашней бани вряд ночевал на Пустой, видимо, в комиссариате остался...» — Только успела Лерс это подумать, спускаясь с лестницы, как услышала позади себя шум открываемой двери и тотчас же оглянулась. Первым, кого она увидела, был Коля, совершенно одетый, тщательно причесанный, бледный, тихий и торжественный.

Он уже давно стоял у двери, ожидая Лерс. Зачем? Мальчик сам не знал. Ему было тягостно и скучно. Он лежал всю ночь в постели с открытыми глазами, прислушиваясь к ночным шорохам. Постель Бориса стояла белая и угрюмая. Обычно, когда Коля спал один, с ним на полу клали няньку. Сегодня всю ночь ждали старшего, и мальчика оставили одного; даже мать ни разу не зашла к нему, а он слышал, как она ходила наверху, в каморку к старой няне.

Ребенок силился понять, что делается. Почему вчера мать так злобно посмотрела вслед поздно вернувшейся Лерс и прошипела: «Да, да», — Коля несколько раз повторил это слово; нехорошо так о матери говорить, но ведь никто не узнает, — и прошипела: «Властители»? Почему Горлов пришел один, заперся и на стук начальника пулеметной команды не отозвался? Коля видел, как тот удивленно пожал плечами и подошел к двери Марины, послушал. Почему он прямо не вошел, они же все свои? Сокол тоже большевик, с наганом ходит, раз даже с бомбой пришел! Почему она никогда оружия не носит? Может, как женщине, ей не полагается? Нет, она — главный комиссар, а оружия поверху не носит, потому что добрая,

чего людей зря пугать! Горлов и Сокол, те — другие, ходят по дому, как по пустыне... Сегодня все какие-то странные! Может быть, что-нибудь замышляют! Против кого? Этого он не мог понять. Мамаша в церковь пошла на радостях, что Зимин Борис дома не ночевал? Почему прислушивался пулеметчик? Почему не отвечал Горлов? Почему папаша новый фрак надел? А вдруг они что-нибудь против Лерс?

Мальчик тревожно ворочался всю ночь и решил обязательно увидеть Марину, когда та будет уходить из дому.

Его первого и увидела Марина и только потом заметила Горлова, стоявшего наискосок у своей двери.

Вз'ерошенный, с мутными, почти невидящими глазами, Горлов тоже не спал ночь. Слышал, как подходил к двери Сокол, как вернулась Марина, как хорошо она играла с проснувшимся сыном, как шмыгали на рассвете хозяева. Горлов не знал ни Бориса, ни Коли, ни Шляпниковых, он не бывал на Пустой неделями; но сейчас, в дни с'езда, инстинктивно приходил ночевать в особняк. Почему? Подобно Коле, он не смог бы объяснить свою тревогу, напряженность и беспокойство.

Горлов многого не понимал, но в одном был уверен: с большевиками враждовать нельзя. Правда, у эсеров с большевиками всегда были споры, с того времени, как он помнит себя в партии. Но какие? Это были споры друзей. «Порознь итти, вместе бить! И били неплохо, — подумал он с улыбкою, вспоминая совместные выступления. — Что же это вчера вышло? Ленин сказал, что мы выполняем чужую работу, работу провокаторов». Горлов метался по комнате. Он, Горлов, — работу провокаторов? Он — провокатор? Кто Мирбах в Москву впустил? Большевики. Кто немцам Украину отдал? Большевики. Немцы товарищей живых в землю зарывают, рассказывал вчера Александров, а они, боевики, терпят, молчат. «Нет, не мы провокаторы. Кто же? Большевики? Нет, и они не провокаторы. Они просто ошиблись. Их надо поправить. Кто поправит? Наши интеллигенты. С кем?»

Кто идет за нами? Кулачье, кожуховские огородники, барийские глухари. Передовые, сознательные рабочие идут за большевиками! А я в обозе остался!» Он запустил в волосы пятерню, растрепывая и без того взлохмаченную голову. «Как она вчера перед Спиридоновой стояла, — с нежностью говорил себе Горлов. — Сначала чуть побледнела, потом покраснелась и в такт своим словам рукой, спокойно, как острием сабли, рубила: раз — два, раз — два!» Он повторил ее движение. «И Лерс тоже ошибается? Нет, не ошибается. Ошибку их поняли бы массы! За ними все, кто работает, оттого они так и говорят, так и действуют. Воевать? Против вильгельмовской брони? Кем, какими силами? Еще рано, надо подождать, — это они правильно говорят». По должности комиссара города он об'езжает почти через день все казармы, знает, кто стоит в Покровских казармах, какие части на Ходынке, из кого состоят пулеметные команды. Нет, для войны с немцами еще не готовы. Прав был Данишевский: бросить их в бой преждевременно и преступно. Мобилизованные бывшие унтер-офицеры — это совсем разложившийся сброд. Они собраны в Покровских казармах, какое-то оголтелое кулачье, и настроений своих не скрывают. Над ними надо еще работать и работать. Вот в Хамовниках другое дело. Латыши, как дубки в только-что начинающей зелеть поросли, стройные, рослые, дисциплинированные ребята. Только замкнутые и угрюмые...

При каком-то вдруг вспыхнувшем образе Горлов неожиданно выругался. Несколько дней назад он принимал латышский батальон, вернувшийся из Саратова. Батальонный командир на вокзале обозвал его шляпой, его, комиссара города Москвы. Батальонный командир был прав: Горлов сам пружил часть по распоряжению Александровича, но, когда батальон приехал в Саратов, там сказали, что батальона не вызывали и в нем не нуждаются. Какая-то неразбериха. Александрович на него раскричался, что это, мол, он, Горлов, перепутал. Наряд был на Самару. Горлов прове-

рил по предписанию; в предписании точно был обозначен Саратов. Ну, а с Нижним-Новгородом? Третьего дня высылал туда гужевой транспорт для перевозки имущества. Весь полк вернули! Чехарда! Зачем верные, надежные, проверенные, советские части из Москвы в такое тревожное время высылать? Взволнованный Горлов все это Александровичу и выпалил. Тот посмотрел на него пристально и, как Горлову показалось, враждебно. Неловко, что напутал, поди. «Я вам не подчинен, у меня свое начальство». Александрович как вскочит: «У тебя одно начальство — партия!» Горлов заорал: «Так пусть партия мне прямо и скажет — транспорт зря загружай, воинским частям наряды путай, в лодыри и лежебоки записывайся! Вы на меня, товарищ Александрович, не кричите! Я вам не жена и к вам в холуй не нанимался! Советская власть мне не менее дорога, чем вам. Я за нее не один год кандалы носил. А если вас как человека образованного на этот пост посадили, то меня на пост комиссара рабочие Москвы выбрали!» — «Партия тебе этот пост вручила, она и снять может». — «Какая партия, не ваши ли? Да вас и близко тут не было, как меня большевики послали на эту работу!»

«Да, большевики, — бормотал Горлов, мечась по комнате. — Сейчас большевики мне не верят, вчера даже Лерс отвернулась. Правда, я на нее накричал, зафыркал. А наши? На закрытое заседание ЦК не позвали, я видел, как Прошьян Камкову на меня показал, а тот головой покачал. Болтуны! И без них обойдусь. К станку пойду. Товарищи на завод всегда возьмут, с рабочими мне как-то легче и проще...»

Горлов ходил по комнате большими шагами, изредка останавливаясь и прислушиваясь к тишине за стеной. На рас свете раздалась чьи-то шаги в коридоре. Он выглянул. Аннушка в полушалке, завязанном сзади накрест, осторожно ступая, шла к лестнице.

— Неужели, Аннушка, спозаранку в церковь?

— Моя церковь со мной. Молиться

можно, где хочешь! Буржуи туда ходят, значит, мне у полов не место.

— Куда же ты в такую рань?

— На поселок, за молоком маленькому.

— А что, ближе коровы не нашли?

— Тебя слушать! Ведь мы его выпиваем все от одной коровы, с самого рождения.

— Ты, нянечка, прямо молодец! Марине Михайловне с тобой, как за каменной стеной...

— Ну, ты меня не держи, мне еще в бараки нужно. Наша Козловского и Грицевича к себе зовет, ячейку собирать велела, — отвечала наставительно Аннушка.

— На поселок поедет?

— Нет, в Совет все явятся.

— Районом управляет, а за поселок держится, — сказал вслед заспешившей Аннушке Горлов.

Он вернулся к себе и опять продолжал ходить. Подошел к столу, вынул из бокового кармана материалы, которые раздавали на фракции. Среди них оказались тезисы доклада Спиридоновой. Это было совсем другое, не то, что она истерически там выкрикивала... Попробовал восстановить в памяти ее речь, но карандаш выпал из рук, и он заснул. Проснулся, когда Лерс спускалась по лестнице, и стремительно вскочил.

— Товарищ Лерс! — окликнул он ее.

— Марина Михайловна, — подтянул ему тоненьким голоском Коля.

Марина несколько мгновений постояла на лестнице. Она не любила возвращаться. Отлично понимала, что это предрассудок, бабья примета, но не любила.

— Что тебе, Коля? — ласково спросила она мальчика.

Тот пугливо поглядел вокруг. Ему хотелось, чтобы она поднялась, погладила его по голове, рассеяла ночные страхи, улыбнулась, а она стояла середине лестницы и не возвращалась.

— Я так, ничего, хотел поздороваться, — забормотал он невнятно.

«Неужели и ко мне не вернется? — с замиранием сердца подумал Горлов. — Что ж, я им кланяться не буду! Правящая партия!» — со злобой рванулось в нем.

Лерс постояла еще немного.

— Подойдите ко мне, — сказала она сразу обоим.

— Вам что же, подняться унизительно? Или, может быть, боитесь? — Горлов весь вспыхнул от стыда: — «Что я говорю?» — только успел подумать он, а сам стремительно продолжал: — Боитесь себя замарать дружбой с провокатором!..

Марина не ответила, приветливо помахала Коле рукой и быстро сбежала вниз.

Горлов стоял приниженный. В эту секунду он ненавидел Лерс, проклинал свою партию, злился на себя и чувствовал себя глубоко одиноким.

Ему захотелось с кем-нибудь отвести душу; он подошел к Коле.

— Не стала с нами разговаривать, товарищ, — сказал он мальчику.

Коля покосился на ворот его расстегнутой блузы, на взлохмаченные волосы, на влажные глаза и заметил сурово:

— Зачем вы так на нее кричали!

— Я... я не кричал.

— А что же, честь отдавали? Я все слышал! Упрекали, грозились... — И он стал очень похоже передразнивать. — Мамаша тоже Марину Михайловну исподтишка ругает: «Правители, говорит, захватчики»...

— Правителями ругает? Ловко! Знатно! Выходит, малец, что я похож на твою мамашу? — И, помолчав, он откровенно добавил: — Так, пожалуй, и выходит... Нет, это только внешнее сходство! За товарища Лерс я жизнь отдать готов! — выпалил вдруг комиссар города Москвы.

Коля ревниво поглядел на Горлова, хотел сказать, что в жизни его она не нуждается, но постеснялся и промолчал.

— Да, Коля, пожалуй, я такой же большой несмышленыш, как и ты. нас поравняли. И с тобой, и со мной разговаривать не стали. Ей некогда! У нее ячейка, райком, Совет, с'езд! Спешит...

— А вы? Мамаша говорит, что и вы из правителей..

Горлов не ответил и, удрученный, пошел к себе.

Мальчик снисходительно посмотрел ему вслед и бросился к окну, что выхо-

дило во двор, но успел только увидеть мелькнувшее за углом платье.

— Ячейка, райком, Совет, с'езд! — горделиво повторил он.

3

Лерс шла проходными воротами, через Товарищеский переулок, ближайшей дорогой в Совет. Сквозь ограду двора уже издали она увидела множество людей, вынула свои записи, но, безнадежно показав головой при виде отдельных знаков, решила сообщение сделать по памяти.

По-товарищески беседуя, она говорила о вывихах в мозгах левых эсеров, которые партия большевиков старается искусно и осторожно вправить. О выступлении Спиридоновой она упомянула вскользь, но зато подробно рассказывала товарищам о настроении делегатов-крестьян, о крепкой позиции латышских коммунистов, которых никакими провокациями на преждевременное выступление не вызовешь, о братском приветствии английских рабочих, о твердой решимости украинских пролетариев, стиснув зубы, ждать и готовиться.

Об Украине она говорила долго, любовно и подробно.

Марина недавно видела Судика и Сурика, руководителей подпольной организации в Харькове, и не узнала друзей. Всегда веселый, добродушный Судик был сосредоточен и замкнут. Нет, он уже не глотал слова, а выговаривая каждый слог, испытующе глядел в лицо собеседнику, как бы прощупывая его.

Сурик тоже изменился. Это уже не был прежний угрюмый, маскирующий юношеское стеснение председатель организации, он стал проще и вольнее; откровенно признался Марине, что в подполье куда проще и легче, людей меньше, и все они видны наперечет. Лерс, члену бюро первого харьковского легального партийного комитета, он рассказал о провале хозяев молочной лавки, Баси и Хайма. Как чудесно держалась техничка Бася, успевшая во время ареста закончить печатание прокламаций и вывезти их под видом преждевременных родов в больницу, откуда

шла передача!.. Ни ВЭК, ни паровозный, ни «Гельферих-Заде» преждевременно не выступают; они оставались и остаются верными своей партии, которая всегда учила рабочие массы воздерживаться от вспышкопускательства. Истерикой рабочих не проймешь; за эсерами идут националисты и интеллигенция всех рангов и оттенков, в особенности после того, как помещики и фабриканты, под прикрытием немцев, расстреляли даже призыв буржуазных прав, данных Февральской революцией.

— А наши! Помнишь Телева, от портных, с бородкой такой? — продолжал рассказывать Сурик. — Мы его равнином сейчас зовем. В подполье оказался незаменимым. Вообще, перестановка сил произошла полная. Различие между легальной и конспиративной работой очень резко сказалось, качество людей, их особенности сейчас особенно заметны...

О Донбассе Лерс рассказывала сдержанно, как говорят об интимном, родном. Оттуда вести шли случайные, отрывочные. Лучшие пролетарии, отступив на юг, через донские степи, объединились с отрядами Украины. Ими руководит луганский слесарь — Клим Ворошилов.

— Как мы шли, как дрались, — этого так, сразу, не расскажешь! Наши девушки-пулеметчицы часто вспоминают тебя. Расспросишь потом сама о бое под Эмевым, о земляном мосте через Дон, — говорил Марине привезенный из-под Царицына, где сейчас собрались все силы, раненый в ногу Николай Данилевский.

Николай лежал в лубке; нога у него заживала плохо, потому что он поминутно пробовал ее движение: его ждал первый кавалерийский полк, комиссаром которого он был... Уже обстрелянный в регулярных боях, Данилевский гордился, что лично знает замечательных людей.

— Помнишь, я завидовал тебе, когда приехал на похороны октябрьских героев, завидовал пролетариям Москвы и Питера, завидовал вашему боевому крещению. Разве мог я знать, что мне выпадет счастье драться под командой Сталина и Ворошилова?! Какие они разные и все же бесконечно дорогие.

Сталин внешне спокоен, молчалив, только глаза да складка у губ отражают бурное внутреннее горение. Ни одного лишнего слова, и каждое—как спелый колос, полновесное, отточенное, отлитое; ни одного резкого движения, и каждое из них—собранное действие!.. А Клим! Неужели ты не знаешь Климата?—сосрадательно погладил он руку Марины.—Клим—это молодой гений, будущее всех пролетарских армий! Подожди, — Николай даже приподнялся и, не докончив фразы, заявил: — Нет, Марина, ты должна туда ехать, и ехать немедленно!

О встречах с живыми людьми, обо всем, что знала Марина, она и рассказывала на летучих митингах, что шли целое утро во дворе Совета.

Так пролетела первая часть дня. Часам к трем Марине нестерпимо захотелось есть. Сегодня нянька не дала ей обычной корочки, и Лерс вспомнила, что ей не с чем есть полагающийся обеденный суп. «Ничего не поделаешь, как-нибудь переберемся до нового урожая» — подумала она, улыбаясь.

В подвальном этаже Совета помещалась столовая. Заведующий хозяйством Меликов разнообразил на всякий манер обеды из мерзлой картошки и кислой капусты. Изредка, когда перепадало немного отрубей, он, прибавляя их к картофельной шелухе и тщательно размолов, получал даже продолговатые лепешки, смахивающие на булочки.

Такую булочку, чуть побольше средней картофелины, и увидела Лерс, когда подошла к Меликову за супом. Меликов долго выживал для нее суп погуще. Наполнив тарелку до краев, так что капуста заняла всю поверхность, он наклонился под стойку и бережно протянул Лерс ломтик булки толщиной в палец. Марина смутилась, но все же взяла ломтик. Стоящие сзади сделали вид, что ничего не заметили, и дружелюбно глядели на Лерс.

Она понесла тарелку к ближайшему столу, и несколько сотрудников поспешили освободить для нее место. Ломтик цвета земли, носящий громкое название хлеба, Марина положила рядом.

— Меликов меня балует,—виновато сказала она соседке.

— Кого ж и баловать, если не вас... И то сказать, баловство!—отвечала сидевшая рядом делопроизводительница здравотдела. Сначала обиняками, а потом все подробней, она рассказала, что ее брат выменял у кожуховцев пуд хлеба за шкаф, и они теперь едят этот хлеб. Осмелев, она пошарила в кармане, вынула завернутый в бумагу ароматный пшеничный кусок и положила его подле Марины.

— Нет, спасибо, с меня довольно. Вы спрячьте это для своих ребят.

— У меня двое,—сказала делопроизводительница,—но за ними присмотр: свекровь, муж. А за вами и сыном некому присмотреть!

— Аннушка у меня — отличная хозяйка, а сын так, знаете, даже в весе прибавляется...

Поев капусты с отрубями и не дождавшись Грицевича и Козловского, для которых имела гостевые билеты на съезд, Лерс уехала одна.

4

Утреннего заседания не было; на вечернее собирались вяло. Марина прошла пустые коридоры, поднялась наверх и оттуда оглядела театр. Правый сектор был весь обнажен; угрюмо чернели незанятые стулья. Места большевиков были заняты наполовину. Зал был слабо освещен; сцена совсем пуста.

«Почему так долго никого нет? Свердлов всегда так исправен,—с беспокойством подумала она.—И своих никого нет, как будто происходит мало интересная репетиция».

Марина сидела довольно долго одна в боковой ложе. Потом она увидела, что через сцену, в ложу направо, неспеша идет Теодорович, член президиума съезда. Отозвав всех, кто был в ложе, в глубину ее, Теодорович стала что-то быстро рассказывать, скоро в ложу вошел Кудряцев, и все мигом обернулись к нему. Теодорович, не здороваясь, отвела его в сторону и стала что-то ему говорить. Сергей удивленно приподнял брови; маленькая борода его вздерну-

лась вверх. Вдруг он сделался сосредоточен и озабоченно стал оглядывать зал.

«Что-то случилось!» — легким холодком отдалось в сердце Марины. Таким сосредоточенным спокойствием Сергей ответил на первую пулеметную очередь в Октябре, когда они стояли рядом у темных окон генерал-губернаторского дома.

Сергей нашел Марину и тотчас же позвал ее. Она отозвалась не сразу. Зачем ей бежать по первому кивку; если нужно, сам сюда придет!

Сергей посмотрел на нее пристально и теперь уже настойчиво помахал рукой.

Пришлось идти. Марина прошла все левое крыло, спустилась вниз, вновь поднялась наверх, удивляясь почти полному отсутствию патрулей.

В небольшой комнате возле ложи оживленно разговаривали; при появлении нового человека все замолчали, но Марина, занятая предстоящей встречей с Сергеем, ничего не заметила.

— Как долго вы шли! — Сергей дружески взял Марину за руку и подвел к Теодорович. — Это руководящий товарищ из рабочего района; ей можно говорить все, она у нас молодец.

— Я знаю ее по фракциям и активу. — И, как бы желая проверить крепость нервов молодого товарища, Теодорович сказала прямо, без всякой подготовки: — Эсеры убили Мирбаха.

В голове у Марины пронеслись сотни вопросов, но она напряженно ждала дальнейших сообщений.

— Эсеры опираются на отряд Попова, в Трехсвятительском переулке. К ним поехал Дзержинский.

— Дзержинский? — переспросила Лерс. — Они его уже второй день разыскивают. — И Марина рассказала о беседе со Стрелковым, другом Трепалова, и Роттенбергом.

— Трепалов — неизменный спутник Феликса Эдмундовича, — с уважением произнес имя Дзержинского Сергей.

— Они, кажется, вдвоем и отправились к Попову с Денежного переулка, где помещается германское посольство. Там сейчас Свердлов, Бонч-Бруевич, Карахан. Товарищ Ленин сам ведет все

следствие и собирает боевые силы, — сказала Теодорович.

«Нам лучше отправиться по районам. Это, видно, только сигнал. Надо быть дома и подготовиться, — сразу вспомнила о районе Марина. — С'езд нельзя оставлять, много колеблющихся. Свои должны быть хорошо подготовлены. Надо подождать, как решит ЦК...»

Минуты тянулись медленно. Все ждали молча, не проявляя никакого нетерпения.

— Пойду выясню, как и что, а вы занимайте места и поодиночке оповещайте товарищей, — наказала, уходя, Теодорович.

Когда Марина с Сергеем стали спускаться вниз, то увидели, что караулы стояли уже всюду двойными рядами. Гости вливались оживленным потоком. Марина поискала среди них Козловского и Грицевича, радуясь, что пригласила их именно сегодня.

— Вот и военный хозяин, — обрадовалась она Стрелкову, который стремительно через толпу несся к ним.

— Знаете? — в упор спросил он.

— Подробности! — ответили симоновские друзья.

— Я прямо из Денежного. Первым встретил Трепалова и Роттенберга. Они сразу же туда приехали... Нашли портфель Блюмкина, мандат на прием за подписью Александровича... Предлог для аудиенции у Мирбаха — арест его брата, якобы замеченного в шпионаже... Стрелял Блюмкин, но не попал. Сотрудники отстреливались, тогда Блюмкин бросил бомбу. Мирбах убит сразу, а Блюмкин ранен в ногу. Эсеров было трое, они его успели увести... Трепалов и Роттенберг немедленно отправились в отряд Попова, они знали, что больше Блюмкину скрыться негде... Приехали. Навстречу им Попов. «Где Блюмкин?» — спрашивают. «Не знаю». — «Он был здесь!» — «Был». — «Ранен в ногу». — «Да, ранен». — «Где он?» — «Ему сделали перевязку и отправили на извозчике». — «Куда?» — «Не знаю». — «Номер извозчика!» — «Не знаю». Видя, что связь Попова с Блюмкиным установлена, что здесь он ничего не добьется, Трепа-

лов поехал обратно. Трепалова спрашивал Владимир Ильич: «А что вы предприняли?» — «Приказал взять на учет все лечебницы, лазареты, больницы, в особенности частные, и для этого отрядил товарища Ротгенберга». — «Надо немедленно найти Блюмкина и доставить сюда! Немедленно! Живого или мертвого! От этого зависит многое» — сказал Ленин. Товарищ Дзержинский поднялся и направился к двери. За ним пошел Трепалов. Когда он выходил, Владимир Ильич еще раз его окликнул: «Слышите, Блюмкина надо доставить сюда живого или мертвого! Это решает все...»

— Я, — продолжал Стрелков, — поехал с ними. По дороге у почтамта нам попались черноморские матросы. Они сгрудились у автомобиля, стали размахивать бомбами и кричали прямо в лицо товарищу Дзержинскому: «Предатели русской революции! Немецкие шпионы!»

— И вы молчали?! — вырвалось у Лерс.

— Правильно делал, что молчал. Теперь не время свои чувства изливать, — строго сказал ей Кудрявцев.

— А как же ты здесь очутился? — не унималась Лерс.

— Дзержинский приказал вернуться: «Комендант с'езда должен быть на месте». Пришлось подчиниться...

В это время Марина увидела входящих Грицевича и Козловского и пошла им навстречу. Коротко известив о событиях, она тут же распорядилась:

— Грицевич, артиллерист, пойдет на Ходынку, Козловский — к Покровским казармам. Обоим держать связь с районом, подобрав верных людей! Не медля ни минуты, не обмолвясь ни одним словом, притти и стать, как часовые, как глаза партии!

Поселковые друзья хорошо ответили: «Есть, есть!» и, не прощаясь, повернули обратно.

Марина вернулась к оставленным товарищам. Полный впечатлений, Стрелков продолжал рассказывать:

— Вчера меня с Трепаловым поймали Попов и Александрович. «Где Дзержинский? — спрашивают. — Мы его всюду ищем. Были на с'езде, звони-

ли домой, были в Кремле, в комиссии, — как в воду канул». «А в чем дело?» — спросил их Трепалов. «У Мирбаха обнаружено радио, по которому он секретно переговаривается с Берлином. Надо произвести обыск, радио снять, кого следует, арестовать». — «Без данных это делать нельзя, я категорически возражаю». — «Ты возражаешь, а вот Дзержинский обязательно разрешит...»

— Зачем это они так Дзержинского добивались? Значит, все было подготовлено и заранее решено!

— Это бесспорно решение их ЦК. Авантюристы идут на срыв мира и хотят захватить власть, — сказал Кудрявцев.

— С кем это им власть захватывать? — звонко спросила Лерс. И ее подетски непроизвольный вопрос сразу лишил трагизма все происходящее.

Козловский и Грицевич скоро вернулись и заявили, что выходы заняты, из здания никого не пускают.

— С нами комендант, сейчас все устроим, — успокоила их Марина.

— Надежные люди? — тихо спросил Стрелков.

— Как мы с вами, — ответила Марина и рассказала, куда их направляет.

Сергей был восхищен ясностью мысли Марины. Ему даже в голову не пришло сразу организовать связь с казармами и воинскими частями.

5

Без перерыва, тягуче, дребезжал звонок. Так звонили на «Борисе Годунове», когда запоздавший Шаляпин требовал немедленно зал.

На сцене за столом уже находился весь состав большевистской фракции. С правой стороны сидела только одна Спиридонова, как жертва, как икона. Видимо, большинство эсеровской фракции ничего не знало. Левая часть партера была сосредоточенно спокойна.

Свердлов продолжал звонить. Шум затих, наступило тягостное молчание. Яков Михайлович обвел глазами зал сверху донизу, задержался по эта-

жам, изучая людей, и раздельно про-
изнес:

— Пленарное заседание с'езда откла-
дывается. Назначается работа фракций.
Фракция левых эсеров и других партий
заседает в этом зале, фракция больше-
виков с участием присутствующих чле-
нов московской организации заседает
в боковых залах.

Спиридонова продолжала сидеть, сло-
жив божественно руки.

— Нас задерживают! Это арест! До-
лой насиле!—раздался визгливый крик
справа.

— Угодно вышеуказанным товари-
щам направиться к выходу,—учтиво до-
бавил Свердлов, не отвечая на истери-
ческий выкрик.—Объявляю заседание
с'езда закрытым.

Марина пошла к левому выходу. По-
ток людей отгеснил от нее Кудрявцева.
У первой двери, рядом с караулом, сто-
ял член московского комитета Илья
Цивцивадзе. Он только улыбнулся Ма-
рине, так как повторял одну фразу:
«Приготовьте партийные билеты». По
пути были расставлены всем известные
товарищи; они и направляли движение,
проверяя каждого в лицо. Сначала всех
спустили в подвальный этаж, потом по-
вели какими-то темными проходами.
«Поди, знай, что в Большом театре та-
кие катакомбы»—весело пересмеивались
идушие. Наконец по ступенькам поток
людей стал подниматься вверх. Где-то
забрел дневной свет. Вошли в не-
большую комнату. Последняя проверка.
Здесь собралось почти все московское
руководство. Спрашивали не только
партийные билеты, — представители

районоз должны были опознать всех
в лицо.

Марину ждали Лидак, Вимба, Куд-
рявцев. Они вышли на Петровку, иско-
лесив все ходы Большого театра, отсеи-
вая сомнительных почти на каждом пе-
реходе. После темноты подвалов и теат-
ра улица, несмотря на 8 часов вечера,
казалась ослепительной. Недавно про-
шел дождик, пахло травой, горячим ды-
ханием земли. Колоннада Большого
театра с несущимися вперед бронзовыми
коньями наверху была военизирована.
С боков в центре фасада стояли броневе-
ки. цвета зеленевших деревьев, протяги-
вая хоботки пулеметов и горных орудий.
Марина помахала рукой выглядывавшим
из-под прикрытий артиллеристам.

Все радовались: и когда это только
успели!

— Теперь мы вооружены не так, как
в Октябре,—сказал Лидак.—Меня на-
правляют в Кремль, в латышские части!

На углу Театральной, у конца сквера,
они остановились.

— Мне поручено отправиться в Мос-
ковский совет. В районе вы справитесь
сами,—сказал Кудрявцев Марине и,
поймав непроизвольное ее движение, до-
бавил:—В случае необходимости я не-
медленно приеду! Районы уже мобили-
зованы; посланы директивные телефоно-
граммы за подписью Ленина о подго-
товке и вооружении. Главные операции
ожидаются в центре...

Группа разбилась. Лерс и Вимба вы-
шли по Лубянке к трамваю. Лидак че-
рез площадь направился к Кремлю.
Кудрявцев по Дмитровке шагал к Мос-
ковскому совету.

(Продолжение следует)



Н. СИДОРЕНКО

Я на третий всхожу этаж,
Возвращаясь к себе домой.
Ты не встретишь и не подашь
Легких пальцев, товарищ мой.

Далеко от Тверской Арбат —
По-ночному сутул, горбат.
Под одной из арбатских крыш
Ты, любимая, крепко спишь.

Возникая из тишины,
Чуть касаясь твоих волос,
Над тобой проплывают сны;
Мне их видеть не довелось.

Я ни разу не видел снов,
И, поверишь ли, никогда
Вдоль лазоревых берегов
Не водила меня звезда.

... Утро шумное над страной
Дружбы, молодости, любви,
Если хочешь, товарищ мой,
Сновидением назови.

Это солнце горит для нас.
Эти рощи цветут для нас.
Эти птицы поют о нас.
И я знаю, что каждый раз, —

Лишь войдешь ты, откинув локон,
И посмотришь тепло вокруг, —
Окна комнаты одинокой
Поворачиваются на юг.

Коломенский завод

3. Ненависть ¹⁾

Н. МХОВ

Исторический жизнеуклад коломенцев создавался торговлей, ее удачами, промахами и расейской неподвижностью. Город был глубоко провинциален, инертен, враждебен всему живому, новому. Он изобилвал двухэтажными унылыми, похожими друг на друга, купеческими особняками с толстыми стенами и глухими заборами, утыканными поверху колючими гвоздями. Дубовые ворота, свирепые псы, пудовые засовы подчеркивали собственническую скрытность, недоверчивость, замкнутость.

Город блистал золотыми шапками церквей, которых на полуторакилометровой площади торчало ровно 28 штук. С реки, с парохода, взору открывалась картина пышной зелени и сверкающего великолепия куполов, — город казался сплошным монастырским угодьем.

Коломна славилась дородными монахинями (перед германской войной купцы без стеснения приезжали на заре в монашеские кельи «докучивать»), длиною мужицкой версты, получившей имя «коломенской» и знаменовавшей собой совершенно фантастическую величину, перед которой пасовал даже украинский «гак», да еще славилась она патокой, мастерски изготовлявшейся запрудскими торговками.

В городе жили мещане, кустари, мелкие базарные торгоши и просто бездельники-Обломовы, существовавшие «в своем доме на родительские капиталы».

Но тон задавали купцы Шевлягины, Равинские, Щукины и им подобные, капиталы которых исчислялись десятками миллионов рублей. Уклад сытой домовитости незыблемо владычествовал в городе до самой Октябрьской революции.

Пришлые рабочие не любили города и жили своей обособленной жизнью в поселках, ближних деревнях да в землянках у кирпичного завода вдоль Щуровского шоссе.

Ютились рабочие в Боброве, которое бессистемно расползлось во все концы на пустырях у Рязанского тракта за городским кладбищем, в Митяеве, причудливо растянувшимся на крутых склонах правобережья у самого заводского забора судостроительного цеха, откуда круглые сутки летела оглушительная дробь молотов по железу, склепывавших корпуса судов. Митяево ежегодно затоплялось полой водой, и рабочий одновременно с домиком строил широкую аляповатую плоскодонную лодку.

Жили в Бочманове, в версте от завода, рядом с цементным заводом Либгардта, который поставлял цемент в Москву и Питер. Заводик был маленький, почти кустарный. пользовался

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 5 и 6 с. г.

ссудами Коломенского завода и фактически был его филиалом.

Бочманово выгодно и красиво создавалось на левом берегу Оки. Берег здесь очень высок и обрывист, и дома на нем кажутся игрушечными, нарочно для живописности поставленными в липовые и вишневые сады.

Долгое время Бочманово было привилегией мастеров, кладовщиков, бухгалтеров, цеховой администрации и считалось поселком заводской интеллигенции. Но с 80-х годов рядом с зелеными и красными железными крышами начали появляться соломенные, с задорным петухом на шпиле, и дощатые с наивно окрашенной самодельной печной трубой.

Немало жило рабочих на двадцать верст вокруг в больших и малых деревнях уезда. Но ширился завод, рос пролетариат, дорожала жизнь, и все меньше и меньше становилось рабочих, «осиливающих собственную постройку». Увеличивалась теснота в поселках, и рабочий начал мало-помалу переселяться в город, снимая у мещан углы, койки, комнаты. Постепенно он заполнял городское мещанское уныние, с гонимым до одури голубей и сплетническими пересудами, своим, рабочим, забодским интересом, неволью приучая горожан близко к сердцу принимать цеховые новости.

Обычно приезжие холостяки артелью в 5—6 человек снимали половину трехоконного домишка у какой-нибудь вдовы или бобылки, выплачивая ей в месяц по 3—4 рубля с человека. Хозяйка, выполняя обязанности стиральщицы, уборщицы, прачки, получала «за услуги» дополнительно еще по 7—8 рублей.

Из года в год все чаще и чаще крестьяне — рабочие ближних деревень — перебирались совсем к заводу, либо заново строя, либо покупая или арендуя отдельные домишки с крошечными палсадниками и игрушечными двориками.

Процесс пролетаризации крестьянства в период цветения российского капитала проходил быстро, но неравномерно. Увеличивались крестьянские поземельные, страховые налоги, убыстрялся переезд в город; усиливалось в свя-

зи с кризисом сокращение на заводе, — увеличивалась тяга «к земле».

Рабочий, прослуживший 5—6 лет в цехе, получивший определенную квалификацию, знания, опытность, окончательно сменивший профессию землепашца на профессию «мастерового», все дальше и дальше отходил от интересов деревни, все больше срачивался со станком, цехом и, уже тяготясь деревней, начинал мечтать о жизни у завода. Всяческими лишениями, экономией на еде и «обувке» он накапливал 100—150 целковых, продавал скотину, соху, борону, заколачивал тесинами окна избы и перебирался в новое гнездо.

Переселение требовало значительных по тогдашним стандартам затрат, и потому всякий переселявшийся был в глазах товарищей зажиточным, «самостоятельным» человеком. К нему долго относились сдержанно, недоверчиво.

Правление завода, понимая, что с момента переезда рабочий начинал целиком зависеть от цеха, до гроба привязывался к заводу и, следовательно, полностью переходил в цепкие руки акционера, всемерно поощряло переселенчество, выдавая денежные ссуды на покупку домов и кое-какие материалы со своего склада для стройки.

Ссуда выдавалась на срок от полугода до десяти лет и больше, все зависело от роли в цехе и уважения рабочего. Если рабочий был ценен, необходим, к тому же такой профессии и квалификации, которые на любом заводе, в любое время гарантировали заработок, ему выдавалась повышенная сумма в долгосрочный кредит. Но каждый месяц «долгосрочник» получал уведомление о том, что за ним «числится задолженность по счету вспомоществование, какковая надлежит быть погашаться ежегодно в 30% размерах». За акционерами всегда сохранялось право взыскания ссуды, страх разорения с момента выдачи до полной уплаты дамокловым мечом висел над должником-рабочим. Получить ссуду с завода значило продать ее до конца своей жизни. Рабочие брали ссуду редко, в исключительных случаях, предпочитая обра-

щаться за деньгами скорее к ростовщику Темнову, нежели к «гуманным» пресходительным акционерам.

Менее ценным мастеровым выдавали железо, бревна с обязательством в короткий срок не только вернуть их стоимость, но и оплатить затраты завода на перевозку. С этими «облагодетельствованными» рабочими совершенно не церемонились: за каждый просроченный месяц налагали пени копейку на рубль, — неслыханный, ростовщический процент.

Такова была оборотная сторона «либерализма» акционеров. Саввы Морозова еще не было, но методы закабаления рабочего хозяйской «добротой» уже начинали применяться более культурными, дальновидными капиталистами.

Столовались обычно у хозяйки, отдавая ей все полагающиеся на паевую заборную книжку продукты. Хозяйка, используя месячный заборный лимит рабочего (от 20 до 25 рублей), наживала с него продуктами, которые нередко перепродавала лотошным торговкам.

Общество потребителей, основанное в 1878 году, «работало» на членские, паевые взносы, снабжая в кредит всех рабочих своего завода. Непосвященному обществу казалось чуть ли не революционной организацией, преследующей исключительно интересы пролетариев. В действительности же за либерально-демократической вывеской, за филантропической болтовней правленческих заседаний скрывалась махрово-ростовщическая, прагматическая деятельность капиталиста.

Субсидируемое правлением завода, о-во потребителей закупало огромными партиями скот, муку, сахар, бумажную дешевую мануфактуру в Орехово-Зуеве, шерстяную — у Цинделя и превращало лавку в универмаг.

Проживание в городе скотовладельца Шевлягина, мясника Потапова, мучника Быкова обеспечивало сделку тут же, на месте, без особых хлопот, причем сделку со значительной уступкой против существующей цены. Коломенские оптовики-купцы этой уступкой залучали постоянного крупного покупа-

теля, ничего к тому же не теряя. Уступка покрывалась экономией на проезде, так как сделка оформлялась в Коломне, после чего вместо личной поездки приказчику в «степя» посылались извещение почтою.

Несмотря на очевидные привилегии, которые, казалось бы, давали возможность об-ву потребителей снабжать рабочих не только первосортными, но и сравнительно дешевыми продуктами, общество выдавало в кредит товары явно недоброкачественные и по ценам дороже рыночных.

Муку, которая в мелочных лавках стоила 95 коп., общество отпускало рабочим по 1 р. 15 коп., сахар вместо 22 к. — по 25 коп., ядрицу вместо 1 руб. 40 коп. — по 1 руб. 50 к.

В 1901 г. по настоянию инженеров Афанасьева и Стоке, членов правления лавки, ревизионная комиссия приняла для продажи 900 пудов тухлого мяса. Снизив в розничной продаже цену его на 2½ копейки, общество начало было прибыльно ликвидировать тухлятину и конечно разбазарило бы ее всю, если бы на другой день на заводе об этом не заговорили рабочие. Заводской врач принужден был распорядиться «все наличие мяса уничтожить ввиду его крайне недоброкачественного состояния». Говорят, мясо для виду уничтожили в незначительном количестве, закопав в яму, остальное же безубыточно продали купцу Равинскому в колбасную.

Таким образом, продуктовый кредит о-ва потребителей по сути дела являлся ростовщической ссудой, — за натуральную выдачу взимались проценты деньгами в виде повышенной стоимости товаров. Но у рабочего другого выхода не было. Он должен был отдать хозяйке за койку и услуги (самовар, обед, стирка) 10—12 рублей, купить себе какой-нибудь обноры на 2—3 рубля, оплатить заборную книжку и...

Так из месяца в месяц рабочий получал жалованье лишь затем, чтобы расплачиваться с долгами, большая часть которых падала на тот же Коломенский завод, ибо о-во потребителей, по существу, являлось собственностью заводских акционеров.

Так, с помощью «демократической» организации Струве и К^о возвращали половину заработанных рабочими денег обратно в свою мошну.

Вот почему обязательно выходило так, что рабочий ровно через пять-шесть дней после получки, рассчитавшись со всеми своими кредиторами, а сам оставшись без гроша, принужден был снова идти с заборной книжкой в потребительскую или, как ее под шумок называли, «грабительскую» лавку.

Вокруг заборных книжек запутывались грязные кулацкие дела.

Мелкий бобровский торгош Темнов нажил на заборных рабочих книжках огромные капиталы. Был он небольшого роста, с голубыми, детскими, ясными глазами, со смиренной улыбочкой на розовых, сочных губах. Ходил в поддевке и деготных сапогах, волосы мазал постным маслом, в церкви прислуживал попу, нежным тенорком подтягивая клиросному хору. Про Темнова рабочие говорили, что он «одной рукой ставит свечку во спасение, а другой душил человека и просит у господ царствия ему небесного».

Гонимый нуждою, рабочий шел к Темнову. Тот встречал пришедшего с христианским смирением, вздыхал, приглашал уповать на «святую волю» и выдавал рабочему 7—8 рублей, в зависимости от заборного лимита, оставляя «в залог» потребительскую книжку, по которой получал за рабочего продукты на весь лимит. Возвращая деньги, рабочий получал использованную, но неоплаченную книжку.

Рабочий грозил, стучал кулаком по прилавку, отчаянно ругался, но в конце концов, безнадежно плюнув «в бесстыжие глаза», уходил. Темнов оправлял неугасимую лампаду перед темным, древнего письма, образом Николая-чудотворца и раскладывал по полкам продукты, полученные бесплатно по заборным рабочим книжкам. Постоянным его покупателем был мелкий городской люд, так как торговал Темнов всегда на 2—3 копейки дешевле других.

Наживали и на банных талонах. Так как у рабочих денег никогда не было, а помыгаться стоило 10 копеек, то чаще од-

ного раза в месяц ни рабочий, ни его семья баню посещать не могли. Такая «гигиена» оказалась не по нутру даже капиталистам. Правление завода договорилось с владельцем Шумовым о том, что рабочие будут допускаться в его баню по предъявлении специальных заводских талонов, которые в конце каждого месяца станут оплачивать сам завод.

Шумов охотно пошел на такую сделку. Завод же, по существу, не интересовался тем, как моются его рабочие — за гривенник или по талонам, ибо стоимость талонов все равно удерживалась у рабочих из заработка. Правлению важно было только, чтобы рабочий мылся во избежание инфекции от нечистоплотности.

Темнов и Шумов — типичные поселковые пауки-кулаки — нажили на этих гривенничных банных талонах не одну тысячу рублей.

Темнов как-то посоветовал пришедшему «за кредитом под книжку» рабочему продать банные талоны, уверяя, что у него есть человек, который с удовольствием купит и по 6 копеек. Рабочий тут же получил 60 копеек за 10 талонов. Через несколько дней Шумов с Темновым без стеснения по 6 копеек скупали у рабочих банные талоны. Каждый месяц Шумов приносил в контору завода груды талонов, и контора оплачивала их по гривеннику, списывая соответствующую сумму в расчетной ведомости рабочего. Так «выход из крайнего положения» у рабочего окупался им же самим вдвойне, после чего он мылся за свой наличный, звонкий гривенник.

Шумов вскоре изыскал еще одну «доходную статью». Он выстроил большой деревянный дом в Митяеве, поселил в нем «девиц с желтыми билетами», и новое «заведение» стало приносить ему прибыль не меньше бани. Дочери Шумова учились в гимназии, а сам он, солидный и благообразный, дружил с почтенными «отцами города», с духовенством и именитым купечеством.

Так вокруг рабочего нарастали по липы, высасывавшие из его жалкого 25-рублевого бюджета последние гроши. В конце месяца у рабочего от по-

лучки оставались буквально копейки, которых едва хватало на «косушку водки и хвост селедки» — эту единственную реально ощущаемую радость от его заработка.

На заводе имелась столовая. Ее соорудили из тесин со сквозными щелями на улицу. В столовой было холодно, чуждо, грязно. Рабочий никогда в ней не обедал, предпочитая кое-как поесть у станка, в прокопченной, душной мастерской.

В 12 часов дня гудок извещал о перерыве. Рабочий останавливал станок, вынимал сверток из инструментального шкапчика, опускался на корточки и деловито жевал толстый, густо посыпанный солью ломоть хлеба, запивая его молоком прямо из бутылки.

В 1897 году дирекция оповестила об открытии при заводе общей столовой «для пользования рабочими горячих из трех блюд обедов по цене, не превышающей 12 копеек».

Обман обнаружился в первый же день работы «столовой». Ее оборудовали при конторе — тепло, чисто, уютно, но... пропускала она всего 15 обедующих. Саркастически посмеиваясь, рабочие продолжали закусывать на металлических стружках у своих станков.

Обсасывали рабочих и в деревнях сельские мироеды.

В Парфентьеве расторопный мужичишка Волков положил начало своему обогащению тем, что «призанимал» у рабочих «немоготную землю». «Немоготной» называли парфентьевцы землю, которую не осиливали обрабатывать; она пустовала в течение всего года.

Таких земель «гуляло» много, особенно в хозяйствах, где был один труженик-рабочий. Здесь женщина вела все сельское хозяйство сама, не справляясь с 3—4 наделами в трех полях, она все силы свои вкладывала в огород и в добычу корма «буренке», то-есть сена корове.

«На помощь» во-время приходил Волков. Он брал землю «исполю», распахивал ее, засеивал, расплачиваясь за нее мешком муки.

Бывали годы, когда у Волкова собиралось таким путем 100—150 десятин,

для уборки которых требовались и тягловая сила, и рабочие руки.

Тогда Волков «скупал» лошадей. С зимы, перед масленицей, когда народ пил, гулял, веселился, он «ссужал на праздничек» лошадных сельчан небольшими деньгами, а после пасхи, когда «светлые христовы деньки» выкачивали все до копейки и в домах бывало хоть шаром покати, — он являлся за долгом.

Требования его были категоричны, безжалостны, доводы недвусмысленны. Угроза описи последнего хомута или самовара надвигалась вплотную, и хозяин-рабочий, проклиная все, на чем свет стоит, давал Волкову лошадь «отрабатывать долг».

Лошадь «отрабатывала» до тех пор, пока не вспахивалась последняя «немоготная» полоса, а сама она не превращалась в кожу да кости.

Случалось, что все парфентьевские рабочие были в долгу у Волкова, и на этого суетливого, кудлатого мужичонку работало чуть ли не все село.

Через несколько лет богатства его не уступали капиталам купцов-первогильдейцев.

Под старость он прекратил кулацкую «обработку» бедняцкой земли, сменив ее на баржевладение. Баржи Волкова арендовались зернокупщиками и крупными московскими оптовиками; бурлаками и лошадьми гнали в баржах с Поволжья хлеб, подсолнухи, рыбу. Дело давало огромную прибыль, освобождая от необходимости нанимать рабочих, организовать работу на полях, приобретать всякого рода инвентарь.

Баржевладение было настолько выгодно, что Волков не только прекратил эксплуатировать чужие земли, но и свою совершенно забросил. Он выстроил прекрасный дом с венецианскими окнами и стал жить «на покое», не изменяя своим мужицким, деревенским привычкам: зимой ходил в валенках, в свичинной поддевке, лечился от «грызи» огуречным рассолом, парился в бане «до седьмого пота» по черной, на праздники наряжался в ластиковую козоворотку, деготные сапоги и щедро смазывал стриженные в скобку волосы деревянным маслом.

Возможно, что именно за эту нечванливость, незазнайство сельчане многое прощали старику и в большинстве отзывались о нем незлобиво, доброжелательно.

Умер он в глубокой старости, оставив в наследство детям (не в отца — богатырь к богатырю) десяток баржей-дровяниц, пять белаян-хлебниц и два пузатых буксирных пароходишка.

Молодцы уже ходили в хорьковых шубах с бобровыми воротниками, носили на толстых мизинцах брильянтовые перстни и ездили в Москву «в театрах смотреть» и к цыганкам «хороводить». В них уже просыпался прасольский дух «широкой, русской, купеческой натуре».

Парфентьевские и соседних сел крестьяне ломали перед ними шапки, величали по имени-отчеству, а в «светлые христовы дни» приходили «в хоромы» «проздравлять с праздничком».

Братья Волковы, следуя завету отца, не входили в купечество, всю жизнь оставаясь крестьянами, никогда не судились, не ссорились с «миром», жили широко, славя добрыми, хлебосольными малыми.

Младший из них, Василий, жив и поныне, коротая старческие дни свои в обществе больной сестры и когда-то бедовой, кухарки-любовницы, теперь совсем дряхлой, слепой старухи. Он грузный, мясистый. Щеки — с дряблыми напыльями. В довершение всего он глух, обношен, грязен и все время что-то бормочет себе под нос. Сколько ему лет, сказать трудно; по виду — не меньше шестидесяти пяти. До 1933 г. он служил конторщиком на станции Голутвин, откуда уволился «по собственному желанию ввиду инвалидности».

К нему относятся, как к музейной редкости. Член парфентьевского сельского совета, коломзаводский рабочий-формовщик, старик Денисов, который еще помнит Волкова ухарем — молодчиком, объясняет, добродушно ухмыляясь в седые усы:

— Василь Василич у нас кусок истории, бывший тысячник в живом виде!

Другой тип — пестриковский мужик Нестеров. Этот разбогател на рабочих

копейках, получаемых за переправу через Москва-реку.

За опоздание на завод полагался штраф. Рабочий-крестьянин круглый год вставал затемно, наскоро собирался и спешил в лодку. Рабочие переедут на другую сторону, подтянут лодку на берег, и стоит она там, пока не подвернется кто-либо, желающий ехать на сельскую сторону. Случалось, что рабочие часами ожидали возвращения лодки. Это было мучительно неудобно и обходилось дороже дорогого.

Нестеров сколотил два дощаника, на один сел сам, на другой посадил сына и по пятаку за два конца начал перевозить рабочих. В день переезжало пятьсот-шестьсот человек; 25-рублевый дневной заработок был обеспечен. Через год Нестеров уже построил паром и брал с лошади по шесть копеек, а еще через год приобрел под Надеевом рощу красного леса и стал продавать в город деревья на стройку.

К девяностым годам Нестеровы были уже крупными лабазниками, лесопромышленниками, чванливыми богатеями, гнушающимися односельчан-родственников. Большой их с резвыми террасами дом подожгли в пятом году. От него загорелись сарай, конюшни и две хилые избенки бедняков-рабочих — Прокофьева и Блинова.

Кто-то из этих Нестеровых помогал карательной экспедиции Римана опознавать породских революционеров. Боясь народного мщения, Нестеровы в февральские дни бежали из села. Вихрь Октябрьской революции совершенно замел их следы.

В их заново переделанном доме сейчас школа-семилетка, а летом — детская площадка и ясли.

А вот типичный для царской деревни мироед-паук, чанковский кулак Федор Колобов. Чанки — село, наполовину заселенное рабочими завода. Находится оно в трех километрах от порога, по ту сторону железной дороги.

Федор Колобов занимался ломовым извозом — возил купцов с товарами где-то у Сапожкова и Шилова, возвращаясь домой, в деревню, только на храмовой праздник и в покос.

Однажды Колобов появился в деревне ранней весной, совсем в неурочное время. Накупил кровельного железа, восьмивершковых бревен, пакли, теса и важно объяснил, что намерен ставить новый пятистенок.

Федор приехал с деньгами, повидимому, не мальми. И пошла по деревне молва, что Колобов не добром нажил деньги. Дело, дескать, темное, лихое, подорожное. И от Колобова отшатнулись. Мужик он был не ахти какой расторопный, из тех, что звезд с неба не хватают, и больше всего в жизни ценил собственный покой. Он открыто начал ссужать земляков деньгами «в рост», беря либо пятиалтынный за рубль, либо на соответствующую сумму вещей. Но так как единственным и безапелляционным оценщиком был он сам, то, естественно, крестьянские вещи отбирались за столько, сколько «бог на душу положит» Федору Колобову.

Он был откровенным ростовщиком-мироедом, тунеядцем-кровососом. Жирный, прызлый, брюхатый, похотливый, он никому не внушал ничего, кроме отвращения. Рабочие, отцы взрослых дочерей, или мужья молодых жен, боясь требований расплаты за долг натурой, всячески избегали брать у Колобова деньги.

Но в дни податей, государственных налогов описей иного выхода не было, и молодожены или отцы шли с поклоном к Федору. Тот давал деньги, и не было года, когда бы не разыгрывалась спрашная драма расплаты. Деревня до сих пор помнит, как Маша Фомина, красавица и умница, выгатаив отца из петли, пошла сама на сеновал к Федору Колобову расплачиваться за долги своей семьи. Она вернулась помешанной. Простоволосая, растерзанная, ходила она по избам, шопотом рассказывая про чорта с синим языком и волчьей пастью. Попав как-то на железнодорожную насыпь и увидев пылящий паровоз, Маша дико закричала: «Чорт, чорт!..» — и бросилась под колеса.

К старости Федор сделался церковным старостой, стал очень набожным, скромным, требовательным к себе. Но

ростовщичество не бросил. Наоборот, с годами стал выдавать деньги по выбору, после тщательной проверки, предварительно убедившись в кредитоспособности просителя. Он умер от водянки на высокой, пухлой перине, грязной и вшивой. У Федора не осталось ни детей, ни дальних родственников. В перине нашли 121 тысячу рублей ассигнациями. Многие «петры» и «кати» до того истлели, что разваливались в руках на кусочки, как высушенный, поулсгнивший лист.

Так и в городе, и в деревне тучнели на рабочие копейки кулаки-эксплоататоры. И в городе, и в деревне, загнанный нуждой, опутанный кулаком в паутину долгов, рабочий в течение всей своей безрадостной жизни волочил на себе разжирелых прихлебателей.

Теперь кажутся просто невероятными все те лишения, все те житейские тяготы, которые приходилось молча переносить рабочему.

Не было ни дня, ни часа, когда бы он чувствовал себя в какой-либо мере свободным. Вся система управления, все силы административного и хозяйственного аппаратов направлялись на удушение его воли, его независимости, его самостоятельности. Все, начиная от папа и кончая волостным писарем и сельским старостой, старались держать его в страхе перед небесными и земными «владыками».

И, надо отдать им должное, они умели так опутать рабочего, что он совершенно превращался в раба капиталиста.

На производстве весь в руках мастера, он «дохнуть не мог» без его разрешения. Мастер владел рабочим полностью и безраздельно, ибо, согласно «правил внутреннего распорядка», он мог уволить его «за дерзость», «за брак», «за неподчинение», «за неспособность», «за неблагонадежность», «за опаздывание», «за нарушение приказа», — одним словом, за все, что угодно, буде на то желание мастера.

И мастера, владея в цехе, наживали на рабочем бесправии немалые деньги. При поступлении рабочие «угощали» мастера и «благодарили» его «синенькой», а то и «красенькой». При

устройстве сына учеником — тоже «угощение» и «благодарность». При сдаче работ с получкой — опять-таки челобитная мастеру. И так при всяком случае, при каждом новом шаге на производстве.

Мастер в цехе был той силой, от которой зависело благополучие рабочего, и тот ненавидел мастера всеми фибрами своего измученного существа. Именно потому в октябрьские дни на мастеров прежде всего обрушилась злоба восставших пролетариев.

Взяточничество мастеров доходило до наглости. Мастер кузнечного цеха Быков установил таксу: пятерка — к печам, красненькая — к штамповке, трояк — к кувалдам; ничего — в глухари.

Такая же примерно неписаная такса была у волостного писаря в деревне: полштоф с бумажкой — три месяца отсрочки податей, полштоф без бумажки — полтора месяца, «синенькая с петушком» — пять месяцев, слезы и поклоны, то-есть ничего, кроме просьб, — к описи.

И рабочий, чистый пролетарий, и рабочий-крестьянин, связанный с сельским хозяйством, одинаково волком выли от своей проклятой доли.

Ни культурные развлечения, ни отдых за книгой, ни спорт — ничто не заполняло досуг рабочего. Заводские либералы, «благодетели», открыли «для общего пользования» библиотеку. «Житие святых», «Описание мест Российской империи», «Жених без места, или выдумка некоей особы», — вот характерная «литература» библиотеки, рекомендовавшаяся рабочему читателю.

На масляной неделе приезжали балаган, карусель, петрушка, и это было настоящим, подлинным праздником. Под блеск мишуры и комичные выкрики петрушки забывались житейские тяготы. Дни казались веселее и ярче.

Костромской мужик-предприниматель ставил карусель у Житной площади, около церкви Ивана-богослова, и нанимал за «полштоф» молодцов «крутить бегом» столб карусели. Под балдахин он сажал какого-нибудь Митяньку или Васятку с гармонией и соблазнял девушек и парней длинномордыми коня-

ми в золоченой сбруе и лодочками с лебедьими шеями на мысах.

Тут же качели захватывали дух у взлетающих к небу пар. Взвивались юбки, пронзительным визгом оглашалась площадь, гоготали зрители: чувствуя себя героями, парни прокатывали последние гроши. Здесь веселилась молодежь.

У петрушки собирались пожилые рабочие, их привлекали петрушкины остроумие и ловкость.

Петрушка кукарекал, ерничал, отдавал честь околодочному. Сзади советовали: «Звездорезни их благородие по храпу». Петрушка замахивался, но вылезал городской и под общих хохот хватал его за шиворот. Петрушка, погибая, издавал душераздирающие вопли. Затем он появлялся с картузом в руках, перебрасывал ноги через ширму и жалостливо пищал: «Жрать охота, аж кишки слиплись. Не дайте в участке погибнуть, сами видели, будочник меня поволок. Поддержите петрушку».

И пролетарии поддерживали петрушку, кидая ему в картуз копейки и награждая его восторженными хлопками.

Рядом на куче мусора играли в «юбку-головку». Сухаревский аферист ловко кидал деревяжку с наклеенной на нее картинкой — пышной девицей в потрясающе оранжевой юбке. Кидая, он в воздухе незаметно перевертывал дощечку и задорно вскрикивал:

— А ну, веселей. Тащи смелей. За юбку — твоя, за голову — моя. Ставка не велика: пять копеек с игрока.

Тут стояли крестьяне. Они долго приглядывались к картинке, внимательно следили за взлетом девицы. Кажущаяся легкость «заработка» пятака прельщала. То один, то другой бородач, кинув оземь шапку, засучив рукава, решительно хватал дощечку и... под дружный смех, пляя и чертыхаясь, лез в карман за пятаком.

Цыган плясал в кругу с медведем. Медведь ревел, умоляюще смотрел на публику. Он был облезлый, с выгтертой ошейником голой шеей, беспомощный, жалкий и голодный, но, поощряемый палочными ударами и пинками жожака, звоном бубна, шумом людей, ходил

«купчихой на базар», «солдатом с винтовкой», «пьяным мужиком» и «бабой за водой».

Запрудские паточкиницы звонко расхваливали свой товар. Булочницы бойко торговали сайками. Бобровская торговка Машка-Цыганиха, тоже немало прожившаяся на рабочих заборных книжках, продавала маковники, леденцы, пегушки, жамки, ленты, бусы, гребенки, а из-под лотка — водку, которую потихоньку всучала знакомым, «своим» рабочим.

К концу дня крестьянки развозили по деревням домой мертвецки пьяных мужей, город гудел и выл от пьяного крика и песен.

А с темноты в Митяеве, у дома Шумова, и в Коломне, на набережной, у пристани, в каменном доме Белякова, ярко загорались красные фонари, и потерявшие облик человеческий гуляки шли завершать веселье к проституткам.

Такова была жизнь. Такова была сущность праздничных дней провинциального российского городка.

Но где-то внутри завода, в сиротских поселковых домишках, уже зарождалось иное содержание, возникали иные, рабочие, интересы.

Царская Россия впервые выдерживала прибой стачечных волн. Иваново-вознесенские текстильщики предъявили ультиматум Морозову, круглобородому либералу, до конца дней своих считавшему себя миротворцем и благодетелем рода человеческого. Морозов, не ожидавший подобного «аффронта» от «своих людей», отказался вступать в какие-либо объяснения. Раздался гудок. Все цехи, как один, остановили станки. Без шума и крика собралась толпа на обширном дворе. Началась знаменитая Иваново-Вознесенская стачка.

Через три дня в Питере, на Выборгской стороне и у Обводного канала, появилась группа человек в 200 рабочих. Ехавший напротив отряд стражников молча свернул в переулок. Кто-то надрывно закричал: «Вихри враждебные веют над нами», но начальственный голос скомандовал:

— Прекратите пение.

И рабочие тихо, сосредоточенно пошли дальше.

Ревели и гудели в неурочное время заводские гудки, будочники торопливо открывали железные ворота. Питерский пролетариат, солидаризируясь с ивановцами, выходил на улицу.

Вслед за Питером вышла на улицу и Москва. Пролетарская Россия демонстрировала пред лицом царской Руси свое классовое единство.

Заводчик Антон Лессинг из Петербурга, не доверяя почте, с нарочным прислал новому директору своего предприятия Бессеру деловую записку: «Никаких решений до моего приезда не принимайте. Требования рабочих рекомендую выслушивать и казаться соглашающимся. Скоро все изменится. Постарайтесь без помощи (намек на полицию. — Н. М.) согласовать вопросы; рабочих успокаивают многие обещания и деловые советы. Надеюсь на ваш такт и здравый смысл».

Бессер, следуя указаниям своего патрона, обманывал направо и налево, щедро обещал и ничего не давал.

Слесарь Василий Сорокин, смелый, озлобленный жизнью пожилой человек со славою «отчаянного», вдруг среди дня бросил станок и преградил путь проходившему мимо заведующему административной частью завода Войтеку.

— Убить тебя, стерва, — поднес он кулак к острому носику заведующего.

Войтек, побледнев, визгливо вскрикнул:

— Арестовать! В кутузку!

Цех сразу остановился. Все с замирающим сердцем смотрели на слесаря и заведующего.

— Стерва! Шпион! Прохвост! Последнюю кровь выпиваешь, упырь проклятый! У-у, сво... — Кулак слесаря рванулся наотмашь, но по цеху уже метались тревожные свистки, со всех концов бежали стражники, и, не успев Сорокин ударить, как на него навалились, скрутили, смяли, поволокли.

На пожарной его били долго, жестоко, умеючи, не оставляя следов на теле. Утром, поддав коленкой, спустили с крутой лестницы и предупредили, что, если он появится на заводе, его «загонят за

«мажай» и приведут в порядок все ребра».

В тот год зима стояла лютая и снежная. Семен Ситников, возвращаясь вечером домой от Пономаревых, там, где дорога сворачивает у заставы в Протопопово, увидел черную фигуру, возившуюся у белого заставного столба.

— Паренек! — крикнул фигура.

Дул низовой, острый ветер. Было морозно и светло от луны. Семен осянчился, глубже втискивая холодеющие пальцы в рукава материнного ватника.

— Поди-ко-сь! — человек махал каким-то свертком и кивал головой.

Семен узнал Сорокина. Его знал весь завод. Угроза Войтеку сделала его знаменитостью.

— Василь Степанович, это ты? — солидно, по-взрослому удивился Ситников.

Сорокин был в простом пиджаке и шали, связанной концами на спине. Он весь застыл; губы и руки плохо ему повиновались.

— Вот, сынок, возьми-ка, спрячь подале, а завтра, чуть светок, расклей у моста, у вокзала, на станционном заборе да кое-где в цехах побросай.

— А это что? — спросил Семен, с недоумением принимая скатанные в трубку листки.

— Это, чтоб рабочие за меня заступились! Как собаку, выпнали, без жалованья!

Семен посмотрел на подогнутые колени, на сгорбленную худую спину, зачем-то крикнул и, запихивая за пазуху бумажный сверток, строго ответил:

— Ты иди на станцию, там печка топится, а я сегодня расклею!

Сорокин молча повернулся и, подогнаемый снежной поземкой, вприпрыжку побежал к кладбищу, а Семен, подставляя ветру бок и стараясь не соскальзывать с твердой колеи, торопливо засемянил обратно к Пономареву.

Старик, увидав у порога Семена, удивленно поднял на лоб очки, а взявши протянутый парнем сверток и выслушав его короткий деловой рассказ, нахмурился и запер на щеколду дверь.

Крупным, под печатный, шрифтом, выведенным синими чернилами, листок

извещал, что «слесарь Василий Сорокин пострадал невинно, за правду», что «гадюка Войтек, продажная кровопийца, есть заводский шпик и получает жалованье от полиции», что это он «продал Иванова Ивана и Захарова, доказав, что у них есть не дозволенные книги», что «ежели рабочие не заступятся за своего брата—рабочего, то их будут так расшибать поодиночке, и никогда рабочее слово не станет для Войтека страшным».

Старик Пономарев, ничего не ответив на выжидающий взгляд Семена, молча полез под скамью, вытащил прокоптелое ведро с клейстером и, зевая, приказал сыну:

— Наколи лучинки да взгрей чайник! Надоть кипятком крахмал развести.

Отпуская ребят с ведром и мочальной кистью, старик наставительно предупредил:

— Ежели, сужины сыны, попадетесь, — издеру: мне каторга, а вам плетка! Понятно?

— Понятно! — шопотом ответили ребята, и старик, приоткрыв калитку, выпустил их на улицу.

Наутро рабочие читали воззвание, расклеенное на железнодорожном заборе, на столбах, на углах домов и даже на будке заводского сторожа.

Исправник Матов с отрядом околдочных и городских петухом налетал на теснившиеся у воззваний кучки рабочих, прозил «закатать», работал локтями и кулаками. Городовые разгоняли непослушных ножнами шашек и, добравшись до листовок, старались содрать их. Но мороз и добротный крахмал крепко приковали бумагу к дереву.

— Зубом ее, зубом! — насмешливо кричали из одной кучки.

— Объяви ей штраф, сама слетит! — советовали в другой.

Пристав Матов получил анонимку: «Если арестуешь Сорокина, прощайся с жизнью».

Директору Бессеру прислали письмо со множеством неразборчивых подписей. Письмо требовало под страхом поджога завода восстановить Сорокина и уволить Войтека.

Бессер письмом же, развешанным по цехам, ответил, что «дирекция считает недопустимым вмешательство рабочих, наблюдаемое за последнее время, в административные функции завода» и предлагал «во избежание вынужденных репрессивных мер прекратить недозволённые поступки». Вместе с тем в письме указывалось, что «дирекция считает возможным возбудить ходатайство перед господином приставом и их высокоблагородием жандармским полковником господином Боот о снисхождении слесарю Сорокину».

Испугался ли Матов или действительно за слесаря ходатайствовала заводская дирекция — не известно, но Сорокина не арестовали, не выслали, а лишь категорически воспретили ему появляться на заводе.

Сорокин ушел в Щурово, на Оку. Летом сплел верши из ивняка — «морды», изготовил лески и принялся ловить рыбу. По праздникам он жестоко напивался, буйнил и грозил убить Войтека.

Войтек на заводе был шпионом. Известный черносотенец, монархист, он мечтал получить андреевскую ленту и чин статского советника с «Владимиром первой степени на шею». Он выслуживался гадко, угоднически, наживая «политический» капитал на рабочих.

Закадычный друг Войтека, урядник, каждый вечер приходил к нему специально за тем, чтобы узнать, «кто еще из новеньких появился опасный».

Однажды Войтек высказал уряднику предположение, что Иванов Иван, коломенский мецданин, служащий завода, «очень уж образованно высказывается, — не из тех ли он».

Ночью у Иванова произвели обыск и нашли книги «преступного характера»: «В чем моя вера» Л. Толстого, «Власть тьмы», его же, «Историю цивилизации Англии» Бокля, «Очерк конституции», «Деньги и государство» и кое-какие «крамольные» брошюры.

Иванов исчез бесследно.

Войтек вскоре после этого заявил, что на заводе «вообще смутно, беспокойно, и таких, как Иванов, немало, — хотя бы Иван Захаров из инструментальной мастерской, который в духовном и полити-

ческом отношении неблагонадежен, способен на все: во время христового воскресенья вступил в спор о религии и на верное принадлежит к той партии, которая не признает власти».

У Захарова произвели обыск. Инструментальщик стоял у косяка двери, скрестив на груди руки, высокий, красивый, спокойный, жандармы перерыли все — от тюфяка, из которого вытащили всю мочалу, до подпола, подняв три половицы. Захаров глядел на них и улыбался. Ничего не обнаружив, жандармы все же забрали его, но, продержав месяц, принуждены были за «неимением улик» выпустить.

Захарова опять приняли на завод, но ровно через три дня в инструментальном шкафу мастер обнаружил сломанный английский напильник, и по приказу заведующего цехом его уволили «за порчу ценного заводского инструмента».

Завод стоял на отшибе, в стороне от больших городов. Стачечные волны докатывались до него с опозданием, как гром далекой грозы после давно мелькнувшей молнии. Уже ивановцы приступили к работе, уже и Москва, и Ленинград, согласившись с частичными уступками капиталистов, распустили свои стачечные комитеты, а в Коломне на заводе брожение только начиналось.

Москва еще не прислала на Коломенский завод партийных комитетчиков, своих, коломенских, еще не появилось, и вместо организованной стачки завод переживал отдельные анархические вспышки, возникающие, как грозовые тучи на небосклоне, — неожиданно, мрачно, предостерегающе.

Ни Сорокин, ни Иванов, ни Захаров, ни Пономарев не состояли ни в какой социалистической партии. Их выступления были анархичны, неорганизованны, поэтому они не вели за собой масс, а только порождали в них сочувствие к себе, увеличивали чувство ненависти к эксплуататорам.

Так было в девяностые годы прошлого столетия и в первые годы первого десятилетия XX века, пока японская панама и революция 1905 года не указали рабочему его истинный путь и цель борьбы.

Люди и факты

ПЕРВАЯ ЛЕНСКАЯ

Б. Лавров

II. ИГАРКА. — ДИКСОН. — БУХТА ТИКСИ¹⁾

Игарка стояла и теперь все еще «нетесанной», но уже во многом изменился ее вид. Красивое двухэтажное здание порта с высокой наблюдательной башней возвышалось на месте маленькой избушки. Дальше от него среди леса виднелся ряд других двухэтажных домов.

К берегу прижалась небольшая пристань, около которой сновали многочисленные катера. Тут же находились портовые пароходы — «Промышленник» и «Эвенки».

На пристани нас встретил старый моряк, капитан порта т. Усков.

— Давно вас поджидаем. А «Партизан Шетишкин» уже около Подкаменной Тунгуски. О Карской беспокоиться нечего. Проведем, как надо...

Уславливаемся посвятить день осмотру Игарки и совхоза, а на завтра собрать отчетное заседание по Карской.

День солнечный, но холодный. Это небывалое явление для Игарки в такой период. Рыбачий караван, ушедший в низовья Енисея, мог дойти только до бухты Широкой. Дальше тяжелые льды оказались совершенно непроходимыми. Северный ветер принес с собой холод.

— Ранняя зима будет, — предсказывают охотники. — Даже птица в этом году не гнездилась в тундре. Уже собирается к отлету...

Игарка растет. Строители позаботились придать новым зданиям некоторое художественное оформление. Наиболее красиво оформлены дома городского совета, лесокombината и порта. Неплохо выглядят и другие дома.

На площади, против здания горсовета, разбит стадион. Молодежь играет там в футбол, волейбол и другие игры.

Дальше идет базарная площадь. На базаре пока только 2 — 3 лавки. Они торгуют главным образом ширпотребом местного изготовления: неприхотливой мебелью, глиняной посудой, деревянными кадками, ложками и пр. Есть и меховые изделия, в том числе шубы из собачьего меха.

— Сколько стоит?

— 400 рублей лучшая. Цена кооперативная.

— Ладно, пригодится для Ленского похода.

Обошли заводы, работавшие привычными напряженными темпами. На бирже уже лежала большая часть запланированного экспорта пиломатериалов. Там же были сложены так называемые «наметельники» — ящичная и паркетная клепка. Игарка осваивала, и довольно удачно, новые виды экспорта, утилизируя отходы лесопиления.

Строгальный цех одного из заводов, ранее перегруженный работой, стоял за консервированным.

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 6 с. г.

— Почему он стоит?

— А что ему делать? Мы вообще думаем в этом году вывезти его из Игарки.

Это новая песня. Новый хозяин — Севполярлес — не понял основного направления заводов в Игарке. Директива партии и правительства о приближении заводов к месту сырья должна быть выполнена последовательно и до конца. Нельзя рассматривать Север только как кладовую сырья. Из этих отдаленных мест, где капитал оборачивается очень медленно, надо дать на рынок по крайней мере полуфабрикат, если дать фабрикат действительно невозможно.

Огромная биржа пиломатериалов внутреннего рынка также стояла необработанной, несмотря на наличие станков для выделки мебели, дверей и окон.

Теперь этот лес хотят посылать в Красноярск рекой.

Игарка — морской город. Только ориентируясь на море, она будет рентабельной.

— Но у нас нет пароходов, — отвечают наркомлесцы.

Раздробление комплексного хозяйства Игарки ухудшило техническую сторону ее предприятий, но подорвало их экономическую осмысленность.

Самое неприятное впечатление осталось после ознакомления с графитной фабрикой. Комиссия, приехавшая принимать эту фабрику, вела дело к ее консервации.

— Фабрику надо было строить в Красноярске, — решила комиссия.

— Почему?

— Потому что вывоз продукции с Игарки обойдется дорого, и товар здесь будет лежать целый год без движения.

Это правильно. Но так же без движения будет лежать и в Красноярске годовой запас сырья при дорогой его вывозке по Енисею, а затем железной дорогой до мест потребления. Вывоз на внутренний и внешний рынки дешев только при использовании Северного морского пути.

— Но у нас нет пароходов...

Та же песня, что и у Севполярлеса!

В Игарке выросло много новых домов, но теснота еще большая. Частично со-

храняются бараки, которые строились только в расчете на первый прием поселенцев. Отпущенные на дальнейшее строительство кредиты позволяют надеяться, что недостаток жилплощади скоро будет ликвидирован.

Горсовет приступил к частичному озеленению улиц. Но для приведения Игарки в полный порядок понадобится большая работа.

Вечером на моторной лодке мы выехали из Игарской протоки на Енисей для осмотра совхоза.

Напротив Игарки находится большой остров, густо заросший лиственницей и тальником. Значительная площадь его занята тундровыми озерами.

Топор расчистил нужную для посева площадь. На возвышенной части острова вытянулся длинный ряд жилых домов и хозяйственных построек. Мягкий моховой покров лесотундры, снятый теперь со значительных пространств, был использован на хозяйственные нужды совхоза. Лишенная этого изоляционного материала, земля под лучами солнца несколько протаяла. Тракторный плуг провел первые борозды.

В первый год посеяли небольшое количество корнеплодов. Результаты были неудачны. Семена, видимо, чувствовали себя в этой земле, как в холодном погребе. Только к концу лета показали небольшие ростки.

Однако на второй год, на удобренной навозом земле, корнеплоды выросли неплохо. Более нежные растения, — помидоры, огурцы, цветная капуста, — посаженные в парниках, дали прекрасные всходы.

Скот почувствовал себя, как в обычных условиях. Росшая среди тальника и по приозерным долинам в большом количестве высокая трава давала ему достаточно корма.

Сибирская корова малопродуктивна. Для получения новой породы в совхоз были присланы три холмогорских быка и три телки. От них пошел прекрасный молодняк.

Теперь совхозу уже четвертый год. Там ведет работу опытная станция Все-

союзного института растениеводства. Руководит ею испытанный агроном Севера — Мария Митрофановна Хренникова.

Вспоминается 1929 год, когда пришли сюда, на эту мерзлую землю, первые люди. Они явились, чтобы осмотреть место для закладки совхоза. Утки, глухари, белые куропатки и зайцы густо населяли тогда остров.

Теперь это счастливое для охоты время уже миновало. На далеком пространстве раскинулось распаханное зеленое поле. Стадо коров пасется среди кустарника.

Мы разыскиваем в поле Марию Митрофановну. Она и ее помощница одеты не так, как обычно одеваются на летних полевых работах, а совсем по-осеннему. Начинаем с осмотра скота.

Часть стада и рабочие лошади уже вернулись на ночевку. Коровы маленькие, невзрачные — типичные сибирячки.

— А вот и наше новое поколение, — говорит заведующий двором, указывая на молодняк, загнанный в отдельное помещение. — Это помесь холмогорок с сибиряками. От них надо получить выскочки удой холмогорок и выносливость сибиряки.

Телята высокого качества. Мастью они большей частью пошли в холмогорок. Они не спеша, но охотно подходят к протянутой руке. Видны хороший уход и хорошее обращение.

В других отделениях — холмогорские и сибирские быки. Это рослые и красивые животные.

— Сибирского быка в поле не пускаем, бросается на людей, — предупреждают провожающие.

Действительно, это какое-то озверелое существо. В то время как холмогорские быки стоят спокойно, протягивая морды в ожидании подачки, сибиряк свирепо трясет рогами и угрожающе мычит.

— Но все-таки настоящие животные Севера — это овиньи, — говорит заведующий двором.

В свинарнике светло и чисто. Огромный боров «Васька» спит, растянувшись на полу своей клетки. Десятки малень-

ких юрких поросят, недавно отнятых от матерей, резвятся в просторном помещении.

Скотный двор производит хорошее впечатление. Одно плохо: часть стада давно пора выбраковать. Молодняк еще не поспел. Стадо в таком состоянии не может удовлетворить самые основные потребности Игарки и, в силу малой удойности сибирской коровы, дает убытки.

Я сообщаю работникам совхоза приятную новость: для них уже погружено 40 коров-ярославок.

Переходим к посевам.

На опытном поле одним растениям даны наилучшие условия произрастания, другим — обычные северные. Растения одного вида представлены разными сортами. Прекрасно пошел картофель «снежинка» и «эпикур»; хуже — другие сорта. Неплохо выглядят и прочие корнеплоды. Капуста определенно чувствует себя хорошо.

Но положительные результаты достигаются только при навозном удобрении. Одно минеральное удобрение еще не дает эффекта.

— Нужна реконструкция почвы, — поясняет Мария Митрофановна.

Та же картина и на полях совхоза. Капуста выглядит хорошо, картофель одних пород чувствует себя неплохо, других — похуже, особенно в этот год, год пониженных температур и северных ветров. Но зелень здоровая и сильная только там, где было внесено навозное удобрение.

Вывод напрашивается сам собой. При хорошей селекции семян и при навозном удобрении огородные культуры будут расти на широте Игарки. Огородничество нельзя вести изолированно от скотоводства.

Осматриваем парники и теплицы. Овощи, прикрываемые от холода стеклом и через него получающие свет незаходящего солнца, растут очень буйно. Широко раскинулись стебли огурцов. Зелень помидоров расцвечена многочисленными зелеными, желтыми и красными плодами. Дальше видны плотные кочаны цветной капусты и даже горшки с цветками.

— С конца марта ежедневно снабжаем свежими овощами больницы и детские учреждения. Остаток идет в Горт и кооперацию. А вот вырастили мы по распоряжению доктора шпинат как противоцинготное средство, да так и оставили. Никто не хочет его есть. Не знали игарцы этого растения на прежнем месте жительства, не хотят его знать и здесь, хотя его витаминность не внушает никаких сомнений. Не хотят они использовать и ремень, растущий здесь во множестве в диком состоянии.

По хорошо накатанной дороге, проложенной через леса и болота, мы вернулись в город.

Художник Рыбников за это время осмотрел порт и город Игарку со своей точки зрения. Он рассказывает об игре тонов воды при изменении освещения, о глубокой прозрачности воздуха, об оригинальном колорите Севера.

— Только, пожалуйста, не злоупотребляйте синими и голубыми красками,—прошу я.— Прошлогодняя полярная выставка в Москве показывала виды не то волжские, не то крымские, но никак не северные.

— Ну, вот! Посмотрели бы вы на воду, когда светит солнце. Она не только синяя, она темносиняя.

Север — это страна блеклых тонов. Здесь природа ярко горит только в редкие дни. Серые свинцовые воды Ледовитого океана гармонируют с серо-коричневым фоном тундры. Это создает иллюзию безбрежности пространства. Чистый, прозрачный воздух дает расширенные горизонты видимости. В солнечные дни вода, горы, тундры и леса Севера создают красивое сочетание ярких тонов. Но это только редкая улыбка Севера, а не настоящее его лицо.

Игарка не спит в летний период времени. Надо использовать каждый час короткой навигации. Надо так подготовить заводы, порт и биржи, чтобы за полтора-два месяца погрузочных работ все пароходы успели взять всю годовую продукцию заводов.

Большое пространство отвоевала биржа у лесотундры. Под грудой опилок

и рейки исчезли болота. Высокие столбы поддерживают штабеля леса, не давая ему засинеть от сырости.

Приятный смолистый запах сохнувших досок разлит по всей бирже. Последняя переборка штабелей в полном ходу.

По крепкому деревянному настилу быстро бегут автолесовозы, захватив с собой большую кладку леса. Однако они еще не справляются с перевозкой. Сотни лошадей выполняют ту же работу.

— Сидела бы ты в своей деревне, Марья! Коров-то легче доить,—смеются грузчики, увидав на штабелях крепкую девушку, занятую перекладкой тяжелых лиственничных бревен.

— Шел бы ты лучше коров доить в совхоз. Там агроном доярок ищет. А нам и здесь неплохо, — парирует сибирячка.—Здесь мы теперь командуем.

На протоке — длинный помост пристаней, готовых принять морские пароходы. Только в самом конце порта заканчивает работу строительная организация Игарки — «Северстрой».

Ее начальник, т. Комаров, приехал на Север после окончания своей службы в Красной армии. Приехал на один год, но так здесь и остался, всей душой отдавшись новому делу.

После некоторых доделок на заводах и в порту можно не сомневаться в правильном проведении всей операции. Единственное опасение вызывает ледовое состояние Карского моря и Енисейского залива. Не исключена возможность задержки во льдах проливов первой группы морских пароходов. Тогда вторая группа нагонит ее, и обе сразу явятся в порт.

Горсовет выделил из своей среды «штаб содействия экспорту». Первая задача штаба — сплотить все распыленные участки предстоящей работы и наметить резервы на случай ломки графика прихода морских пароходов. Все предприятия Игарки обязуются выслать в случае нужды на постройку бригады рабочих под командой бригадиров.

— Но если этого будет мало?

— Позовем на помощь туруханские деревни. Они в прошлом году нам хорошо помогали...

Наступило 1 августа. «Партизан Шетинкин» пришел своевременно. Он нуждался в трехдневной стоянке, чтобы закончить кое-какой ремонт и погрузить необходимые продукты.

На «Партизане» ехал московский врач, т. Мейер. Его заинтересовали северные болезни и вообще вопрос о влиянии крайнего Севера на организм человека.

Поликлиника города могла дать ему богатый материал. В этом году цынга собрала большой урожай в тундре. Болезнь охватила главным образом прошлое население, но не избежали ее и некоторые люди из северных племен.

Общее мнение, что цынга — болезнь вполне преодолимая. Для ее предупреждения нужно создать такую культурно-бытовую обстановку, при которой меньше чувствовалось бы влияние диких условий Севера. Однако этот вопрос требует усиленного изучения со стороны научных работников Наркомздрава. Важно не только количество принимаемой пищи, но и ее качество, ассортимент...

С моря получена радиограмма, что ледокол «Ленин», найдя пролив Югорский Шар забитым льдом, отошел к Маточкину Шару. Туда же вызвали и авиаразведку.

Конечно Карской экспедиции это несколько не угрожает. Ледокол и авиация всегда проложат судам дорогу, но на проводку их уйдет несколько лишних дней, и погрузка в Игарке придется форсировать еще значительно.

Ветер попрежнему с норда. От «Пятилетки» нет никаких известий. Связь Игарки с островом Диксон недопустимо слаба.

— «Партизан» готов выходить, — сообщил 3 августа начальник северных портов т. Измайлов, он же политрук речной группы 1-й Ленской экспедиции.

— Тем лучше. Немедленно надо выходить. «Сибиряков» уже подходит к острову Диксон и там будет ждать угля.

Через час «Партизан Шетинкин» дал прощальные гудки. Его тепло и сердечно провожала большая толпа народа.

«Партизан» уходил из протоки, гулко прощаясь с встречными пароходами.

— Вам с ним прощаться не приходится. Скоро увидите, — замечает кто-то из пружпы.

— Наверное...

Но с утра густой туман окутал всю долину Енисея. Лететь «слепым» полетом не было никакого смысла. Только к вечеру погода немного прояснилась. Все сели в самолет.

— Контакт!

— Есть контакт!

Прощай, Игарка, до следующего свидания!

К острову Диксон

Широкий мутный Енисей неспокоен. Сверху виднеются белые гребни его крупных волн. На фоне серого северного неба еще более печальной и неуютной кажется тундра. Многочисленные тундровые озера в этом году даже не освободились ото льда. На них образовались лишь небольшие прибрежные полыньи. Вдали смутно выступают хребты Норильских гор.

«Вот теперь видно настоящее лицо Севера» — пишет мне записку Рыбников.

— Дальше оно будет еще характернее.

Под нами — село Дудинка, центр Таймырского национального округа. Для нас это небольшая деревушка, перевалочный пункт продуктов тундры на реку Енисей. Для местных долган, юрков — это крупнейший центр.

Дудинка не имеет перспектив. Ее сменят будущие поселения в Норильске и на реке Хатанге.

Аэроплан быстро идет все дальше и дальше на север. После Дудинки и поселка при Усть-портковском консервном заводе уже нет более или менее крупных населенных мест. Изредка встречаются лишь одинокие избышки промысловиков-охотников и рыбаков.

Мы то-и-дело проходили мимо летящих стай лебедей, гусей, уток. Сначала птицы усиленно работают крыльями, стараясь сохранить свой, веками установившийся, порядок полета. Но мы

быстро их нагоняем, и птицы в панике разлетаются в разные стороны.

Внизу виднеется стая белух. Они большим табуном гонятся за косяком рыбы. Нуждаясь в постоянном обмене воздуха, белухи одна за другой показываются на поверхности воды. Молодняк имеет серую окраску и с высоты самолета совершенно незаметен.

На берегу бухты—промысловые дома. Около них видны растянутые по берегу длинные невода, несколько выгашенных на песок лодок,—типичная северная картина.

В этом году рыбакам не повезло. Густой лед сделал недоступными косяки рыбы и охотящиеся за ними стада белух.



Бухта о Диксон

Скоро показались и льды в том месте, где в это время года их давно уже не видали. Около бухты Широкой они покрывали весь простор Енисея.

Проход для речных пароходов дальше был закрыт. Здесь сбились в одно целое суда рыбацкого каравана, суда экспедиции на реку Пясину и отдельные промысловые шхуны и боты. Головным стоял красивый, мощный теплоход «Красноярский рабочий». Его сестру, «Первую Пятилетку», поведет на Лену наша экспедиция.

Самолет делает над ними, в знак приветствия, несколько кругов. Поднимающийся около труб белый пар показывает, что суда отвечают нам свистками. Мы их не слышим.

Показался остров Вернс, легко различимый по построенному на нем характерному морскому знаку. Это четырехугольная ажурная пирамида с двумя горизонтальными и одним вертикальным щитом на вершине.

От о. Диксон нас отделяют лишь несколько минут полета. Внизу — попрежнему сплошные льды.

Скоро показываются мачты радиостанции, а потом и весь остров-порт. Он несколько возвышенный, каменистый, с неглубокими ложбинами. Здесь не один остров, а целая группа их. Берега изрезаны небольшими бухтами.

Около берега стоит посеревший от непогод дом радиостанции. Рядом видны совсем маленькие белые точки. Это —

собачьи конуры. Дальше в сторону — склад, несколько выше, на горе, — новый дом — общежитие.

Самолет летит в направлении небольшой западной бухты, где обычно происходит посадка. На этот раз здесь все забито льдом. Сделав еще несколько кругов, мы идем на посадку к одному отдаленному острову, где маленькая бухта осталась еще чистой от льдов.

Поплавок самолета ударился о прибрежную гальку. Воздушное путешествие кончено. Мы на отправной точке, соединяющей все полярные экспедиции Карского моря.

В бухте много плавника. Здесь и свежие бревна Игарки, и громадные стволы леса, подмытого и вынесенного весенней водой Енисея, и отдельные разбитые куски дерева.

Весело загорелся огонь. Чайник поставлен. Расположились по-домашнему. Теперь остается только ждать, когда подойдет к нам лодка с Диксона.

Мимо нас проплыли две белухи. Одна — белая, как снег, другая — совершенно серая. Тяжело отдуваясь, они поднялись на поверхность воды, чтобы через несколько минут опять скрыться.

— А промысловики-то наши застряли. Уйдет белуха к их приходу, — почувствовали мы рыбакам, сидящим в бухте Широкой.

Через три часа пришла за нами лодка, и мы переселились на радиостанцию.

Остров Диксон

В 1875 году здесь остановился корабль знаменитого полярного исследователя А. Норденшельда «Превен» («Попытка»). Это был период исканий пути через Карское море в устья Оби и Енисея.

Приподнятые каменистые острова образовали в этом месте защищенное от штормов пространство. Природа сама подготовила удобный порт для судов Северного морского пути.

Проливы Лена, Вега и Превен соединяют этот порт с Карским морем и Енисейским заливом.

Норденшельд писал в своем отчете: «Эта голая теперь пустыня в короткое

время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обской и Енисейской системами, но и между Европой и Северным Китаем».

С тех пор прошло больше столетия. Диксон стал обитаемым островом. Но только в этом году его порт будет впервые действительно «сборным местом множества кораблей».

Наша лодка подошла к берегу. Яростный лай неся нам навстречу. С горы неторопливо приближалась к нам группа людей. Вместе с зимовщиками там был и летный состав самолета № 2 — старые друзья по полярным путешествиям, тт. Алексеев, Побежимов и Жуков.

— Мы пленники Диксона, — заявляют они. — Льдом занесло самолет. Базы горючего тоже отрезаны. Ждем у моря погоды...

— Сидите, сидите, мы постям рады, кормить, поить будем, — успокаивают, смеясь, зимовщики.

Ничего другого не остается, как ждать. На Севере нужна не только смелость, но и выдержка.

Куча давно ожидаемых радиogramм появляется на столе. Дело складывается далеко не в нашу пользу.

«Пятилетка» сообщает: «Исключительное мелководье, частые посадки на мель задерживают движение. Принимаю все меры к скорейшему продвижению».

Пароход «А. Микоян», работающий в Обской губе, говорит о своей встрече со льдами в этом районе и указывает, что «льды ветром относятся к югу». Это неприятно. Дующий с неустанной энергией северный ветер тянет за собой льды, которые будут заполнять все пространство к югу, пока не встретится более сильное препятствие для их движения в виде встречных течений или мелей.

В Архангельске из рук вон плохо идет погрузка. «Красин» стоит в Мурманске, берет уголь.

Полны нетерпения радиogramмы от каравана, остановленного льдами в бухте Широкой:

«Радируйте возможность... Готовы к походу... Время уходит».

«Ждите... Проход невозможен».

В прошлом году в это время здесь кое-кто даже купался. А теперь... Гавань острова Диксон почти сплошь покрыта движущимися льдами, количество которых все увеличивается.

Собаки взобрались на крыши своих будок. Часть из них спит, закрыв пушистыми хвостами носы, часть сидит, наблюдая ледяное пространство. Совсем

уважения к человеку, она как бы усвоила северный закон гостеприимства. Но это только в отношении человека. Между собой они грызутся на-смерть из-за каждого пустяка. Не менее свирепо идут они и на зверя.

Мало осталось такой породы на Севере. Новые промышленники и вообще новые пришельцы Севера стали завозить сюда со всех концов всякий собачий



Собаки на о. Диксон. «Лощман».

невдалеке появляется нерпа. Она лежит на льдине, подняв круглую голову. Завыли, зарычали собаки, нетерпеливо натягивая цепи. В их глазах неутолимое желание сейчас же бежать, разорвать зверя. Нерпа быстро скрывается между льдинами. Снова тишина.

Среди собак много старых моих знакомых. Вот «Лощман», «Шторм», «Стрела». Замечательно окреп «Север» и другие, еще в прошлом году бывшие веселыми, беззаботными щенками. Их здесь около тридцати.

На Диксоне удивительно хорошо подобраны собаки. Здесь сохранилась старая кровь лучших енисейских упряжек. Они рослы, выносливы, красивы. Густая шерсть, крепкие лапы гарантируют пригодность этих животных для далеких путешествий. Злых среди них очень мало. Северная собака полна

сброд. Большинство таких собак погибает, но оставляет потомство, либо скрещенное с полярной собакой, либо более акклиматизировавшееся. Эти ублюдки уже не имеют нужных качеств.

Порода идет к упадку. Пора подумать о питомнике. Собака еще долго будет здесь нужна в изыскательских работах, не менее, чем вездеход или аэроплан. Для охоты же зимой она незаменима. Собака на Севере—это то же, что лошадь в хозяйстве совхоза или колхоза. За хорошую собаку наши полярные станции платят теперь до 500 — 700 рублей.

В доме радиостанции мало народу. Все готовятся к передаче работы новым зимовщикам. Мы отправляемся дальше вглубь острова. Спущенная с цепи «Стрела» весело бежит впереди по каме-

нистой почве. За ней увязались ее щенки.

Невдалеке от станции—полярные могилы. Вот могила промышленника, умершего здесь в 1930 году. Груда камней едва прикрывает гроб. Сверху воткнуто сломанное весло. Вот другая, уже безвестная могила. Когда-то на ней стояла мемориальная доска. Но ветер сорвал ее, осталась только тонкая деревянная штанга.

Вдали, на другом острове, могила Тессема, спутника Амундсена в его путешествии на Мод в 1918 г. Выйдя со своим товарищем Кнудсен на о. Диксон от бухты Мод около мыса Челюскина, Тессем не дошел до своей цели только нескольких километров. Еще раньше его погиб Кнудсен. Его сожженное тело нашел Бегичев в тундре, а позднее он разыскал и тело Тессема.

Рыбников садится рисовать этот печальный пейзаж.

Что влечет человека на Север? Раньше одни бежали сюда от гнета правительственных чиновников, от общей тяжелой доли русского человека. Другие искали здесь легкой добычи, промышленя звера и грабя туземцев. Еще и теперь изредка попадаются остатки их «избищ», рассеянных по всему побережью тундры. В настоящее время эти стимулы исчезли без следа.

Любовь к исследованию неисследованного, к пониманию еще непонятого, возможность широкой постановки научных проблем и охвата большими хозяйственными работами этого нетронутого пространства — вот что двигает теперь людей на Север.

В условиях оторванности и неизученности законов Арктики человек очень часто встречает здесь на своем пути много серьезных трудностей. После того как эти трудности преодолены, их называют обычно «приключениями».

Описания этих «приключений», облеченные в художественную форму, часто становятся нездоровым стимулом для поездок на Север. В большинстве случаев движимые этим стимулом люди бегут в город после первого же года пребывания на Севере, если только это-

му бегству не помешает более тяжелый конец.

С хорошей научной подготовкой должен приходиться сюда человек и с совершенно ясным представлением о том, что он хочет получить на Севере и с чем он здесь встретится.

По мере углубления работы встают новые вопросы, новые гипотезы, на которые пытливым ум и крепкая воля снова заставляют искать ответа. Так прошла жизнь Нансена, Амундсена, Скотта, Толля, Русанова и многих других славных работников Севера...

Облака как будто спустились еще ниже. Потом они коснулись самой земли. Пришел туман, частый гость этого района. Мачты радиостанции давно не видно. Отсутствие винтовки, забытой для первого раза, заставляло несколько настроенно осматриваться кругом. Не встретиться бы с белым медведем!

Но заблудиться на о. Диксон летом нельзя. Он давно уже хорошо знаком, и все его приметы очень отчетливы.

Через несколько часов мы пришли обратно в общежитие станции. В просторной, светлой комнате за длинным столом уже сидели все обитатели острова. Вместе со взрослыми тут же были две маленькие девочки. Обсуждались достоинства двух набросков т. Рыбникова — «Каменистый остров среди плывущих льдов» и «Собаки Диксона».

Оба наброска, еще не законченные, производили хорошее впечатление. Особенно «с настроением» был передан вид пустынного ледяного пространства с темными очертаниями островов вдали.

На остров приехали новые гости. Это были промышленники, зимовавшие «неподалеку» от острова, — дядя Максим Гаврюшин и Фролов с женой, самые опытные охотники и ветераны Севера.

Оба они попали сюда давно. Приехали временно, в царскую ссылку, да так и остались. Остались с ними и их жены, в совершенстве овладевшие охотничьей техникой.

Год был промысловый. Песец шел в расставленные пасти очень хорошо. Много наловили его и зимовщики Диксона. Особенно удачен промысел был у дяди



Могила полярника на о. Диксон

Максима. Однако, старик выглядел не весело.

— В чем дело, дядя Максим? По Красноярску заскучал?

— Заскучаешь! Жениться надо ехать.

— А старая жена где?

— То-то и дело — где... Замерзла старуха.

Дядя Максим с одним из своих приятелей возвращались как-то с осмотра пастей. Их жены приготовили все, чтобы накормить и согреть охотников. Но в это время послышался характерный стук упавшей пасти, поставленной неподалеку от избушки.

— «Вы ешьте и пейте, а мы посмотрим пасть» — решили женщины, да так и не вернулись... — закончил дядя Максим свой рассказ. — Как-то сразу налетела пурга. Выехали искать, — ничего не видно. Потом нашли обеих, только уже замерзшими.

— А Ловких с женой, помните, что на Пясиной зимовал? Тоже не увидите больше...

— Этому уже смерть пришла. Старость.

Хорошим промышленником был Ловких. С детства он не знал, да и не хотел знать, другого края. Один раз, скопив немного денег, попробовал он поселиться в городе, но ничего из этого не вышло. Едва год там просидел и вернулся с женой обратно. Однажды ослеп он от снежного блеска вдали от своего и чужого жилья. Долго пропадал, с'ел часть своих собак, но все-таки выбрался.

Жил он всегда обособленно от других. Поставили раз его руководителем группы молодых охотников, поселили в хорошей отдельной комнате. Ничего не вышло. Рассорился старик со своими компаньонами и ушел с женой вверх по реке Пясиной, в развалившуюся от времени избушку Бегичева.

— Как же теперь его старуха?

— Как? Вытащила мужа на улицу. Закопала пока в снегу около дома. Нет сил одной управиться. Хорошо, что с другой зимовки пришли их проведать. Теперь ждет, кому сдать песцов и зимовку. Уезжает в Красноярск.

Завязался оживленный разговор. Пошли воспоминания о прошлых годах, о прошедшей зимовке, о будущих планах.

— На курорт нынче едем, — решительно заявляли дядя Максим и Фроловы. — Надо же посмотреть, как солнце светит...



Северный Ледовитый океан никогда не бывает свободен от льдов. Точно так же никогда, ни в какое время года, не бывает он скован неподвижным льдом на всем своем пространстве. Под влиянием ветров и течений льды разламываются и перемещаются в разных направлениях. При этом в одних местах образуются полосы чистой воды или разреженного льда, в других льды плотно сжимаются, давая большие ледяные нагромождения, перед которыми часто вынужден отступать даже самый сильный ледокол.

Понимание законов образования, сохранения и перемещения льдов совершенно необходимо для овладения Северным Ледовитым океаном.

Атлантический океан дает знаменитое теплое течение «Гольфштрем». Оно идет из Мексиканского залива через Флоридский пролив на север со скоростью 3 метров в секунду параллельно восточному берегу Северной Америки. Западношпицбергенским течением оно впадает в Полярный бассейн, уходя в его глубины. Другая его ветвь — Нордкапское течение — впадает в Баренцево море, обуславливая возможность круглогодичной навигации около Мурманского берега.

Северный Ледовитый океан дает начало холодному Гренландскому течению. Оно приносит в Атлантический океан холодные массы воды, ледяные поля и айсберги.

Громадные потоки пресной воды, вливающейся в Полярный бассейн из рек азиатского Севера, создают новые течения. Распресняя морскую воду и обладая повышенной температурой, они становятся новым, весьма активным фактором перемещения и разрушения льдов.

Регулярные приливо-отливные течения также оказывают влияние на эти процессы.

Холодные и теплые водные потоки непрерывно получают и отдают свою температуру воздуху, образуя мощные воздушные течения. Последние, проносясь над Ледовитым океаном, в свою очередь создают там новые поверхностные течения, по воле которых движутся льды.

Метеорологи на самых разнообразных точках земного шара ежедневно отмечают давление, температуру, направление и силу ветра. Гидрологи следят за изменением температуры и солености воды на разных глубинах, определяют направление течений и т. д.

Один из отрядов армии метеорологов находится на о. Диксон. Четыре раза в день сообщает он штабу, какие силы атакуют сейчас этот пустынный остров. Штаб на основе сообщений, полученных с самых разнообразных точек земного шара, делает выводы о том, какие силы в недалеком будущем придут в район о. Диксон и всего Карского моря.

Для навигации 1933 г. предсказания были крайне неутешительны. Ожидалось позднее открытие навигации и ранее наступление зимы.

Ветры северных румбов поджимали льды с севера к о. Диксон и к берегам Таймырского полуострова. Отрицательные температуры воздуха и воды содействовали сохранению льдов.

Ничего похожего на условия навигации 1932 г. Тогда средние температуры колебались здесь в августе от $+3^{\circ}$ до $+13^{\circ}$. В эту же навигацию (1933 г.) они колебались в пределах от 1° до -3° .

Небольшой пароходик Гидрографического управления «Циркуль» пробился через льды Енисейского залива и ушел на разведку в море к о. Расторгуева.

— Нет вам ходу. Остров еще во льдах, — сообщил приехавший с реки Пясиной промышленник. То же подтвердил и вернувшийся с разведки «Циркуль».

Ветер несколько ослаб. Через северные проливы лед из Енисейского залива начал уходить в море. Стоял час отлива. Бухта зачернела открытыми пространствами воды.

«Немедленно выходите!» — говорила радиопрамма-молния каравану судов, стоявших в бухте Широкой.

«Есть» — лаконически ответили «Красноярский рабочий» и «Партизан Щетинкин».

Со стороны моря в порт входил ледокольный пароход «Сибиряков». Для него льды — привычная дорога, а остров Диксон — удобное и знакомое место отдыха. Отсюда он в прошлом году вышел в свой исторический поход, открывая сквозной Северный морской путь.

Им командовал молодой, но уже с большим опытом капитан Хлебников. Протяжным гудком «Сибиряков» приветствует порт Севера — о. Диксон.

— Просит угля, — сообщил радист.

— Пусть идет навстречу «Партизану». Это ускорит дело и поможет каравану.

«Сибиряков» ушел в Енисейский залив.

«Володарский», «Сталин» и «Правда» известили о своем выходе из Архангельска. Они вышли со значительным опозданием. Видимо, никто в Архангельске не отдавал себе отчета в том, как дорог каждый день в Арктике. Конечно, в этом году небрежность архангельских работников в подготовке экспедиции не имела особо дурных последствий. Нам все равно нельзя было бы отсюда двигаться. Но такая постановка дела при отправке арктических экспедиций недопустима и преступна.

Пора произвести авиационную разведку на восток. Экспедиция должна иметь развернутую карту расположения льдов в этом районе. Нельзя бро-

сать во льды караван судов, не составив предварительно представления о возможной ледовой картине и не проверив ее разведкой. Отдельные пароходы типа «Сибирякова» могут вырваться из ледяных объятий. Караван же лесовозов будет там бессилён.

Самолет попрежнему стоял затертый льдами в небольшой бухточке. На

массы ледяных полей за мысами и островами.

Диксон начал оживать. С разных концов слышался грохот якорных цепей, шум моторов, перекличка через рупор. По воде засновали лодки.

От «Красноярского рабочего» отделился катер, подошел к «Леснику» и, забрав людей, двинулся к заливу. Там



Радиостанция о. Диксон

этот раз северная природа оказалась сильнее нас. Приходилось ждать. Ждать, когда так дорог был каждый час!

Гудок парохода известил о прибытии в Диксон давно ожидаемого каравана судов из бухты Широкой. Впереди шел «Красноярский рабочий» с длинной вереницей барж. За ним следом появились «Партизан Щетинкин» с угляркой, небольшой пароходик «Лесник», промысловые боты и суда гидрографической партии. «Сибиряков» взял уголь с «Партизана» и, не заходя в порт, ушел в Карское море для производства научных работ.

Пришедшие суда стали на якорь, по возможности укрывшись от оставшейся

были т. Иголкин — начальник экспедиции на реку Пясино, капитан «Красноярского рабочего» т. Лиханский и капитан Добровольский — начальник рыбопромыслового флота.

Мало кто слышал про экспедицию в залив Гыдо-Ямо на неизвестную реку Юрибей, про походы небольших ботов к шхерам Миинина и т. д. Мало знают и про экспедицию на реку Пясино. Между тем экспедиции эти требуют от их участников большого напряжения сил, самоотверженности и героизма.

Жизнь и работа закалили этих людей. Они уже позабыли про так называемые «особые условия» Арктики. Как часто, при обсуждении какого-нибудь смелого

проекта, приходилось слышать от них недоуменный вопрос:

— А что же тут особенного?

Теперь они стояли на берегу, здороваясь со старыми знакомыми из окрестных зимовок.

— Запоздали из-за проклятого льда с промыслом! — горевал Добровольский.

— Мы вам давно говорим: дайте побольше на поселение здесь, тогда будете с рыбой, — прервал подошедший рыбак. — А то вместо того, чтобы дать нам возможность рыбу ловить, нас возят взад и вперед. Мы еще до промысла не доехали, а через две-три недели пора и заворачивать. Вот и вся работа.

Рыбаки говорят дело. Необходимо отпустить средства на заселение низовий Енисея рыбаками.

Тов. Иголкин уже третий год идет на реку Пясину. В первый год его экспедиция искала проход для речных судов через мелководный бар реки. Поход был удачен только наполовину. Непрерывные штормы не давали работать. В конце концов экспедиционный бот «Дельту» выкинуло на берег.

На второй год бар был пройден и нанесен на карту. Суда поднялись немного вверх по этой исторической, но забытой реке и вернулись обратно. Одновременно экспедиция обследовала рыбные богатства Пясины, послав ихтиолога Пирожникова сухим путем от Дудинки на верховья реки. Осенью обе части экспедиции соединились и ушли через море и Енисей в Красноярск.

Теперь туда шел целый караван. Пароход «Лесник» и сильный катер «Грузчик» являлись пионерами будущего пясинского речного флота. Они вели за собой пять барж и три паузка.

Как жалко выглядят эти посудинки на просторе Диксонского морского порта! Первая же волна разбушевавшегося Енисея, несомненно, будет для них роковой. Это типичные плоскодонные речные суда. Между тем от Диксона им надо еще идти открытым морем, пока они не войдут в спасительные берега реки Пясины.

— Здравствуйте, товарищи! — послышался новый голос.

Это подошел промышленник Рагозинский, едущий на Пясику с первой партией поселенцев.

Сухой, рослый, с обветренным лицом, он — патриот этой реки. Не одну зиму провел он там, промышляя песца и рыбу и попугну ведя научную работу.

— Льды, видать, нас не скоро пустят. Я бы высадил пару своих ребят на берег. Надо лодки поконопатить, да и собак проветрить. На барже не развернешься с этим добром.

— Куда твою баржу поставить? Действуй! — соглашается Иголкин.

«Лесник» подвел баржу к указанному Рагозинским месту. Скоро берег стал неузнаваем. Загорелись костры, над которыми согревались чайники и котелки разных размеров. Лаяли и выли десятки собак. Забегали на просторе детишки. Выросли «жилица» — что-то среднее между северным чумом и русским шалашом. Женщины, типичные крепкие сибирячки, таскались с узлами, на ходу переругиваясь между собою.

На другой барже внимание привлекает одна семья: молодая черноволосая женщина с маленьким ребенком на руках, около нее мужчина с лицом провинциального артиста или учителя.

— Это тоже зимовщики, — объясняет капитан Добровольский. — Едут на шхеры Минина.

Зимовка в шхерах Минина — одна из наиболее серьезных зимовок. Там зимовали один год два брата Колосовы, промышленники из Архангельска. Затем они ушли оттуда.

Местность совершенно неизученная, оторванная на весь год, до навигации, от всех остальных зимовок. Оставаясь там, можно полагаться только на свои силы, на свое уменье.

— Почему вы хотите туда ехать? — задаю я вопрос подошедшему к нам в это время мужчине.

— Моя фамилия Бриф. Я уже зимовал на Юрибее. Там у меня плохо вышло...

Я отправляюсь ознакомиться с его снаряжением. Передовая собака — неплохая. Остальные — вислоухая мелкая дрянь. Впрочем, у Рагозинского они не

лучше. Для новых промышленников хороших собак нехватает.

Лодка — не мореходная. Одежда, сапоги, продовольствие, рыбацкая снасть — все производит впечатление случайно подобранного имущества.

— Сколько же вас человек туда едет?

— Жена, она тоже промышленник. И вот эти двое товарищей.

На мешках сидят два крепких, рослых парня. Из них могут получиться про-

все ее снаряжение. А самое лучшее — присоединить ее к группе других промышленников.

Что потянуло этих типичных выходцев из мелких разночинцев на далекий Север? Длинный рубль? Вольная жизнь? Неудача в прошлом? Поиски приключений? Или что-либо другое? Трудно отгадать при коротком знакомстве.

Надежды таких людей обычно разби-



Промышленник Бриф с семьей

мышленники, но сейчас это совсем сырой материал.

— Мы впервой на Север!..

— У нас две винтовки на четырех человек, — заявляет Бриф. — Нельзя ли здесь раздобыть?

Молодая женщина выглядит энергичной и уверенной.

— Вы за нас не беспокойтесь, мы уже давно зимуем, — говорит она.

— А ребенок?

— Он родился на Севере и будет северянином. Мы и имя ему дали «Самрико» — волчонок...

Самрико — милый, крепкий ребенок — настроен очень весело. Он заразительно хохочет, ухватив за хвост одну из собак.

Безусловно, эту семью нельзя пускать на шхеры, не переменяв и не дополнив

ваются очень быстро в первые же годы работы. Только часть их становится хорошими промышленниками и переходит в разряд северян.

Бриф не попал на шхеры. Пополнить его снаряжение не удалось. Он уехал на реку Пясину, на более простую зимовку.

Эта поездка была для него последней. В полярную ночь он ушел на собаках в тундру для осмотра пастей. Прошло время, издрогшие собаки вернулись одни, без хозяина и без передовика. Несколькими днями спустя пришел и передовик.

Брифа промышленники нашли замерзшим в снежной яме, где, видимо, он отсиживался, оставив почему-то упряжку и взяв с собой только передовика.

Так рассказала мне его жена, когда я вновь с ней встретился на Диксоне, возвращаясь с зимовки ленских пароходов.

— Вы нас тогда сфотографировали. Нельзя ли получить карточку на память. Нам с ним сильно не везло...



Наступило 10 августа. Погода не изменялась. Нордовые ветры переменной силы попрежнему гнали льды с севера к Диксону и берегам Таймырского полуострова. Однако льдов все-таки стало меньше.

Карские пароходы уже прошли через Маточкин Шар. Теперь ледокол «Ленин», энергично разбивая сплошные льды, прокладывает судам дорогу в Игарку, за экспортным лесом.

Подшли туда «Красия», «Челюскин», «Володарский», «Сталин» и «Правда». Теплоход «Пятилетка» с двумя лихтерами на буксире в это время пробивался через льды Обской губы.

«Прошу осветить ледовое положение Обской губы и далее до Диксона» — радировал капитан Модзалевский. Но аэроплан попрежнему стоял в бухте за плотной стеной льдов.

Встречные льды задерживали движение «Пятилетки». Торопясь доставить уголь, она оставила один лихтер у острова Шокальского, а с другим пошла дальше.

Вскоре встретился почти сплошной крупно-мелко-битый лед до 9—10 баллов. Сильная «Пятилетка» раздвинула его. Искусное командование сохранило корпус судна, отделавшегося только вмятинами.

Дальше шел разреженный лед. Шторм в 6 баллов подбрасывал на волнах крупные льдины. Каждый удар о борт судна грозил проломом корпуса.

Умелое маневрирование помогло избежать и этой опасности. Но продвижение «Пятилетки» замедлилось. Давно прошли плановые сроки прихода и отхода Ленской экспедиции. Льды упорно задерживали ее морскую и речную группы.

Только 18 августа вошли в порт Диксон морские пароходы. Они выдержали

тяжелый бой со льдами Карского моря. Пароход «Сталин» уже имел в форпике две большие пробоины. Между тем основная тяжесть похода была впереди.

Через день пришли сюда ледокольные пароходы «Русанов» и «Седов». 20 августа вошла в порт «Пятилетка».

Предсказание Норденшельда исполнилось. В гавани Диксон скопилось действительно множество пароходов самых разнообразных типов. Они шли на восток Ледовитого океана.

Легко и грациозно покачивались на зыби волн шхуны. Их стройные мачты, узкое, острое оформление носа, светло-серая окраска бортов придавали им вид выходцев из того века, когда еще не было и в помине ни пара, ни электричества.

Прекрасное впечатление производит «Русанов» — родной брат «Сибирякова». Выгнутый узкий корпус, сильная машина делают его ловким, поворотливым судном. Он вошел в Диксон, легко скользя по поверхности гавани, не считаясь со скоплением льдов. Под его ударами метровые льдины быстро отходили в стороны, рассыпаясь на мелкие части.

Ленские пароходы являются здесь самыми большими рабочими судами. Они также по-своему красивы. Стремление к наибольшей грузоподъемности, уменьшению себестоимости перевозок, удобству погрузки и т. д. продиктовало очертания их корпусов.

Однако для льдов ленские пароходы недостаточно хорошие суда. Тупое образование носа и сравнительно слабые машины приводят к частому застреванию этих судов во льдах. Без ледокола они не могут работать в арктических морях.

Как хорошо отделанные игрушки, выглядят теплоходы «Пятилетка» и «Красноярский рабочий». Они построены по последнему слову техники. Все здесь приспособлено к сильной работе, все сделано для удобства работающего на них человека.

Среди всех этих судов совсем потерялись маленькие баржи Пясинской экспедиции.

Пароходы становятся под бункеровку угля около лихтеров. Неподвижно стоит

на своем месте лишь пароход «Сталин». Едем туда. Капитан лежит в постели.

— Почему не бункеруетесь? Вам уголь нужен? До Лены его негде взять...

— Конечно, нужен, — отвечает капитан. — Только пусть мне подведут лихтер, а сам я не пойду...

Я удивлен поведением этого «морского волка».

— Почему?

— Да не везет мне на этом пароходе. В Шпицберген ходил — на камни сел. Здесь форпик пробил. Другие не пробили, а я пробил. Пойду к лихтеру — еще на мель сяду.

Бывают положения, когда выгоднее итти на уступки. Потеря уверенности — верный залог неудачи. Пароход «Правда» подвел лихтер к борту «Сталина».

Наилучшее впечатление производит «Володарский». На нем удивительно дружный и спаянный коллектив. Это все архангельцы, с детства привыкшие к работе во льдах. Товарищеские отношения прекрасно сочетаются с крепкой дисциплиной. Капитан Смагин и его старший помощник Никифоров создали эту обстановку. Работа здесь кипит.

На «Правде» едет начальник экспедиции на Хатангу — старый полярник, геолог т. Урванцев. Цель экспедиции — разведка нефти на побережье около бухты Нордвик.

К своему удивлению, я нахожу т. Урванцева в самой темной каюте внизу парохода.

— Почему вы здесь поместились?

— А ну их! Не стоит связываться. Совсем не северный народ.

— Но здесь нам не развернуть даже карты...

— Поедемте тогда к вам. Там обо всем и договоримся. Или поедем на «Русанова». Мы с ним пойдем до бухты Прончищевой.

«Русанов» стоит неподалеку. Моторная лодка экспедиции быстро перебрасывает нас к нему.

Капитан «Русанова» Ерохин и его старший помощник Храмцов сидели над картами, обсуждая варианты похода. По работе на Севере мы давно знаем друг друга, но лично никогда не виделись.

— Борис Иванович, пришли к вам потолковать о походе на Хатангу. Вместе пойдем, — начинает Урванцев.

— За этим делом вы нас и застали, — отвечает Ерохин, радушно здороваясь.

Мы отмечаем на разложенной карте скопление льдов, уже нащупанные пришедшими сюда пароходами. Аэроплан вылететь на разведку еще не мог. Нам надо наметить вариант пути в значительной степени на основе предположений.

Вопрос о выборе направления — наиболее трудный вопрос экспедиции. От правильного учета положения льдов под влиянием ветров и течений зависит почти весь успех экспедиции. Но здесь слишком мало исследованы течения, рельеф дна, неверны и многие очертания берегов, нанесенные на карту.

Мощное атлантическое течение — Гольфштрем — вливается в Ледовитый океан, заполняя его более тяжелой и теплой водой, чем воды Ледовитого океана. Материк со своими многочисленными реками и массой снегов посылает туда громадное количество пресной, более легкой воды.

Север в своем труде по океанографии Северного ледовитого океана исчисляет это количество воды громадной цифрой в 3.480 куб. километров в год. Деля всю эту массу на все пространство между берегами Сибири и полюсом от 65° и 165° в. д., он определяет толщину распресненного поверхностного течения в 1.276 метров.

Накопление с одной стороны воды Атлантического океана, а с другой пресной воды Европейского материка способствует разрушению льдов в этом районе и создает сточное поверхностное течение на север, к берегам Гренландии. Благодаря этому течению льды отжимаются от берегов в этом направлении.

Конечно, в действительности картина несколько изменяется. Ее поправляют рельеф местности, направление господствующих ветров и другие факторы.

В походе на Лену необходимо учитывать мощное Обь-Енисейское течение, течение реки Таймыр и других рек

Таймырского полуострова, таяние снегов и, наконец, влияние ветров.

Первые факторы способствуют отжиманию льдов. Последний, при наличии ветра нордовых румбов, напротив, прижимает их к берегам. Перевес того или другого фактора определяется соотношением сил. Но в конце августа сила ветра была незначительна. Это дает шансы, что между берегами и пловучими льдами будет разреженное от льдов пространство.

Для каждого моряка всегда приятнее идти вдали от берегов. Это гарантирует его от посадок на банки, которые здесь совсем не исследованы. Однако на этот раз идти дальше в море невозможно. Северный ветер, отрицательная температура воды и воздуха несомненно дадут там большое скопление льдов. Это подтверждает и встреча с ними морских судов в Карском море между Новой Землей и о. Диксон.

— На этот раз надо держаться вблизи берегов. Тем более, что это историческая дорога всех судов, когда-либо шедших на восток, — таков был вывод после обсуждения вариантов пути.

— А от Челюскина до Хатанги пойдем или все вместе, или двумя судами. Я пойду впереди «Правды». «Русанов» там пробьется через лед, — заканчивает капитан.

Состояние его парохода прекрасное. Команда, уже не раз бывавшая в экспедиционных походах, смотрит и на этот поход бодро и уверенно.

— На «Сталине» команда тоже хорошая. Есть немного случайных попутчиков. Но в общем, при хорошем управлении, все будет хорошо... «Правды» не знаю. Там больше ленинградцы, со льдами не знакомы, — продолжает капитан Ерохин. — Впрочем, в кильватер пойдет и она.

День и ночь гремят лебедки, поднимающая и опускающая тяжелые кадки с углем. Всем понятно, что успех экспедиции зависит теперь от каждого выигранного дня. «Сталин» попутно цементирует свои пробойны. Однако из-за этого у нас пропадают два лишних дня.

В это время полоса льда, запершая самолет в бухте, значительно уменьши-

лась. Два катера отбуксировали часть льдин из бухты и вывели самолет. Он немедленно вылетел на разведку на восток, к мысу Челюскина.



— Думаем идти, — заявил мне на другой день т. Иголкин, входя вместе с капитанами Добровольским и Лиханским. — Нам тоже путь не маленький. Все грузы надо довести самое близкое до р. Дудыпты, иначе тундра совсем остается неснабженной.

Пяси́на — историческая река. Мангазейские казаки и промышленники проникли сюда еще в 1610 году и наложили ясак на местные племена — «пясинскую самоядь».

На старинных картах река называется «Пясида», позднее — «Пясинга» и наконец — «Пяси́на».

Участник Великой северной экспедиции, штурман Минин, в 1783 г. проник в ее устье и поднялся до острова Чаек. На карте 1845 г. от мыса Северо-Восточного на Енисее до устья Пясины показано 9 зимовий. Такие же зимовья были и в ее верховьях.

Несколько позднее поселенцы исчезли отсюда по неизвестным причинам. Теперь встречаются в этих местах только развалины их построек.

Работами Комсеверпути Пяси́на была вновь исследована как в транспортном отношении, так и в отношении ее рыбных и пушных богатств.

Обнаружение геологом Урванцевым богатого месторождения угля и других ценных ископаемых в районе Норильска заставило форсировать работы по созданию транспорта для перевозки по Пяси́не необходимых грузов. Этого же требовали и интересы Хатанго-Авамской тундры.

Теперь т. Иголкин на своем речном караване вез эти грузы, предполагая подняться по р. Пяси́не до ее притока р. Дудыпты, где и основать первое зимовье.

В устьях реки должен был остаться промышленник Рагозинский с первой группой поселенцев — рыбаков и охотников.

Так начиналось заселение этой необжитой реки.

— Наши водники теперь стали богаче еще на одну реку в тысячу километров. Да и рыбы здесь побольше, чем в Енисее, — улыбается Добровольский.

— Завтра с утра и двинемся, как только немного ветер спадет. На баржах переплывать море потруднее, чем на морских пароходах...

Промышленники уже грузили свое имущество на баржи экспедиции. Исчезли палатки, потухли костры. Подняты были и рыбацкие лодки. На голых камнях, дрожа от холодной сырости, оставались одни собаки, привязанные ремнями и веревками к валяющемуся плавнику.

Аэроплан в это время вернулся с разведки. Ему не удалось долететь до Челюскина. Помешал туман. Однако он принес ценные сведения о расположении льдов до островов Тилло. Вдоль берега тянулась узкая полоса открытой воды. Она прерывалась большими перемычками в районе этих островов и островов Скотт-Гансена.

Наши выводы в беседе с капитаном Ерохиным оказались верными. До отхода судов можно будет повторить разведку.

Наступило 23 августа. Пароходы заканчивали прием последних кадок угля. К вечеру должны были закончиться и работы на пароходе «Сталин» по заделке шпобин. Ледокол «Красин» ждал каравана, стоя около острова, не заходя в порт. Все было готово.

Было отдано распоряжение приготовиться к выходу утром 24 августа.

Вечером в кают-компании собралось совещание капитанов всех судов, идущих на восток.

— Можно идти к Челюскину, держась севернее о. Уединения. Это первый вариант. Можно идти, оставляя по правому борту находящиеся в этом районе другие, более близкие к берегу острова. Это второй вариант. И наконец можно идти между берегом Таймыра и

островами. Ваше мнение, товарищи капитаны?

— Надо идти к северу. Дальше от берега пароходы будут в безопасности от банок и подводных камней. Ближе к берегу нас зажмут льды, как только пойдут сильные норд-вестовые ветры, — говорила одна часть собравшихся.

— Прибрежный путь больше испытан. К северу пройти нельзя. Там льды в 8—10 баллов, — говорят другие.

— Прибрежный путь, — подтверждает большинство.

— Прибрежный путь, — подтверждают и сибиряковцы, вернувшиеся в это время из льдов Севера.

Самолет вернулся с разведки. Пилот Алексеев излагает свою точку зрения, по привычке часто употребляя слово «хозяйство». У него все — «хозяйство»: его самолет — «хозяйство», пароходы — «хозяйство», лед — тоже «хозяйство».

— Этого «хозяйства» на Севере столько, что нам не протолкаться до будущего года... Попржнему вдоль берега идут полыньи воды... Есть перемычки у Скотт-Гансена и Тилло. Своим «хозяйством» вы его пробьете. А вот у архипелага Норденшельда дело плохо. В самом архипелаге — невзломанный лед...

Картина становится вполне ясной. Наши теоретические расчеты еще раз подтверждаются летной разведкой. Мы все пойдем прибрежной полосой, по глубинам, достаточным для глубоко сидящего «Красина». Архипелаг придется форсировать ледоколом, если льды к моменту нашего прохода не будут взломаны и отжаты от берегов.

Устанавливается порядок движения судов. Головным идет «Красин», последними — «Русанов» и «Володарский». Между ними встают остальные суда... «Сибиряков» также решил присоединиться к каравану Ленской экспедиции.

— А как речная группа? — спрашивает капитан Модзалевский.

— Вам надо остаться на Диксоне, ждать перемены ветра. У вас еще есть запас времени. Вам надо только дойти до реки Лены. Обратного похода нет. При этом положении льда речные суда обречены на гибель...

— Это я и хотел предложить, — говорит капитан. — Мы уже попробовали льда. Корпус «Пятилетки» толщиной в 6 мм., а «Партизана» еще меньше. Надо ждать, когда от архипелага ветер отожмет льды...

Совещание расходится, приняв решение по всем пунктам.

Полярный день приближался к концу. Ночи еще не было, но в часы, положенные для ночи, уже появлялись сумерки.

Через гавань следовал караван пясинцев, вытянувшись длинной линией. Головным — «Красноярский рабочий». Он вошел в один из северных проливов Диксона и исчез за крутым поворотом, держа курс на восток.

Порт Диксон начал терять свое оживление. Завтра поднимется наш караван. Тогда только редкие рыбацкие суда будут бороздить воды порта. Жизнь войдет в свою обычную колею. Напряженно будет работать радиостанция, связывая нас с остальным миром.

От острова Диксон к мысу Челюскина

24 августа. Ледокол «Красин» стоит в двухчасовой готовности. Наше место $73^{\circ}28'$ с. ш., $80^{\circ}29'$ в. д. Температура воздуха $+2,2^{\circ}$, воды $+2,1^{\circ}$. Ветер NO, два балла. Вблизи виден о. Диксон. Он резко выделяется своими темными каменистыми берегами среди ровных пространств моря. Низко нависли густые серые облака, окрашивая воду в такой же серый с желтоватым оттенком цвет. Отдельные белые льдины проплывают мимо ледокола.

К борту подошел «Партизан Щетинкин». Он принимает с «Красина» угольные кадки и желоба для передачи их угольной базе Диксона. За ним пришвартовалась шхуна «Белуха». Она идет для производства гидрографических работ в нашем же направлении — на восток. Это — бывшая «Хобби», которая не так давно участвовала в розысках экспедиции Нобиле. Затем она перешла во владение Союза, приняв новое имя, характеризующее ее как зверобойное судно. В этом году «Белуха» превратилась в научное судно.

Караван судов Ленской экспедиции по радио сообщает о своей готовности к отходу.

«Партизан Щетинкин» и «Белуха» уходят с прощальными свистками.

В 23 часа 35 минут начали работать машины «Красина». Ледокол двинулся вперед на северо-восток. За ним вытянулись в стройную кильватерную линию пароходы «Тов. Сталин», «Правда», «Русанов», «Володарский» и «Сибиряков».

Такое построение каравана не случайно. Самый легкий путь для пароходов во льдах — путь непосредственно за ледоколом. За ним должны следовать наиболее слабые суда.

Наиболее тяжелая работа ложится на последние суда. Им приходится проходить уже не широкой дорогой, проложенной ледоколом, но суженным каналом, пересекаемым отдельными льдинами. Раздвинутые и разбитые ледоколом льды быстро смыкаются после его прохода.

«Русанов» идет позади «Тов. Сталина» и «Правды». Он должен освобождать их от сжимающихся полей льда, если они не в состоянии будут сами пробиться. Ту же роль должен выполнять «Сибиряков» в отношении «Володарского».

Кругом чистая вода с плывущими на ней отдельными льдинами. Обстановка благоприятная.

26 августа. Льды заметно увеличились в своем количестве и начинают оказывать сопротивление продвигающемуся каравану. Временами «Красин» идет переменными курсами, по возможности обходя большие скопления ледяных массивов.

Здесь нет айсбергов, которые так любят изображать многие художники, не видевшие Арктики. Ледяные горы — айсберги — не возникают в море. Их образуют ледники Гренландии, Земли Франца-Иосифа, отчасти Северной Земли. Ледяные нагромождения в море создаются лишь в результате большого сжатия льдов и выжимания их на поверхность стоячих или плывучих льдов.

Наш караван, повидимому, скоро должен войти в еще более тяжелые льды. Об этом говорит вся окружающая обстановка и виднеющееся вдали ледяное небо.

Температура воздуха — $1,2^{\circ}$, воды — $2,2^{\circ}$. Полосами проходит туман, иногда совершенно скрывая идущий сзади караван. Тогда «Красин» протяжным гудком дает знать о своем направлении. Следующие за ним пароходы, один за другим, в порядке построенной колонны, отвечают ему такими же гудками.

Ледокол все чаще и чаще налетает на двухметровые льдины. Иногда их сопротивление настолько сильно, что судно при ударе об них отбрасывается в сторону от своего прямого курса.

Туман и лед объединились в одном усилии — остановить дерзких пришельцев в их вековое царство, уничтожить или заставить возвратиться обратно.

Чем гуще туман и лед, тем чаще переговариваются между собой пароходы. Кажется, что в этой непроницаемой и легкой мгле плывут громадные живые существа, одаренные волей и разумом. Их язык своеобразен, но понятен для всех нас.

— Следуйте за мной... — гудит ледокол.

— Иду... — отвечает быстро «Тов. Сталин».

— Иду... — слышен замедленный голос «Правды».

— Иду-у-у... — доносятся издали приглушенные гудки «Володарского» и «Сибирякова».

В четыре часа плотный туман настолько охватил караван, что выбор дороги стал невозможен. Ледяные поля при таком тумане непроходимы. «Красин» дал новый сигнал: «Остановиться». Стали на «ледяной якорь», — каждый пароход пришвартовался к большой льдине и дрейфует теперь вместе с ней.

Можно идти в тумане, когда нет сплошного льда. Можно пробиваться через сплошные льды, когда нет тумана. Но нельзя двигаться вперед, когда обе эти силы арктической природы соединяются вместе. Тогда они непреодолимы.

Через два часа туман приподнялся. Гудок «Красина» снова зовет следовать дальше. Счисление показывает, что мы на траверсе о. Скотт-Гансена.

Кругом лед 8 — 9 баллов с редкими разводьями и полыньями. Нет возможности лавировать между ними. Ледокол бьет своим могучим корпусом встречные поля, прокладывая дорогу. Иногда он не в состоянии разбить их, и тогда наползает на них всем своим корпусом. Выдержать вес ледокола не может даже двухметровый лед. Он раскалывается на части, и «Красин» тяжело опускается на воду.

Но то, что под силу «Красину», не под силу идущим сзади лесовозам.

«Володарский» просит помощи. Ему особенно трудно пробиваться, так как проложенный «Красиным» канал ко времени подхода лесовоза успевает уже снова почти закрыться теснящимися льдами. Идущий сзади «Сибиряков» не в состоянии освободить «Володарского». Остановив караван, ледокол возвращается обратно и обкалывает зажатый лесовоз.

Через несколько часов суда снова вошли в тяжелый битый лед. Лесовозы были бессильны следовать дальше за ледоколом. То один, то другой из них застревал во льду и требовал помощи.

Оставив караван на «ледяном якоре», «Красин» ушел на разведку. Вокруг виднелось сплошное ледяное пространство с приподнимающимися торосами. Путь был непроходим. Караван повернул назад — на юго-запад.

Ленская экспедиция вынуждена была отступить на этот раз, как отступает армия, ища более уязвимое место противника. В своем отступлении экспедиция потеряла по широте $10'$, по долготе $14'$.

В конце дня наши потери при отступлении несколько уменьшились. Караван достиг $75^{\circ}40'$ с. ш. и $88^{\circ}01'$ в. д., дотядя до района островов Тилло.

Снова налетел густой туман. Дан сигнал остановиться до улучшения видимости.

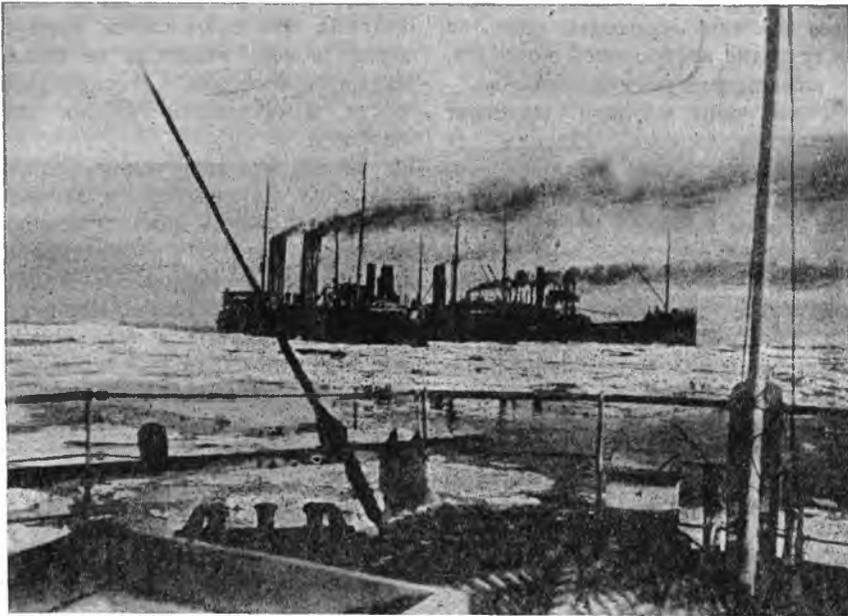
27 августа. Начали падать снежинки — спокойно, ровно, но с какой-

то неумолимой настойчивостью. Шум похода замолк. Кругом сыро и холодно. Опустела и палуба ледокола. Все разошлись по каютам. Только закутанные фигуры вахтенных неподвижно стоят на своих местах. Мертвая тишина в мертвом, матовом свете.

Палуба побелела от слоя выпавшего снега. Отчасти побелели и борта. Суда

Сбросили даже одну собаку. Одна группа взгромоздилась на ближайшую стамуху. Фотографы, несмотря на слабое освещение, защелкали затворами, торопясь заснять «эффектные полярные виды».

К борту ледокола подошли по льду русановцы. Это охотники, едущие в бухту Прончищевой, на восточный берег



На «ледяном якоре»

принимают постепенно привычный на Севере цвет снега и льда.

Эластичный туман тысячами неотражимых и непобедимых щупальцев охватывает все на своем пути. Легкий северный ветер двигает его вперед. Иногда, как бы играя с нами, туман чуть-чуть рассеивается. Тогда становятся видными все наши суда. Они прижались около своих льдин, словно замершие в неподвижном покое.

Может ли помочь здесь аэроплан? Конечно, нет! Нам остается только ждать, вооружившись терпением.

Наступление дня не принесло улучшения. Попрежнему двигаться нельзя. Видимость несколько улучшилась, но ее горизонт не более 200 саженей. Часть людей соскочила с пароходов на лед.

Таймырского полуострова. Их начальник — известный полярный охотник г. Журавлев. С ним три его товарища и несколько ребят.

— Ну что же, скоро пойдем?.. А то и посмотреть Мишку можно. Недалеко видны его следы... У нас 70 собак на довольствии.

Вместе с охотниками мы отправляемся к остальным пароходам. На ледяном поле — широкие следы медведя. Но дальше они теряются. Медведь ходил по этому полю, когда оно стояло в другом месте. К нашей стоянке, куда его принесло, Мишка не забирался.

Чем дальше стоим, тем оживленнее становится движение на льдинах. Любители футбола уже готовятся к бою...

Капитан Ерохин с мостика «Русанова» старается рассмотреть что-то сквозь густую пелену тумана.

— Ничего не увидишь... Пойдем лучше в каюту... Там потеплее...

В каюте Ерохина большая хорошо подобранная библиотека.

— У капитана дом на корабле, а на берег к семье приезжаем в гости... — улыбается Ерохин. — Здесь и почитываем в такое время, как сейчас...

Вскоре появилась плотная фигура тов. Смагина — капитана парохода «Володарский».

— Ерохин, ты чего пресной водой не запасешься? Я уже накачал со льдины во все танки...

— Я уже тоже это сделал. Все в порядке.

Эти два ледовых капитана не испытывали никакого беспокойства среди теснящихся льдов.

— Бывает, что и на четверо суток станем... Поднимется туман — и пойдем.

Утешение слабое. Нам дорог каждый час. Отрицательная температура воздуха и особенно воды говорит о возможности быстрого смерзания в одно целое разреженных пока ледяных масс. Тогда проход каравану будет закрыт. Тогда самая идея продвижения морских пароходов на восток будет скомпрометирована. Тогда сорвется снабжение Якутской республики.

Мы снова спускаемся по шторм-трапу на лед. Дрейфа нет никакого. Видимо, льды имеют здесь какую-то точку опоры. Если ее дают острова Тилло с их припаем, значит, место нашей стоянки нанесено верно. Но, пока не выглянет солнце, проверить это нельзя.

Только к вечеру погода несколько прояснилась. Невдалеке отчетливо вырисовался ряд приподнятых каменистых островов, лишенных всякой растительности. Около каждого острова невзломанный припай. За ним сплошное пространство пловучего льда с небольшими разводами.

«Красин» и «Сибиряков» ушли на разведку по разным курсам. Через час «Сибиряков» сообщил по радио, что к югу видна открытая вода,

но между островами замечены подводные камни.

На этот курс начал выбиваться из окружающего льда весь караван. Медленно, непрерывно промеряя глубины, движется ледокол между островами. У него глубокая осадка, и поэтому ему особенно опасно идти в этих местах.

Крупно-битый торосистый лед постепенно сменялся более ровным и разреженным льдом. Пять островов остались позади каравана. Но это не острова Тилло, как мы предполагали сначала. Они расположены гораздо дальше от материка.

Берега в этом районе почти не исследованы. Еще слабее обследовано море. Без сомнения, здесь имеется еще много островов, не нанесенных на карту.

Показалась очень узкая полоса совершенно чистой воды. «Красин» выводит туда один за другим пароходы из тяжелых тисков льда.

К концу дня наше численное место — $75^{\circ}32'$ с. ш. и $89^{\circ}25'$ в. д. Мы отошли немного к югу, но зато заметно продвинулись на восток — к цели своего путешествия.

29 августа. Ветер норд-ост, два балла. В воздухе — $2,6^{\circ}$, в воде — $0,3^{\circ}$. Туман рассеялся к утру, позволив экспедиции продолжать путь к заветному мысу Челюскина. Но долго идти не пришлось. Вскоре вновь налетевший туман закрыл всю перспективу льдов.

На этот раз во время стоянки нас ждало обычное северное развлечение. Из тумана показался небольшой белый медведь. Видимо, его привлекали заманчивые запахи с пароходов. Заметив у борта «Красина» брошенный в польню пустой ящик, медведь стал играть с ним, как маленький ребенок с понравившейся ему игрушкой.

Но охотники недолго могли выдерживать. С «Красина» и «Правды» раздались выстрелы. Кончились забавы любопытного дикаря. Зверь подох, едва успев вылезти на лед.

Дальше события развернулись, как говорится, с кинематографической быстротой. С «Правды» бегом кинулись люди с веревками к убитому медведю и

быстро втащили его на борт. Красинцы же в это время успели пройти только половину дороги.

— Куда тащите?.. Наш медведь! — запротестовали они.

В ответ «Правда» поспешно отошла от ледяного поля, обезопасив себя от нападения красинцев водяным пространством.

Красинцы стояли на краю поля и яростно переругивались с отошедшей «Правдой», которая безмолствовала, чувствуя себя в полной безопасности.

Отведя душу в перебранках, красинцы вернулись с пустыми руками.

На востоке всюду видны были тяжелые ледяные поля и крупно-битый лед. Только несколько южнее темнели небольшие разводья.

По карте в этом направлении лежит самый северный пункт архипелага Норденшельда — остров Русских. Оставив караван во льдах под охраной «Сибирякова» и «Русанова», «Красин» двинулся туда на разведку.

Он шел, сначала ломая десятибалльный лед, затем выбился на места с видневшимися кое-где темными пятнами полыней.

Вдоль одной из полыней спокойно бродил белый медведь — второй за этот день. Незнакомый еще с человеком, он подошел на очень близкое расстояние от ледокола. Первая же пуля перебила ему позвоночник. Некоторое время он продолжал итти, волоча парализованный зад и в ужасе оглядываясь по сторонам в поисках врага, который так неожиданно и больно его укусил.

Новые выстрелы. Медведь упал. Он пытался еще подняться на передние лапы, но к нему уже бежали люди с винтовками и фотоаппаратами. Охватив передними лапами голову, зверь повалился на снег.

Отвратительное зрелище представляла эта бойня, не вызванная никакой необходимостью...

За несколько часов до встречи с медведем с о. Диксон был вызван радиогаммой самолет для авиаразведки. Он показался теперь над ледоколом, кружа над ним в поисках посадочной площад-

ки. Но крутом были льды, а редкие польгны были слишком малы для него.

По радио с самолета мы узнали курс наименьшего скопления льдов и расстояние до чистой воды. Чтобы пробиться к ней каравану, надо было пройти лишь около 15 миль.

Сделав разведку, аэроплан улетел на мыс Челюскина. «Красин» повернул к оставленному каравану, вновь пробивая себе дорогу через тяжелые льды.

30 августа. «Красин» идет довольно быстро, не встречая серьезного сопротивления. Но внезапно ход его замедлился, и он остановился в сравнительно легком льду.

— В чем дело?

— Левая машина вышла из строя...

Силы ледокола уменьшились на одну треть. Водолаз спустился под воду для осмотра повреждений. Через 10 минут он поднялся на палубу и сообщил:

— Начисто срезан винт... Гребной вал сломался.

Для экспедиции создавалась серьезная угроза. Только мощный ледокол мог провести ее через эти льды. Морские пароходы были уже близко от цели. Речной же караван попрежнему стоял на Диксоне.

— «Красин» теперь почти бессилен. Не пришлось бы вызывать другой ледокол, — сказал один из моряков.

Руководители похода решили, однако, иначе:

— Ленская экспедиция будет пробиваться дальше. Работая сохранившимися в целости машинами, «Красин» подойдет к оставленным судам. За островом Русских будем ожидать отжатия льда, если проход будет невозможен сейчас...

В это время с каравана пришла радиограмма-«молния» с просьбой немедленно прислать «Красина», так как началось сжатие льдов. Все суда находятся в опасности, в особенности тяжело приходится «Володарскому». Но «Красин» еще стоял неподвижно во льдах, выясняя свои повреждения.

«Пусть «Русанов» и «Сибиряков» помогут лесовозам» — говорила ответная радиопрагма.

Но оба эти парохода также были бес- сильны, побежденные движением ледя- ной массы.

Спасла положение небольшая переме- на ветра и начавшийся отлив. Сжатие льдов приостановилось. Оно было стре- мительным, но, к счастью, коротким. Работая оставшимися машинами, «Кра- син», преодолевая трудности, только к

борту виден низкий берег материка, на- лево — ледяные поля. К 12 часам среди них показались о-ва Фирилея. Они под- нимаются над уровнем воды, как горбы неведомого подводного чудовища.

Берега материка постепенно повыша- ются. Отчетливо виден глубокий изгиб залива Толля. Вдали темнеет высокая гора Аструпа. Крутым обрывом падает



Остановка во льдах

десяти часам подошел к судам и при- нялся освобождать их от торосистых льдов.

Медленно, с частыми остановками, пробивался «Красин» к открытой воде, оказывая помощь то одному, то другому пароходу. Почти каждый метр караван проходил с боем, держа курс к одному из восточных островов архипелага — остро- ву Бианки.

Раненый ледокол работал энергично, но его силы и управляемость были осно- вательно подорваны после аварии. Тем не менее цель была достигнута: все суда вышли на чистую воду.

31 августа. Караван идет по поч- ти безледному каналу. По правому

она на ровное прибрежное плато тунд- ры. Дальше, почти на ее траверсе, нахо- дится пустынный остров Гейберга.

Над пароходами молча проносятся стаи серых буревестников и белых полярных чаек. В воде в разных на- правлениях мелькают белые спины белух.

С парохода «Тов. Сталин» получена тревожная радиограмма о начавшемся самовозгорании угля. Судно завалено бочками бензина, керосина и нефти. В его трюмах лежит динамит для геологи- ческих партий и много баллонов с водо- родом. Чтобы предотвратить пожар, ко- торый в этих условиях может быстро за- кончиться эффектным фейерверком, не- обходима остановка на мысе Челюскина

для перегрузки части угля на «Красина» и «Сибирякова».

В 20 часов гудки всех пароходов приветствуют самую северную оконечность Азиатского материка, где никогда еще не проходило столько судов.

Якоря отданы. «Красин» и «Сибиряков» начинают бункеровку угля со «Сталина».

1 сентября. Катер промышленников отошел от «Русанова» и приблизился к борту «Красина». Волны пролива Вилькицкого подбрасывают его на высоту половины корпуса ледокола.

Торопливо спускаемся по шторм-трапу и, выждав удобный момент, прыгаем в катер. Здесь корреспондент «Известий» т. Зингер, постоянный участник полярных плаваний, и корреспондент «Водного транспорта» т. Морозов.

Катер бодро идет с волны на волну. Скоро перед нами сквозь туман показался берег мыса Челюскина. Подойти к нему можно, только найдя какой-либо проход между прибрежными льдинами. Катер ходит в разные стороны, используя каждую узкую расщелину, и наконец упирается в вязкую глину.

Неподалеку от нас — большой круглый столб из местного черного камня — плитняка. Он поставлен Роальдом Амундсеном во время его экспедиции на шкуне «Мод» в 1919 г.

Медный шар увенчивает верхушку столба. На шаре выгравирован путь, проделанный Норденшельдом, и надпись: «NO passagens beseirere Adolf Erik Nordenskiöld og Hans kjoekke moend til minde. Maudekspedition 1918 — 19». (Покорителям Северо-Восточного прохода Адольфу Эрику Норденшельду и его славным спутникам. Экспедиция на «Мод» 1918 — 19 г.).

Велика и несомненна заслуга Норденшельда. Но о победе его над северо-восточным проходом рано еще было говорить в 1919 году. Победителем будет Советский Союз, где стихии Севера противопоставляются энергия, воля и знание организованного коллектива, последовательно и планомерно изучающего законы, управляющие северными пространствами.

Несколько восточнее видны мачты радиостанции и небольшие строения. По липкой грязи, перемешанной со снегом, мы направляемся к ним.

Внезапно за огромным торосом показывается наш воздушный разведчик — самолет № 2. Он выгашен на берег. Как и на Диксоне, он и здесь попал в окружение льдов и, спасаясь от них, выбросился на мель. Теперь понятно, почему мы не имели никаких сведений о ледовитости моря Лаптевых.

Вскоре мы подошли к зимовке. Это некрасивое приземистое здание. Сшитое из узких досок, с крайне низко поставленными окнами, оно производит впечатление неуютного и непригодного для Севера жилья. Зданию только один год, но кажется, что оно уже изживает свой век.

Около дома бегают разномастные собаки. Они с лаем окружают нас, повилывая хвостами. Их выразительные глаза с любопытством и ожиданием смотрят на пришельцев. Все они выглядят очень хорошо.

Старый черный пес с большим, широким лбом пристально глядит на Журавлева.

— Колыма... Милый дружище!.. Старый ты чорт!..

Колыма радостно уткнулся лобастой головой в ноги Журавлева...

— Это мой вожак... На нем всю Северную Землю мы обехали... Эх, и умный же пес!.. Да здесь и другие приятели... Махно, Тускуп, Резвик...

Мы оставили Журавлева разговаривать со своими четвероногими друзьями и вошли в дом.

Из тамбура дверь ведет прямо в кухню. Вследствие этого она является самой грязной комнатой на зимовке. За кухней кают-компания, или попросту столовая. Дальше — узкий коридор. Направо и налево от него — комнаты зимовщиков.

Было еще раннее утро. Зимовщики спали. Без всяких церемоний мы быстро подняли их.

— Пришли, наконец!.. Мы ждали, ждали, да и уснули...

Скоро перед нами собралось все население мыса Челюскина.

— Газеты привезли?.. Письма где?

Тов. Зингер вручает зимовщикам комплект газет весьма относительной свежести. Мы передаем им новости «большой земли».

Первым берет слово начальник станции т. Георгиевский.

— Зимовка прошла хорошо. Исправно работали метео- и радиостанции. Произвели геологическую с'емку местности. Прошли гидрологическим разрезом пролив Вилькицкого на мыс Мессера. Эту работу выполняли уже весной, так как только в марте окончательно замерз пролив. Порядочно успели и охотники: за зиму убили 57 медведей, взяли около 60 песцов, есть морж, заяц, белуха..

Делятся своими впечатлениями и другие зимовщики. Все, что они говорят, очень интересно, но на сегодняшний день нас больше всего интересует море Лаптевых.

— Тов. Алексеев, как с разведкой на восток?

— Попали в положение хуже диксоновского. Едва спасли самолет... Разве здесь место для его стоянки!

Постоянно дрейфующий лед пролива исключает возможность спокойной стоянки аэроплана. Посадка и взлет его здесь всегда под вопросом. Глаза экспедиции — самолет опять не может помочь нам. Решение о дальнейшем ходе надо принимать на основе наблюдений за дрейфом льдов в проливе при разных ветрах. Спрашиваем зимовщиков:

— Бывали ли за последнее время дни, когда при восточном и юго-восточном ветре пролив Вилькицкого забивался льдом до 8 — 10 баллов?

— Нет, не бывало, — отвечает гидролог.

Пора ехать к пароходам, чтобы следовать дальше. Нельзя терять лишних минут. Все, что нам нужно, мы уже узнали на зимовке. Лесовозы могут идти самостоятельно без ледокола в море Лаптевых. «Красин» отправится за речными судами.

— Товарищ Георгиевский, уступи тонну мяса для моих собак, — просит Журавлев.

— Бери, — соглашается тов. Георгиевский.

Мясо быстро погружено. Последнее пожатие рук.

— Встретимся в Ленинграде. Нас теперь сменят..

— Надеемся, что встретимся... Только не дело ежегодно сменять всю зимовку. Не передается никакого опыта...

По дороге катер подходит к «Правде».

— Вахтенный, передайте капитану, чтобы немедленно уходил самостоятельно на Нордвик...

— Есть!..

То же распоряжение дается «Володарскому». На него перебрасывают наши вещи с ледокола...

— А я как же? — волнуется капитан парохода «Сталин». — Один разве пойдут?..

— К вам перейдет капитан Сорокин. Вы должны закончить бункеровку «Красина» и «Сибирикова». Потом идите в Тикси.

Последний визит к ледоколу.

— Пойдете навстречу речному каравану, когда он будет выходить в поход. Пока же займитесь гидрологическими работами в проливе.

В 7 часов «Володарский» и «Правда» вышли по назначению в бухту Тикси и в бухту Нордвик. Ветер сменился. Он подул с юго-востока, сначала слабо, затем, к 12 часам, немного усилился. Наступил давно ожидаемый момент, когда можно вызвать речную группу экспедиции. Теперь льды будут несколько отжаты от берегов.

Радиограмма «молния» идет на Диксон с вызовом речной группы. Через час получили ответ:

«Иду курсом на о. Расторгуева. Прошу озаботиться авиаразведкой и высылкой ледокола. Модзалевский».

«Красин» двинулся навстречу речным судам — на запад от мыса Челюскина. Самолет остался на берегу. В проливе Вилькицкого он не имеет места для взлета.

Море Лаптевых неожиданно проявило себя совсем не таким, каким бы его хотелось видеть.

После прохода островов Самуила, унылых, плоских, лишенных привлекательных красок, начали показываться льды. Сначала они шли отдельными поля-

ми, затем сплотились около «Володарского» большими массами. Между ними были видны небольшие разводья. «Володарский» то-и-дело меняет курсы, лагируя по узким разводьям. Его корпус дрожит от толчков, как железный лист при сильном ударе...

С «Правды» пришла «молния»:

«Окружен льдами... Не знаю, что делать. Ложусь в дрейф...»

«Советую вернуть ледакол и итти в Тикси опять караваном» — радирует пароход «Сталин».

«Володарский», находясь еще во льду, стал медленно покачиваться на волнах.

— Зыбь началась... Значит, близко открытая вода!

Радиограммой отвечаем «Правде», что имеем дело не с большим скоплением льдов, а только с одним очень большим разломанным полем, вероятно припаем, оторванным от Новосибирских островов. Необходимо выбраться самим, не ожидая помощи ледакола.

В таком же духе отвечаем и пароходу «Сталин».

Перед нами раскинулось широкое, темное пространство моря. В пределах видимости — ни одного куска льда.

«Будем четвертого в бухте, — сообщает радиограмма, направленная в Тикси, — готовьтесь к разгрузке».

2 сентября. Приход в бухту Тикси замедлился. Мы просчитались. После ледяных полей пришел сильный шторм при восточном ветре. «Володарский» качается на волнах, как небольшая лодка. Они непрерывно заливают всю палубу.

Временами попадают ледяные поля и мелко-битый лед. Проходят заряды снега. Температура воздуха — 1°.

4 сентября. Штормуем... В каюте сломались ножки непривинченного кресла. Все подвижные предметы убраны в ящики и шкафы. Зимовщики Ляховских островов и художник Рыбников перебрались из кормовых кают в кают-компанию. Волны подмочили их кровати.

Синоптик т. Самойлова, пересевшая с «Красина», попрежнему ведет свои ме-

теонаблюдения, но «пророчить» решительно отказывается. К нам не поступает никаких сведений с остальных метеостанций.

Температура — 1°. Ветер ONO, восемь баллов.

«Пятилетка» сообщила, что около островов Скотт-Гансена встретила тяжелые льды. Просит ускорить поход «Красина» и произвести авиаразведку. Ледакол близок к соединению с ней.

5 сентября. Шторм продолжается. Крен на «Володарском» доходит до 20°. С большим риском для себя работает команда по закреплению палубных грузов. Несколько бочек все же скатились за борт.

Постоянная качка начинает надоедать. Но всего хуже то, что мы не двигаемся с места, теряем последние дни... По плану мы должны бы уже возвращаться обратно. Первые признаки наступающей зимы налицо. Температура воздуха и воды продолжает понижаться.

Сегодняшний день принес много неприятных новостей. «Правда» 3 сентября подошла к бухте Нордвик. Здесь она попала на мель. Корпус судна начало бить о песчаное дно. Так продолжалось около часа. Затем судно снова вышло на глубокую воду.

Повидимому, на «Правде» изрядная паника. Капитан собрал судовой совет, который единогласно решил итти разгружаться в бухту Прончищевой, где уже стоит «Русанов». Это меняет картину будущей работы геологической партии. Кроме того, будет потеряно время на переход в новое место.

С парохода «Сталина» получено сообщение о повреждении рулевого управления во время шторма.

«Пятилетка» соединилась с ледаколом и следует за ним в кильватер.

Перехватили радио с «Седова». Он безуспешно пробивается к Северной Земле. Лед 10 баллов...

«Володарский» продолжает стоять на месте. Его машина не в силах продвигать пароход против штормового восточного ветра.

6 сентября. Шторм наконец кончился. «Володарский» быстро пошел

вперед, стараясь наверстать потерянное время. В воздухе ночевая температура.

«Правда» идет в бухту Прончищевой пока без приключений. Повидимому, там нет льда. Пароход «Сталин», под командой капитана Сорокина, продвигается успешно. Надо полагать, что теперь уже побеждены все препятствия.

7 сентября. Слабый ветер с запада. Температура воздуха — 2°. Вдали показался низменный остров Мостах с типичными для Севера сероватыми линиями и красками. На острове нередко находили кости мамонта. Глубины в этих местах незначительные — пять-шесть саженей. Встречаются отмели.

В 22 часа «Володарский» подошел к входу в бухту Тикси. Полярный день уже кончился. Наступило регулярное чередование светлого и темного времени. Но ночь еще коротка. На далеком берегу видны небольшие огни. Пароход остановился в ожидании лоцмана. Жизнь на пароходе постепенно затихла. Усталая команда отдыхала от тяжелого похода. Только вахтенные остались на своих местах.

Пароход «Тов. Сталин» следует курсом 123°. Он уже исправил свои повреждения. Его путь иногда застилают снежные заряды и туман.

С «Правдой» новое несчастье. К 12 часам она подошла к бухте Прончищевой. В трех милях от нее стоял «Русанов». Кругом двигался крупно-битый лед. В 12 часов она попала на мель, и притом очень основательно.

Можно понять посадку «Правды» на мель в бухте Нордвик, где никто не плавал. Но сесть на мель там, где уже прошел «Русанов» с гораздо большей осадкой, можно было только при отсутствии необходимой осторожности, тем более, что капитан был предупрежден о наличии отмели.

«Русанов» получил распоряжение оказать «Правде» необходимую помощь.

«Красин» ведет за собой «Пятилетку». В его районе уже идет густой снег, сокращая горизонт видимости до 5 миль.

Перехваченные с «Седова» радиogramмы говорят о крайне тяжелых льдах у

берегов Северной Земли. Все попытки парохода достичь островов Каменева, куда он везет новую смену зимовщиков, пока безуспешны.

«Сибиряков» интенсивно разгружается на мысе Челюскина.

В бухте Тикси

8 сентября. Мутный рассвет наступил в 5 часов утра. «Володарский» поднял якорь и пошел вглубь бухты Тикси. Впереди открылась красивая панорама горных сопок, покрытых снегом с подошвы до самой вершины. От них к морю спускается низкая отмель. Там стоит несколько палаток и начатый постройкой дом. На прибрежной полосе разбросано разное имущество.

К борту подошел катер, привезший представителей Якутской республики и начальника порта тов. Михайлова. По их указаниям «Володарский» медленно идет в направлении залива Булункан, около которого будет происходить разгрузка. В семь часов раздалась команда: — Стоп машина! Спускай якорь!..

«Володарский» закончил свой путь, покрыв расстояние от о. Диксон до бухты Тикси в 13 дней в трудный ледовый год. Этим побит рекорд Норденшельда, проделавшего тот же рейс в 17 дней в легкий год.

Перспективы разгрузки далеко не блестящи. Речные суда, не дождавшись нашего прихода, ушли вверх по Лене, боясь замерзнуть в пути. Нам нужно будет возвращаться гораздо более трудным путем. Но никто даже не помышляет о том, чтобы остановить поход и итти обратно из-за боязни зимовать.

Для разгрузки 5.000 тонн нам оставлены только 7 барж по 200 тонн каждая. Нет ни одного буксира.

Прошло уже несколько часов, но к борту парохода не подведена ни одна баржа. Ожидание становится нестерпимым. На подехавшей лодке выехали на берег.

В глубине залива Булункан стояла «речная армада». Она даже не собиралась подходить к борту.

Спариваем два слабосильных пассажирских катера и пытаемся буксировать

ими баржу. Катера отрегулированы плохо. Один начинает работать, другой в это время останавливается. Вместо прямой линии получают зигзаги. Морская волна при такой работе катеров легко выбрасывает их на берег.

Только в 12 часов удалось наконец подвести первую баржу и начать разгрузку. Дальше дело пошло лучше.

Якутские грузчики работали с большой продуктивностью. Начальник разгрузки тов. Земцов — постоянный участник Карских экспедиций и бывший капитан «Пятилетки» — перенес сюда опыт хорошей организации.

Весело и дружно работает также команда «Володарского». Там мобилизованы все. Даже доктор Диденко пере-квалифицировался в лебедчика.

На пароход приходят экскурснии населения Якутской республики. Их проводят во все отделения судна, показывают им машины, инструменты, привезенный груз... Весело улыбаются черные монгольские глаза... Через экскурсантов в самые глухие углы местной тайги и тундры пойдет слух о новом пути, проделанном морскими громадинами. Пройдет очень немного времени, и из среды коренного населения края выйдут активные работники и организаторы. Они пойдут на пароходы Северного морского пути, на заводы и предприятия Севера.

Пароход «Сталин» продвигается быстро. Не позднее завтрашнего дня он также будет в бухте Тикси. Но на нем случилось самое страшное, чего может опасаться пароход. В семь часов вахтенный заметил дым, выходящий из кормового люка. Вскрытие люка показало, что там начался пожар. Судно, начиненное баллонами с водородом, покрытое бочками с бензином, превратилось в пловучую мину, фитиль которой уже горел самым сильным огнем.

Мы бессильны подать пароходу какую-либо помощь. Ему придется бороться с огнем собственными силами. В дело пущены шланги. Работа в трюме оказалась невозможной. Едкий дым вызвал легкое отравление нескольких человек. Пришлось наглухо задраивать оба люка, прекратив доступ воздуха к ним и

открыть паротушители. Палуба сильно нагрелась. Ее непрерывно охлаждают водой.

9 сентября. Утром подошел «Тов. Сталин». Его люки, попрежнему, наглухо задраены. Около грот-мачты обнаружена значительная выпучина. Она образовалась в результате сильного давления изнутри парохода. Баржа за баржей отходит от судна, освобождая его от горючих веществ. Надо отдать честь команде и капитану Сорокину. Усталые от постоянного аврала, они работают с прекрасной бодростью и великолепной энергией.

«Правда» продолжает стоять на мели, начав разгрузку на пароход «Русанов». Часть малоценных грузов складывается на пловучий лед. Уголь на «Правде» также близок к самовозгоранию. Его температура $+60^{\circ}$.

«Пятилетка» попрежнему идет среди тяжелого льда, стараясь держаться ближе к ледоколу. Удары льда настолько сильны, что на ней лопнул один шланг. Но пока это не представляет опасности.

В воздухе уже ясно чувствуется приближение зимы. Гуси покидают район, стаями поднимаясь высоко над пароходами. На вязкую землю падают густые, мокрые хлопья снега. Среди некоторой части приехавших зимовщиков заметно понизилось настроение. Эта голая безотрадная пустыня рисует далеко не радостные перспективы. Отсутствие построенных помещений удручает всех.

Уже сейчас намечается тот естественный отбор, который произойдет в ближайшем будущем. Энергичный народ останется здесь, построит себе дома и проделает нужную научную работу. Те же, что ожидали найти на Севере нечто вроде картин, нарисованных Джеком Лондоном, вернутся обратно. Чем скорее они уйдут, тем легче и продуктивнее будет зимовка.

10 сентября. С «Володарского» послана бригада на пароход «Сталин» для тушения пожара. Все мобилизованы, чтобы ликвидировать огонь как можно быстрее.

В час дня люк был открыт. Из него вырвался густой дым и показался огонь. Шланги не помогли. Приступили к откачке воды в трюм, продолжая разгрузку.

11 сентября. Разгрузка пароходов «Володарский» и «Сталин» идет с большими перебоями, из-за недостатка речного тоннажа. Катера, подводящие баржи, уже попортились, так как они совсем не приспособлены к такой работе. Пожар на «Тов. Сталине» ликвидирован. Попорченных грузов не так много, как можно было опасаться. Выясняются причины пожара. Решающую роль сыграло, повидимому, самовозгорание угля. Штормом разбита часть бутылей с медикаментами. Это также могло усилить воспламеняемость угля и груза.

12 сентября. В бухту Тикси вошла «Пятилетка» с лихтером. Все с восторгом приветствовали благополучное окончание ее героического похода. Суда пришли в полной исправности. Глубокие вмятины на их корпусах свидетельствовали о трудности пути по Ледовитому океану. Весь переход от Диксона до Тикси был совершен в 9½ суток. Рекорд скорости, поставленный морскими судами 1-й Ленской экспедиции, был побит «Пятилеткой».

К лихтеру с обеих сторон немедленно пришвартовались «Володарский» и «Сталин». Работа теперь закипела...

14 сентября. Получена странная радиограмма с «Седова». Он не мог дойти до Северной Земли. Льды плотно схватили этот остров. Зимовщики острова должны остаться на повторную зимовку. Поскольку они обеспечены еще на год продовольствием и топливом, это не страшно. Вообще говоря, посылка на зимовку на срок менее двух лет совершенно не достигает цели. Только на второй год, когда уже имеется накопленный опыт, можно ожидать продуктивной работы.

«Седову» предложено идти в бухту Тикси на разгрузку. Кто мог подать ему такую мысль? В бухте нет тоннажа для приемки груза. Ясно видно

наступление зимы. «Седова» ожидает здесь верная зимовка.

«Красин» и «Сибиряков» сообщают о начавшемся замерзании моря и о большом количестве льда в проливе Вилькицкого.

Самолет, оставшийся на мысе Челюскина, с большими усилиями выведен «Сибиряковым» на чистую воду.

Командир самолета г. Алексеев сообщил сегодня, что ввиду скопления льдов, представляющих опасность для его машины, он вылетает на о. Диксон, не дожидаясь нашего возвращения.

Это создает для нас серьезную угрозу. Итти без авиаразведки будет очень трудно.

15 сентября. Разгрузка на «Володарском» закончилась... Пароход «Сталин» к вечеру также зачистит свои трюмы от всех остатков.

Начался прием обратных грузов. Их, к сожалению, немного, — только аэроплан и бензин.

Якутская республика не может еще дать нам свои грузы. Ее природные богатства остаются пока неиспользованными. Так было и на Енисее, когда туда приходили первые морские пароходы. Теперь там обратных грузов больше, чем грузов прямого направления. Карские экспедиции разбудили этот дремлющий край. Не так далеко время, когда и река Лена также будет давать нам не меньшее количество своих грузов. Они создадутся нашими рейсами.

«Русанов» снял с мели «Правду», освободив ее от значительной части груза. Она вышла на чистую воду. До конца разгрузить ее не удастся. Нет ни времени, ни места для выгрузки.

«Сибиряков», отправившийся на помощь «Правде», вернулся обратно и пошел в направлении острова Диксон. Днем раньше ушел туда и «Седов». окончательно отказавшись от мысли достичь Северной Земли.

В обратный путь

16 сентября. Сегодня день прощания с населением Якутской республики и представителями ее правительства. На коротком прощальном митинге при-

нята резолюция, в тот же день отправленная ЦК ВКП(б) — тов. Сталину и правительству СССР, РСФСР и Якутской АССР.

Резолюция заканчивалась следующими словами:

«В Ленской экспедиции дело индустриализации Якутской АССР получило творческую основу. Под руководством партии и правительства новые богатства станут на службу народному хозяйству.

Морские суда уходят в обратный путь.

Приведенные речные суда вступили в строй речного флота Лены и семнадцатого поведут первый караван грузов, полученных с западной части Северного морского пути. Собрание заверяет партию и правительство, что на последнем этапе экспедиции экипажи судов примут все меры к скорейшему благополучному ее окончанию.

Да здравствует коммунистическая партия большевиков и ее любимый вождь тов. Сталин!

Да здравствует Союз социалистических республик!»

От имени якутского правительства отдельным участникам экспедиции вручены почетные грамоты. Оба парохода — «Володарский» и «Сталин» — получили ценные подарки для премирования наиболее энергичных работников из команд и комсостава.

В три часа раздались прощальные гудки пароходов. Оставшаяся в Тикси «Пятилетка» ответила своим гудком за весь ленский флот.

В походе и на разгрузке суда выиграли много времени по сравнению с плановым сроком. Но это не могло покрыть общего запоздания, происшедшего в пути от Архангельска до Диксона. Оно только сократилось с 19 до 6 суток.

Пароходы идут открытой водой. Быстро скрылся южный берег Булункана. Изредка проносятся молчаливые белые чайки.

«Правда» продвигается вдоль берега Восточного Таймыра, также по чистой воде. Зато «Русанов», ее освободитель, попал в тяжелое положение. Лды заперли его в бухте Прончищевой и там,

в узком пространстве, теснят его со всех сторон.

Капитан Ерохин сообщает радиограммой: «Мечусь от льдов из конца в конец. В крайнем случае выброшусь на мель, чтобы спасти пароход».

Запрашиваем:

«Можем ли чем вам помочь?»

«Выйду сам, как только начнется отлив, лишь бы продержаться часы прилива...»

«Красин» идет наперерез пароходам, сообщив, что в его районе молодой лед уже достиг значительной толщины.

18 сентября. Пароходы быстро продвигаются на северо-запад. Иногда встречается блинчатый лед. Температура вчера и сегодня — 7°. Дует норд-вестовый ветер, самый неблагоприятный для нас.

Ночью загорелось над нами северное сияние. Оно еще не сильное, но его появление наполняет нас тревожными сомнениями. До мыса Челюскина надо еще подниматься выше трех градусов. Здесь десять дней тому назад стояла открытая вода, сейчас же мы идем уже довольно прочным молодым льдом. «Володарский» режет его довольно легко. Но, чем дальше мы удаляемся на север, тем труднее становится продвижение.

Морское плавание превратилось в ледяное плавание. С неприятным скрежетом и шумом раздвигается лед под тяжестью парохода. Мы выполнили основное задание Совнаркома — сдать грузы Якутской республике. Нам надо еще опровергнуть мнение Норденшельда, что Северный морской путь между Леной и Европой не может быть использован для хозяйственных целей.

Вдали показался дымок «Красина». Немного меняем курс, чтобы скорее «склиниться» с ним. Это обещает более быстрое продвижение всего каравана.

Встретились смерзшиеся поля мелкобитого льда. «Володарский» и «Тов. Сталин» обходят их в направлении «Красина». В 16 часов суда пошли в кильватер с ледоколом.

«Правда» еще 17 сентября легла в дрейф и ожидает нашего подхода. «Русанов» выбрался из своей ледяной

тюрьмы в бухте Прончищевой и идет на соединение с нами.

В 22 часа пароход «Сталин» дал сигнал остановки. Машина его перестала работать. От удара о льдину погнулась лопасть и затормозила ход судна.

19 сентября. Караван стоит среди сплошного пловучего льда, непрерывно дрейфуя с ним на юг со скоростью $\frac{1}{2}$ мили в час. В ледяной воде идет энергичная работа по срезке согнувшейся лопасти. В помощь пострадавшему пароходу перевели на него часть команды «Красина». Но только в 13 час. 50 минут, потеряв на срезке лопасти свыше 15 часов и около 8 миль пройденного до дрейфа пространства, экспедиция получила возможность двинуться вперед.

Через 40 минут новая остановка. На пароход «Сталин» сломалась валоповоротная машина. На исправление ее ушло около часа.

К вечеру к каравану присоединился «Русанов». Он шел, с трудом разрезая лед. С его приходом увеличились наши силы, так как по пути он будет обкалывать «Володарского», не отвлекая на эту работу «Красина».

«Тов. Сталин», как наименее надежное судно, идет вслед за ледоколом.

20 сентября. Разреженный мелкобитый лед. Он почти не задерживает каравана. Больше не слышно шума ломающихся под ударами ледокола льдин. Меланхолией надвигающейся ночи окутано все пространство. Изредка раздаются стонущие голоса оставшихся здесь стаяк люриков и чистиков. Они держатся на воде среди льда и не улетают при виде каравана.

В 6 часов к каравану присоединилась «Правда». Теперь все в сборе.

Показались острова Самуила. Они окружены тяжелым припаем и пловучими ледяными полями. Идем в обход их, держа курс несколько северо-западнее в направлении пролива Вилькицкого.

В 20 часов прошли мыс Челюскина. От начальника зимовки т. Рузова получили радиограмму с просьбой остановиться на несколько часов для разрешения некоторых вопросов. Из Москвы

также есть поручение взять с мыса два самолета «У-2» и вывезти их в Мурманск. Но об остановке каравана в этом тяжелом месте не может быть и речи.

21 сентября. Лды сгустились вокруг каравана. Темная ночь закрыла всю перспективу. Течение в проливе Вилькицкого уносит остановившиеся суда обратно — на восток.

В 4 часа утра наступил рассвет. Караван двинулся вперед. Через 40 минут пароход «Тов. Сталин» дал сигнал остановки. Вновь перестала работать машина, — лопасть винта согнулась в новом месте.

Дано распоряжение отломать лопасть и следовать дальше.

«Правда» отстает от каравана. Она также потеряла лопасть. Целым остался только «Володарский».

Лишь в 7 часов вечера пароход «Тов. Сталин» получил возможность двигаться. Караван направился в путь.

В 21 час 25 мин. во льду застряли «Сталин» и «Володарский». Ледокол повернул к ним для освобождения их от льдов. В 22 часа опять остановка. За вахту прошли только 9 миль.

Наступившая ночь не позволяет уверенно двигаться вперед. Невидимые льды с глухим шумом бьют о борт «Красина». От их ударов ледокол бросается в сторону. Прямой курс сменяется зигзагообразным.

«Володарский», идущий сзади, просит о помощи. Его зажали льды, просит помощь и «Правда». Надо остановиться до рассвета...

22 сентября. В три часа утра пошли вперед. «Красин» едва пробивает дорогу среди крупно-битого торосистого льда. Караван с трудом продвигается по проложенному ледоколом каналу. Ветер SSW крайне слабый — не более двух баллов.

Уже два дня под ряд экспедиция борется со льдами, не продвинувшись дальше мыса Челюскина. Ничтожный выигрыш пространства за день бесследно поглощается ночной остановкой.

С «Сибирякова» получена радиограмма о помощи. Его зажал тяжелыми

льдами в районе архипелага Норденшельда.

Итак, впереди еще худшие ледовые условия. В районе залива Толля зимовка пароходов невозможна. Там происходит непрерывная подвижка льдов, по крайней мере до тех пор, пока не замерзнет пролив Вилькицкого. Наши пароходы не выдержат мощных сжатий льдов. Остановка в дрейфующем льду — гибель для них.

Надо попытаться произвести авиаразведку с помощью взятого в бухте Тикси самолета. Товарищи Линдель и Игнатьев готовятся к вылету.

«Красин» получил распоряжение итти на самостоятельную разведку к северу. Он пошел вперед, с трудом прокладывая себе дорогу среди торосистых ледяных полей, спаянных уже плотным молодым льдом. Налетела сильная снежная пурга и закрыла весь горизонт. Ледокол остановился. На мачтах нависли ледяные иглы. Прогнозы метеорологов о быстром наступлении зимы оправдывались с полной очевидностью.

23 сентября. Авиаразведка не удалась из-за отсутствия легкой погоды. Но, в сущности, она уже и не нужна. Ситуация льдов совершенно ясна. Ветер сменился на восточный. Он еще подогнал льда в пролив Вилькицкого. Всюду видны плоские льдины и целые гряды торосов.

«Сибиряков» вторично дал характеристику льдов в районе архипелага Норденшельда. Она ухудшилась за последние сутки.

Необходимо отступать на зимовку... Дальнейшие попытки продолжать рейс приведут только к гибели судов и людей...

Придет ли южный ветер, который нам так нужен? Все данные синоптики говорят о том, что он придет. Но придет тогда, когда уже будет поздно, когда весь пловучий лед будет скован в одно неподвижное, целое поле.

Надо выводить лесовозы из дрейфующего льда и дать возможность «Красину» уйти с «Русановым» на помощь «Сибирякову».

Тяжело давать приказ об отступлении перед силами природы, когда уже побеждена большая часть трудностей, когда от чистой воды нас отделяет не более 100 миль. И все же надо отступить в безопасное для судов место, так как дальнейшее продвижение вперед было бы продиктовано только трусостью перед зимовкой.

Сквозь ночную тьму начинают пробиваться сумеречные лучи света. В грязно-серый цвет оделись окружающие льды. Стали видны корпуса пароходов. Пора сниматься с ледяного якоря. Гулким гудком будит «Красин» дремлющие пароходы. Один за другим откликнулись они, готовые следовать в кильватер за ледоколом.

— Куда вести пароходы? На восток или на запад?

— На восток.. На зимовку...

Другого выхода нет. В этот трудный ледовый год лесовозам нельзя пройти путь к устью Лены и обратно в одну навигацию. Это сделает «Красин» с двумя ледокольными пароходами — «Русановым» и «Сибиряковым».

Выводы Норденшельда неприемлемы для нашего времени. Этот путь пройдем даже в тяжелых ледовых условиях, — в этом случае судами, приспособленными к плаванию во льдах, а не лесовозами. Слишком резка разница между силами лесовозов и силами ледокола, слишком слабы их корпуса...

Караван повернул обратно к островам Самуила. «Красин» пробивается ударами, беря с боем каждую милю. На суда, обреченные на зимовку, по радио послан приказ:

«... приказываю остановить дальнейшее продвижение каравана на запад, вернуть для зимовки лесовозы: «Володарский», «Правда» и «Сталин» в район о-вов Самуила или Фаддея.

После постановки судов на зимовку ледоколу «Красин» продолжать поход на запад, взяв под свою проводку пароход «Русанов» и сжатый льдом пароход «Сибиряков».

Капитанам судов «Володарский», «Правда», «Сталин» предлагаю срочно проверить оставшийся на зимовку штат, списав излишнее количество людей на

борт «Красина» и парохода «Русанов», обеспечив их всех нужной одеждой и материалами на случай вынужденной зимовки.

Начальнику геологической экспедиции тов. Урванцеву предлагаю остаться на зимовку, подобрав нужный штат специалистов и рабочих для полного изучения района зимовки с точки зрения геологической, метеорологической, охотоведческой и т. д. Руководство этой работой поручается тов. Урванцеву. Излишний штат экспедиции, находящийся на пароходе «Правда», списать на пароход «Русанов», обеспечив последний всем необходимым на случай вынужденной зимовки.

Командир парохода «Володарский» тов. Смагин, Николай Васильевич, назначается групповым капитаном зимующих морских судов. Поручаю тов. Смагину озаботиться надлежащей постановкой судов и вести наблюдение за их состоянием за весь период зимовки. Моему заместителю тов. Сорокину, Михаилу Яковлевичу, и всем лицам, относящимся к штабу Ленской экспедиции, предлагаю перейти на ледокол «Красин» для дальнейшего следования к месту назначения.

... Сделав все возможное для проведения каравана вперед, мы должны принять все меры к сохранению и наилучшему использованию оставшейся группы людей и к сохранению в целости кораблей и др. имущества.

Мы должны выполнить свой долг перед партией и правительством до конца.

Начальник Ленской экспедиции
Лавров».

В 12 часов мы увидели о-ва Самуила. Раздались удары «Красина» о лед неподвижного припая, стоящего между этими островами.

В это время на зимующих судах происходил отбор зимовщиков. Самые слабые физически и морально неустойчивые списывались на ледокол «Красин» и пароход «Русанов». Наиболее стойко вели себя архангелогородцы.

— Зимовать, так зимовать...

Многие из команды «Красина» просили оставить их на зимовку. Но нельзя

было удовлетворить их просьбы. Ледоколу предстояла еще тяжелая борьба в дальнейшем походе на запад.

Капитан «Русанова» тов. Ерохин спустился на лед для прощания с земляками.

— Товарищ Ерохин, остался бы ты на зимовку вместо капитана одного из лесовозов.

Предложение сделано, конечно, в шутку. «Русанову» самому, возможно, придется перезимовать во льдах. Это сильное ледокольное судно может стать на зимовку даже в районе архипелага Норденшельда, где лесовозы не имеют никаких шансов на спасение.

Вынужденная полярная зимовка совершенно не сравнима с зимовкой, заранее организованной. Она угнетающе действует на психологию остающихся зимовать людей. Нужен определенный запас мужества и энергии, чтобы быстро преодолеть угнетенное состояние и примириться с мыслью о долгой разлуке с близкими.

Совместно с тов. Урванцевым наскоро составляем программу научных работ. Для выполнения их с нами остаются 18 человек научных работников и обслуживающего персонала.

Вездеходы, собак, палатки и нужные приборы оставляем при себе.

— А мне уходить или зимовать с вами? — спрашивает художник Рыбников.

Он сделал за время экспедиции много хороших эскизов и набросков. Соблазнительно оставить и его, чтобы не только полярный день был отображен на полотне художника, но и полярная ночь. Но тогда его картины не попадут на зимнюю полярную выставку. Кроме того, мы не можем позволить себе роскошь иметь хотя бы одного лишнего человека. Нет гарантии, что мы не вынуждены будем объединиться в бункере одного из пароходов.

— Перебирайтесь на «Красина». Поедем с вами на зимовку в следующий раз.

На «Русанове» новыми людьми забиты все помещения. Судно слабо обеспечено медицинской помощью. Нам же достаточно двух врачей.

— Отпустите с нами доктора Мейера, — просит «Русанов».

Это один из лучших хирургов московских больниц. Было бы, конечно, нецелесообразно удерживать его на зимовке, где скорее нужен терапевт, а не хирург..

Доктор Мейер перебирается с «Правды» на «Русанова». Его должна заметить врач Урванцева, почти постоянная спутница своего мужа в его полярных скитаниях.

— А я останусь? — спрашивает доктор Диденко с парохода «Володарский».

Он — коммунист, в прошлом партизан гражданской войны, теперь опытный терапевт.

— Конечно. Вы будете у нас представлять Наркомздрав — на островах Самуила.

— Возражений не имею, — соглашается Диденко и уходит «грабить» аптеку «Красина».

Подбор зимовщиков островов Самуила закончен.

— Можно уходить? — спрашивают «Красин» и «Русанов».

— Счастливого пути!.. До будущего года!..

Зимовщики, столпившись на краю припая, молча смотрят вслед уходящим пароходам, откуда несет последний привет:

— П р о щ - а - й - т е ! ..

Зимовка судов 1-й Ленской экспедиции началась.

За рубежом

1. Н. КОРНЕВ — Творцы англо-германского морского соглашения. 2. М. СПЕКТАТОР — Два года фашистской диктатуры. 3. Международная хроника

1. ТВОРЦЫ АНГЛО-ГЕРМАНСКОГО МОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Н. Корнев

Рис. худ. Бор. Ефимова

Иоахим фон-Риббентроп

После проигранной империалистической войны в Германии появился совершенно особый сорт «лишних людей». Это офицеры бывшей императорской армии, выходцы из прусского дворянства или крупной буржуазии Южной Германии. Отцы, деды и прадеды этих людей также были офицерами и не представляли себе, что можно заниматься каким-либо иным делом, кроме военного, или носить что-либо другое, кроме «королевского сюртука», т. е. военной формы. Таким людям, по выражению одного умного прусского дворянина, Пруссия казалась не страной, а главной квартирой армии. Эти люди подчеркивали, что они готовы всегда и везде защищать отечество (т. е. интересы своей империалистической буржуазии), а оное отечество за это обязано всячески заботиться об их материальном благополучии. Существование прусско-германского государства, по мнению этих людей, покоится на армии. Они не только мнили себя солью прусско-германской земли, они считали себя единственными — как бы выразиться деликатнее? — активными гражданами своей страны, ее хозяевами. Все остальные немцы были как бы в услужении у господ офицеров. Совершенно очевидно,

что такие офицеры всякие мирные времена переживали не как состояние мира, а как некий перерыв между войнами, как период ютдыха от предыдущей и подготовки к новой войне.

Поражение Германии в мировой войне сделало этих офицеров, как мы уже сказали, «лишними людьми». Подавляющее большинство их не хотело учиться и не училось ничему, кроме военного дела. Достижшие высших степеней — генералы и фельдмаршалы — были обеспечены огромнейшими пенсиями, которые продолжало платить «демократическое» правительство Веймарской республики, ухитрившееся даже охранить этих проигравших величайшую из войн генералов от ударов инфляции. Но огромное большинство бывших офицеров бывшей императорской армии состояло, конечно, не из фельдмаршалов или генералов, даже не из полковников, а из более скромных капитанов и поручиков, тем более остро ощущавших свое положение «лишних людей», что разгром «великой» германской армии прервал их военную карьеру весьма преждевременно. Часть этих людей пыталась силой повернуть колесо истории: эти бывшие офицеры вступали в разные белогвардейские отряды, громившие рабочее революционное движение, «завоевывавшие» германские города и игравшие огнем партизан-

ской войны с поляками и французами. Надо сказать, однако, что в белогвардейские отряды шли, главным образом, офицеры, выходящие из обедневших дворянских семей, не имевшие, что называется, ни крыши над головой, ни куска хлеба. У них не было возможности дожидаться лучших времен. Империалистическая буржуазия поступила с такими людьми, как с ландскнехтами, набранными по дешевке, с бору да с сосенки. Очень немногие из них дошли в «Веймарской республике», а затем в «Третьей империи» до степеней известных. Основное ядро этих бывших офицеров германской императорской армии нашло себе затем убежище и кусок хлеба в германской армии наемников, в рейхсвере. Остальные, до восстановления в Германии в 1935 г. всеобщей воинской повинности, вынуждены были искать себе занятия в самых различных отраслях.

Среди этих «лишних людей» были, однако, и люди совершенно особого порядка. Такие люди, несмотря на неразрывную связь ряда поколений их семьи с армией, сумели быстро ориентироваться в совершенно новой, чуждой их понятиям и навыкам, обстановке. Эти офицеры сумели быстро взять от бывшей императорской армии, или, вернее, от памяти о ней и надежды на ее восстановление в очень отдаленном будущем, самое ценное — связи с великими мира сего, знакомства с политиками и банкирами, с руководящими журналистами и промышленниками. В Германии между политиками, банкирами, промышленниками и журналистами, между деятелями всяких местных самоуправлений, крупными экспортёрами и пр. вскоре после мировой войны стали появляться весьма колоритные фигуры из бывших военных. Они умели поговорить на текущие политические темы, победить раны германского великодержавия, но вместе с тем и утешить предстоящим Германии великим будущим. Между всеми этими разговорами на высокие политические темы они играли роль посредников в крупных коммерческих сделках. Нельзя сказать, чтобы эти представители бывшей германской армии принадлежали к

самым устойчивым элементам с моральной точки зрения (даже в традиционной трактовке старой прусской армии). Надо помнить, что офицеры рейхсвера получали сравнительно мизерное жалование (речь идет, конечно, о среднем офицерском составе), и в послевоенной Германии в рейхсвере ходить в потертых и изношенных мундирах считалось своеобразным шиком, как некогда во времена «выголодавшейся в великодержавие» Пруско-Германии Фридриха Великого. Те из «лишних людей», которые шли в коммерческие посредники большего или меньшего масштаба, отнюдь не принадлежали к типу готовых «выголодать» великодержавие для своей империалистической буржуазии. Они предпочитали вместе с империалистической буржуазией добиваться лучшего, нисколько при этом не жертвуя частным своим благополучием. На проектировании способов восстановления германского великодержавия путем новой войны строили эти люди свою карьеру, начиная ее там, где ее оборвала мировая война, и не удовлетворяясь ни скромным жалованием офицера рейхсвера, ни несколько двусмысленным положением диктюрера министерства иностранных дел.

К числу таких бывших офицеров императорской армии, к числу «лишних людей», не пожелавших быть лишними и быстро нашедших себе место в огромном капиталистическом хозяйстве и империалистическом обществе Германии, принадлежит Иоахим фон-Риббентроп, нынешний «чрезвычайный и полномочный посол» Адольфа Гитлера, исполняющий самые ответственные поручения вожаков «Третьей империи» в области иностранной политики и своей работой на дипломатическом фронте помогающий Германии вооружаться и готовиться к новой империалистической войне.

Иоахим Риббентроп родился в 1893 г. в Везеле, в семье полковника прусской армии. В иностранной печати можно найти сведения о том, что Риббентроп еще до войны торговал в Германии французским шампанским и что отсюда, мол, происходят его связи с французскими и английскими деловыми кругами. Однако, здесь явно происходит смешение

ние довоенной и послевоенной карьеры нынешнего «чрезвычайного и полномочного посла». До мировой войны Иоахим Риббентроп и не думал о каких-либо коммерческих предприятиях. Он принадлежал к числу тех германских офицеров, которые, как это было изображено в шумевшей в свое время карикатуре «Симплициссимуса», возмущались позором, который Вильгельм II, «верховный вождь армии», причинил этой армии тем, что лавка королевского прусского фарфорового завода считалась его личным предприятием. Молодой Риббентроп до конца мировой войны не дошел еще своим умом до убеждений Вильгельма II, заявлявшего в подражание императору Веспасиану, что «деньги не пахнут». Вернее, до империалистической бойни, молодой офицер и сын офицера, Риббентроп не думал о том, что он все-таки является инструментом в руках «денежных мешков» и что ему не мешало бы, если он не хочет быть таким инструментом, самому стать «денежным мешком» или, во всяком случае, владельцем кругленького состояния. Сомнительно, чтобы думал о приобретении денег молодой, имевший связи в «большом свете», гусар — Иоахим фон-Риббентроп.

После окончания мировой войны Риббентроп выходит в отставку, ибо он не принадлежит к числу не умеющих подождать лучших времен авантюристов и головорезов. Кроме того, Иоахим фон-Риббентроп, хоть он и бывший гусар, отнюдь не склонен легкомысленно подвергать опасности свою драгоценную жизнь. Жизнь ландскнехта в разных белогвардейских отрядах, где нашла себе убежище часть бывшего офицерства, все-таки чревата опасностями. Иоахим фон-Риббентроп предпочитает тыл, вернее, штабные квартиры, где пускают в ход не оружие, а искусство переговоров и интриги. Лишь очень короткое время проводит Риббентроп на государственной службе «демократической» республики в качестве чиновника одной из многочисленных комиссий по ликвидации мировой войны и организации мирных переговоров с противниками Германии. Риббентроп для устройства своего материального благополучия пытается ис-



пользовать свои связи среди сильных мира сего. Он преуспевает в этом своем начинании. В его официальной биографии говорится, что с 1919 года Риббентроп посвящает себя коммерческой деятельности. Это сказано, с одной стороны, слишком громко, а с другой, слишком скромно. Риббентроп не повторяет ошибки или преступления Вильгельма II, имевшего для всех граждан лавку, по германскому выражению, «на открытой улице». Он вообще не организует никакого самостоятельного предприятия, что было в германских условиях того времени очень рискованно и опасно. Риббентропа не привлекли «воздушные дела» в роде тех, какими занимался, например, Альберт Лео Шлягетер, прогоревший на них и докатившийся до диверсионных дел мастера. Риббентроп становится посредником крупного масштаба. Теперь в иностранной печати его любят называть «коммивояжером», ибо сходство Риббентропа, бывшего коммивояжера, и нынешнего Риббентропа, постоянно находящегося в разъездах

по политическим и дипломатическим поручениям «Третьей империи», конечно, позволяет изощряться в остроумии. Но такие параллели легко могут ввести читателя в заблуждение. С представлением о коммивояжере у читателя невольно ассоциируется несколько трагикомическая фигура человека, нагруженного чемоданами с образцами товаров, берущего измором своего покупателя дешевым красноречием и еще более дешевым юмором. Коммивояжер — одна из излюбленнейших фигур дешевых комедий и фарсов. Коммивояжера выгоняют в двери, а он влазит в окно. Это нечто среднее между серьезным коммерсантом и нищим, просящим милостыни.

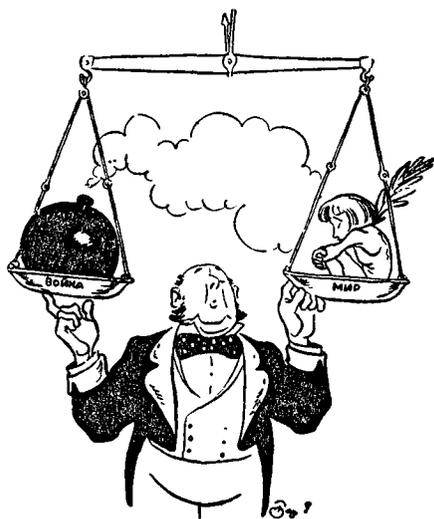
Риббентроп никогда не был коммивояжером такого типа. Чтобы понять социально-политическое происхождение нынешнего «чрезвычайного и полномочного посла» Адольфа Гитлера, надо представить себе коммерческого посредника по делам фирмы, обороты которой выражаются в миллионах или сотнях тысяч. Сюда относятся в первую очередь представители заводов, изготавливающих предметы боевого снаряжения, ибо никто, конечно, не может возить с собой в коммивояжерском чемоданчике образцы пушек, пулеметов, самолетов. Никто не представляет себе такого посредника с карманным броненосцем или подводной лодкой. К категории торговых посредников, которым незачем возить с собой образцы своих товаров, ибо они общеизвестны, относятся также представители фирм, изготавливающих предметы роскоши. Это коммивояжеры всемирно известных фабрик дорогих духов, дамских туалетов и, наконец, представители фирм, торгующих опять-таки всему миру известными марками французского шампанского. На первый взгляд, даже непонятна необходимость или целесообразность таких посредников, ибо что надо или что можно сказать нового об общеизвестных достоинствах произведений «вдовы Клико», воспетых еще Пушкиным? Эти коммивояжеры отнюдь не должны расхваливать свой товар. Они имеют задание поддерживать с покупателем личный контакт. Они должны уметь говорить на

общеполитические и экономические темы, они должны поддерживать умный и занятный разговор о весьма высоких материях. Надо признать, беседы такого коммивояжера являются неплохой тренировкой для будущего дипломата, не говоря уже о том, что, раз'езжая по Германии в 1920—25 гг. в качестве представителя крупнейших французских фирм, торгующих шампанскими винами, и знакомясь с крупными коммерсантами, наш будущий дипломат расширяет свои деловые и политические связи. Он умеет ждать, умеет не торопиться. Он не примыкает ни к одной из политических партий или организаций. Он повсюду завязывает связи. Он вхож в аристократические и крупно-буржуазные дома. Он свой человек в кругу военных, бывших генералов императорской армии и будущих генералов «Третьей империи». Он через старых товарищей поддерживает связи с рейхсвером. Он знает, что делается в министерстве иностранных дел. В первую очередь знает он о думах и чаяниях промышленников и банкиров Южной Германии, играющих в кругах германской буржуазии одну из руководящих ролей. В 1920 г. бывший гусар, а ныне элегантный делец, правда, неопределенного, но все-таки крупного масштаба, великолепный мастер светского и серьезного разговора, женится на Аниэ Генкелль, владелице всемирно-известного завода шампанских вин и коньяка в Германии. С этого момента фон-Риббентроп (кстати, дворянскую приставку «фон» Риббентроп не то купил, не то получил в подарок от какой-то внучатной своей тетки путем усыновления только в 1925 г.) становится в крупно-буржуазном германском обществе своим человеком. и равноправным членом этого общества.

Иоахим фон-Риббентроп занимается своими коммерческими делами. Он совершает частые поездки во Францию и Англию. Здесь он завязывает обширные знакомства. Сверхэлегантный и по своему образованный человек, он обладает умением заставлять своего собесед-

ника высказываться. Понемногу, в очень тесном пока кругу друзей и знакомых, Риббентроп получает славу весьма осведомленного человека, умеющего заглядывать за кулисы международной политики. В особенности крепка в этом смысле его репутация среди военных, проигравших первую империалистическую войну и подготовляющих путем вооружения Германии вторую. Вместе с этими военными фон-Риббентроп, конечно, убежден в том, что Германия непочинна в возникновении империалистической войны. Как и эти военных дел мастера, Риббентроп умеет говорить о необходимости восстановления «поруганной германской чести» (речь идет, конечно, о необходимости восстановить всеобщую воинскую повинность). Но в отличие от военных, которым не терпится, Риббентроп умеет ждать. Он выжидает, во-первых, того момента, когда можно будет добиться в Германии правительства, беспрекословно выполняющего волю военных кругов, и, во-вторых, он ждет, когда можно будет использовать для германского предприятия междуимпериалистические противоречия в Европе.

В единственной своей политической статье, прославляющей Адольфа Гитлера за «восстановление германской чести», Риббентроп утверждает, что он-де примкнул к национал-социалистскому движению уже в 1930 г., во время избирательной кампании. Его якобы очаровало ораторское искусство Гитлера, «страстность и логичность» его защиты германской невинности в войне. Но надо сказать, что к национал-социалистам в 1930 г. Риббентроп примкнул, очевидно, исключительно «про себя», ибо вплоть до 1933 г. он не был известен решительно никому, кроме очень узкого круга лиц, и его имя не упоминается нигде, даже в сфабрикованных задним числом, после прихода Гитлера к власти, дневниках его соратников (Геринга, Геббельса). Однако, фон-Риббентроп своевременно учел политическую значимость национал-социалистского движения и те выгоды, которые лично он мог бы извлечь из передачи буржуазией власти именно национал-социалистской



партии. Еще со времен своей военной службы Риббентроп знаком с Францем фон-Папеном, бывшим канцлером. Великолепно, инстинктом первоклассного коммивояжера, Риббентроп учитывает, что наступил момент, когда германский монополистический капитал готов передать власть национал-социалистам. Знакомства в военных кругах дают Риббентропу возможность убедиться в том, что и военные руководители считают национал-социалистов самыми подходящими людьми для осуществления «великого дела» вооружения Германии и официального ее отречения от Версальского договора. Риббентроп легко может убедить своего друга фон-Папена, что в защиту правительства рейхсверовского генерала фон-Шлейхера не встанет фактически никто, если сумеет доказать армии, что Гитлер не выйдет у нее из повиновения. Что Гитлер не выйдет из повиновения у германской буржуазии, Риббентропу и Папену доказывать, конечно, не приходилось. Так 4 января 1933 г. в Кельне, в доме влиятельного банкира Шредера, состоялось то свидание Гитлера с Папеном, на котором был фактически решен приход Гитлера к власти и которое было аранжировано именно Риббентропом, впервые активно — да еще в какой роли! — выступившим на арене германской политики.

Ясно, что это первое выступление Риббентропа должно было сделать его весьма симпатичным в глазах Гитлера человеком. Гитлеру, мещанину в дворянстве, Риббентроп импонировал к тому же своим великосветским тактом, своим умением разговаривать с представителями крупной буржуазии, с промышленными баронами и королями бирж. Еще больше внушал к себе доверие Риббентроп умением излагать внешнеполитические проблемы так, что Гитлер видел возможности удовлетворения своих агитационно-демагогических потребностей. Этим, выработанным долгой торговлей всякими громко прорекламированными товарами, умением жонглировать во внешнеполитических переговорах национал-социалистскими терминами и понятиями Риббентроп, с гитлеровской точки зрения, очень выгодно отличался от чиновников министерства иностранных дел, которые принимали демагогию Гитлера всерьез, чурались ее и буквально заикались при произнесении всякого рода национал-социалистских формул и формулировок. Германское министерство иностранных дел является (даже в наши дни) цитаделью германского дворянства, воспитанного в старых, бисмарковских традициях. Его чиновники по своему мировоззрению и своим навыкам отстали от бурных темпов развития империалистической Германии и не сумели своевременно приспособиться к практическим и, еще более, идеологическим потребностям довоенной Германии, а затем Германии периода разгрома и восстановления. Где же было этим людям приспособляться к национал-социалистическим формулировкам, казавшимся им по-всамделишному социалистическими! Где было этим чиновникам, соблюдающим некоторые правила «честной» дипломатической игры, уметь жонглировать понятиями о «новой Германии» в беседах и деловых переговорах с представителями других стран! Но Иоахим фон-Риббентроп умел все это проделывать блестяще. Он в своей коммерческой деятельности набил себе руку, он умеет, что называется, заговорить покупателя. И в то же время он умеет показать товар лицом и завести

совершенно серьезный деловой разговор.

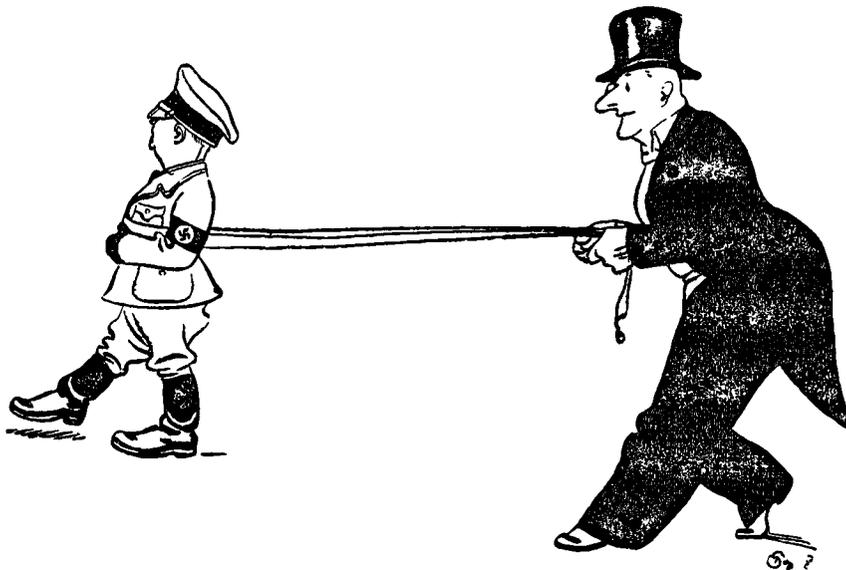
В апреле 1934 г. Риббентроп назначается «особоуполномоченным по делам разоружения». Вернее было бы сказать, по делам вооружения Германии, ибо Риббентроп берет на себя ведение переговоров о легализации германских вооружений со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с Францией и Англией. Не столько от Гитлера, сколько от военного германского руководства получает он задание. С одной стороны, там, где это нужно, доказывать факт германского вооружения и решимость Германии продолжать это вооружение до известного предела, а стало быть, необходимость с этим фактом примириться и лишь попытаться получить от него кое-какие выгоды во взаимоотношениях с другими странами. С другой стороны, доказывать, что равноправие, которого добивается якобы исключительно во внутривнутриполитических целях национал-социалистское правительство, имеет лишь теоретический характер, ибо финансовое и экономическое положение Германии никак не позволяет ей осуществить свою программу вооружений. Риббентроп, несмотря на весь свой внешний лоск сверхэлегантного и сверхкультурного негоцианта, недалеко ушел от старого российского охотника с его лозунгом: «Не обманешь, не продашь!» Недаром лицом он напоминает мелкого ростовщика.

После свидания Риббентропа с Луи Барту, французским министром иностранных дел, убитым затем в Марселе, в официозе польских пилсудчиков, «Газете польской» (21 июня 1934 г.), появилось очень любопытное изображение этой беседы. При чтении статьи польского официоза необходимо, конечно, помнить, что речь идет об органе, пожалуй, самого дружественного Германии правительства. Автор статьи «Шампанский посредник» утверждает, что у него нет особой информации о содержании беседы Риббентропа с Барту, но что он может себе ее представить. «Риббентроп, — говорит польский журналист, — еще со времен своей шампанской деятельности сохранил спокойный тон ди-

пломата, гибкость жестикуляции и закругленность выражений. Он умеет вежливо уговаривать и хвалить с улыбкой свой товар». Что же этот «шампанский посредник» предлагает французскому министру иностранных дел? «Ради бога, — говорит Риббентроп Барту в передаче «Газеты польской», — воздержитесь на минутку (в области вооружений), подождите! Германия сегодня с вами (Францией) соревноваться

скептик очень быстро понял существо «шампанского посредника» и распознал терпкий вкус вин из национал-социалистских подвалов. Всеобщую воинскую повинность Гитлер ввел в Германии односторонним актом, без предварительного соглашения с Францией и другими заинтересованными странами.

Неудача миссии Риббентропа во Франции несколько не повредила его политической карьеры. Мы знаем, что



не может. Ведь вы великолепно знаете, что у нас нет денег, что у нас забот полон рот. Дайте нам передохнуть. Согласитесь на сделку по делам разоружения, признав формально то, что в Германии в области вооружений фактически уже осуществлено». Польский журналист, не скрывающий своего восторга перед фокусами фон-Риббентропа, утверждает далее: «Шампанский посредник великолепно знал, что вышесказанные мысли надо скрашивать с помощью, с его точки зрения, приемлемых предложений. Он воображал, что сможет приготовить путь к конвенции, парализующей французские военные приготовления; поэтому он предлагал соглашение о взаимном контроле и постоянном контакте между штабами Германии и Франции». В переговорах своих с Луи Барту фон-Риббентроп, как известно, не преуспел: старый

согласно «учению» Гитлера (несколько не опровергнутому его же официальными речами) Франция является исконным, извечным и кровным врагом Германии, врагом, которого так или иначе придется побороть. Рудольф Гесс выразил этот факт в следующем эстетическом стихе: «Франция должна сдохнуть, чтобы Германия могла жить!» Гитлер не хотел осуществления в Германии всеобщей воинской повинности с согласия Франции: для внутриполитических, демоagogических целей Гитлеру нужен был односторонний акт, уничтожающий Версальский договор. Поездка Риббентропа являлась попыткой выведать ближайшие планы и намерения французского правительства. Серьезных переговоров Риббентроп вести не предполагал, ибо для Франции у него фактически и товара нет. Ему нечего было предлагать

Барту: в Париже он хотел купить, а не продать, да еще купить в кредит, с весьма явным намерением не платить по счетам. Насколько удалась поездка Риббентропа в разведывательном смысле — неизвестно. Известно только, что именно Риббентроп является тем информатором Гитлера, который предупредил его (в 1934 г.) о наличии во Франции, в особенности якобы в военных кругах, течения в пользу превентивной войны против фашистской Германии. Это предупреждение Риббентропа вызвало знаменитую «пацифистскую» речь Гитлера в рейхстаге, его «историческое» спасение Германии от грозившей ей якобы военной опасности. Годовщина этой свехисторической речи Гитлера праздновалась в этом году в Германии так же пышно, как некогда праздновался в ней день Седана, т.-е. годовщина битвы, в которой Пруско-Германия разгромила Францию Наполеона III.

После встреч Риббентропа с Барту и другими руководящими французскими политическими деятелями, после его информационной поездки в Лондон Риббентроп становится фактически полномочным представителем фашистской Германии для переговоров с западными державами задолго до того, как в июне 1935 г., накануне отъезда в Лондон на морские переговоры, ему официально дается титул «чрезвычайного и полномочного посла». Риббентроп сильно оттесняет на задний план Розенберга, поездки которого за границу имели весьма шумный эффект в скандальном смысле, но не принесли никаких реальных результатов. Риббентроп становится в Германии в области внешней политики человеком, несомненно более влиятельным, чем официальный министр иностранных дел фон-Нейрат, на долю которого выпадает лишь повседневная дипломатическая техника. Перед каждым важным решением в области внешней политики, перед каждым своим выступлением по внешнеполитическим вопросам Адольф Гитлер запирается в своей вилле в Патенкирхене с Иоахимом фон-Риббентропом, который является инструктором, тренером и просветителем фашистского диктатора. Риббентроп для

Гитлера не только главный источник информации; он умеет объяснять внешнеполитические события Гитлеру, человеку с очень узким кругозором и исторически преувеличенными представлениями о некоторых явлениях действительности. Гитлер, который по другим политическим вопросам обыкновенно соглашается с последним своим собеседником, во внешнеполитической области все более привыкает слушать и слушаться своего ментора фон-Риббентропа, который импонирует ему, быть может, не совсем отвечающими действительному положению вещей, но все-таки точными и сухо-деловыми сведениями, и который с улыбочкой, вежливенько, но твердо умеет дать понять Гитлеру, что в области внешней политики ни германский монополистический капитал, ни германское военное командование шуток и экстра-туров не потерпят. Если Вильгельм II в лице канцлера Бюлова не нашел ментора и укротителя своим экспрессионистически-истерическим вождением в области внешней политики, то можно смело сказать, что Гитлер такого ментора нашел в лице Иоахима фон-Риббентропа. Что именно бывший «шампанский посредник» оказался учителем фашистского диктатора в области внешней политики, быть может, является не плохим символом фашистской внешней политики.



После осуществления англо-германского морского соглашения Иохим фон-Риббентроп становится фигурой международного значения. В Германии он имел все шансы сделаться национальным героем и не стал им лишь потому, что германский империализм торгует пока исключительно под фирмой Адольфа Гитлера. Лондонский успех фон-Риббентропа официально, конечно, называется «успехом Адольфа Гитлера» со всеми соответствующими прилагательными. Не подлежит сомнению, что германский фашизм как ставленник германского империализма на данном этапе выиграл большое сражение. Командовал этим боем никак не Гитлер, а Иохим фон-Риббен-

троп, которого его друзья и покровители из военных кругов снабдили для лондонских переговоров необходимыми аргументами. Риббентроп имеет больше прав на зачисление в послужной империалистический список в связи с лондонским успехом еще и потому, что Гитлер, как известно, в своем «открытом письме Палену» (октябрь 1932 г.) считал военно-морское строительство ненужным и с финансовой точки зрения невыполнимым. Аргументация Гитлера о ненужности для Германии большого военного флота оставалась бы в силе, если бы не то изменение во франко-английских отношениях, своевременный учет и использование которого в интересах готовящейся к новой войне Германии является несомненной заслугой Риббентропа на службе германскому империализму. В свое время Риббентроп предупредил Гитлера о якобы имеющемся во Франции течении в пользу превентивной войны против фашистской Германии. Теперь этот же Риббентроп или, что то же самое, его политические заказчики и покровители исходят из убеждения в наличии или возможности военного соглашения между Францией и Англией. Если Германии приходится считаться с наличием или опасностью англо-французского военного соглашения, то она, конечно, стремится создать с помощью военного флота кулак для удара по Англии в случае ее выступления на стороне Франции. Конечно, об этом фон-Риббентроп в Лондоне не говорил. Он говорил в очень излюбленных в Сити и на Доунингстрит тонах об упрямых фактах германского вооружения, уговаривал с этим фактом примириться и извлечь из него те выгоды, которые Англия может извлечь в данной обстановке. Требуя для Германии 35-процентного соотношения ее флота к английскому, Риббентроп аргументировал, вероятно, как и в беседе с Барту, тем, что признание за Германией права обладать учетверенными по сравнению с Версальским договором военно-морскими силами имеет лишь теоретическое значение, ибо Германия по недостатку средств такой широкой программы выполнить не в состоянии. Требуя

для Германии разрешения на постройку флота, равного тому, который Англия держит в Ламанше и в Средиземном море, Риббентроп, вероятно, указывал, что, во-первых, до мировой войны Германия претендовала не на 35, а на целых 65 проц. английского тоннажа и, во-вторых, Германия разорвала Версальский договор в клочья и единственным средством укротить ее рвение в области вооружений является их легализация, вводящая эти вооружения в известные ограничительные рамки. Передовик «Газеты польской» с явным чувством беспокойства и недовольства внешнеполитическим успехом своего германского друга пишет, что Англия исходила из соображения: «Если не можешь иметь того, что любишь, то люби то, что имеешь». Иначе говоря, успех Риббентропа объясняется объективными изменениями в положении Великобритании. Если накануне империалистической войны великобританский флот был самым могущественным в мире, господствовавшим, как и поется в известной английской песенке, на морях, если до мировой войны английский флот был равен флотам любых двух держав, то теперь японский флот нагоняет английский, а американский равен ему. В этих условиях идея превентивной войны против Германии имеет в Англии мало сторонников, и фон-Риббентропу легко было надавать в Лондоне обещаний, которые пока очень полезны для успокоения английских руководящих кругов, хотя ни сам Риббентроп, ни дающие ему и Адольфу Гитлеру высокополитические поручения военные круги Германии не собираются эти обещания выполнять. Да и вообще сомнительно, чтобы в Англии был хоть один здравомыслящий человек, который верил бы, что если германский империализм решит в положительном смысле вопрос о расширении военно-морского строительства за пределы Лондонского соглашения, то Германия будет спрашивать на это согласия Англии. После подписания Лондонского соглашения Риббентроп дал корреспондентам Рейтера и Гаваса очень интересное интервью. Он между прочим заявил, что, по его мнению, «Европа со-

вершила ошибку, так как она пыталась одновременно разрешить слишком много проблем. Французская поговорка гласит: «Кто слишком часто целует, тот плохо обнимает». Ошибка заключалась в том, что в Европе хотели все вместе привести в порядок вместо того, чтобы браться за каждую проблему по очереди. И затем ошибка состояла еще в том, что здесь пытались за одним столом разрешить сразу все проблемы со всеми странами». Фон-Риббентроп считает, что заботиться о коллективной безопасности — значит «запрягать лошадь с хвоста». Сомнительно, чтобы Риббентроп в своих разговорах с английскими министрами на эту тему ссылался на высказывания Адольфа Гитлера, ибо в последнем случае ему пришлось бы процитировать следующее место из книги «Моя борьба» (стр. 718, изд. 1933 г.): «Все, что ты предпринимашь, делай целиком и полностью. Пищать против пяти или десяти государств одновременно — значит не иметь возможности концентрировать все свои волевые факторы и физические силы для удара против нашего заклятого врага и значит принести в жертву возможность нашего (германского) усиления и приобретения союзника для такой борьбы». Кто самый заклятый враг Германии? Гитлер дает на это четкий ответ: «Заклятым врагом нашим является Франция, которую нужно изолировать». Изолировать Францию можно только соглашением с Англией. Но, поучает нас Гитлер, при предложении кому-нибудь союза надо помнить, что «союз, целью которого не является война, бессмысленен и не имеет никакого значения» (стр. 749). «Союзы, — говорит Гитлер, — заключаются только во имя борьбы. Пусть возможность столкновения в момент заключения союзного договора находится в очень далекой перспективе, — шанс военных осложнений является внутренним поводом для заключения союза». При этом война против Франции является для Гитлера только предпосылкой. Германия усматривает в уничтожении Франции только средство «для предоставления нашему (германскому) народу возможности расширить свои владе-

ния в другом месте» (речь идет, как известно, о Востоке, — Н. К.), ибо, как провозглашает Гитлер на заключительной странице своей книги, «народ, который в эпоху отравления рас занимается развитием своих расовых элементов, должен стать господином вселенной» (стр. 782). Всего этого, конечно, фон-Риббентроп английским политикам не говорил. Скрывая свои истинные мысли, он поступал по завету Гитлера, который в книге «Моя борьба» (на стр. 718) говорит: «Нельзя делать заявления по поводу определенных политических наметок; надо считаться или со слепой верой массы, или с интуитивным пониманием духовно высоко стоящих руководящих кругов». Гитлер и его соратники, очевидно, не относят руководящие круги Англии и Франции к «высоко духовно стоящим» и «наделенным умением интуитивно понимать происходящее». Иначе вряд ли мог бы фон-Риббентроп перед лицом утверждений Гитлера заявлять о том, что его пытаются оклеветать, приписав ему намерение вбить клин между Францией и Англией. Фон-Риббентроп очень неосторожно (может быть, он действительно не читал книги «Моя борьба»?) говорит, что эти обвинения (Германии в намерении уничтожить Францию и посеять раздор между Францией и Англией) «имеет своим источником болтовню людей, которые не могут освободиться от известного довоенного образа мыслей». Ближайший сотрудник Гитлера в области внешней политики заявляет по адресу Франции и Англии: «Мы должны образумиться и забыть наши старые споры в пределах старого мира (т.е. континентальной Европы)... Я поставил себе задачей своей жизни добиваться тесного сотрудничества между Германией, Англией и Францией». Из писаний Гитлера, которые в этой области решительно ни в одном из изданий книги «Моя борьба» не подверглись ни малейшим изменениям, мы знаем, как представляют себе германские фашисты сотрудничество между Германией и Францией. Иохим фон-Риббентроп, вероятно, внутренне улыбался, произнося эти слова о сотрудничестве между Германией и Фран-

цией, сотрудничестве, которое должно явиться предпосылкой превращения германского народа во «властелина вселенной». С еще большим удовлетворением усмехался он при мысли о том, что именно ему, Риббентропу, суждено было историей подписать оформление восстановления германского военного флота в качестве первого шага на пути к осуществлению «задачи всей его жизни».

Сэмюэль Хор

Иоахим фон-Риббентроп вел в Лондоне морские переговоры главным образом с новым английским министром иностранных дел, сэром Сэмюэлем Хором. Нельзя представить себе партнеров, более противоположных по характеру, происхождению и манерам.

Риббентроп — тип современного авантюриста. Это человек, который всеми своими успехами в жизни обязан прежде всего самому себе. Это человек, который знает, что в случае крупной неудачи от него все откажутся, что ему в несчастья не от кого ждать помощи. Его связи в аристократическом и деловом мире хороши, только пока конъюктура благоприятна. Другое дело сэр Сэмюэль Хор. Многими крепкими нитями связан он с английской буржуазией.

Новый английский министр иностранных дел происходит из знаменитой лондонской семьи банкиров, играющих очень большую роль в жизни лондонского Сити и деловой Англии вообще. Банк Хоров существует с середины семнадцатого столетия, и за всю свою долгую историю он никогда не подвергал риску свою репутацию, свой кредит и кредит своих клиентов. Сэр Сэмюэль был предназначен с молодых лет представлять фирму и семью Хоров, что называется, в общественных делах. Этот спокойный, выдержанный англичанин (родился он в Лондоне в 1880 г.; ему, стало быть, теперь пятьдесят пять лет), конечно, получил свое основное образование в Оксфордском университете. В биографии сэра Сэмюэля не отмечено, какие успехи одержал молодой Хор в области учебы. Но зато в этой биографии подчеркнуто, что Сэмюэль Хор два

раза получал призы на спортивных состязаниях. Спортсменом Хор остался и по сей день. Элегантного старика всегда можно видеть на всех крупных спортивных сборищах Лондона. Весь свой досуг Хор посвящает спорту; он считается, между прочим, одним из лучших конькобежцев Англии.

По окончании Оксфордского университета Хор попробовал счастья на лондонских коммунальных выборах и был, разумеется (связи семьи Хоров чего-нибудь да стоили!), избран членом лондонской городской думы, в деятельности которой он принял активное участие. Уже тогда он заявил себя современным, т.е. отнюдь не твердолобым, а пытающимся понять знамения времени, английским консерватором. В выступлениях Хора в лондонском городском самоуправлении прежде всего виден ум очень практической складки. Этот человек не любит много рассуждать и философствовать. Если очень уж нужно, он, естественно (недаром Хор учился в Оксфорде, где муштруют также по части политического ораторского искусства), умеет произнести речь. Но оратор он очень сухой, без того блеска, какой имеется у крупных парламентских ораторов Англии. Тонкий, не очень приятный голос также усиливает у слушателя впечатление, что этот оратор никогда не будет говорить больше, чем нужно. Но, быть может, поэтому в лондонской городской думе очень внимательно прислушивались ко всем выступлениям и предложениям Хора, и еще очень молодым человеком он занял видное положение среди молодых консерваторов. Ему было всего двадцать пять лет, когда тогдашний консервативный министр колоний сделал его своим секретарем и этим открыл для него путь к политической карьере. В 1910 году Хор избирается членом парламента от округа Чельси, который он представляет в палате общин бессменно по сей день.

Мировая война, с одной стороны, несколько прерывает политическую карьеру сэра Сэмюэля Хора, а с другой, вносит в его биографию и политический облик новые, весьма любопытные элементы. Он идет на войну добровольцем,

получает на западном фронте ранение и выбывает из строя как активный офицер. Очень быстро (у Хора недюжинные, а для англичанина прямо феноменальные способности к иностранным языкам) изучает он русский язык и, по инициативе лорда Китченера и в некотором смысле в качестве его представителя, отправляется во главе английской военной миссии в Петроград. Здесь Хор быстро завязывает связи не только в официальном мире военных и дипломатов, но и в самых разнообразных слоях русского буржуазного общества. Небезызвестный Брюс Локкарт свидетельствует в своих воспоминаниях, что сэр Сэмюэль Хор был очень ценным, пожалуй, самым ценным сотрудником английского посла Бьюкенена. Хор встречался с самыми различными представителями так называемого русского общества; он был знаком с промышленниками и банкирами, с министром Протопоповым и Пуришкевичем, с кадетом Милоковым и монархистом Шульгиным. Очень быстро сумел он распознать гниль и разложение царской России и раньше других предугадал выход России из империалистической войны. Он, между прочим, раньше всех других иностранцев, а может быть, и вообще одним из первых в Петербурге, узнал об убийстве Распутина. Его имя поэтому долго связывали с этим убийством и с различными проектами дворцовых переворотов. После февральской революции сэр Сэмюэль Хор считает свою задачу в России законченной. Он возвращается в Англию, изучает итальянский язык и снова во главе военной миссии отправляется за границу, на этот раз в Италию.

О своем пребывании в России Хор написал очень любопытные воспоминания. Со страниц этих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» смотрит на читателя умный и спокойный представитель английской буржуазии, который мог бы великолепно сыграть свою роль на страницах «Саги о Форсайтах» Галсуорти. Сэр Сэмюэль великолепно понимал, что буржуазный строй в России обречен. У него нет, конечно, никакой симпатии к социальной

революции, но нет у него и жалости к представителям буржуазии, не понимающим своего положения и беспомощно барахтающимся во время исторического шторма в их стране. Записи его бесед с Пуришкевичем и, в особенности, с Протопоповым (бывшим министром внутренних дел, черносотенцем и сумасшедшим, излагавшим Хору план привлечения евреев к борьбе в защиту русской монархии) показывают, что Хор умеет слушать любого собеседника и что его ответы и замечания данному собеседнику еще не являются формулировками его окончательного мнения.

Впервые министром Хор становится в 1922 году: пять лет руководит он министерством авиации. Он одним из первых, в особенности среди консерваторов, приходит к признанию огромного значения авиации как связующего звена между различными частями Британской империи и как орудия защиты Великобритании. Сэр Сэмюэль не решается высказать это публично, но он хорошо понимает, что сейчас авиация в защите берегов и заморских владений Англии играет, быть может, ту же роль, что и ее военный флот. Он совершает несколько полетов, в том числе полет в Индию, описанный им в весьма занимательной книжке. В 1931 г. Хор назначается статс-секретарем по делам Индии. Не потому, что он считается знатоком индийских дел, а только потому, что он уже к тому времени пользуется в английских политических кругах репутацией человека прежде всего спокойного и выдержанного, умеющего находить лучший выход из самых тяжелых положений. Консерваторы считают, что и на этом посту он оказался «правильным человеком на правильном месте», т. е. что он при выработке индийского закона и при защите его перед различными факторами Индии и перед палатой общин нашел максимальное количество компромиссных, примиряющих все стороны решений.

Именно роль, сыгранная Хором в так называемой индийской реформе, сделала его претендентом на пост министра иностранных дел при реорганизации английского правительства, выразившейся

в замене Макдональда на посту первого министра Стенли Балдуином, на которого всей своей карьерой и всем своим социально-политическим обликом очень смахивает сэр Сэмюэль Хор, пользующийся — не только поэтому — симпатиями первого министра Англии. Сэр Сэмюэль Хор принадлежит к той группе английских консерваторов, которые не думают делать слишком скоропалительные выводы из некоторого улучшения экономического положения Англии. Никогда не терявший контакта с запросами Сити, Хор великолепно понимает, что так называемое улучшение экономического положения в Англии происходит в весьма узких рамках. Это улучшение дает консервативным кругам возможность держать себе увереннее, чем несколько месяцев назад. Однако сэр Сэмюэль учитывает, что данное улучшение дает его партии, прежде всего, возможность делать перед страной вид, что правительство не имеет права принимать слишком быстрые, «необдуманные» решения, — из нужды, обусловленной положением Англии, консервативная партия и в первую очередь Балдуин умеют делать и делают своеобразную политическую добродетель. Сэр Сэмюэль принадлежит к тем английским консерваторам, которые считают, что такой возможностью оттягивания окончательных решений надо и можно воспользоваться и в области внешней политики. Сэр Сэмюэль по своей социально-политической природе, вероятно, никаких симпатий к германским национал-социалистам не питает; надо полагать, что он, прежде всего, весьма критически относится к их социальной демагогии и словоблудию, весьма напоминающим ему истерические выкрики Пуришкевичей различных видов. Но он считает, что национал-социализм на службе германского империализма, который уже доставил много и доставит еще больше забот английскому империализму, сослужит также хорошую службу британскому правительству в области внутриполитических взаимоотношений. Правительство, членом которого был и министром иностранных дел которого стал Хор, наталкивалось в Англии на ста-

новящееся все более энергичным сопротивление не только рабочих, но и мелкобуржуазных элементов росту английских вооружений. Консервативное правительство, торгующее под фирмой «общенационального», все время имело перед собой в народных массах лозунг борьбы за мир. Вокруг этого лозунга (вспомним плебисцит в пользу мира) сплачиваются в Англии все более широкие круги не только рабочего класса, но и той мелкой буржуазии, без поддержки которой политическое благоденствие современных Форсайтов невысказано. Можно с уверенностью сказать, что сэр Сэмюэль Хор, считающий невозможной приостановку германских вооружений, ограничение их какими-либо средствами дипломатического или политического воздействия, почти приветствовал ту панику, которая воцарилась в некоторых английских кругах в связи с германскими вооружениями. Именно для тех слоев и элементов, которые требовали в Англии от своего правительства политики мира, стала весьма ощутимо реальной угроза войны вследствие германских вооружений. Гонка германских вооружений дает английскому правительству право на вооружения с своей стороны. Подписывая соглашение с Риббентропом, сэр Сэмюэль Хор не в последнюю очередь думал о том, какую роль это соглашение будет играть на предстоящих общих выборах, когда он сможет заявить, что для сохранения мира он сделал все, что мог: он взял с Германии максимум тех обязательств по линии ограничения вооружений, какие можно было взять. Но в то же время он должен будет сказать избирателям: эти германские «уступки» носят такой характер, что со стороны английского правительства было бы преступлением не увеличивать вооружений своей собственной страны.

«Если бы мы (англичане) подверглись нападению, то нападающий на нас встретил бы отпор со стороны, по крайней мере, двух или трех великих держав, которые совместно с несколькими мел-

кими державами поспешили бы по суше и по воздуху к нам на помощь для того, чтобы со своей стороны иметь возможность драться при помощи наших ресурсов, чего они до этого времени жаждали безрезультатно». Так пишет во влиятельном английском журнале «Найтинз сенчери» бывший дипломатический сотрудник «Дейли телеграф» — Геротволь. Нечто подобное проповедует на столбцах «Дейли телеграф» и его нынешний дипломатический сотрудник. Это доказывает, что вышеприведенные слова — не просто досужие размышления журналиста, а являясь отзвуками размышлений и разговоров, которые ведутся в правительственных кругах Англии. «Если бы Германия на нас напала, рассуждают, судя по вышеупомянутой статье, власть имущие английские консерваторы и деловые люди лондонского Сити, скомбинированным представителем которых является именно сэр Сэмюэль Хор, то, как она это великолепно понимает, нам не пришлось бы просить помощи у Франции, Италии и связанных с ними стран. Они пришли бы на помощь нам и без нашей просьбы, особенно Франция, существование которой, как великой державы, обладающей крупными колониями, зависит от нашего существования. С другой стороны, если бы Франция была нападающей стороной, то Германия и Италия (последняя, несмотря на римские соглашения) буквально прыгнули бы к нам со своей помощью, чтобы только пожать плоды раздела французских колоний, столь слабо заселенных белыми». В статье Геротволя слышатся буквально те же аргументы, с помощью которых Хор защищает свою политику, несколько напоминающую политику Асквита во время мировой войны: «Ждать и смотреть, что будет» (wait and see). Бывший дипломатический сотрудник «Дейли телеграф» заявляет со всей решительностью, что он «готов итти еще дальше», и пишет: «Я убежден, что если бы Британская империя когда-нибудь столкнулась с Японией, то даже миролюбивая Америка присоединилась бы к Англии, чтобы иметь возможность — в других случаях недостижимую —

драться с Японией, опираясь на британский флот. Во всяком случае, давать нашу кровь авансом как залог какой бы то ни было иностранной державе означало бы усиливать в этой державе стремление к войне». «Давать английскую кровь авансом иностранной державе», в представлении консервативного публициста, хочет, конечно, Антони Иден, ставший после недавнего посещения Берлина энергичным поборником обеспечения коллективной безопасности. Здесь опять-таки известные консервативные круги делают из нужды добродетель: ослабление международного положения Англии, приведшее к радикальному уничтожению последних шансов на «блестящее одиночество», они пытаются представить так, что Англия, дескать, может даже мизинчиком не двигать, — все равно в случае войны ее безопасность будет обеспечена: ей бросятся на помощь по тем или иным соображениям решительно все державы. Слабость своей страны они представляют как какую-то ее особенную силу и делают вид, что укрепление английских позиций в действительной, не только на словах, но и на деле, борьбе за осуществление коллективной безопасности привело бы к дальнейшему ослаблению и без того ослабшей Англии.

Отсюда прежде всего надо сделать вывод, что противопоставление Идена Хору как антигермански настроенного политика политику германофильскому не годится. Было бы смешно искать германофильских симпатий у сэра Сэмюэля, который между прочим организовал во время мировой войны антигерманскую военную разведку в двух странах Антанты. Но надо считаться с наличием своеобразных кунктаторских (т. е. по возможности оттягивающих окончательное решение) влиятельных английских кругов, представителем которых является именно сэр Сэмюэль Хор. Поэтому новый английский министр иностранных дел оказался самым благоприятным партнером для Риббентропа. Правда, говорят, что, узнав о результатах свидания Риббентропа с Хором, Гитлер воскликнул: «Англия у нас в кармане! Теперь мы можем схватить

наконец за шиворот Францию!» Но спокойный и рассудительный Хор не отвечает за всю истеричную экспансивность германских фашистов, делающих несколько скоропалительные выводы.

«Английский финансовый мир играл при англо-германском сближении куда большую роль, чем кое-кто думает», — пишет лондонский корреспондент «Эко де Пари», делающий по поводу соглашения Хора с Риббентропом следующие любопытные сообщения: «Англия инвестировала в Германии весьма значительные капиталы. Известно, что лондонское Сити очень поддерживало германский Рейхсбанк и что германские вооружения в значительной мере финансировались Англией (т. е. английскими банками, искавшими в обстановке общего экономического кризиса применения своим свободным капиталам. — Н. К.). Экспорт оружия из Англии составлял в 1927 году 33,7% мирового экспорта оружия, а в 1931 г. — уже 37,8%, или, в денежном выражении: в 1927 году — 1.928 тысяч фунтов, в 1933 году — 2.114 тысяч фунтов. Неизвестно в точности, сколько оружия Англия продала в Германию, но достаточно обратить внимание на ту рекламу, которую делает своей продукции в германских военных журналах английское общество «Виккерс». Кроме того, весьма показательно, что сильно вырос экспорт сырья из Англии в Германию. В 1932 г. Англия вывезла в Германию на 889 тысяч фунтов никеля, а в 1934 г. экспорт никеля из Англии в Германию больше чем удвоился. Удвоился экспорт и некоторых видов текстиля, применяемых на амуниционных заводах. Некоторые железообразования, которые нужны для производства пушек, экспортируются теперь из Англии в Германию в тройном количестве».

С одной стороны, таким образом, те деловые круги Англии, которых в первую очередь представляет в правительстве Балдуин сэр Сэмюэль Хор, не желают терять коммерческих прибылей от торговли с Германией, хотя и знают, что Германия вооружается фактически с их помощью. А с другой стороны, влиятельная английская газета «Фай-

наншиел ньюс», являющаяся в первую очередь органом лондонского Сити, к которому попрежнему надо отнести банк Хоров, считает, что развитие германских вооружений в конце концов натолкнется на финансовые затруднения. «Германия не имеет достаточно сырья. Каким образом сможет она при своем тяжелом финансовом положении вооружить армию, которая, по ее собственным данным, должна иметь 1.300 самолетов, 6.000 тяжелых орудий и 1.200 танков? Каким образом сможет она содержать постоянную армию в 600 тысяч человек? Правда, запасы золота и иностранной валюты в Германии куда более значительны, чем она заявляет своим кредиторам. Все страны, с которыми Германия поддерживает торговые отношения, способствовали усилению ее вооружений, — добровольно или недобровольно. Англия и Франция отнюдь не стоят в этом отношении на последнем месте. За полтора года Германия получила около 800 миллионов марок торговых кредитов. Сюда же надо причислить 240 миллионов марок процентов и амортизации. Германский импорт состоит главным образом из сырья для вооружений. За последнюю четверть 1934 г. и за первую четверть 1935 г. цифры ввоза железа, меди, никеля, цинка и олова показывают сенсационное увеличение. Англия и Швеция поставляют Германии большинство железных товаров. Англия дает ей медь. Таким образом, финансирование германских вооружений идет как-раз из тех стран, которые больше всего опасаются возрождения германского милитаризма. Шахт оказался очень ловким не только потому, что он добился от германских кредиторов одной уступки за другой, но еще и потому, что он сумел заставить другие страны снабжать изготовляющую вооружения германскую промышленность необходимым сырьем. Он сумел сделать за границей новые долги». Смысл этой статьи тот, что вечно такое осуществление германских вооружений, что называется, за чужой счет продолжаться не может. Поставщики Германии смогут-де в тот момент, когда они сочтут это нужным или целесообразным, пре-

кратить поставку Германии сырья для вооружений, или же Германия в случае продолжения своих вооружений нынешними темпами станет перед опасностью общего финансового краха и вынуждена будет «добровольно» прекратить дальнейший рост своих вооружений. Не приходится сомневаться в том, что обе статьи (во французской газете и в английском журнале) отражают рассуждения и выкладки, производящиеся в тех консервативных и деловых кругах Лондона, с которыми тесно связан сэр Сэмюэль Хор.

Партнер Риббентропа по лондонским морским переговорам весьма отличается от английского министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея, который до первой империалистической войны вел переговоры, к примеру, с представителями той же Германии. Сэр Эдуард Грей был действительно руководителем иностранной политики Англии. Известно, что об его действиях и соглашениях знал только весьма ограниченный круг лиц, и в дела министра иностранных дел зачастую не были посвящены даже все члены кабинета. Сэр Сэмюэль Хор от предшествовавших ему министров иностранных дел Великобритании отличается тем, что он, собственно говоря, лишь один из нынешних руководителей английской иностранной политики. Мы знаем, что рядом с сэр Сэмюэлем сидит в кабинете министр по делам Лиги Наций — Иден. Понятно, что это ограничение круга деятельности Антони Идена Лигой Наций не умаляет, а лишь увеличивает его значение. Иден будет представлять Англию на всех сессиях совета и ассамблеях Лиги Наций. Это обозначает, что именно он, а не сэр Сэмюэль Хор, будет поддерживать личный контакт со всеми ответственными руководителями иностранной политики других стран, в то время как на долю сэра Сэмюэля остаются иностранные послы, находящиеся в Лондоне и играющие в наше время, как известно, все меньшую роль в активной политике. Мы видим, что для переговоров с Парижем и Римом после подписания Лондонского морского соглашения выехал опять-таки Антони Иден. Наконец, кроме сэра Сэ-

мюэля Хора и Антони Идена имеется еще аппарат министерства иностранных дел во главе со статс-секретарем сэром Робертом Ваннситаром. Любопытно, что назначение Идена министром иностранных дел не состоялось, между прочим, будто бы и потому, что он был кандидатом этого аппарата и самого Ваннситара. Что это значит? Это значит, что в настоящее время руководящие круги Англии боятся сосредоточения всего управления внешнеполитическими делами в руках одного человека; они предпочитают, чтобы внешнеполитическими проблемами занимались несколько человек. Если не цитировать несколько невежливой в данном случае поговорки «У семи нянек дитя без глаза», то надо все-таки сказать, что такая политика, представленная несколькими ответственными руководителями, обозначает известное экспериментаторство, и в частности экспериментатором является сэр Сэмюэль Хор.

Конечно, такое экспериментаторство не имеет ничего общего ни с «блестящим одиночеством» Англии в разгар ее могущества, ни с ее политикой англо-французского сотрудничества и англо-германских попыток примирения накануне мировой войны. Тогда между прочим Англия не пыталась выступить посредником между Германией и Францией. Она не боялась оставить их, что называется, наедине. Теперь, после переговоров с Риббентропом, сэр Сэмюэль Хор делает попытку выступить посредником между Германией и Францией. Он хочет толкнуть Францию в области сухопутных вооружений на такое соглашение с Германией, какое в области морских вооружений столь «удачно», по его мнению, заключила Англия. Удача, как известно, заключается в том, что Германия дала себя ограничить в известных рамках. Быть может, она даст себя уговорить и в деле ограничения сухопутных вооружений. Французская печать недаром подчеркивает, что соотношение 35 к 100 в германо-английских морских вооружениях делает германский флот сильнее французского, т. е. заставляет Францию «дорожить английской дружбой», считать невы-

слимой и заранее потерянной войну, в которой Англия будет соблюдать нейтралитет. Переговоры Хора с Риббентропом должны были служить именно делу известного подчинения Франции английскому империализму.

Но подчиниться экспериментирующему английскому империализму — значит для Франции при осуществлении «соглашения» с Германией потерять в Европе положение великой державы. Это понимает сэр Сэмюэль Хор, который отнюдь не хочет в континентальной Европе германской гегемонии. Он только экспериментирует по старой, но весьма изменившейся и искривившейся в общих кризисных условиях линии «равновесия сил». Про сэра Эдуарда Грея говорят, что, если бы он накануне мировой войны твердо высказался за участие Англии в антигерманской коалиции, то, быть может, не было бы первой империалистической войны или она не вспыхнула бы в 1914 г. Однако, как мы знаем, Грей отнюдь не экспериментировал, он только несколько слишком долго взвешивал шансы нейтралитета и участия в войне, колебался в вопросе момента вступления в войну. Сэр Сэмюэль Хор отличается от Эдуарда Грея

тем, что он экспериментирует в вопросе, ныне решающем дело войны и мира в Европе, т. е. в вопросе действительного участия Англии в осуществлении коллективной безопасности. Английские политики в беседах с иностранцами последнее время любят признавать слабость английских позиций, но просят в награду за такое скромное признание не винить их в том, что они хотят войны. Никто не утверждает, что политика сэра Сэмюэля Хора есть политика войны. Во всяком случае, никто не винит Хора в организации войны в Западной Европе. (Что касается Восточной Европы, то влиятельные английские круги не возражали бы, если бы германская агрессия направилась именно туда). Но все друзья мира опасаются, что такое экспериментирование руководителя, или, вернее, одного из руководителей английской политики, во всяком случае ослабляет шансы всеобщего мира в Европе. Никто не понимает этого так хорошо, как Иоахим фон-Риббентроп. Поэтому он в своем заявлении представителям печати и наговорил столько про «задачу своей жизни», про великий эксперимент англо-франко-германского сотрудничества.

2. ДВА ГОДА ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ

(Хозяйственные итоги)

М. Спектатор

I

Германская буржуазная пресса, подводя итоги фашистской власти за два года, делает вид, что она вполне удовлетворена успехами ее на хозяйственном фронте. Однако полностью скрыть действительное положение вещей ей не удастся. Вот например Конъюнктурный институт. Как ни старается он представить современное положение в розовом свете, все же вынужден признать в своем предпоследнем «Квартальнике», что в Германии зимой 1934—35 г. наступило некоторое «затишье», нечто вроде «пере-

дышки» в хозяйственном развитии. «Значительное оживление хозяйства, — читаем мы в его обзоре, — является обычно результатом сильно выросших новых капиталовложений. Однако, степень загрузки предприятий в настоящее время еще в большинстве случаев не дает повода к новым инвестициям. В среднем загрузка промышленности составляет все еще только 62 проц. производственных способностей, что соответствует примерно состоянию 1930 г. Только в случаях сокращения ввоза иностранного сырья и замены его местным приходится расширять су-

ществующие предприятия или строить новые»¹⁾.

Новые капиталовложения, которые делают частными предпринимателями, служат в основном для замещения использованного оборудования²⁾. Новое строительство идет за счет казны или Имперского банка. Названный институт объясняет это явление недостатком капиталообразования в Германии и указывает на то, что доходы предприятий еще сравнительно небольшие. На самом деле, его подсчеты показывают следующие доходы акционерных обществ Германии (в миллиардах марок): в 1927 г. — 3,3, в 1928 г. — 3,2, в 1929 г. — 2,2, в 1931 г. акционерные общества, наоборот, показывают убыток в 5 млрд. В 1932 г. убыток уменьшается до 3 млрд., а в 1933 г. убытки сбалансированы с прибылью. В 1934 г. исчисляется прибыль в 500 млн. марок. Таким образом, за два года кризиса потеряны доходы докризисного трехлетия 1927—29 гг., а прибыль 1934 г. составляет еще незначительную величину. При таких условиях совершенно ясно, что промышленность не располагает достаточными капиталами для капитального строительства. Почему однако так низки доходы промышленности за последние годы? Прежде всего вследствие относительно высоких цен на сырье, в особенности на сырье национального производства. Германия вынуждена значительную часть своей продукции продавать за границей по падающим ценам, в то время как цены на сырье держатся твердо или даже растут. Далее, низкая нагрузка предприятий держит производственные расходы на высоком уровне, тем более, что за годы кризиса производственный аппарат не обновлялся. Новые удешевляющее производство машины почти не вво-

дились. К этому прибавляется еще и другое обстоятельство.

Тот же Конъюнктурный институт (в своем «Еженедельнике» за 1934 г., № 46) констатирует, что *производительность труда за годы фашистской власти значительно снизилась*. Объясняется это тем, что под давлением фашистской власти приходилось нанимать рабочих и служащих, без которых производство могло бы обойтись, но которых политически необходимо было устроить на предприятиях. Эти рабочие часто оказывались мало пригодными для работы. Затем годы недоедания и голода прошли для многих рабочих, в особенности для вновь принимаемых на работу, не бесследно. Замена старых, опытных рабочих, которых выбрасывали с предприятий из-за их борьбы против фашистского режима, новыми рабочими не могла также не привести к снижению уровня производительности труда. В результате — рост производственных расходов и вместе с этим замедление накопления капитала.

Известную роль в этом явлении сыграло также покровительство аграриям и мелким хозяйчикам. В результате аграрной политики фашизма прожиточный минимум продолжает оставаться на чрезвычайно высоком уровне, а поддержка мелких хозяйчиков приводит к распылению капитала и местами является тормозом концентрации производства. Еще гораздо более важным моментом является то обстоятельство, что германским промышленникам приходится платить высокие проценты, в среднем в два раза превышающие проценты на капитал в других промышленных странах. Процент является вычетом из дохода промышленного капитала, и, чем выше этот процент, тем ниже доход промышленника. А так как германская промышленность еще в значительной мере задолжена за границей, то эти проценты уходят из страны (за 11 месяцев 1934 г. Германия уплатила за границей 450 млн. марок) и тем самым задерживают капиталонакопление внутри страны.

Высокий процент является результатом слабого накопления капитала в стране. Но вместо того, чтобы изменить

¹⁾ В «Еженедельнике» от 27 марта указывается степень загрузки промышленности в 73%. Но в том же номере указывается, что число проработанных часов ко всему числу возможных часов работы составляет в феврале всего 53,6%.

²⁾ Новые сведения о частном капиталовложении не публикуются. Известно, что капитал частных акционерных обществ в 1934 г. уменьшился.

условия образования капитала, фашисты пытаются бороться против результатов этого явления, против высоких процентов. Защищая интересы финансового капитала в целом, национал-социалисты все еще продолжают говорить о «процентном рабстве», сведя свою «борьбу» против него к снижению уровня процента. Как будто например в Голландии, где процентные ставки низкие, установился рай на земле для мелкого хозяйчика! В Германии с этой целью проводится конверсия долгов, т.е. принудительным порядком снижается процент по прежним долгам. Таким путем облегчается положение должников. Но вопрос ведь сводится к тому, чтобы влить в промышленность новые капиталы. По низким процентам промышленность получит еще меньше этих капиталов, чем раньше. Фашистская политика сводится к консервации старого, к сохранению существующего за счет дальнейшего развития. Снижение процента ослабит у мелких сберегателей импульс к дальнейшим сбережениям и усилит личное потребление за счет сбережений, за счет накоплений. Поэтому все эти финансовые мероприятия фашистского правительства отнюдь не способствуют тому, чтобы привлечь новые капиталы в промышленность.

Германский Кон'юнктурный институт меланхолически спрашивает, не наступил ли конец частному хозяйству, регулятором которого является прибыль? Он утешает своих читателей тем, что в ряде областей, благодаря правительственным заказам, промышленность все же получает некоторую прибыль, хотя и небольшую. Предприниматели, получившие правительственные заказы, зарабатывают на самом деле очень хорошо, но весь вопрос заключается в том, в какой мере эти правительственные заказы сумеют поддержать промышленность в целом и как долго смогут продолжаться эти заказы.

В новом «Квартальнике» 1935 г. Кон'юнктурный институт возвращается к вопросу о частных инвестициях. Констатируя, что темп развития хозяйства, начиная с середины 1934 г., замедлился и что личное потребление вплоть до

марта с. г. сокращалось, он снова подчеркивает определенно проявившуюся воздержанность частных предприятий в отношении новых капиталовложений. «Новые производственные возможности, — говорит он, — не созданы, за исключением редких случаев, и то большей частью тогда, когда государство побуждает к этому». Два момента приводятся им в объяснение этого факта: материальный и психологический. Производственный аппарат еще использован всего на 60—70% и не появились за последнее время особенно крупные технические изобретения. Все же он считает, что, с технической стороны, имеется налицо сравнительно значительная потребность в новых капиталовложениях. Мешает психологический момент. Указывают, говорит Кон'юнктурный институт, на то, что предприниматели не уверены в «прочности нынешней кон'юнктуры, так сильно зависящей от поддержки со стороны государства. Это указание, однако, вряд ли имеет практически большое значение, так как такой «уверенности» и во время прежних циклов не было. Прежде всего, приходится указать на момент политического доверия, которое отличает нынешнее положение от прежних кон'юнктурных циклов» (подчеркнуто нами. — Сп.).

Другими словами, Кон'юнктурный институт признает, что у предпринимателей нет доверия к прочности фашистского режима. Это очень ценное признание. Но к этому следует прибавить, что у них нет и уверенности в прочности валюты, что тоже мешает капиталовложению на долгий срок.

Германская промышленность достигла в 1934 г. 86 проц. уровня 1928 г., против 61,2 проц. в 1932 г. Особенно быстро развились железодобывающая и металлообрабатывающая промышленность, автостроение и т. д. Ни для кого не секрет, чем вызвано такое развитие германской промышленности. Приведем только свидетельство одного крупного капиталистического органа — «Нейе

фрейе прессе», — который, обзревая развитие мирового хозяйства в 1934 г., писал:

«Хозяйством 1934 г. управлял Марс... По крайней мере две трети вновь занятых рабочих приходится на тяжелую промышленность. Военные расходы сильно выросли, и гигантские суммы притекали в тяжелую и химическую промышленность». При этом, замечает газета дальше, к военной промышленности приходится относить не только сталелитейные заводы, но также предприятия, производящие искусственный шелк, ткацкие и прядильные фабрики, автомобильные и авиационные заводы, производство оптических приборов и точных инструментов, резиновых рукавов, масок, а также изготовление готового платья.

Названная газета перечислила далеко не все предприятия, работающие на армию. Если в Германии в 1934 г. изготовление обуви превысило докризисный уровень, то разве частный рынок на пятом году кризиса предъявлял такой спрос на обувь? Далее, огромные затраты на развитие собственного производства сырья тоже диктуются военными соображениями. Добыча нефти в Германии увеличилась почти в четыре раза по сравнению с 1928 г. Затем строительство шоссе, мостов, гаваней и т. д. — все это непосредственно связано с подготовкой к войне. А между тем именно эти затраты, как известно, сыграли большую роль в промышленном оживлении последних лет. Все это достаточно известные явления. Характеризуя экономическую деятельность фашизма за последние два года, мы считаем нужным остановиться не на этих фактах, а на специфических формах хозяйственного развития Германии. Все капиталистические государства в большей или меньшей мере вооружались, делали большие затраты как на непосредственное производство амуниции, так и на подготовку хозяйства к новой войне. Все промышленные страны в большей или меньшей степени готовятся к автаркии, т. е. к производству уже в настоящее время всего того, что может оказаться необходимым на случай новой войны.

Германия отличается в этом отношении от других стран только тем, что она все это делала в ускоренном порядке. Она опоздала со своим вооружением, так как Версальский мир запретил ей вооружаться, и она стремится теперь догнать и перегнать своих соседей. При этом она применяет конечно новейшую технику, чем она легко может опередить, по закону неравномерного развития, другие державы, затратившие раньше миллиарды на уже устаревшие средства обороны. Однако новое вооружение требует колоссальных сумм. Отсюда — лихорадочный характер промышленной работы Германии и вместе с этим значительный скачок вверх ее конъюнктуры.

То, что придает промышленной деятельности германского фашизма специфические черты, это — прежде всего своеобразная организация самой промышленности. Как известно, германское хозяйство организовано по принципу «сословности». Особо выделено сельское хозяйство, затем образовано семь групп: промышленность, ремесло, торговля, банки, страхование, силовое хозяйство и транспорт вместе со связью. Эти группы представляют собою принудительные организации с «руководителем» во главе. Правда, такие организации существовали в Германии и раньше, где остатки сословности сохранились и по сию пору. Здесь германские фашисты в своеобразной форме пытались использовать опыт США. Однако созданные в США организации промышленности пользуются гораздо большими правами и большим влиянием, чем германские организации, которые по смыслу их уставов не должны вмешиваться в производство и сбыт товаров, а носят характер совещательного «профессионального» органа. Но новые фашистские организации имеют своеобразные черты, заключающиеся в том, что эти организации связаны с так называемым «Рабочим фронтом» — номинальной организацией рабочих и служащих, которых лишили самостоятельной профессиональной и политической организации. И вот то обстоятельство, что рабочие лишены права создавать свои организации для защиты своих клас-

совых интересов в стране с резко выраженными классовыми противоречиями, является особенностью господства фашизма. Эти черты в дальнейшем должны пагубнейшим образом сказаться и на развитии самой промышленности.

Нет никакого сомнения в том, что фашистам не удастся задавить революционное движение масс. Непрекращающаяся героическая борьба коммунистической партии Германии является залогом прядущей победы рабочего класса. Но, поскольку давление государства усилилось в отношении рабочих, постольку у предпринимателей ослабевает импульс к улучшению промышленного производства, к обновлению техники, к введению новых способов производства. Капиталистическое хозяйство основано на противоречии между трудом и капиталом, и диалектическое развитие этого противоречия ведет также к развитию капиталистического хозяйства. Рост заработной платы заставляет вводить новые машины, толкает процесс концентрации производства вперед, способствует переходу к качественному производству, влияет на изменение системы сельскохозяйственной культуры и т. д. Борьба пролетариата, приводящая в конечном счете к низвержению капитализма, заставляет капиталистическое производство совершенствоваться. Если в период загнивания капитализма не полностью прекращается технический прогресс, то главным образом потому, что эта борьба пролетариата не ослабевает, а усиливается.

Обычно думают, что конкуренция между отдельными предприятиями или между отдельными государствами является главным стимулом к совершенствованию техники и производства в целом. Однако рыночные условия могут играть эту роль только на почве производственных отношений: только на почве борьбы пролетариата за улучшение своей жизни давление, оказываемое рынком, приводит к улучшению производства. Если возможно было бы пойти по линии наименьшего сопро-

тивления, снижения производственных расходов за счет рабочего класса, то предприниматели предпочли бы этот путь вместо затраты новых капиталов, приводящей в конечном счете к снижению нормы прибыли.

Рабочий класс капиталистических стран переживает в настоящий момент чрезвычайно тяжелый период своей истории. Кризис и необыкновенно большая безработица страшно затруднили борьбу за улучшение экономического положения. Японская конкуренция, усиливающаяся на мировых рынках с каждым днем, является для предпринимателей новым стимулом к снижению зарплаты. Характерно, что в 70-х годах прошлого столетия предприниматели Англии, указывая на возможную конкуренцию со стороны Китая, заявляли, что нельзя будет выдержать борьбу с ним, не опускаясь до уровня своих конкурентов. «В настоящее время, — писал Маркс, — («Капитал», т. I, стр. 587. Изд. 1923 г.), — дело идет уже не о том, чтобы английские заработные платы понизить до уровня заработных плат на Европейском континенте, а о том, чтобы европейский уровень в более или менее близком будущем спустить до китайского уровня».

Если на место Китая поставить Японию, то можно сказать, что предсказания Маркса полностью сбылись. Буржуазная пресса, говоря о японской конкуренции, постоянно подчеркивает, что причиной успехов Японии на мировых рынках является низкий уровень жизни японских рабочих. Недавно нам пришлось читать о выступлении швейцарских предпринимателей машиностроительной промышленности, которые открыто заявили, что причиной ухудшения положения этой промышленности на мировых рынках является высокая зарплата. И вот фашизм, отнимающий у рабочих их профессиональные и политические организации и лишаящий их всяких политических прав, создает тем самым государственную и экономическую организацию, которая должна выполнить эту задачу европейской

буржуазии, а именно — снизить уровень жизни европейских рабочих до уровня жизни японских рабочих.

За последние два года, несмотря на значительный рост стоимости жизни, даже по фашистским данным, номинальная зарплата после 1932 г. снизилась, продолжая падать еще в 1934 г., хотя эти годы явились годами промышленного оживления. В этом обстоятельстве, в этом чрезвычайном давлении на жизненный уровень рабочего класса, кроется самая глубокая причина того, что в Германии так медленно идет обновление производственного аппарата, который значительно устарел. Ибо удары конкуренции отводятся в сторону рабочих. Другая сторона того же явления состоит в том, что одновременно почти не расширяется внутренний рынок. Сбыт товаров, если отвлечься от временных инфляционных закупок или от заказов правительства, мало или даже совершенно не расширяется. Это является как результатом низкого жизненного уровня, так и результатом того, что не идет капитальное строительство. Узкие рамки внутреннего и внешнего рынка делают ненужным применение новых машин, которые были бы выгодными только при возможности расширения рынка. Мы дальше увидим также, что суживается внешний рынок. Затем в ряде областей постройка новых предприятий или введение новых машин даже запрещается. Таким образом, мы имеем целый ряд моментов, задерживающих промышленное развитие страны: медленное в результате политики фашизма капиталонакопление, причем образующиеся капиталы используются государственными организациями для их целей, слабо развивающийся рынок, а в известных областях даже суживающийся, и наконец, что важнее всего, давление на жизненный уровень рабочего класса, лишение рабочих средств защиты своих интересов — все это вместе заставляет нас сказать, что конъюнктурное оживление, отмеченное в Германии за последние годы, но которое, уже начиная с середи-

ны 1934 г., приостановилось, не имеет реальной почвы под собой и что германский капитализм, если бы фашистам на деле удалось сломить сопротивление рабочего класса, осужден был бы на застой и усиленно быстрое загнивание. Ухудшение экономического и социально-политического положения рабочего класса — не единственный момент, обостряющий процесс загнивания капитализма, но он является основным, и, поскольку специфический характер фашистской политики проявляется именно в устранении или затруднении борьбы рабочего класса, постольку он ведет страну не к промышленному процветанию, а к полному упадку.

II

В отношении сельского хозяйства политика фашистов сводится в основном к автаркии, т.-е. к подготовке сельскохозяйственного производства для самоснабжения на случай войны. Нельзя сказать, чтобы германское сельское хозяйство достигло в отношении продукции максимума того, что оно могло бы дать. Правда, урожайность в Германии относительно высокая, но значительные области еще слабо используются, и сама урожайность крайне неравномерно распределена по всей стране. Например при средней урожайности пшеницы в 1932 г. в 22 квинтала на гектар, в Восточной Пруссии урожайность составляла всего 15 квинт., в Вюртемберге — 16,7, в Баварии — 19, между тем как в Саксонии урожайность поднимается до 24 квинталов. Во всей южной части Германии до сих пор сохраниена чресполосица и дробление хозяйств на большое количество мелких полос. Так например, в одной деревне Ошельбром хозяйство в 22,3 га разбито на 180 полос, а другое хозяйство в 8,8 га — на 87 полос. Чресполосица осталась еще на площади в 6,3 млн. га, в то время как за годы 1872 по конец 1928 было регулировано всего 2,9 млн. га. Исчисляют, что регулирование землепользования потребует еще 80—100 лет. Между тем известно, что чресполосица является сильнейшим препятствием для рационализации сель-

скохозяйственного производства, что производственные расходы и затраты труда на хозяйства с большим количеством полос увеличиваются в 2—3 раза. Так, установлено, что если полосы меньше одной четверти га, то расходы больше чем в два раза превышают затраты в хозяйстве с площадью в 5 га. Таким образом легко можно было поднять и производительность труда, и урожайность, если бы произвести регулирование землевладений, но для этого надо потратить значительные суммы денег (исчисляются эти затраты в 3,36 млрд. марок), а таких сумм, несмотря на огромные бюджеты государства, германские правительства, включая и фашистское, затратить на производительные цели не хотят.

Вместо этого фашистское правительство взялось за политическую организацию сельских хозяев. Особенности этой формы организации заключаются в том, что она носит ярко выраженный сословный, средневековый характер, с прикреплением крестьян к земле. Создано так называемое «сословие по продовольствию», которое охватывает однако не только крестьян и помещиков, как и сельскохозяйственных рабочих, но и торговцев сельскохозяйственными продуктами, а также часть промышленников, занятых в обработке этих продуктов. К «продовольственникам» отнесены также торговцы шкурами и кожами, как и заводчики минеральных вод. По существу, созданная организация представляет собою принудительный картель, в котором руководящие лица не выбираются, а назначаются правительственным комиссаром. Устав этой организации туго связывает все ее движения. За малейшее нарушение устава следует тяжелое наказание. Истинные задачи всей этой организации состоят в политическом контроле над крестьянством. Одновременно она должна регулировать и рынок. Однако с этой последней задачей она не справилась, и пришлось установить твердые цены. Производство продолжает оставаться неорганизованным, раздробленным, технически отсталым. Всякий может производить, сколько хо-

чет. Только продавать по определенным ценам он может установленное количество продуктов. Можно однако связать сельскохозяйственные предприятия с промышленными и предоставлять излишек своих продуктов своим рабочим или перерабатывать его на крахмал и т. д., производство которых не регулировано. Таким образом, в результате такого регулирования рынка ускорится процесс комбинирования сельскохозяйственных и промышленных предприятий и усилится власть крупного капитала.

Сохранение высоких цен на сельскохозяйственные продукты в силу монополистического характера сельскохозяйственного производства сказывается в виде высоких цен на землю, арендной платы и т. д. При покупке земли, при наследственном дележе приходится отдавать за землю все то, что можно было бы выгадать благодаря повышению цены на сельскохозяйственные продукты. Установлено, что задолженность крестьян в годы растущих цен на сельскохозяйственные продукты быстро растет, и в конечном счете только землевладельцы и ростовщики получают выгоду от высоких цен на сельскохозяйственные товары.

Далее, сельское хозяйство — сложная отрасль с противоречивыми интересами различных слоев. В то время как крупные землевладельцы заинтересованы в продаже продуктов земледелия, мелкие потребляют эти продукты по большей части в своем собственном хозяйстве, а продают скот или продукты животноводства. Значительная часть мелких и средних хозяйств не обходится своими кормами, а прикупает большей частью ввозные корма. Эта часть хозяйств, естественно, заинтересована в низких ценах на хлеб, во-первых, потому, что тогда у них производственные расходы более низкие, а во-вторых, при дешевом хлебе относительно больше потребляют продукты скотоводства.

В течение кризиса в Германии замечалось следующее явление. Области, разводящие скот преимущественно за счет ввозных кормов, не могли ввиду затруднений ввоза кормов развивать

свое скотоводство, между тем как Восточная Пруссия, Бранденбург и Померания, где господствует крупное землевладение, значительно расширили поголовье своего скота, используя собственные корма. Так например, поголовье свиней в названных областях увеличилось между 1929 г. и 1933 г. на 31 проц., в то время как в Шлезвиг-Гольштейнии, Ганновере и Вестфалии оно осталось без изменения. Таким образом, можно сказать, что поскольку благодаря политике фашистов повышаются цены на продукты скотоводства, то это приносит главным образом выгоду крупным землевладельцам, использующим собственные корма. Те хозяйства, которые раньше пользовались дешевыми заграничными кормами и которые теперь заставляют покупать худшие в качественном отношении и более дорогие корма собственного производства, от этой политики не только ничего не выиграли, но, наоборот, именно благодаря ей разоряются.

Германские фашисты очень много говорят о том, что страна освободилась от иностранной зависимости в смысле снабжения хлебами. Однако ввоз сестных припасов в 1934 г. немногим уменьшился по сравнению с ввозом 1932 г.¹⁾ При этом уменьшение произошло главным образом вследствие сокращения потребления. Специально в отношении жиров успехи собственного производства в Германии незначительны. По подсчетам Конъюнктурного института («Еженедельник» от 23 января 1935 г.) производство всех видов животных жиров (собственными кормами) составило в тысячах тонн:

1931 г.	1.048
1932 г.	1.042
1933 г.	1.073

В 1934 г. положение в связи с засухой еще ухудшилось. В 1931 г. доля собственного производства в общем потреблении жиров в стране составила 39,7 проц., а в 1933 г. — 40,7 проц. В 1934 г. ввоз не только кормов, но и рас-

тительных масел и коровьего масла увеличился. «Франкфуртер цейтунг» (от 25 декабря) считает, что в 1934 г. эта доля составила 37,5 проц., а в первую половину 1935 г. упадет до 35,5 проц. Таким образом, по существу, к автаркии в снабжении страны жирами, что составляет чрезвычайно важные условия подготовки страны к войне, Германия не подвинулась ни на шаг.

Главным агитационным козырем фашистов является «закон о наследственном дворе», по которому двор переходит к старшему сыну, не может быть продан или заложен. Этот закон касается только собственников земли с площадью от 7,5 га до 125 га. Таких хозяйств в Германии 845,4 тысячи. Так как всего сельских хозяйств вместе с самыми мелкими (от четверти и больше га) 3,8 млн., то этот закон касается всего 22 проц. этого числа хозяйств. За этими хозяйствами числится площадь в 17,22 млн. га, в то время как вся сельскохозяйственная и лесная площадь всех хозяйств составляет 41,4 млн. га. На хозяйства, охваченные законом о «наследственном дворе», приходится 40 проц. всей площади. Таким образом, этот закон совсем не касается парцеллярных хозяйств, а из 619 тысяч средних хозяйств с площадью от 5 до 10 га он охватывает только 191,8 тыс., а из 450 тыс. хозяйств с владением от 10 до 20 га — 372 тыс. Речь, следовательно, идет о немногочисленном слое кулацких хозяйств, в то время как громадное большинство крестьянских хозяйств самими фашистами считается ненадежной опорой для нынешнего режима.

Что, однако, дает этим кулацким хозяйствам новый закон? Известный писатель по аграрному вопросу, Зеринг, в секретном докладе, представленном фашистскому правительству (см. «Аграрные проблемы», 1934 г., № 11—12, стр. 172), констатирует большое недовольство среди крестьян новым законом. Достаточно указать на то, что этот закон превращает всех членов семьи, за исключением старшего сына, в батраков последнего, лишая их права на наслед-

¹⁾ За первые два месяца 1935 г. ввоз хлебов и других сестных припасов значительно усилился.

ство. Важнее однако вопрос о том, куда остальные члены семьи денутся. На съезде баварских крестьян-кулаков в апреле 1934 г. министр земледелия Дарре пытался успокоить германских крестьян указанием на то, что подрастающее поколение сможет найти работу на наследственном же дворе, замещая наемную рабочую силу. Однако, как показывает статистика, в этих хозяйствах числилось 2,96 млн. взрослых членов семей и 1,13 млн. детей до 14 лет, в то время как наемных рабочих было всего только 1 миллион. Исходя даже из этих цифр, следует сказать, что не все члены семьи могли бы найти работу, даже если бы эти двory решились отказать всем наемным рабочим.

Крайне важен также вопрос о кредите. Сельскохозяйственный кредит по самому характеру сельскохозяйственного производства является долгосрочным и обычно обеспечивается землей. Ипотечный кредит не только в два-три раза дешевле, чем личный, необеспеченный кредит, но и гораздо менее опасен для крестьян, которые не всегда могут реализовать свои товары, чтобы оплачивать краткосрочные кредиты. Личная ответственность как по кредиту, так и по другим обязанностям, например по налогам, приводит к закабалению крестьян, к прикреплению их к земле. Личная ответственность явилась одной из основ закрепощения крестьян в средние века. Фашистская пресса говорит о том, что государство будет предоставлять производственный кредит крестьянам. Но это по существу означает воскрешение азиатского способа производства, когда крестьянство закрепощается олигархическим государством, устанавливающим размеры сбыта и предоставляющим крестьянам кредит на покупку орудий и искусственных удобрений и имеющим возможность лишить того или другого крестьянина или целое селение всех средств к существованию.

Чтобы закончить картину возрождения феодальных отношений, отметим еще, что сельскохозяйственные рабочие прикреплены к своим хозяевам. Переход на другую работу возможен лишь с особого разрешения властей. Переселение в

Берлин, Гамбург и Бремен вообще запрещено. Далее, чтобы снабжать дешевой рабочей силой кулаков, а вместе с этим давить на зарплату рабочих у помещиков, ввели институт так называемой «помощи сельскому хозяйству». Молодые городские безработные рабочие насильно отправляются в деревню, где они получают паек натурой и мизерную денежную зарплату за счет пособий, предоставленных правительством их хозяевам. Таких рабочих было в Германии в 1934 г. 100 тысяч. Кроме того, дети по окончании школы обязаны в Пруссии поработать год в деревне. В прошлом году число школьников, работающих таким образом в имениях, насчитывалось свыше 20 тысяч.

Принудительный труд, прикрепление к земле крестьян, строгая регламентация рыночных отношений на пользу крупного землевладения — такова картина современной деревни Германии. Но капиталистическая система хозяйства единая и неделимая. Нельзя вырвать из нее одну из основных отраслей — сельское хозяйство. Попытки фашистов изъять из-под власти рынка и капитала сельское хозяйство, если бы таковые удалось, привели бы к расшатыванию основ капитализма в целом. Капитализм не может допускать каких-либо ограничений в пользовании рабочей силой. Несмотря на огромную безработицу, местами все же чувствуется недостаток в рабочей силе, в особенности в квалифицированной, а обязательный год работы в деревнях может усилить этот недостаток, тем более, что прирост населения стал катастрофически падать. Исчисляют даже, что, принимая во внимание возрастную состав населения, прирост фактически не покрывает убыли¹⁾. Население Германии в течение ближайших 4 — 5 десятилетий уменьшится до 40 млн. Промышленность вынуждена

¹⁾ В 1933 г. в Германии числилось 19,1 млн. семей, из которых 18,9 проц. были бездетными. 23,2 проц. имели по 1 ребенку и 19,8 проц. — по два. Таким образом, 62 проц. всех семей имеют недостаточно детей с точки зрения прироста населения.

все больше и больше черпать рабочую силу из деревни и, конечно не согласится с какими бы то ни было ограничениями в этом отношении.

Далее, сельское хозяйство представляло значительное поприще для капиталовложений. 12 — 13 млрд. кредитов, не считая капиталовложений в землю, были предоставлены сельскому хозяйству. Теперь частный капитал лишается этого выгодного дела. Главное однако заключается в том, что ограничивается влияние капитала на большой круг продукции страны, которая не приспосаблиется к рыночным условиям. Высокие цены на сельскохозяйственные товары означают и высокие расходы промышленности, в результате которых Германия будет терять свои заграничные рынки. Высокие цены на сельскохозяйственные продукты означают, далее, снижение покупательной способности населения в отношении промышленных продуктов. Вот почему промышленность, в особенности в период крайнего обострения борьбы за рынки, не может допускать, чтобы в Германии цены на сельскохозяйственные продукты в 2 — 3 раза превышали уровень мировых цен. Наконец в настоящее время торговля с другими странами приняла характер компенсационного товарообмена. Аграрные страны соглашаются покупать в Германии фабрикаты только в том случае, если Германия в свою очередь будет покупать их товары. Отсюда требование промышленниками уступок со стороны Германии по отношению к ее соседям — аграрным странам: к Голландии, скандинавским странам и т. д. С другой стороны, аграрии, чувствуя, что в результате их политики ухудшается с каждым днем положение промышленности, настаивают на решении вопроса о рынке для промышленности путем новых захватов, в первую голову в Европе¹⁾. Отсюда обостряющаяся с каждым годом борьба внутри фашистского лагеря. В то время как политика аграриев ведет к реакризации в Германии, т. е. к усилению веса земле-

владельцев в производстве и политике страны, промышленники требуют создания условий для расширения экспорта, являющегося для них жизненной необходимостью. На Лейпцигской ярмарке «хозяйственный диктатор» Шахт заявил, что нельзя будет удержать современную конъюнктуру, если не увеличить экспорт. Само собой разумеется, что борьба между финансовым капиталом, ставленником которого является Шахт, и аграриями, выразителем интересов которых является Дарре, закончится победой первого. Шахт уже отстранил ряд сотрудников Дарре, многих из них даже арестовал. Положение самого Дарре чрезвычайно неустойчивое.

Надо сказать, что в среде самих германских аграриев нет единства насчет будущей аграрной политики страны. Мы уже упоминали, что Зеринг выступает против «закона о наследственном дворе». Другие крупные авторитеты в области аграрной политики, как Бринкман и Бекман, в сборнике, выпущенном в 1933 г., об «Основах и формах германского сельского хозяйства» весьма пессимистически описывают будущее германского сельского хозяйства:

«Если победят автаркические стремления, — говорят они, — отдельная страна не может исключить себя из общего потока (Иван кивает на Петра. — Сп.), то общий жизненный уровень значительно снизится по сравнению с прежним. Автаркия означает больше труда с меньшим доходом, т. е. снижение жизненного уровня».

Заканчивают они свое исследование заявлением, что те сельскохозяйственные предприятия, которые обладают больше чем средней производительностью, могут надеяться на некоторое облегчение положения. Это значит, что небольшое число капиталистических предприятий в деревне имеет, по их мнению, еще коекие перспективы, а что же делать многомиллионной крестьянской массе?!

III

Результаты фашистской экономической политики быстро сказались в области внешней торговли. Экспорт из Гер-

¹⁾ Финансовый капитал конечно не против этих захватов, но не отказывается и от других мер борьбы за рынки.

мании уменьшился с 1932 по 1934 г. в большей мере, чем из других стран, а именно — он упал на 26,7 проц., в то время как вывоз из Франции уменьшился на 9,5 проц., из Англии на 7 проц., из Бельгии на 7,7 проц., из Швейцарии на 7,4 проц. Доля Германии в экспорте из Европы упала с 21 до 17,8 проц. И чего только не делала Германия, чтобы усилить свой экспорт! Она навязывала своим кредиторам свои товары, на мировом рынке обесценила свою валюту¹⁾, резко снизила экспортные цены, пыталась завязывать непосредственный товарооборот с различными странами, но все это мало помогло. Вывоз фабрикатов катастрофически падает. Он составил:

	Млн. тонн.	Млн. марок.	В среднем за 1 тонну в марках.
1932 г. . .	4,74	4.498,4	947
1933 г. . .	4,21	3.786,8	900
1934 г. . .	4,53	3.255,7	719

Мы видим, что вывоз уменьшился и в весовом отношении. Но особенно резко упал он в ценностном отношении. Средняя цена одной экспортируемой тонны показывает сильное падение. Если вспомнить, что на внутреннем рынке индекс цен на готовые промышленные изделия за это время почти не изменился (он составил в 1932 г. — 118, в 1933 г. — 113 и в 1934 г. — 116 проц. цены 1913 г.), то падение средней цены одной тонны свыше чем на 20 проц. показывает, с одной стороны, что Германия продает за границу по значительно более дешевым ценам, чем внутри страны, а с другой, что Германия вывозит теперь менее ценные товары, чем вывозила раньше. По видимому, Германия как поставщик высококачественных товаров начинает сходиться с мирового рынка²⁾.

¹⁾ Некоторые виды марки продаются по 50 проц. или 30 проц. их номинала.

²⁾ Поэтому Шахт в упомянутой своей речи в Лейпциге крайне пессимистически оценивает экономические перспективы Германии.

Одновременно ввоз мало сократился или в известных областях даже вырос. Он составил:

	Тыс. тонн			Млн. марок		
	С сырье припасы.	С сырье.	Гот. из- делия.	С сырье припасы.	С сырье.	Гот. из- делия.
1932 г.	6390	25720	1038	1527	2412	727
1933 г.	4516	29523	1353	1113	2420	670
1934 г.	4835	37808	1764	1100	2600	750

Рост ввоза сырья определяется тем, что Германия делает военные запасы. В стране производятся затраты на такие работы, которые поглощают большое количество сырья, не возвращая до поры до времени ничего рынку. Дорожное строительство, как и домостроительство, требует много сырья, но не дает рынку реального продукта. Производство легковых автомобилей для зажиточных слоев населения тоже не содействует товарообороту. Отсюда — растущий спрос на сырье и слабое движение фабрикатов.

Более того, лихорадочные вооружения и бессистемные затраты на малые или даже совсем непроизводительные цели привели к тому, что значительно вырос ввоз готовых изделий, как будто германская промышленность, по сей день далеко не полностью загруженная, не могла поставлять и эти изделия. В результате всего этого сильно выросла пассивность торгового баланса. Баланс германской внешней торговли складывался следующим образом (в млн. марок):

1932 г.	+ 1.073
1933 г.	+ 668
1934 г.	— 284

Пассивность торгового баланса в последний год, в связи с крупными платежами Германии за границей по своей задолженности, почти полностью поглотила золотой запас Рейхсбанка, который к концу 1934 г. спустился до мизерной величины в 157 млн. марок. Правда, Германия благодаря обесцениению фунта и доллара и различным другим мероприятиям сумела в значительной мере освободиться от запоранной задолжен-

ности. Все же ей приходится платить еще значительные суммы за границей, и Шахт снова заявил, что Германия не в состоянии платить по своим обязательствам. Он требует новой отсрочки платежей.

Важнее, быть может, еще то обстоятельство, что портфель Рейхсбанка заполнен почти исключительно векселями правительства и организаций по финансированию различных правительственных предприятий. На той же Лейпцигской ярмарке Шахт признал, что современная германская конъюнктура обязана исключительно правительству, что частный капитал не принимал участия в этом промышленном оживлении. Отсюда ясно, что дальнейшие правительственные заказы должны увеличить количество правительственных векселей в кассах центрального банка и расширить обращение банкнот. Таким образом, даже внутри страны создается почва для инфляции (переполнение каналов денежного обращения бумажными знаками, которому не соответствует частное товарное обращение), не говоря уже о тех трудностях, с которыми стал-

кивается германская внешняя торговля в результате высокого уровня цен на внутреннем рынке. Экономика фашистов служит политическим целям, как фашисты об этом открыто говорят; производят только то, что необходимо для военной промышленности. Они ввозят товары, которые нужны для этой промышленности, хотя состояние валюты страны не позволяет этого делать. Далее, ввозят товары из стран, которые пытаются привязать к себе политически, как это делали по отношению к Саару, а временами также повторяют по отношению к Англии в расчете, что удастся склонить Англию к политической поддержке Германии. Ввоз по относительно высоким ценам из таких стран еще более ухудшает торговый баланс страны. Общее нарушение экономических законов в стране, где верховным законом является норма прибыли, не может не загнать хозяйство страны в тупик. Из него не вывести Германии и Шахту с его многочисленными речами и апелляциями, обращенными к капиталистическому миру!..

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

16 и юн я. Наступавшие с запада на Тяньцзюань (западная часть провинции Сычуань), главные силы китайской красной армии под командованием Мао Цзе-дуна и Чжу Дэ и наступавшая к югу от Бэйцзяна красная армия Су Сян-Цзяна объединились в окрестностях Тяньцзюань. Объединенные силы китайской красной армии насчитывают 200 тыс. бойцов. Токийская «Ницзини» заявляет: «Объединение китайской красной армии является промадной победой и превращает борьбу Чан Кай-Ши против нее в чрезвычайно серьезную проблему».

17 и юн я. Советское правительство передало Румынии надгробные плиты и останки князя Дмитрия Кантемира — крупного политического и культурного деятеля Молдавского княжества в начале XVIII века. Дмитрий Кантемир —

отец известного русского писателя, сатирика А. Д. Кантемира. В связи с передачей останков Кантемира румынский министр иностранных дел Титулеску прислал телеграмму тов. Литвинову, в которой говорится, что этот шаг советского правительства «еще больше сблизит наши страны и укрепит тесную дружбу между ними на благо делу мира».

18 и юн я. Опубликовано официальное сообщение об англо-германском морском соглашении. В соглашении устанавливается соотношение морских сил Германии и Англии. Весь тоннаж германского флота не должен превышать 35 проц. общего тонажа морских сил стран Британской империи. Что касается подводных лодок, то Германия, не превышая квоты в размере 35 проц. в отношении всего британского тонна-

жа, будет иметь право располагать тоннажем подводного флота, равным всему тоннажу подводных лодок стран Британской империи. Германское правительство, однако, берет на себя обязательство, что тоннаж германских подводных лодок не будет превышать 45 проц. тоннажа подводного флота стран Британской империи. В случае, если, по мнению германского правительства, оно сочтет необходимым превысить 45-процентную квоту, оно известит об этом английское правительство с тем, чтобы вопрос был дружественным образом обсужден до того, как германское правительство воспользуется этим правом. «Морнинг пост» по этому поводу пишет: «В марте британское правительство направило Германии протест против одностороннего нарушения договорных обязательств. Однако тремя месяцами позднее британское правительство открыто помогает Германии вопиющим образом нарушить статьи о разоружении на море... Англо-германское соглашение знаменует собою самовольный отход от принципа общего соглашения, установленного в англо-французской декларации от 3 февраля». «Военно-морской обозреватель «Таймс» указывает, что согласно соглашению Германия сможет построить линкоров с общим водоизмещением 183.750 тонн, крейсеров с общим водоизмещением 118.650 тонн, эсминцев — 52.500 тонн и подводных лодок — 25 тыс. тонн.

* Уполномоченный германского правительства фон-Риббентроп предложил английскому правительству заключить авиационную конвенцию по образцу морского соглашения.

* Совещание при штабе квантунской армии постановило потребовать от нанкинского правительства ухода китайских войск из Чахара. Бейлинский корреспондент агентства «Демпосин» указывает, что растет «движение» за установление «независимого» правительства в Северном Китае с включением в территорию этого правительства провинций Хэбей, Чахар, Шаньси и Суйюань. Это «движение», — пишет корреспондент, — «вполне соответствует стре-

млению Японии и Манчжуго организовать буферное государство между Манчжурией и Монголией, с одной стороны, и Китаем—Чан Кай-ши — с другой стороны».

19 июня. Полпредство СССР в Вашингтоне вручило государственному департаменту в США протест советского правительства против опубликования в печати Херста антисоветской статьи адмирала Стирлинга. В этой статье адмирал Стирлинг призывал к созданию единого фронта против СССР и к интервенции. Помощник государственного секретаря Мур заявил, что морское министерство уже указало, что оно считает непристойным публикацию подобных статей офицерами американского военного флота.

21 июня. Вышло в отставку югославское правительство Ефтича. Причина отставки — бойкот оппозицией скупщины (парламент). Ефтичу не удалось выполнить задачи, направленной на расширение базы военно-фашистской диктатуры.

* Прибытие Идена в Париж. Цель поездки, по словам французского офицера «Тан»: «защита идеи сепаратного заключения воздушного пакта и доказательство, что это отнюдь не влечет за собою отказа Англии от остальных дипломатических средств, предусмотренных в Стрезе». «Пти паризьен», близко стоящая к министерству иностранных дел, заявляет: «Французское правительство сможет пойти на заключение авиационной конвенции лишь в рамках общего решения, охватывающего все пункты англо-французской декларации от 3 февраля. В результате разъяснений Идена французская сторона смогла убедиться, что британское правительство, не питая больше сильных надежд на общее урегулирование всех вопросов, настаивает ныне на методе обособленных и частичных решений. Это означает новую политику, явно противоречащую политике Стрезы, к которой можно подойти лишь с большими предосторожностями». Пертинакс в «Экоде Пари» приходит к следующему выводу: «Лаваль стремится получить от Лондона обещание, что

различные пункты программы (западный воздушный пакт, восточный пакт, дунайский пакт и общее ограничение вооружений) будут рассматриваться как связанные друг с другом (раньше говорили: неотделимые друг от друга). Этот новый эпитет является несколько более слабым и означает, что каждый вопрос может обсуждаться отдельно для того, чтобы задержка в регулировании одного какого-либо пункта не приводила к такой же задержке остальных вопросов, но ни один вопрос не должен быть окончательно разрешен до разрешения всех проблем. Эта система неофициально была принята 20 февраля. Все знают, что произошло впоследствии». Печать единодушно заявляет, что Идена в Париже не удалось добиться положительных результатов.

* В Париже открылся международный конгресс защиты культуры.

24 и юн я. Прибытие Идена в Рим.

25 и юн я. Между СССР и Колумбией установлены нормальные дипломатические и консульские отношения.

* Итальянская миссия в Аддис-Абебе (столица Абиссинии) предложила всем итальянским гражданам покинуть страну в течение 10 дней.

* Турецкое правительство признало текстильный комбинат в Кайсери, построенный советской организацией «Туркстрой», готовым к пуску.

26 и юн я. Поездка Идена в Рим не дала никаких конкретных результатов. Итальянское правительство возражает против одностороннего разрешения вопросов, имеющих общеевропейское значение (морские вооружения, воздушный пакт и т. д.). Все предложения Идена по абиссинскому вопросу были Муссолини отклонены. Англия предлагала представить Абиссинии свободную зону в портах британской Сомали в обмен за предоставление Абиссинией Италии концессии на постройку железной дороги из Эритреи в итальянскую Сомали по территории Абиссинии. Муссолини потребовал предоставления Италии полного протектората над Абиссинией.

* Рузвельт подписал законопроект об ассигновании 460 млн. долларов на строительство 24 новых военных судов

и на покупку 555 аэропланов. Эти ассигнования по своим размерам не имеют прецедента в истории морского строительства США в мирное время.

* Лаваль вручил германскому послу ответную ноту на германскую ноту по поводу несовместимости некоторых статей франко-советского пакта о взаимной помощи с локарнским договором и с уставом Лиги наций. Французское правительство считает франко-советский пакт полностью совместимым и с локарнским договором, и с уставом Лиги наций.

* Совет министров Чехословакии принял с одобрением доклад Бенеша о его поездке в Москву.

* Президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк подписал декрет о назначении Зекия Апайдына турецким послом в СССР. Зекия Апайдын — видный деятель независимой Турции. В 1925 — 27 гг. он был послом Турецкой республики в СССР. В 1931 — 35 гг. — министром национальной обороны.

* Закрылся международный конгресс защиты культуры.

27 и юн я. Опубликованы окончательные результаты «плебисцита мира», организованного в Англии «Союзом друзей Лиги наций». В плебисците приняло участие около 12 млн. человек. На поставленные вопросы были получены следующие ответы:

1. Должна ли Англия оставаться членом Лиги наций? За — 11.090.387, против — 355.883.

2. Высказываетесь ли вы за всеобщее сокращение вооружений посредством заключения международного соглашения? За — 10.470.489, против — 862.775.

3. Являетесь ли вы сторонником уничтожения посредством международного соглашения всей военной авиации? За — 9.533.558, против — 1.689.786.

4. Считаете ли вы необходимым запрещение производства и продажи вооружений в целях извлечения доходов? За — 10.417.329, против — 775.415.

5. Считаете ли вы, что в случае, если какое-либо государство намеревается напасть на другое, остальные страны должны объединиться и заставить агрессора отказаться от своих намерений, путем: а) экономических и невоенных

мероприятий? За — 10.027.608, против — 635.074, и б) если это необходимо, путем военных мероприятий? За — 6.784.368, против — 2.361.981.

28 июня. Генерал Бай Чжень-у предпринял попытку захватить Бейпин. Эту попытку захвата Бейпина ставят в связь с инициативой японцев.

* Французский сенат ратифицировал предварительное франко-советское торговое соглашение, подписанное в январе 1934 г. Одновременно сенат утвердил декрет об освобождении от сверхпошлин товаров, импортируемых из СССР.

* В Софии казнен Александр Манолов — активист болгарской компартии, приговоренный к смертной казни по обвинению в коммунистической деятельности среди солдат.

* В Париже состоялся грандиозный митинг народного фронта — коммунисты, социалисты, радикалы. Впервые выступали совместно Торез, Блюм и Даладье. Принята следующая программа-минимум народного фронта: охрана политических свобод, охрана свободы профорганизаций, охрана гражданских учреждений от клерикальных притязаний, защита культуры.

1 июля. Полпред СССР в Токио тов. Юренев по поручению правительства СССР передал японскому министру иностранных дел Хирота ноту, в которой перечислены многочисленные случаи провокационного нарушения японо-манчжурскими частями советской границы. В заключительной части ноты говорится: «Считая перечисленные выше факты нарушения границ со стороны японо-манчжурских властей чреватыми тяжелыми последствиями для отношений между СССР и Японией и для дела мира на Дальнем Востоке, правительство СССР поручило мне заявить Вам, господин министр, решительный протест по поводу этого поведения местных военных японо-манчжурских властей, ответственность за которое несет японское правительство. Мне поручено одновременно довести до Вашего сведения, что советское правительство не может допустить плавления японо-

манчжурских судов по внутренним водам СССР, и что если, вопреки всем сделанным предупреждениям, японо-манчжурские суда будут пытаться, минуя Казакевичеву протоку, насильственно входить во внутренние воды СССР, в обход острова Саньдзяочжоу у города Хабаровска, то ответственность за последствия ляжет на японо-манчжурские власти. Советское правительство ожидает, что японское правительство, неоднократно декларировавшее о своем желании поддерживать мирные отношения на границах, примет быстрые и энергичные меры для предотвращения провокационных действий со стороны местных военных японо-манчжурских властей, указав им на всю недопустимость и опасность усвоенного ими образа действия на границе».

* Венгерским судом второй инстанции подтвержден приговор, осудивший виднейшего революционера Ракоши на пожизненную каторгу.

* Томас Ман заявил корреспонденту «Вашингтон пост»: «Я не являюсь коммунистом, но я считаю, что коммунизм является единственной системой, которую можно противопоставить фашизму».

2 июля. Японцы предъявили Нанкину требование о ликвидации центрального комитета Гоминдана.

3 июля. Польский министр иностранных дел Бек прибыл в Берлин для переговоров с Гитлером.

4 июля. Съезд французских радикалов большинством голосов одобрил участие радикалов в народном фронте и в антифашистской демонстрации 14 июля.

* Австрийское правительство постановило разрешить Габсбургам возвращение в Австрию и вернуть им девять крупнейших поместий и лесных владений общим размером 25 тыс. гектаров и 6 венских дворцов с инвентарем. Подлежащее возвращению имущество оценивается в 2½ миллиарда шиллингов.

5 июля. Английское правительство сообщило германскому, что оно считает франко-советский пакт о взаимной помощи не противоречащим локарнскому договору.

Наука и техника

НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Акад. П. М. Жуковский

Не часто можно встретить человека, который отдает себе отчет в той роли, какую играют растения на земном шаре. Огромное большинство культурных людей очень примитивно мыслит о растениях. «Конечно, — рассуждают они, — растения — это мука, хлеб, салат, табак, ну и еще там разные яблоки, тыква, конопля». Попробуйте убедить инженера или композитора в том, что роль растений космическая, что без зеленых растений на земле не могут ни одного дня существовать животные и человек, что вся история развития органической жизни и производительных сил на земле есть результат благотворной деятельности обыкновенного зеленого листа. Атмосферный воздух состоит в основном из азота, кислорода, водорода, углекислоты и других элементов и соединений. Азот составляет свыше 79 проц., кислород — свыше 20 проц. объема воздуха. На этом основано производство азотистых удобрений, и сырьем является газообразный азот, плавающий в океане атмосферы. Водород составляет лишь около 0,003 проц., а углекислота — около 0,03 проц. объема воздуха. Азот усваивается зелеными растениями из почвы не в свободном, а в связанном виде, связывание же производят неисчислимые массы незеленых растений, а именно бактерии, живущие в почве.

Сочетание действия солнечной энергии, воздуха и почвы выражается в ак-

кумулятивной деятельности растений. Почва без бактерий стерильна, воздух без кислорода приносит лишь смерть, солнце дает в руки человека пока единственный аппарат для синтеза органических веществ из своих лучей, и этот аппарат — растения.

Свободный кислород на земле редок. С житейской точки зрения, это — не холостяк, он не переносит одиночества. Он необычайно активен, производительно вмешиваясь во все процессы, то с пользой для человека, то нанося ему огромный вред. Коррозия металла — это работа кислорода. Взгляните с высоты на неокрашенные крыши города, железнодорожных вагонов и т. п., на склады железа, — вы увидите окислительное действие кислорода — ржавчину. Он жадно вступает в соединение с различными металлами и металлоидами. И сама вода, все реки, моря и океаны, дожди и росы, снег и ледники, безмолвие полярного мира, — все это дело рук кислорода.

В недрах земли свободный кислород вовсе не содержится, а на поверхности он постоянно связывается с другими элементами. Нетрудно представить себе, что процентное содержание свободного кислорода в атмосфере быстро уменьшалось бы и могло бы дойти до нуля, если бы не существовали огромные комбинаты неустанных производителей свободного кислорода, — зеленые растения. Возраст, летоисчисление свободного кислорода на

земле таковы же, как и возраст зеленых растений. Сырьем для производства кислорода является углекислота воздуха, содержание которой составляет лишь около 0,03 проц. Углекислота проникает в ткани зеленых листьев и здесь от действия солнечных лучей и хлорофилла разлагается на углерод и свободный кислород. Углерод вступает в дальнейшую обработку растением, кислород уходит в атмосферу, непрерывно пополняя ту потерю, которая происходит от постоянного связывания его с другими элементами. Лиственные леса, тропических и умеренных широт, хвойные леса Севера, поёмные и альпийские луга, степи, необозримые нивы культурных полей, всё то, что мы называем растительными ландшафтами и что вызывает у людей возвышенные эмоции, представляет собой фабрики, изумительные комбинаты, работающие на потенциальной энергии солнца, почвы и воздуха, превращая ее в динамическую химическую энергию. Процессы дыхания, брожения, гниения, весь многосложный синтез органических соединений происходит на этих фабриках. Каменный уголь и нефть в земной коре — это тоже растительные продукты. Мясо, молоко, масло, сыр, яйца, шерсть, кожа и прочие виды животного сырья представляет собой лишь конечный продукт переработки растений, так как животные питаются растениями, ферменты животных лишь видоизменяют растительные белки, жиры и углеводы. Животные, кроме того, являются лишь посредниками в содержании атомов фосфора, серы и других зольных элементов, извлеченных растениями из почвы. Стада коров, овец и лошадей еще никогда не паслись в лаборатории органической химии и ни один жеребец еще не был воспитан на синтетических препаратах. Человек с его техникой пока что вынужден заниматься калькуляцией калорийности растительных продуктов как в их чистом виде, так и в переработанном животным организмом. Отсутствие клетчатки, целлюлозы, — вот преимущество животных продуктов для человеческого питания.

В погоне за растительной пищей совершают свои грандиозные перелеты ко-

чующие птицы, в непрерывных путешествиях проводят свою жизнь морские и речные рыбы.

Индустриальная деятельность человека началась с «постройки» фабрик в виде растительных полей, — он научился возделывать растения. История этого возделывания заводит нас в очень далекое прошлое. На эту тему можно писать занимательные книжки, но не точные исследования. Сколько бы ни работали археологи, ботаники и генетики, им никогда, очевидно, не удастся восстановить историю большинства культурных растений. Мы можем только диву даваться, глядя на какую-нибудь кукурузу или твердую пшеницу. Откуда взялись эти растения, кто приложил руку к этим удивительным созданиям? И, как это ни странно, на протяжении нескольких тысяч лет они остаются почти такими же. Ни Рим, ни Эллада, ни Ассирия с Вавилонией, ни латинские нации в Новом Свете не внесли особых усовершенствований в конструкцию этих растений. Выражаясь фигурально, североамериканские янки мало изменили то, что создавали южноамериканские янки. Возьмите древнесемитские монеты, — вы найдете на них изображение такой же точно пшеницы. Возьмите семена из свайных построек, из древнеегипетских гробниц, из курганов, — они почти такие же, какие у современных сортов.

На протяжении многих тысячелетий народы жили разобщенно и принуждены были использовать только те растения, которые произрастали в их области. Благодаря этому образовались локальные культурные растения, географические группы сортиментов. Это привело к огромному, необъятному числу полезных для человека растений. Природа по-разному одарила континенты земного шара. Китай был богат полезными пищевыми растениями, в свое время имел величайшую земледельческую культуру, позволившую развернуть производительные силы и прокормить огромное население. Наоборот, Экваториальная Африка, тропические острова Тихого океана, покрытые непроходимыми лесами, дававшими меньше пищевых растений, были одной из причин задержки культурного

развития местных народов. Людоедство возникло в таких именно условиях и явилось следствием недостатка питания.

Несомненно то, что Америка до конца XV века не знала растений Старого Света. Если Южная Америка могла похвастаться такими отечественными растениями, как картофель, томат, кукуруза, квиноа и др., то Северная Америка почти ничего не имела из современных главных культурных растений. Для США вопрос о новых культурах был чрезвычайно актуален. В короткий период они построили свое растениеводство почти нацело на новых культурах: пшеница, ячмень, овес, рис, сорго, горох, соя, сахарная свекла, лен, джут, мак, клещевина, сахарный тростник, арбуз, дыня, огурец, груша, яблоня, апельсин, грейп-фрут, миндаль, маслина, финиковая пальма, инжир, люцерна, бархатный боб, донник и множество других основных культурных растений были интродуцированы в страну из Старого Света. Даже такие американские растения, как кукуруза, хлопчатник, томат, картофель, тыква, авокадо и др., были ввезены в Соединенные Штаты Америки из других стран Нового Света — Мексики, Перу, Чили и др. Только подсолнечник, табак, пеканы, некоторые плодовые, кормовые и лекарственные были взяты из отечественной флоры. Такое растение, как люпин, в изобилии произрастающий в США и по всему протяжению Анд, очень мало использован ими, и то по преимуществу в качестве декоративного растения.

Таким образом, наиболее развитая технически сельскохозяйственная страна строила свое растениеводство на новых культурах.

Соединенные Штаты — первая страна, которая поняла, что необходимо овладеть мировыми фондами культурных растений для отбора из них наиболее ценных. Эта идея воодушевила вашингтонское бюро интродукции задолго до того, как она возникла в Советском Союзе. Кажется, нет страны, куда не проник глаз вашингтонских интродукторов. Целая плеяда путешественников, во главе с гениальным д-ром Ферчайльдом, на протяжении 35 лет (и до на-

стоящего времени) просматривает видовой и сортовой инвентарь полезных растений земного шара, отбирает из него то, что необходимо для фермерского хозяйства. Эта планетарная деятельность связана с именами Уайта, Дорсета, Попеное, Кука, Вестовера, Мейера, Хансена, Рокка, Свингла и др. Один из этой свиты — д-р Франк Мейер — тщательно обыскал всю дореволюционную Россию, проник даже в Якутию и вывез в США огромную коллекцию русских сортов культурных растений, вплоть до древесных лесных пород, как например кавказский бук и пр. Двенадцать лет после этого Мейер провел в путешествиях по Китаю. Это был настоящий мужественный охотник за растениями, великолепный агроном-путешественник. Он прошел верхом по всему Китаю, собирая плоды и семена с исключительной наблюдательностью и практическим смыслом. Вряд ли где-либо на земле производился столь тщательный и талантливый обыск! В 1918 г. д-р Мейер погиб в Китае при переходе через Янцеканг. Его дневники, к сожалению, до сих пор не опубликованы. Только недавно долголетний руководитель вашингтонской интродукции д-р Ферчайльд закончил свое последнее двухлетнее кругосветное путешествие, опубликовав результаты в занимательной книге «Exploring for plants».

Не менее разительный пример значения новых культур для страны представляет Австралия. Потеряв свою связь с Азией еще в третичный период, Австралия сохранила такую часть своего первобытного растительного и животного мира, которая не могла служить объектом для вовлечения в культуру. Мы знаем очень небольшое число австралийских растений, вошедших в культуру, как например квинслендский орех, эвкалипт, агация, казуарина, ксанторрея. Почти совершенно отсутствовали в Австралии растения с сочными плодами. Растениеводство Австралии производит сейчас в большом количестве хлебные злаки, картофель, сахарный тростник, виноград, европейские и субтропические плодовые, ананас, бананы и

проч., т.е. пришлые для Австралии культуры, которых она прежде не знала. Это же можно сказать и о животных, так как лишь собака динго и кенгуру были наиболее крупными туземными животными Австралии. Будучи классической страной засух, Австралия не могла похвастаться даже введением в культуру таких туземных засухоустойчивых растений, которые вошли бы в мировую практику. Наоборот, она ввозила например мексиканские кактусы, египетский клевер и т. п.

Южноафриканский Союз также почти нацело развил растениеводство на новых, пришлых культурах. Кукуруза здесь нашла свою вторую родину и по качеству продукции ныне побивает американскую. В зимнее время в Европе и Америке, когда нет своих плодов, рынки заполнены южноафриканскими яблоками, грушами, апельсинами, лимонами и пр. Ангорская коза, ввезенная в Южную Африку из Турции знаменитым колонизатором Сесилем Родсом, размножается здесь превосходно.

Посмотрим на Голландскую Индию, в частности — о. Яву. Хинное дерево, какао, каучуковые деревья явились здесь новыми, ввезенными культурами, взятыми из Нового Света. В короткое время они создали высокую репутацию и могущественный экспорт своим продуктам.

Если даже обратиться ко многим основным туземным пищевым растениям, то и здесь часто мы наблюдаем значительную роль новых культур. Такие растения, как батат, маниок, будучи американского происхождения, являются с давних времен основными пищевыми растениями туземцев тропической Африки. Банан, важнейшее пищевое растение, тоже был пришельцем в Африку.

Введению новых культур часто мешает консерватизм. Есть немало просвещенных людей, которые доказывают необходимость и надежность только одних старых культур. Все новое, что еще не прошло через местный тысячелетний опыт и отбор, представляется им пустой затеей. Итти за ними — означало бы для нас зайти в тупик. Существуют многочисленные примеры того, что важней-

шие культурные растения потеряли свое значение на родине и приобрели мировое положение в отдаленных от родины странах. Часто можно наблюдать, что выходы из Нового Света достигли расцвета в Старом Свете, и наоборот. Такое переселение возделываемых растений является чуть ли не правилом и само по себе представляет блестящее оправдание интродукции новых культур. Главное каучуконосное растение земного шара, хевея, дико растущая в бассейне реки Амазонки, долгое время позволяла Бразилии удерживать в своих руках первенство на рынке, но в настоящее время мы видим, что больше всего производится каучука из хевей на Малакском полуострове, на Цейлоне, Яве, в Индо-Китае, т.е. уже в Старом Свете. США взяли в аренду целую негритянскую республику в Африке, Либерию, вместе с ее президентом и рабами, под каучуковые плантации хевей. Кофе, наоборот, переселилось из Старого Света в Новый, из Йемена в Бразилию. Бразилия стала кофейной республикой. Производство кофе здесь дошло до таких размеров, что им в годы кризиса «усеивают пляжи» вместо гравия. Хинное дерево, по которому Перу когда-то держало монополию, было украдено голландским доктором Гаскарлем, доставлено на специально командированном военном крейсере на о. Яву, и сейчас Голландская Индия дает 90 проц. хинного сырья на мировой рынок. Какао на наших глазах перебралось из Центральной Америки на Золотой берег Западной экваториальной Африки. Дубильная акация переселилась из Австралии в Южную Африку; барбадосский хлопчатник — из Нового Света в Египет; арбуз — из пустыни Калахари в Азию и Европу.

Таких примеров можно привести множество. Как великолепный шлейф, культурные растения тянутся за человеком. Оседлость культурных растений исторически кратковременна. Причины этого явления конечно чисто экономические, и капитализм, с его конкуренцией, играет здесь ведущую роль. Для нас важно установить, что интродукция растений и введение новых культур производят крупные сдвиги в хозяйстве страны.



Проблема новых культур в Советском Союзе имеет специфический характер и вызывается, с одной стороны, необходимостью освободить Советский Союз от экономической зависимости от иностранного сырья, производимого в капиталистических странах, с другой стороны, — необычайно возросшими потребностями населения страны социализма в самых разнообразных продуктах. Таким образом, проблема эта ярко политическая и соответственным образом отражена и подчеркнута была тов. Сталиным на XVI партийном съезде. Мы не нуждаемся в смене старых культур. Нам не надо начинать с пришельцев. Наши основные культуры остаются ведущими, — разве можно говорить о сокращении посевов пшеницы, льна, хлопчатника, подсолнечника и т. п.? Но мы не можем ограничиться этими основными культурами. Мы лишены прекрасных даров, производить которые могут только тропики. Ни одной советской республики на грандиозной тропической арене! Это большое лишение для людей социализма! Это значит, что мы не имеем бананов, кокосовых орехов, фиников, какао, кофе, колы, мангустанов, ананасов, ванили, различных пряностей, как мускатный орех, гвоздика, корица, инбирь и т. п. Пряности имеют существенное значение в физиологии питания человека. Известно, что искание пряностей в некоторой степени стимулировало великие географические открытия XV—XVI веков. Задолго до этого Марко Поло первый принес весть о стране пряностей. В эпоху бандитских мореплаваний Португалии и Испании. Васко ди Гама первый привез в трюмах своих кораблей груз гвоздики, корицы, мускатного ореха, перца и др. Но настоящую страну пряностей, Малакку, открыл Альбукерк во время своей грабительской экспедиции в 1511 г.

Еще больше, чем в пряностях, мы нуждаемся в растениях, содержащих

редкие алкалоиды, необходимые нам в качестве стимулирующих средств. В числе таких растений находятся какао, кофе, чай, кола, гварана и др. Только одна треть населения земного шара употребляет кофе, остальные предпочитают чай. Вместе с тем кофе в 3—4 раза превосходит товарное значение чая и какао. Стоимость кофе превышает в два раза стоимость какао, а стоимость чая в 2—3 раза больше стоимости какао. Помимо этих напитков, 40 млн. населения тропической Африки пьют настой из орехов колы, обладающих значительными стимулирующими свойствами. В Южной Америке около 30 млн. населения пьют настой из листьев «мата» (парагвайский падуб). В центральной части Южной Америки, в бассейне реки Амазонки, индийские племена употребляют гварану, содержащую в три раза больше кофеина, нежели кофе.

Некоторые из этих растений представляют для нас исключительный интерес, именно какао и кола. Культура чая у нас за последние годы достигла больших успехов. Параллельно с этим сооружаются чайные фабрики. Другое дело — какао и кола. Это настоящие обитатели влажного тропического леса. Оба эти растения принадлежат к одному семейству стеркулиевых, но в диком виде встречаются на разных полушариях: какао свойственно лесам Амазонки, кола — лесам Западной экваториальной Африки. Эволюционная родственность этих деревьев обусловила и близкую биохимическую природу их: семена обоих видов содержат ценные алкалоиды.

Какао для нас не только питательный и вкусный напиток, но прежде всего сырье для изготовления шоколада, шоколад в свою очередь — портативный концентрированный питательный препарат, необходимый для летчиков при дальних перелетах, для Красной Армии во время операций, для арктических походов и арктических станций, для многочисленных экспедиций и т. п.

Орехи колы содержат в себе 6—7 проц. замечательного алкалоида колатина — кофеина, затем колатеин, бетаин и др. Стимулирующее действие этих

алкалоидов имеет огромное значение во время больших переходов, маневренных операций, во время напряженной работы. Кола совершенно устраняет чувство усталости, голода, жажды: человек становится чрезвычайно активным.

Еще более интересна индейская лиана «гварана», семена которой содержат свыше 4 процентов кофеина, около 6 процентов гваранина, 3 процента пирогваранина и пр.

Над этими тремя растениями стоит поработать советской науке. Нет ни одного уголка в природе шестой части земного шара, где не было бы морозов, а эти растения страдают уже при 10° тепла. Но ведь и человек тоже происходит из тропического климата. Родной нам теплый климат мы носим у себя за пазухой. Мы покрываем себя белым, платьем, шубой, надеваем на ноги валенки, а на голову меховую коробку, чтобы создать над кожей тела теплый климат. Зимой мы неплохо чувствуем себя в натопленном помещении. Такое теплое помещение мы должны организовать для культуры какао и колы. В Дагестане существуют в одном месте горячие источники с большим дебетом воды, имеющие температуру почти в 70°С. Здесь же по соседству работает крупный стекольный завод. Необходимо построить в этом месте большие стеклянные оранжереи, обогревая их трубами, по которым будет непрерывно струиться вода из горячих источников, равномерно поддерживая необходимую температуру. Чтобы зимой не оказалось недостатка света, вызывающего сбрасывание части листьев и приостановку плодоношения, необходимо оборудовать оранжереи сильными электрическими лампами. Для усиления процессов ассимиляции у деревьев можно «удобрять» воздух в оранжереях углекислотой (ведь в воздухе ее содержится только 0,03 проц., а можно довести до 1—2 проц., пропуская ее по трубам, снабженным отверстиями). Эта дешевая затрата способна значительно увеличить урожай и, кроме того, улучшить его качества.

Оранжерейная культура в промышленных масштабах не может конечно

охватить большое количество тропических растений.

Промышленность Советского Союза требует многочисленных видов растительного сырья. Кроме того, часто одно и то же сырье потребляется не одним, а многими видами промышленности. Какая-нибудь трагакантовая камедь, получаемая из корней колючих астрагалов, служит незаменимым сырьем для текстильной промышленности, полиграфической, кожевенной, спичечной, фармацевтической, кондитерской и др.

Лучшие по качеству виды растительного сырья получают в тропиках. Заменить их или очень трудно, или невозможно. Различные экзотические смолы, как даммара, копалы, редкие растительные краски, как гематоксилин, редкостные алкалоиды, как строфантин, стрихнин, кокаин, хинин, арекалин, пилокарпин, колатгин, кофеин, теобромин и многие другие неотвратимо действующие растительные яды, как кураре, аокантера, спасительное для прокаженных хоолюмогровое масло, тончайшее илангиланговое ароматическое эфирное масло, способное приводить в самое задушевное состояние и «на шелковые ресницы сны золотые навевать», — весь этот kaleйдоскоп ассимилятов создается в тропиках, и нет никакой возможности удовлетворить нашу промышленность этим сырьем. Поэтому для оранжерейной культуры придется отобрать лишь совершенно незаменимые культуры, имеющие особо важное значение, как кола, какао. В тени этих деревьев, чтобы использовать площадь, можно возделывать ипекакуану, ананас, дынную грушу и пр. Какао и кола — небольшие деревья и на родине являются представителями подлеска. Для затенения их в оранжереях можно применять насаждения райского банана. Если советским ботаникам и растениеводам удастся организовать на больших застекленных площадях культуру какао и колы, это будет одной из замечательных побед социализма.

В Советском Союзе существует несколько сот тысяч га территории субтропиков. Мы делим эти субтропики на влажные, полувлажные и сухие. Влажные субтропики — это Черноморское

побережье Кавказа от Сочи до турецкой границы в Зачорохском крае. В ноябре и декабре, когда в Москве и Ленинграде, на Урале, в Сибири выглаживают из-за пушнины воротников заиндевелые кашляющие лица, леса стоят с нахлובученными снежными шапками, по неисчислимым рельсовым коридорам железных дорог необъятного Союза носят бураны, — на приморских холмах Грузии, Абхазии, Аджаристана стоят темнозеленые шпалеры чая, многочисленные вечнозеленые букеты из деревьев с оранжевыми плодами мандаринов, ласточки еще танцуют тропическое танго над проволокой телеграфных линий, и надо всем стоит сонливое, по-осеннему безмятежное солнце. Всех тянет в эту пору в субтропики. Там здоровье, природа, фрукты. Все побережье торопится к счастливой жизни. Черноморская железная дорога, с ее тысячами мостов, отграничивает сушу от моря. И за этой чертой — парки и санатории, плантации чая на 35 тыс. га (до революции лишь 500 га), цитрусовые рощи и многочисленные новые сады мандаринов, апельсинов, лимонов, грейп-фрута, померанца, превывсившие уже площади в 3.000 га, молодые плантации тунгового дерева (600 га), — это фон, по которому разбросаны десятки других субтропических растений, как японская хурма, бразильская фейхоа с вкусными душистыми плодами, маслина и пр. Чайные колхозы и совхозы имеют уже 14 чайных фабрик для переработки чайного листа. Молодые листья (флеши) срезают, они поступают на фабрику, их вялят, подвергают ферментации, после чего появляется специфический чайный аромат. Специальный институт чайного хозяйства изучает весь цикл жизни чайного куста от семени до семени, от посадочной траншеи до способов упаковки готового продукта. Изучают опылителей чая, производят скрещивания, контролируют детей, внуков и правнуков, чтобы получить совершенную чайную чистокровную семью, любимицу советского чайного стола и рекордсменку на мировом рынке.

С цитрусовыми ведется обширная научная работа. Изучают почвы для них—

краснозем и желтозем, галечник и пр. Прививают лимон, апельсин и мандарин на диком трехлистковом понцирусе. Этот дикий цитрус похож на ошетилившегося ежа. У него колючки, как совершенное орудие обороны. Он неприхотлив к почвам, выдерживает мороз до -20°C и считается лучшим подвоем для культур цитрусовых.

Советские субтропики являются самыми холодными на земном шаре. В Сухуме морозы в отдельные годы достигают -10° и даже -11°C , в Батуме — 6°C . Морозы являются причиной неустойчивости у нас культуры лимона и апельсина, затруднительности введения культуры хинного дерева и других ценных новых культур. Мы должны культивировать такие сорта цитрусовых, которые вызревают не позже ноября, в то время как в Италии, Флориде, Калифорнии большинство сортов вызревает в январе — феврале. Два научно-исследовательских учреждения в Сухуме — Институт влажных субтропиков и Интродукционный питомник ВИР — производят многочисленные скрещивания между разными видами и даже родами цитрусовых с целью получения зимостойких гибридов. В этих скрещиваниях участвуют такие цитрусовые культуры, как сладкий апельсин, померанец, мандарин, танжерин, помпельмус, шеддок, лимон, лайм, каламондин, лиметта, бергамот, люмия, кинкан и пр.

Мы наиболее заинтересованы в создании прочной культуры апельсина и лимона. Культура мандарина уже давно приняла широкие размеры. В сущности, апельсин является лучшим плодом в мире: наиболее вкусным, душистым, здоровым, освежающим. Лимон необходим, как приправа к чаю, как плод, богатый антицинготным витамином «С» и лимонной кислотой.

Из других плодовых культур влажных субтропиков интересна локва (мушмула). Плоды ее небольшие, очень нежные, сладкие, с приятной кислотностью; они имеют широкое применение в консервной промышленности (мякоть), а семена используются для приготовления ликера. Замечательным плодом являет-

ся а в о к а д о. Оно входит в число пяти основных плодовых культур тропического пояса земного шара. Эти пять растений следующие: к о к о с, б а н а н, м а н г о, хлебное дерево и а в о к а д о. Авокадо как пища начинает серьезно конкурировать с бананом. Несмотря на свое тропическое происхождение, некоторые сорта авокадо успешно могут вызревать в советских субтропиках. Плоды имеют грушевидную форму и достигают иногда 2 кг. веса и 20 см. длины. Мякоть плода зелено-желтая, маслянистая, с нежным вкусом, напоминающим как бы сочный грецкий орех. Содержание масла в мякоти колеблется от 10 до 30 проц. Плоды авокадо используются в сыром виде, но чаще в качестве салата и специальных блюд. Плоды часто едят с лимонным соком и сахарной пудрой. Многие прибавляют специи — вино, соль, перец. Урожайность одного дерева после 7—8-летнего возраста достигает 1.000 плодов.

Сочные, душистые плоды а н о н ы также пользуются большой популярностью. Ароматная душистая мякоть белого или желтоватого цвета не уступает по вкусу ананасу. Употребляется в сыром виде. Используется для консервов, безалкогольных напитков и пр. В Эквадоре и Перу это растение культивируется несколько столетий.

Плоды п а п а й и отличаются высокими вкусовыми качествами. Напоминают дыню, и, кроме того, листья содержат энзим папаин, растворяющий альбуминоиды и заменяющий папазин. Папайя у нас может культивироваться только как однолетнее растение.

Л и т ч и высоко ценится в Китае за прекрасные вкусовые качества плода. В восточных среднеазиатских странах эти плоды потребляются миллионами людей. Кроме Южного Китая, литчи культивируется в Индии, Австралии, Бразилии и других странах. Плоды литчи расположены на дереве кистями и напоминают по форме малину, по вкусу же они приближаются к вишне и поступают в продажу на американские рынки в сушеном или консервированном виде. По зимостойкости литчи близка к лимону.

Родина ю ю б ы — Восточная Азия и Новая Зеландия. Плоды лучших разновидностей ююбы достигают размера крупной сливы. Хорошо приготовленные плоды по вкусу приближаются ко многим сортам фиников.

К а р и с с а, или н а т а л ь с к а я с л и в а, — вечнозеленое кустарниковое растение с прекрасными кисловатыми плодами, содержащими до 12 проц. сахара. Она выдерживает довольно низкую температуру и отличается высокой засухоустойчивостью.

Д ы н н а я г р у ш а представляет небольшой кустарник, дающий замечательные плоды удлинненно-яйцевидной формы, часто бессемянные, мякоть которых напоминает вкусом мороженое из дыни. Горшечная культура дынной груши вполне возможна. Оранжерейная культура имела место в дореволюционной России в Ленинграде и в Москве.

Некоторые из перечисленных плодовых культур пригодны для разведения в полувлажных и сухих субтропиках. К полувлажным мы относим Ленкоранский район на берегу Каспийского моря, где осенью, зимой и весной выпадает свыше 1.000 мм. осадков, а лето отличается сильной засушливостью. Зима здесь более холодная, чем на Черноморском побережье, но субтропический характер местности подтверждается тем, что рядом, в соседней Персии, существует стародавняя культура апельсина, лимона и чая. К сухим субтропикам можно отнести некоторые части Прикаспийской низменности, Азербайджана, устье реки Атрека и Закопетдагский район ТуркССР, долины Вахша и Кафирнагана в ТаджССР. Здесь успешно произрастают плодовые сухих субтропиков, как маслина, гранат, инжир, миндаль. В течение двух лет удачно перезимовывали здесь тунговое дерево и чайный куст.

Лишь при советской власти широко поставлена промышленная культура растений, дающих многочисленные виды технического и химического сырья. Из технических культур наибольшие площади занимают в СССР растениями, дающими жирные масла. Главная роль принадлежит подсолнечнику, занимаю-

щему около 5 млн. га, на втором месте стоит масличный лен-кудряш. Важным масличным растением является хлопчатник, хотя основной целью возделывания его является получение волокна. Соя — в полном смысле слова новая техническая культура в Советском Союзе. Мировые площади под соей превышают 15 млн. га, распространяясь главным образом на районы Восточной Азии. Семя сои содержит высокий процент белка и 20—25 проц. масла. В последнее время обнаружен сорт, содержащий в семенах 52 проц. белка. Такой сорт дает уже возможность организовать получение препаратов чистого концентрированного белка, наподобие кубиков сухого бульона, сушеных яиц и т. п. Продолжительное питание соевыми бобами приводит к тому, что в пищеварительном аппарате человека поселяется особая флора — бактерии, помогающие усвоению сои. В соевых бобах содержатся витамины А, Б, С, Д. Соя может использоваться в качестве сильного удобрения. Из сои научились готовить различные супы, соус, молоко, сыр, кумыс, омлет, казеин, молочный порошок, печенье, сдобное масло. Из сои научились также готовить глицерин, взрывчатые вещества, суррогат каучука, мыло и мн. др. Соя появилась в Европейской части Советского Союза при советской власти и распространилась в зоне достаточного увлажнения на Сев. Кавказе. Она занимает 125 тыс. га и на Северном Кавказе вошла в практику колхозов. В Москве построен завод для переработки соевого зерна.

Белая горчица представляет для СССР интерес как культура для наиболее северных земледельческих районов. Север испытывает большой недостаток в растительных жирах. Чтобы избежать подвоза их с юга, здесь можно возделывать белую горчицу, рыжик и др. Они с успехом могут возделываться даже за полярным кругом.

Культура клещевины, до революции сосредоточенная в Закавказьи и в Средней Азии, в настоящее время перенесена на Северный Кавказ, где занимает свыше 200 тыс. га. Она дает касторовое масло, которое служит лучшим сма-

зочным маслом для авиационных моторов.

Кунжут также можно причислить к новым культурам, так как прежде он занимал небольшую площадь и не имел существенного значения в масложитной промышленности. Кунжутное масло может в некоторой степени заменить оливковое; оно используется даже для приготовления консервов из сардин. Жмых отличается ценными кормовыми достоинствами. Из него приготавливают халву. Площади под кунжутом распространены в среднеазиатских и закавказских республиках, а в последние годы расширяются на Северном Кавказе, в степном Крыму и даже на юге Украины.

Мак в мировой практике является главным образом опийной культурой. Опий представляет собой застывший млечный сок, получаемый из зеленых коробочек мака. Маковое масло, получаемое из зрелых семян, является первоклассным пищевым продуктом и сырьем для приготовления наиболее ценных красок, в особенности для живописи. Культура мака на опий распространена у нас в Киргизии и Казахстане, а возделывание масличного мака сосредоточено на Украине и в Белоруссии.

Из других новых масличных культур интересны арахис, перилла и некоторые другие. Перилла дает наиболее высыхающее масло. Оно высоко ценится для приготовления олифы и красок. Семена арахиса содержат 50—60 проц. жира и дают так называемое арахидное масло приятного запаха и вкуса. Жмых настолько вкусен, что используется как неплохой суррогат для приготовления шоколада.

Значительный интерес представляет чуфа, или земляной миндаль. Она образует на своих подземных побегах клубеньки, содержащие около 20 проц. превосходного пищевого масла. Целую тонну масла можно получить с 1 га. Испанцы готовят из чуфы превосходный напиток оршад.

Из текстильных культур преобладающее значение имеют старые культуры — хлопчатник, лен и конопля. Еще недавно Советский Союз ввозил на 60 млн. зол. руб. хлопкового волокна ежегодно,

но в настоящее время импорт уже пре-
кращен, и заграничная пресса не раз
высказывала беспокойство о том, что
Советский Союз в ближайшие годы вы-
ступит конкурентом в качестве экспор-
тера на международном рынке. Впервые
при советской власти доказано, что
египетский хлопчатник может вызревать
в Азербайджане, Туркменистане и Тад-
жикистане. В настоящее время его посе-
вы занимают несколько десятков тысяч
га. Волокно египетского хлопчатника
представляет наиболее ценное текстиль-
ное сырье.

Хлопчатник, дитя солнца, уроженец
тропиков, шагает в ногу с советской
властью на завоевание более северных
широт и сейчас успешно возделывается
в южной Украине.

Необходимость избавиться от им-
портного волокна и максимально увели-
чить производство грубого волокна для
мешков, брезентов, канатов, палаток,
сетей, шпагага и пр. вызвала увеличе-
ние производства новых лубяных куль-
тур. В последние годы на широкую ар-
ену использования вышла южноитальян-
ская конопля. Огромные заросли ди-
кого кендыря в Казакстане, Кирги-
зии и среднеазиатских республиках бы-
ли использованы как исходный ма-
териал для опытной культуры кен-
дыря. Волокно кендыря легко котони-
низируется и является заменителем
хлопкового волокна.

Культуре рами придается очень боль-
шое значение, и специально для этого
растения предназначена значительная
часть осушаемых площадей Колхидской
(Потийской) низменности. Рами дает
белую нежную пряжу, похожую на
шелк.

Интересными новыми культурами яв-
ляются эфирно-масличные растения.
Эфирные масла имеют очень большое
применение в технике и медицине. В
большом количестве они употребляются
в парфюмерном деле для приготовления
духов, помады, одеколona, мыла и пр.
Имеют значительное применение в при-
готовлении ликеров и водок. Употреб-
ляются как растворители смол для при-
готовления лаков. В керамическом деле
применяется например лавандовое мас-

ло для растворения золота. В США за
последние годы использование эфир-
ных масел достигло колоссальной циф-
ры, и расход на них значительно пре-
восходит расход на все виды электро-
энергии. В одном Нью-Йорке суще-
ствует свыше 2.000 институтов красоты,
где эфирные масла широко исполь-
зуются.

Содержание эфирных масел в расте-
ниях чрезвычайно различно. Наиболее
благоприятными климатическими усло-
виями, способствующими образованию
эфирных масел, является жаркий и су-
хой климат, соединенный с сильной ин-
тенсивностью света. По получению
эфирных масел Советский Союз стоит
пока позади других стран, но в послед-
ние годы определилось быстрое движе-
ние вперед этой отрасли народного хо-
зяйства. Наиболее благоприятными рай-
онами для эфирно-масличных растений
являются Крым, Кавказ, среднеазиат-
ские республики, центральные области
европейской части СССР. Важнейшими
эфирно-масличными растениями яв-
ляются: кориандр, анис, лаванда, ге-
рань, казанлыкская роза, мускатный
шалфей, тмин и др. В Симферополе
возник специальный научно-исследова-
тельский институт ароматических и ле-
карственных растений.

Одним из замечательных достижений
в области введения новых технических
культур в Советском Союзе является
культура каучуконосных растений.
Обычно в мировой практике каучук до-
бывается из деревьев, относящихся
главным образом к семейству молочай-
ных, тутовых, кутровых и др. Наиболь-
шее количество каучука добывается из
растений семейства молочайных, в чи-
сле которых находятся знаменитая бра-
зильская хевея, манихот и др. Ряд важ-
нейших каучуконосных растений имеется
в составе семейства кутровых. В 1925 г.
Советский Союз направил исследова-
тельскую экспедицию в Среднюю и
Южную Америку и вывоз оттуда ряд
каучуконосных растений, главным обра-
зом мексиканский каучуконосный ку-
старник тваюлу. К сожалению, в тече-
ние 7—8 лет нам не удалось до сих пор
добиться устойчивых перезимовок план-

таций гваюлы, даже в самых теплых районах Советского Союза. Главными растениями Советского Союза для добычи натурального каучука являются кок-сагыз и тау-сагыз. Сагыз в переводе на русский язык означает «жвачка». Туземное население южных зон Союза среди дикорастущей флоры находит растения, содержащие каучук или смолы, которые оно использует для жевания. Это обстоятельство навело участников советских экспедиций на мысль руководствоваться при отыскании среди местной дикорастущей флоры каучуконосных растений указаниями туземцев. Таким образом было открыто знаменитое растение тау-сагыз на хребте Каратау, представляющее многолетний кустарник, растущий по щебнистым склонам. Ввиду ограниченности природных запасов этого растения необходимо было немедленно приступить к культуре тау-сагыза. В его корнях каучук находится в виде эластичных каучуковых тяжей, а в листьях каучук содержится в млечном соке. В корнях содержание каучука доходит почти до 40 проц. (в среднем 20—25 проц.). Этот факт впервые установил, что высокое накопление каучука может быть свойственно не только тропическим зонам, но даже умеренным. К концу второй пятилетки под плантациями тау-сагыза будет найдено несколько сот тысяч га.

Другим каучуконосным растением, значение которого в последнее время становится важным, является кок-сагыз, в корнях которого содержится каучук от 12 до 28 проц. Опыты с культивированием этого растения показали, что оно быстро реагирует на агрохимические приемы, отличается сравнительно быстрым ростом и накоплением каучука и, кроме того, успешно может быть возделываемо в умеренных зонах Советского Союза. Согласно последнего районирования треста «Каучуконос», культура его приурочивается к Ивановской и Московской областям.

Во влажных субтропиках успешно акклиматизировался так называемый золотарник, многолетнее травянистое растение, обнаруженное Эдиссоном во Флориде, им же введенное впервые в

культуру и интродуцированное ВИР в Советский Союз в 1930 г. В листьях некоторых видов золотарника содержится свыше 5 проц. хорошего каучука, что является небольшим выходом, но надземные части, быть может, могут давать несколько укусов в течение лета, и общий выход каучука с одного га является довольно значительным. Каучук в золотарнике содержится в смеси со смолами; изучение этих смол показало, что они являются чрезвычайно ценными объектами для промышленности.

Гутта так же, как и каучук, представляет млечный сок растений, произрастающих главным образом на островах Малайского архипелага. Гуттаперча по химическому составу и по свойствам очень близко к каучуку, но отличается от него некоторыми специфическими свойствами. Гуттаперча является необходимым сырьем для производства подводных кабелей, где она служит изолирующим слоем. Кроме того, широко применяется в военном деле и при изготовлении различных научных приборов. Сырье для добычи гуттаперчи скоро будет доставлять нам китайское дерево эйкомия, которое содержит в листьях от 3 до 4 проц. гутты. 1 га плантации дает 500 кг. гутты. Для добычи может быть использован также и листопад. В СССР открыт новый способ размножения гуттаперчевого дерева пригибанием ветвей, которые вследствие такой операции укореняются и дают начало целому ряду новых растений. Возделывается эйкомия в западной Грузии, где уже организован специальный совхоз. Интересно, что вблизи Кременчуга на Украине обнаружено дерево эйкомии 25-летнего возраста, выдерживавшее морозы в -30°C и больше, в связи с чем можно считать, что продвижение эйкомии на север от Закавказья вполне возможно.

Производство сахара в СССР основано на сахарной свекловице. Только в последние годы становится на ноги производство сахара из кукурузы, сорго, топинамбура и дикория. Производство крахмала и спирта основано на картофеле и зернах хлебных злаков. Из картофельного спирта в широких размерах

налажено производство синтетического каучука.

Смеси смол и эфирных масел, имеющие вид густой сиропобразной жидкости и отличающиеся характерным запахом, называются бальзамами, одним из видов которых является «живица», содержащаяся в хвойных деревьях. Бальзамы при поранении дерева вытекают наружу и затвердевают, превращаясь в смолы. Особенно частое и обильное образование бальзамов и смол имеет место в тропиках; в наших же широтах они обнаруживаются в значительных количествах главным образом у хвойных. Бальзамы употребляются для получения скипидара, а смолы имеют большое применение при изготовлении лаков, политуры, смазочных масел, ароматических веществ, типографской краски и т. п. Современный скипидар получается исключительно из живицы хвойных деревьев — различных видов сосны, ели, но преимущественно из обыкновенной сосны. В Канаде добывается так называемый канадский бальзам, имеющий широкое применение при изготовлении микроскопических препаратов и являющийся дорогим импортным продуктом. В последнее время одним из советских исследователей открыт способ извлечения прекрасного канадского бальзама из сибирской пихты, причем его качество испытано было не только в микроскопической технике, но и в живописи; как оказалось, он может заменить даммаровый лак.

Одной из наиболее древних по своему использованию является смола настоящей лесной фисташки, широко распространенной у нас в южном Туркменистане.

Производство смол в Советском Союзе только начинается и составляет одну из существенных отраслей.

Рассмотрим еще так называемый японский лак, приобретший большую известность благодаря своей прочности. Этот лак получается из крупного кустарника, который называется «рус верницифера», культивируемого у нас пока еще в незначительном количестве на Черноморском побережье Закавказья. Японский лак обладает способностью

давать твердую черную блестящую пленку. В Японии, где нет хорошей глины для изготовления посуды, последняя выделяется из дерева и покрывается слоем лака, который не подвергается порче от кипящей воды, щелочей, кислот и спирта.

Замечательный лак доставляет тунговое дерево, имеющее крупное значение для нашей лакокрасочной промышленности, особенно в военном деле: для окраски самолетов, подводных частей морских судов, для создания непромокаемой древесины и пр. В СССР имеется уже свыше 600 тыс. га молодых плантаций тунгового дерева, разведенных во влажных субтропиках Закавказья.

Дубильные растения значительно распространены в советской флоре. В большом количестве они встречаются в коре, шишках и хвое у хвойных, в коре, древесине и листьях цветковых растений, в подземных стеблях, корневищах, плодах деревьев и особенно в болезненных разрастаниях ткани листьев, в так называемых галлах, образующихся вследствие укусов насекомых. Содержание таннидов в галлах достигает до 77 проц. Техническое значение дубильных веществ заключается в их способности превращать шкуру животных в пригодный для различных изделий вид, — процесс, который носит названием дубления кож. Шкуры сейчас же после снятия их с животных содержат очень много жира и влаги и поэтому очень скоро загнивают, а высохнув, делают жесткими и ломкими и, следовательно, непригодными для каких-либо изделий. Дубление или выделка кожи заключается в том, чтобы придать ей такие свойства, при которых она в сухом состоянии оставалась бы мягкой. Это достигается обработкой различными дубильными экстрактами, получающимися из растений. В последние годы советская промышленность использует главным образом химические минеральные дубители, из которых наиболее применимыми являются так называемые хромовые дубители и нефелины. Растительные экстракты получают из ивы, коры дуба, лиственницы и др.

Группа лекарственных растений является чрезвычайно многочисленной. До Октябрьской революции получение лекарственного сырья основано было почти исключительно на использовании дикорастущей флоры. В настоящее время у нас имеются плантации, пока еще небольшие, по культуре следующих растений: валериана, наперстянка, перечная мята, шалфей, алтей, ромашка, гидрастис, лобелия, скополия, опийный мак и др.

Мы работаем над акклиматизацией хинного дерева в субтропиках, изучаем местные народномедицинские растения, изучаем различные заменители редких алкалоидов.

Красильная промышленность не только в Советском Союзе, но и на всем земном шаре в настоящее время основана на синтетических красителях, именно анилиновых красках. Растительные же краски используются преимущественно в пищевкусовой промышленности, в производстве ковров, а также в тех отделах текстильной промышленности, где они являются незаменимыми. К числу незаменимых растительных красителей относится так называемый кампеш, дающий краску гематоксилин. В Советском Союзе сейчас весьма заинтересованы в организации культуры растений, дающих растительные краски, значение которых в последнее время снова повысилась. К числу последних могут быть отнесены: сары-чоб, крушина (дающая грушковый экстракт), резеда, гармала, синюха, шафран и др.

Растительные краски нужны нам не только для печатания по тканям, но и для пищевой промышленности — для подкраски напитков, сиропов, конфет и пр. Эти краски безвредны.

Многочисленный ряд новых технических культур интересует промышленность Советского Союза для обеспечения трудящихся бумагой, щетками, клеєм, различными заменителями резины, шелка и т. д. Бумага в большом количестве может быть получена, помимо древесной целлюлозы, из соломы хлебных злаков, чия, рогоза, из отходов льна, кендыря, из стебля масличного льна, подсолнечника, кукурузы, хлоп-

чатника, из ветвей ивы, тутового дерева, дуба и многих других.

Щетки необходимы в коммунальном хозяйстве для прочистки труб, для мойки мостовых, в промышленности для протирки сит и т. д. Необходимы платяные и парфюмерные щетки. Они получают не только из щетины, но и из растений.

Наиболее интересным вопросом современного советского растениеводства и промышленности является проблема комплексного использования растительного сырья и, в частности, новых культур. Исходя из того, что всякое растение представляет сложный физический и химический комплекс, заранее можно было предполагать, что любое растение может давать различные виды технического и химического сырья, например: из кукурузы можно получить свыше 150 видов различных фабрикатов. Даже из низших растений, какими являются, например, водоросли, можно получать иод, лучший клей, агар-агар, бумагу и пр.

Несколько слов о Севере.

Для советского Севера даже старые овощные культуры, как капуста, морковь, свекла, редька, редис и др., являются, по существу, новыми культурами. Поэтому уже на введении их в массовую культуру, на организации за их счет обширных овощных и животноводческих колхозов население Севера, голодавшее при царском режиме, значительно поднимает свое благосостояние. Доказано, что условия северного земледелия являются исключительно благоприятными для развития овощеводства, — урожаи всегда обеспечены, и более высокие, чем в умеренных и южных широтах. Таким образом, состав овощей для Севера СССР почти нацело является новым и состоит из картофеля, репы, тыквы, капусты, свеклы, лука, моркови, редьки, редиса и др. Ценность этих овощей заключается не только в их высоком питательном значении, но и в содержании большого количества витаминов, в особенности антицинготного витамина «С». Работы последнего времени установили, что столь необходимые северному населению витамины в громад-

ном количестве содержатся в овощном растении кольраби, в северных ягодных растениях, как клюква, черная смородина, брусника, земляника и др., и даже в хвое лесных деревьев. Список овощных культур для Севера может быть пополнен еще новыми овощными растениями, как китайские и японские капусты, ревеня, физалис и др. Китайские капусты отличаются значительной холодостойкостью. Существуют кочанные и листовые сорта, которые варьируют по форме, величине, окраске, скорости развития и пр. Эти китайские капусты являются превосходными овощами и используются как в свежем виде, так и в вареном, засоленном, маринованном и пр. Помимо этого, они служат первоклассным сочным кормом. Японские редьки (дайконы) являются на родине своей, в Японии, украшением местного растениеводства. Существует огромное разнообразие сортов по форме и величине корнеплодов, от округлых до змеевидных, от 1 до 16 кг. весом в одном корнеплоде. В условиях Кировского района и Ленинградской области эти японские редьки уже были испытаны и дали отличные результаты. Очень ценной для Севера овощной культурой признается ревеня, используемый не только в салатах, но и для приготовления весьма вкусного киселя. Ревеня является также кондитерской культурой. Из черешков листьев его готовят цукаты для тортов.

Наиболее интересной среди новых овощных культур, но уже не для Севера, а для других районов, является группа клубненосных крахмалистых растений. Большинство из них может найти свое применение в субтропиках. Они имеют непосредственное крупное пищевое значение как овощи, но, помимо того, они являются техническими растениями, будучи богатыми крахмалом. Крахмал необходим как средство для аппретуры в текстильном производстве, как сырье для получения сахара, для перегонки спирта. Крахмал служит для изготовления питательных и диетических препаратов, для кондитерской, шоколадной и пищевой промышленности, для производства пудры, для белья, для патоки

и пр. В этой группе растений батату принадлежит первое место.

Батат является мировой культурой. Наибольшее значение и исчерпывающее использование батат получил в США, где он занимает все южные штаты неблагоприятные для культуры картофеля. Он имеет много преимуществ перед картофелем: клубни его более богаты крахмалом, чем картофель; он содержит не только крахмал, он и значительное количество сахара и декстрина, благодаря чему он много вкуснее картофеля. Сладкий вкус клубней — основное отличие от картофеля. Калорийность его в полтора раза выше. Урожайность также выше. Он уступает картофелю в сохранности, в транспортабельности и является дорого стоящей культурой. Применение его чрезвычайно разнообразно в пищевкусовой промышленности и в кулинарии. Для фабрик-кухонь батат является ценнейшим сырьем, так как кулинарные рецепты для него очень разнообразны, обеспечивая здоровую, вкусную и сытную пищу. Широко используется он также в консервном и кондитерском производствах, а также как кормовой продукт. Урожайность клубней в среднем считается в 15 тонн с га для США, в тропиках же отмечены урожаи свыше 100 тонн с га. В настоящее время культура батата уже широко распространена в Западной Грузии, а также успешно развивается на Северном Кавказе. Из других субтропических клубненосов отметим дашин, или таро, принадлежащий к семейству ароидных. Это древнейшая культура туземцев тропической Азии и островов Океании. Это растение имеет множество сортов и еще очень мало изучено. Крахмальные зерна его чрезвычайно мелки, что делает крахмал из дашина очень ценным для текстильной промышленности, а также ценным для производства высших сортов пудры, и, наконец, для диетического питания больных. Клубни имеют довольно широкое кулинарное применение: из них готовят вафли, бабки, торты и др. кондитерские изделия. Эти олированные побеги едят как спаржу. Растение это влаголюбивое, лучше всего развивается в тени, на сырых песчаных почвах.

Близким к дашину является аррорут. Аррорутная мука имеет большое лечебное значение при болезнях обмена веществ, при худосочии, при анемии кишечника. Аррорутная мука имеет обширное применение в Англии, где из нее делают превосходные кексы.

Наш обзор охватил большое число разнообразных растений, вступающих на арену советского земледелия в качестве новых культур. Однако надо понимать, что мы живем в такой стране, где беспорядочная множественность культур не может иметь места, так как плановое хозяйство требует максимальной целесообразности в использовании сельскохозяйственных площадей. Все культуры, все сорта их, все отрасли растениеводства подчинены у нас принципу районирования. Единица площади и возделываемые на ней растения должны соответствовать нуждам всего народного хозяйства в целом и давать максимальный эффект. Поэтому в составе новых культур придется произвести тщательный отбор, отделить нужное от ненужного. Это можно сделать конечно только в результате сопоставления качеств и количеств продукции конкурирующих культур. Испытание, критическое изучение множества новых культур на опытных станциях и в исследовательских институтах является неизбежным. Более того, мы должны помнить, что растительный мир не только еще очень плохо использован человечеством, но и плохо известен ему. Более 95 проц. видов семенных растений на земном шаре не является предметом возделывания. Целые континенты, как Южная Америка, три четверти Африки, три четверти Австралии, Сибирь и Дальний Восток, Китай и др., очень мало, а порою и вовсе не исследованы даже в ботаническом отношении. Биохимическое изучение растений земного шара только началось и уже делает необычайные открытия, как например, наличие лимонной кислоты в листьях махорки, громадное количество витами-

на С в кольраби, наличие гвоздичного масла в обыкновенном розоцветном растении колюрия и мн. др.

Глядя на карту земледелия земного шара, с изумлением констатируешь, что плотность посевов необычайно густа в Европе, Северной Америке, юго-восточной Азии, в то время как почти вся Африка, Южная Америка и Австралия, а также Сибирь до сих пор остаются девственными территориями. Это результат беспорядочной капиталистической системы хозяйства, и СССР получил в наследство от петербургских холуев международного капитализма девственную Сибирь. Только с момента, когда красные знамена всколыхнулись над тайгой Сибири, началось бурное заселение Сибири, эксплуатация ее недр и почв, проложена вторая магистраль Великого Сибирского пути, пробит во льдах Северный морской путь, проложены воздушные трассы, соединяющие эти два титанских пути, основана сеть полярных станций, возник, как в сказке, огромный порт Игарка, проснулась и заторопилась Якутия, родилась новая республика — еврейская автономная республика Биробиджан.

Новые территории требуют и новых культур. Кандидаты в новые культуры тысячами скрываются в зарослях растительного мира. Такие страны, как Бразилия, имеют не менее 40 тыс. видов семенных растений. Это же количество свойственно островам Полинезии и Меланезии. В среднеазиатских республиках Советского Союза известно более 6 тыс. видов. Почти столько же установлено на Кавказе. Флора Советского Союза изучена в общем мало. Когда взялись по-новому работать и по-новому руководить, оказалось, что в нашей флоре можно открывать такие жемчужины, как тау-сагыз, кок-сагыз, антикоррозийное растение чистотел, замечательный инсектисид анабазис, абсолютно иммунную пшеницу *Triticum Timofeevi* и многие другие.

Литература и искусство

1. Ф. ВЛАСОВ — О творчестве Виктора Гусева.
2. А. МИНГУЛИ А — В джунглях семьи.
3. А. ЛЕБЕДЕВ, Е. МЕЛИКАДЗЕ, А. МИХАИЛОВ, П. СЫСОВ — Еще раз о журнале „Искусство“.
4. Э. АЦАРКИНА — Орест Кипренский.
5. А. ЗОТОВ — Выставка картин П. П. Соколова-Скаля.
6. К. СИТНИК — Франс Мазерель.
7. С. ЧЕМОДАНОВ — „Садко“ в Большом театре

1. О ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРА ГУСЕВА

Ф. Власов

За много тысяч километров от Москвы защитники рубежей социалистической страны, бойцы и командиры ОКДВКА горячо обсуждали проблему славы. Поводом для начала дискуссии явилось напечатанное в «Правде» стихотворение В. Гусева «Слава».

Отделенный от ОКДВКА многими тысячами километров, поэт, чуткий к большой исторической теме, читал полученные им многочисленные письма от командиров и бойцов Красной армии.

Вот два отрывка из этих писем, представленных поэтом в наше распоряжение:

«Ваше стихотворение «Слава» немало наделало у нас шума. Как-то вечером командиры сидели в штабе. Командиры — это дружная, хорошая семья. В этот вечер пришла «Правда». Я прочел «Славу». Командиры потребовали вторичного чтения. Прочел. С этого и началось. Особенно «напали» на вторую часть стихотворения, где Вы раскрываете социалистический смысл славы. Говорили о славе в нашей стране. Говорили о том, кому дано быть прославленным, и т. д. Говоря без лести (это не в стиле нашей работы), стихи Ваши любим. Такие вещи, как «Слава», «Сад», «Два парада», «Гений», у нас пользуются

большой популярностью. Хотелось бы иметь все, написанное Вами.

Стихотворение вызвало острую полемику среди командиров и бойцов Н-ской части ОКДВКА. По существу же, это была не полемика. Ибо все «оппоненты» приходили к признанию глубины и волнующей правдивости идеи стихотворения. Стихотворение понравилось нам всем. Мы его зачитали буквально до дыр».

Если учесть, что письма командиров и бойцов к поэту, вызванные стихотворением «Слава», отражают только частично тот интерес, который вызывает творчество Гусева у широкого и передового круга читателей, то уже самый этот факт заслуживает серьезного внимания.

В этой связи невольно припоминаются жалобы Глеба Ивановича Успенского на то, что он не знает своего читателя и его интересов.

Гусев на это не может пожаловаться. Он знает своего читателя. Читатель его — политически активный, беззаветно преданный социалистической родине боец.

Знание своего читателя, а главное, знание того, с каким вниманием относится читатель к творчеству, является немаловажным фактором поэтического

развития. Важно, чтобы писатель, знающий своего читателя и его интересы, стремился поднимать этого читателя на более высокую ступень.

Подходя к оценке творчества Гусева, критика должна задуматься над фактом исключительного интереса нового культурного читателя к творчеству поэта. Ведь на оборонные темы пишет не один Гусев. Пишут многие, а между тем такому резонансу, какого достигает творчество Гусева среди бойцов Красной армии, могут позавидовать многие оборонные писатели.

Однако, в критике мы не находим стремления осмыслить это явление. Наоборот, встречаемся с высказываниями очень известных критиков на страницах не менее известных органов советской печати, которые, мягко выражаясь, не находят нужным считаться с критериями, установленными и проверенными большевистскими традициями нашей партийной печати.

Чем иным можно объяснить то, что тов. Мирский, а с ним вместе и «Литературная газета» ругают Гусева такими словами, как «газетный», «очерковый», а следовательно, и «периферийный».

Предположим, что тов. Мирский не знает таких фактов из истории борьбы нашей партии, когда от боевых, тематически острых, большевистски направленных стихотворений Демьяна Бедного, напечатанных на страницах большевистских газет «Звезды» и «Правды», не отругивались «унизительными» словечками — «газетный», «очерковый», «периферийный» и т. д.

Тов. Мирский мог не знать (хотя обязанность его заключалась в обратном), что тов. Ленин честию, обязанностью, правом считал печатание произведений Алексея Максимовича Горького на страницах большевистских газет.

Неповторимое обаяние, которое испытывал читатель, перечитывавший на страницах газеты «Правда» «Жизнь Клима Самгина», не уменьшилось от того, что оно было получено от произведения, напечатанного в газете.

Предположим, что тов. Мирский не в курсе традиций, с точки зрения которых печататься в большевистских газе-

тах — это еще никак не беда. С точки зрения этих традиций, быть «газетным» — это значит, не поступаясь гениальным умением Горького, создавать величайшие художественные произведения, образцы социалистического реализма, владеть, наряду с этим, языком для миллионов.

Предположим, что всего этого тов. Мирский, отругиваясь словами «газетный», «очерковый» и «периферийный», не знал. Но странно, как могла соглашаться с тов. Мирским без единой оговорки «Литературная газета»?!. Ведь там же есть большевики, которые не могут не знать традиций большевистской прессы!?

Наконец, ругательски ругая Гусева, издеваясь, по существу, над вкусами и увлечением культурного читателя, тов. Мирский это сальто-мортале проделывает, основываясь на своем импрессионистическом, ни для кого не убедительном вкусе, избегая более серьезного и делового анализа творчества.

Мы отнюдь не хотим того, чтобы поэт только равнялся по вкусам, пусть даже и передового, читателя. Мы хотим того, чтобы поэт выражал вкусы передового читателя и, сам воспитываясь, воспитывал бы наши, большевистские литературные вкусы. С этой точки зрения, мы еще меньше склонны закрывать глаза на недостатки в творчестве Гусева, но из этого не вытекает, что поэта надо охаивать. Точка зрения огульного, бездоказательного охаивания (Мирский) — не наша точка зрения.

Точно так же мы должны отвергнуть попытки похлопывания поэта по плечу, которые характерны для статей тов. Тарасенкова и Реформатской.

В том и другом случае поэт не получает более или менее сносного разбора своих достоинств и, что особенно важно, указания на недостатки своего творчества. В том и другом случае критика не выполняет своей роли.

В настоящей статье мы постараемся избежать одностороннего подхода к творчеству Гусева, поэту растущему, требующему как освещения своих достоинств, так и деловой критики недостатков.



В стихах первого этапа творческого развития (1927—1928 гг.) Гусев остро не сознает и не чувствует современную ему действительность. Недостаточная степень осознания мира, недостаточная поэтическая зоркость характеризуются такими стихами, в которых поэт говорит больше всего о механистически-предметном, вульгарно-вещественном мире.

Не случайно первый сборник стихотворений Гусева носит название «Поход вещей».

Как рыцарь блестящий; как лебедь
 печальный,
 Плавает по паркету задумчивый чайник.
 Плавает командиром, и тащатся следом
 Бутылка и рюмка — два верных соседа.
 И примус, как клятва, избит и затаскан, —
 И фронт замыкает шекспировой маской,
 Пройдохой Фальстафом, с остатками жара
 Пузатая тень моего самовара.

Этот грубо-вещественный, механистический мир подавлял поэта своей мнимой извечностью и ставил перед ним нелепые вопросы о суете сует и всяческой суете.

Весенними льдинами тают года.
 Мы видим — любимая входит сюда;
 Ликуют созвучья, но злее и резче
 В углах ухмыльнутся ехидные вещи,
 Уверен их ход, бесконечен их танец,
 Домашней хозяйкой любимая
 станет.
 И высохнет песен веселая смута
 Под сладостным игом больного
 уютя.

Воспринимая, таким образом, мир, как поход вещей, и высказывая мысль о преходящей суете сущего, поэт, однако, был далек от обывательской успокоенности. В чувстве озабоченности, которое охватывало его в этот период, большое место занимает тревожное раздумье над движущимися пружинами жизни, смыслом действительности.

Действительность строящегося социалистического мира, со всеми трудностями и взлетами, — эта действительность не сразу давалась Гусеву. Ее нужно было понять. А пониманию мешал отрицательный груз мелкобуржуазного наследства. Этот груз давал о себе знать. Он

застилал перспективу, притуплял остроту поэтического зрения.

Эмпирический подход к действительности вступал в противоречие с действительностью в глубоком смысле. Перед Гусевым вставала проблема идейного перевооружения, проблема овладения пролетарским мировоззрением.

От решения этой проблемы зависело будущее поэта.

Как бы ни были сильны идейные мотивы мелкобуржуазного порядка, какой бы ни обладали они притягательной силой, поэт не хотел дальше оставаться рабом этих мотивов —

И мне в этих стенах становится тесно,
 И рыбою бьется и сердце, и песня.

В этих строчках приговор тому миру, интересами которого до этой поры жил поэт. В них указание на ограниченность и пустоту этого мирка.

Если бы мы попытались сравнить качество мировоззрения Виктора Гусева с качеством мировоззрения таких поэтов, как Луговской, Багрицкий и даже М. Светлов, то мы не могли бы пройти мимо тех исторических условий, которыми определились особенности мировоззрения каждого из этих поэтов.

Речь идет не о качественных особенностях таланта, а исключительно о различных исторических отрезках времени, об особых условиях классовой борьбы, шлифовавших мировоззрение поэтов.

Луговской, Багрицкий и — несколько по-иному — Светлов были гораздо более связаны с той действительностью, отрицанием которой явился Октябрь. Правда, все они — участники гражданской войны. Все они в большей или меньшей мере пили из чаши, наполненной вином «романтики» этой великой эпохи. Ясно, что на мировоззрении этих поэтов лежит определяющая печать эпохи Октябрьской революции. Но, как бы то ни было, — это, главным образом, относится к Багрицкому и Луговскому, — в подходе к социалистической действительности, в выборе темы и в раскрытии ее, у названных двух поэтов не могла не проявиться сила инерции того мировоззрения, тех идейно-политических настроений, которые были

унаследованы от старого мира, навсегда снятого в нашей стране Октябрем.

У Багрицкого это сказалось на его лирических стихах. Ощущая запахи жизни, многоцветный и многозвучный мир, он иногда стремился тот «полный» мир своих ощущений и переживаний отделить от глубоко-содержательной политической действительности, от острых тем классовой борьбы. У раннего Луговского (1926 г.) это выразилось в форме противопоставления себя действительности:

Нет еще стран на великой земле,
Где мог бы я сыном пристроиться...

Светлов — это, конечно, явление иное в смысле расчетов с миром ушедшим. Но даже М. Светлову гораздо больше можно вспомнить из прошлого, нежели В. Гусеву.

Мировоззрение Гусева, его идейно-политические симпатии определялись целиком действительностью послеоктябрьской. В значительной мере уже в силу этого факта мелкобуржуазные мотивы, охарактеризованные в названных выше произведениях Гусева, не приобрели характера острой субъективной растерянности, противопоставления себя действительности или попыток ухода от нее.

Наиболее рельефно субъективная растерянность со следами «кризиса» и сомнений, со следами ограниченности кругозора и незначительности тематики выразилась в его стихотворении «Поход вещей», именем которого был назван и целый сборник.

Но, как сказано выше, уже в этом стихотворении Гусев заявлял о невыносимой атмосфере старого мира. И сам, осознавая невозможность оставаться в пределах этой атмосферы без риска творчески погибнуть, поэт делает правильный, смелый шаг вперед в «Звезде моего деда».

«Дед» — это не биографический портрет, нарисованный внуком. Это образ, подводящий итоги тому пути исканий путеводной звезды, которым прошли со страстной мечтой предки поэта, изранив тело и душу свою о шипы действительности.

«Дед» для поэта — живой образ предков, искания которых были приостановлены, жизнь которых была помята безжалостной силой капитализма.

И дед искал свою звезду
Средь многих сотен звезд.
— Звезда моя! Звезда моя!
Изменница, согрей!

Но так и не нашел своей заветной звезды бедный дед.

Костер заброшенный погас,
Насмешливо мигнув.
И там, где тихая трава,
Крест,
С надписью такую:
«Раб божий Дмитриев Иван
Скончался от запоя»...

«Символический» конец деда, умершего от запоя, — это черта, которую подводил Гусев под своими сомнениями.

Жизнь внука коренным образом отличалась от жизни деда.

Если жизнь деда, который всю жизнь мечтал стать актером, была безжалостно помята капитализмом, душившим, топтавшим всяческие таланты, выделяемые народом, то социалистическая действительность открыла внуку-поэту все возможности для расцвета личности.

И внук о своей звезде говорит уже иначе:

Проходят дни, бегут года,
Как отблески зари,
И надо мной моя звезда
Приветливо горит.
Она любых огней сильнее,
И пять у ней концов.
И умирает рядом с ней
Звезда моих отцов.

Ломка идейно-политических установок поэта шела к приятию социалистической действительности. Об'ективно эта ломка облегчалась тем, что поэзия Гусева, как мы об этом говорили, начала формироваться в условиях, отличных от тех, в которых создавалась поэзия Багрицкого, Луговского и т. д.

Социалистические победы первой пятилетки, развернутое наступление социализма по всему фронту с опромной силой действовали на поэта и ускоряли его переход на идейные позиции пролетариата.

Но субъективно поэт не мог освободиться от влияния старых идейных мотивов сразу, в один присест. Противоречия такой перестройки вылились в такую форму, в которой радость, осознания нового мира переплеталась с некоторой ретроспективной интимностью, с некоторой близостью к тому «знакомому», от которого поэт уходил. Все это выразилось в лирико-иронических, иногда юмористических тонах. Эти лирико-иронические и юмористические тона определялись уже новым качеством в мировоззрении Гусева. И именно в силу этого ретроспективные экскурсы Гусева, его взгляды в прошлое, принимали иронический характер. Поэт мужал, осознавал себя в качестве твердо ставшего на земле победителя.

Дед был мид поэту, — это бесспорно. Этот дед прошлый путь обид, унижений и имел такую лирическую душу, что о нем нельзя не вспомнить. Но, поддаваясь лирическому чувству воспоминаний, поэт уже не может писать про бедного деда без того, чтобы над ним не иронизировать, хотя бы и дружески.

Ирония дается в самом характере построения смысла строчки:

— Мой дед — не знали вы его?
— Он был не здешних мест.

Понятие «не здешних мест» подчеркивает ту мелкобуржуазную идеалистическую мечтательность героя, для которого характерно было неумение осознать трагизм своего положения в условиях капитализма и сделать отсюда выводы. Поэт говорит, что люди типа его деда способны были мечтать до самой смерти, не замечая того, как их размазывают жернова капиталистических отношений.

Стихотворение, начатое с вопроса и юмористического определения деда как хильца «не здешних мест», определения, которое, по существу, является экспозицией образа, возможно, полного неожиданностей, — это определение заинтриговывает читателя. Дальнейшее лирико-ироническое и юмористическое развитие образа осуществляется через подчеркивание трагизма, вырастающего из конфликта между призванием деда быть

актером и неосуществимостью этого желания в условиях капитализма:

Ведь, если сердце на цепи,
Ту цепь не будешь рвать.
И дед суфлером поступил,
Слова других шептать.
Дилось мольеровских остроут
Крепчайшее вино,
И Датский принц горел костром,
Велик и одиноч.
И каждый вечер зал кипел,
Смеялся и рыдал,
И лишь суфлер своих цепей
Всю жизнь не разорвал...

Приятие действительности на этом этапе может характеризоваться также стихотворением «Чуден Днепр».

Здесь нет еще образов, отражающих глубокое понимание социалистической стройки. Эти образы не приобрели конкретных очертаний:

На Полтаву мчатся тучи,
Солнце вянет за горою.
Поезда с зеленой кручи.
Подбегают к Днепрострою.
Годы быстры. Скоро очень
Встанут здесь громады зданий,
Я приду зеленой ночью
На последнее свиданье.

Но за неясным, трудно улавливаемым образом будущего Днепрострою, с громадами зданий, высшими школами, клубами, кино, цехами заводов, чувствовалось тем не менее живое, радостное волнение поэта, пыгающегося глубже проникнуть в этот образ.

Сравнительно неглубокое понимание действительности на первом этапе характеризовалось наряду с неконкретностью образа также хаотичностью формы стиха, подражанием и т. д.

Поэт нередко некритически, без подлинного освоения наследства переносил к себе для выражения своих идейных замыслов художественные образы из произведений классической литературы, подражал манере работы над языком, гнался за вычурностью и утонченностью.

Но Гусев потерял бы чувство юмора и качество сознания поэтической меры, если бы он серьезно подумал о перенесении ритма и других моментов из образцов классической литературы к себе, без ясного представления о том, что

этот ритм будет звучать иначе. И Гусев знал, что ритм, который он использует, должен оттенить ту лирическую иронию над прошлым, которой окрашено авторское мировоззрение на этом этапе.

С ритмами, характером образов, сравнений пушкинского стихотворения «Кто он» у нас связано представление о той действительности, которая в нем нашла отражение. И когда мы вдумываемся в это стихотворение:

Лесом частым и дремучим,
По тропинкам и по мхам
Ехал всадник, пробираясь,
К светлым невским берегам —

мы далеки бываем от какого бы то ни было чувства иронии, как в смысле нашего отношения к нему, так и в смысле отыскания в нем элементов подобного звучания. Но выражению очень тонкой, еле уловимой лирической иронии служит аналогичный ритм в стихах Гусева, которые отражают действительность другого времени:

Годы быстры. Скоро очень
Встанут здесь громады зданий,
Я приду зеленой ночью
На последнее свиданье.
Я приду мечтать тихонько
О задумчивой Оксане.

Ирония и юмор делаются более заметными в тех местах стихотворения, где строчки этих двух различных стихотворений, различных по времени и по своей поэтической силе, звучат: у Пушкина — патетически:

Всадник подле, он не смотрит...

у Гусева — иронически:

Спите, Бульба, спите, Шпонька...

Привлечение для подчеркивания лирико-иронического и юмористического характера своего творчества имен, связанных с классической литературой, уживалось с приемами удачного использования оборотов современной разговорной речи в поэзии.

Например: только в разговоре и для того, чтобы подчеркнуть фамильярность тона или бесцеремонность обращения, говорят: «Николай Васильич Гоголь».

Гусев фамильярность такого построения речи, ее тона подчеркивает через ритм:

Днепр шумел, его прельщая,
Он просиживал здесь долго,
Горбоносый, худощавый,
Николай Васильич Гоголь.

Эта же цель, цель иронического подчеркивания темы, достигается Гусевым с помощью нарочитого сопоставления известного художественного образа с предметом домашнего обихода. Например образ Шекспира Фальстаф сравнивается с «моим самоваром»:

И фронт замыкает шекспировой маской,
Пройдохой Фальстафом, с остатками жара
Пузатая тень моего самовара.

Перенесение ритмов и приемов из классической литературы для подчеркивания иронического отношения к своему прошлому говорит больше о слабости, нежели о силе Гусева на этом этапе. О слабости потому, что за этим чувствовалась оглядка на литературные каноны и традиции прошлого.

О Днепрострое он говорит, сопоставляя его с бессмертными героями Гоголя (Бульба, Оксана, Шпонька и др.) и раздумьем самого «Николая Васильича». Мы ни в какой мере не собираемся этим опорочить самый прием литературных сопоставлений. Но нужно указать на ту грань, перейдя которую, прием перерастает в отрицательную характеристику мировоззрения. Указать тем более необходимо, что у Гусева эта рельефно выступающая особенность уживалась с бледным, неотчетливым пониманием нашей действительности.

Наконец, последние моменты творчества Гусева этого периода, обращающие на себя внимание, — это, как мы уже говорили, погоня за вычурностью образа — тропа. Фонарь для поэта — «угрюмый глаз ночного беспокойя», и даже сомы, «поумнев от скуки, глядят с усмешкою в усах».

Отмеченные нами особенности поэзии раннего Гусева, характеризуют трудности овладения мировоззрением, сказывались на художественном уровне его произведений.

Оставаться дальше на этих позициях было равносильно обречению себя как художника на поэтическую импотенцию.

Нужен был более решительный отказ от того мира, в котором, как признавался поэт, «рыбою бьется и сердце, и песня».

От появления первой книги стихов «Поход вещей» (1928 — 29 г.) до сегодня нас отделяют завершение первой пятилетки строительства и, по существу, два уже пройденных года второй.

Поэт за это время успел выпустить ряд сборников стихотворений («Стихи» — 1932 г., «Слово бригадира» — 1932 г., «Герои едут в колхоз» — 1931 г., «Современники» — 1933 г., «Сыновья диктатуры» — 1934 г., поэму «Гений» — 1933 г.) и напечатать ряд стихотворений, которые могут составить новый сборник.

Важно не то, что поэт оказался таким плодовитым. Вызывает интерес качественный рост, соединенный с приятием нового мира и радостным служением ему.

Ясно подчеркнув в первой книжке, что звезда его — та, которая имеет «пять концов», Гусев без колебаний, и в этом отличительная черта его поэтического развития, дерется за коммунистический смысл этого «символа».

Одной из качественных особенностей славы, за которую борются трудящиеся нашей страны, является то, что они добывают ее не во имя корыстных, буржуазно-индивидуалистических целей, а во имя создания всемирного братства трудящихся, во имя нового, коммунистического общества. И поэтому слава в нашем понимании становится неотделимой чертой, составной частью жизни. Своей борьбой трудящиеся нашей великой родины создают те самые условия, о которых мечтал когда-то Н. Г. Чернышевский.

«Если хотите, — говорил он, — красоте и гению не нужно удивляться. Скорее надобно было бы дивиться тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для

этого человеку нужно только развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому что они неестественны, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

Творчество поэта, развивающееся в свете великих задач эпохи, имеет свои недостатки, и немалые, о них мы будем говорить, но ему нельзя отказать в целеустремленности и боевой направленности. Поэт живет той жизнью и волнуется теми страстями, которыми живет и волнуется народ, строящий социализм.

Я был в Самарканде, я Волгу видел,
Я по небу мчался среди жутких стихий,
Работал в газетах полков и дивизий,
На канонерках читал стихи.
Я в краснофлотском играл джаз-банде.
Я в шахты спускался, взлетал наверх
И всюду: в Свердловске, в Кузнецке,
в Коканде,
Я был как поэт и как свой человек.
В шинели, в шубе, в бухарском халате,
У южных пустынь и у северных льдин
Встречал меня друг, однокашник-читатель,
Суровой и честной руки гражданин.
И хоть не отмечен я славой и стажем,
Я видел: он знает, чем я дышу.
И любит за каждую песню и даже
За ту, что я завтра ему напишу.

При чтении этих стихов Гусева приходят на память стихи певца русского империализма, Гумилева, написанные на «аналогичную тему». В данном случае не важно, задавался ли Гусев целью противопоставить немощной теме, развернутой предельно себялюбивым певцом русского фашизма, великую тему нашей жизни, нашей гордости и нашей славы, или он этой целью не задавался.

Важно то, что это противопоставление получилось.

Тема у Гумилева — бледная, немощная, несмотря на все попытки оживить ее.

Тема Гусева — яркая, красочная тема.

Мы не говорим здесь о качестве талантов. Но мы должны сказать, почему бесцветна, нежизненна тема у Гумилева и почему многоцветна, полнокровна тема у Гусева. У Гумилева тема бесцветна потому, что отражает идеологию квасного националистического хвостовства тем, что он тоже на канонерках читал стихи. Он стихи читал и писал

затем, чтобы научить господ офицеров умирать за глупого русского царя, за юродивого русского бога и за отечество собственных имений, дач, фабрик и заводов. Тема Гумилева бледна потому, что она отражает идеологию вековых поработителей и дегенератов. За стихами Гумилева стоит особо страшная старуха, смерть трудящихся, особо страшная в силу своей бессмысленности.

Стихи Гусева вдохновлены полноценной, многокрасочной, переливающейся цветами жизнью. И как же не слагать ему, Гусеву, песен об этой жизни и людях, если он сам борется за эту жизнь и если его на самом деле любят «за каждую песню и даже за ту, которую он завтра напишет».

Идейно-политическая определенность, твердая почва, которую почувствовал поэт, покончивши с неуверенностью, резко отодвинула, и, судя по всему, окончательно, образ смущавшего его «мирного уютя». Вместо образов, привлекавших поэта из классической литературы для выражения авторского понимания действительности, на первый план выступили живые герои будней социалистического строительства.

Одни из них ехали по путевке, или без нее, в колхоз или на строительство индустриальных гигантов; другие, вдохновленные любовью к социалистической действительности, атаковали «гордого японского посла в Лондоне»¹⁾; третьи, подобно бойцу Охрименко, сели за изучение искусства военного дела; четвертые, обезображенные своей поганенькой страстью к длинному рублю, срывали выполнение большевистских планов. Один за другим проходили образы, полные нового смысла. Стихи этого периода, вплоть до сегодняшнего дня сохраняют лирико-иронический и юмористический тона, о которых мы уже говорили. Но это уже не прежние тона. Они звучали иначе, потому, что многое для поэта изменилось в самой действительности. Он стал еще более определившимся борцом за свою социалистическую действительность.

Всякий раз, когда поэт, работающий над собой, начинает видеть далекие горизонты, перед ним не могут не вставать различные вопросы. Поэт вдруг почувствует, что и краски-то этих далеких горизонтов, может быть, не совсем правильно им улавливаются. Этот вопрос может встать перед любым дерзающим поэтом. Но не с одинаковой силой. В каждом отдельном случае это будет зависеть не только от силы таланта, но и от того, как активно работает поэт над овладением пролетарским мировоззрением.

Гусева не раздало сомнение в соответствии видимых им форм и сути новой действительности с теми формами и сутью, которые она имеет на самом деле. Он был уверен, что его сознание дает ему «истинное» представление о действительности.

Его мастерство, в сравнении с пройденным этапом, сделалось более ярким. И все это естественно и понятно в свете более глубокого подхода к действительности. Но при том размахе, которым начинает характеризоваться творчество поэта, при той тематической новизне, новизне героев и т. д., говорить только о сравнительной яркости уже недостаточно.

Сознание Гусева охватывает мир социалистической деревни, социалистической индустрии и переделывающего себя человека. Отыскивая те формы, в которых может быть выражено содержание этого мира, через которые он может получить свою поэтическую конкретность, Гусев, и это не удивительно, начинает видеть те линии, которые принято называть ведущими.

Одной из ведущих черт является социалистический героизм. Сознанием героического были полны сердца тех, которые в эпоху гражданской войны сметали на своем пути все, казавшиеся несокрушимыми, преграды. Боец Охрименко, красный командир, «умирал четыре раза, чтобы все ж не умереть». Старый мир, «по дальним маршрутам» которого он «рыскал», имел все основания глядеть с ужасом на него и дрожать перед храбростью его «беззаветного смертельного полка»:

¹⁾ Речь идет о стихотворении «Гордый японский посол в Лондоне».

Пять империй и шесть министров,
 Бледнели от блеска его звезды.
 И в страхе спрашивали грозные лорды
 Гражданской военной той порой:
 «Кто же он, этот очень гордый,
 Потрясающий мир герой?
 Кто его ввел на всемирную сцену?
 В чем заключается его мечта?
 И какую огромную цену
 Придется убицам его отсчитать?»

Прошли годы гражданской войны. Мы знаем, что героизм гражданской войны выражал суть социалистической действительности. А героизм социалистической действительности неиссякаем. Лучшее доказательство этого — героизм будней строительства. Им вдохновлены не только люди типа Охрименко, им вдохновлены миллионы и миллионы строителей. Некоторые из них, об'ехавшие в течение своей жизни сотни городов, игравшие на театральных сценах этих городов сотни королевских ролей, мечтают, как о высшем благе, об игре на колхозной сцене:

А нынче поезд меня везет
 В колхоз, именуемый «Луч».
 И там, где ночью взлетает к плечу
 Кулацкий тупой обрез,
 Я должен сыграть — и сыграть хочу —
 Опаснейшую из пьес.
 Такую, чтобы в ней урожаем шелестел,
 Чтобы прыгал на трактор герой,
 Чтобы первый акт о работе пел
 И о борьбе — второй.
 И будет безжалостна и строга
 Оценка моей игры.
 И высшей наградою — пуля врага
 Пройдет сквозь костюм и грим.

О том, насколько поэтически совершенно дается образ героя, это вопрос другой, и о нем будет речь дальше. Сейчас мы констатируем осознание героического характера эпохи миллионами строителей. Наряду с этим нужно отметить особую роль сознания — должествования. В той борьбе, которую ведет новый человек нередко на отдельных участках, отдельными строителями силы сопротивления кажутся стихийно непреодолимыми. И тогда сознание того, что он «должен», наполняет его побеждающим мужеством. Таков партизан М. М. Громов. Под влиянием невиданного мороза, который «шумел», «подкрадывался», один за другим останавливались участки стройки, и даже он, Гро-

мов, заколебался. В этот момент герой обращается к образу самого мужественного строителя — Ленина:

Приморье я вспомнил,
 И белых воронов,
 И товарища Ленина, и бойцов, и потоки
 слез.

Швырнул я этого гада в сторону¹⁾
 И по-рабочему взялся за мороз.

Однако, героизм отдельного человека в том случае, если он не характеризует величие системы, рождающей его, был бы героизмом особого качества. Случаи такого героизма в условиях сегодняшней капиталистической действительности могут встречаться как исключение. Иное дело в стране социализма. Здесь то героическое, что в условиях капиталистического общества выпадает из этой системы, как рожденное в противовес ей, у нас, вследствие радикальной противоположности системы, становится таким качеством человеческой жизни, которое, будучи обеспечено системой, характеризует ее самое. Задача поэта — понятие проявление героического в каждом частном случае в нашей стране, как стиль жизни, как ведущее явление, лишенное всякого мистического или буржуазно-индивидуалистического смысла. Перефразируя слова Чернышевского, призывавшего удивляться не гению, а уродству, ибо гений — это нормальное развитие человека, можно сказать, что героизм — это нормальное выражение того человеческого пафоса утверждения «истины» через труд, которому социализм открывает все возможности. Правда, мы не можем не удивляться героизму, мы не можем не восторгаться им, точно так же, как мы не можем не удивляться восходу солнца после мрачной ночи и мерцанию звездного неба, очищенного от зловещих туч. И мы, конечно же, будем не только удивляться отсутствию героизма, как следствию тяжелой болезни, которою болен был человек в условиях капиталистического общества, но обязаны также активно способствовать выздоровлению таких людей. Качественно отличные, исключают-

¹⁾ Речь идет о кулаке, который пытался разложить строителей.

щие друг друга системы Гусев понимает. Поэтому его творчество не только тематически характеризуется показом героического в человеке. Но — что важнее — его творчество характеризуется художественным показом борьбы двух этих систем, двух миров. Характерна в этом отношении его поэма «Гений». В ней поэт создает образ гения, олицетворяющего культуру буржуазного общества, и противопоставляет его миру и людям социализма. Мир штурмующий, героический по своему существу, поэт раскрывает перед гением западно-европейской культуры Полем Дюранелем. Поэту не нужно было выдумывать фактов, событий, лиц. Все это богато представлено социалистической действительностью. Дюранель едет в СССР. Все, с чем встречается Поль Дюранель, начиная от пограничной надписи «Коммунизм сотрет все границы», начиная с образа аспирантки «Института мировой культуры», бывш. партизанки Кати Беловой, прикомандированной к Полю Дюранелю, и кончая кипением наших будней, — все это, обычное для нас, для Дюранеля не имеет пределов дерзости. Поль Дюранель мог представить, что люди, называющие себя коммунистами, действительно дерзкие и горячие головы. Он даже склонен преклониться перед этими благородными качествами человека, оставляя однако за культурой капиталистической Европы право «бабахнуть» по этим атрибутам достоинств из жерл бронированных орудий:

Я честен.
Я вижу сквозь марево дней —
Их путь отвечает мечте человека.
Они моложе, но мы сильнее,
Седые хозяева века.
Они честны, они смелые люди,
Но это — еще не все.
Поднимутся пушки,
Бабахнут —
И будет
Повернуто вспять колесо...

Маг капиталистической культуры, отправляясь в СССР, представлял себе народ, охваченный паникой:

Россия окружена. Зажата.
В ней матери будут рыдать.
Я еду последнее рукопожатие
Обреченной стране передать.

Там пламя отчаяния
Бродит и лижет
Постройки надежд и мечтаний.
Дыханье паники там я увижу
И пагубный грохот восстаний...

Но, мысля себе нашу действительность подобным образом, мосье Дюранель не думал, что ему придется жестоко разочароваться. Но разочароваться в своей мечте Дюранель тем не менее должен.

Он приехал в страну, которая полна кипением героического труда. Люди этой страны, никого в мире не боясь, чувствуя себя наследниками всех положительных человеческих знаний о мире, строят социализм. Он не встретил даже тени паники на лицах людей, с которыми встречался. Спокойствие, уверенность, знание, куда идти и что делать, план, энтузиазм — вот что составляет «грозные» атрибуты той страны, куда он приехал.

В развитии этой, как и других тем, Гусев остается идейно определенным и весьма выразительным поэтом. Но нас, как и самого поэта, интересует не только острота самой темы, но и ее художественное осуществление. Реалистическое видение действительности Гусев не сводит к ощупыванию предметов «собственными руками». Образы Гусева не могут быть отнесены к тем рахитичным теням, которые рождаются немощным сознанием и бледным чувством. Он видит действительность в весеннем смехе людей, строящих социализм, в идейной уверенности этих людей в самих себя, в силе всепокоряющего, раскрепощенного труда, в трудностях, встающих на пути строителей. В своих стихах Гусев выступает как человек, уже определившийся идейно-политически. Но это «самоопределение» является еще недостаточным в художественном отношении, в отношении умения создавать развернутые образы-характеры. Дюранель — это, конечно, художественный образ. В нем есть глубокие, правильные черты. Можно даже сказать — черты типические. В Дюранеле Гусев вскрывает и разоблачает характеризующую мелкобуржуазных ученых капиталистической Европы преданность «объективной (т.е.

по сути дела об'ективистской. — Ф. В.) истине».

В устремлении за этой истиной ученые, подобные Дюрanelю («бессмертные»), проделывают легендарный труд. Но этот труд в условиях капитализма по истине сизифов. Они не замечают, как их достижения на пути к установлению «истины» превращаются в орудие уничтожения этой «истины». Они «истинно» преданы созидательной силе гения, оставляющего следы свои в памятниках культуры, музеях, библиотеках, в движении человека «вперед и выше». Но они в силу своей мелкобуржуазной природы, в силу «естественного» — классового оппортунизма привычек не хотят задуматься над тем, что истинные наследники мировой культуры, по сути дела, не они, «бессмертные», а пролетариат. Дюрanel этого еще не понимает, но Гусев понимает хорошо. И потому к характеристике образа «бессмертного» Дюрanelя он не может подойти без уже знакомой нам иронии.

Это не просто писатель — нет.
Зданье не просто квартира.
Можно назвать его кабинет
Мыслительным центром мира.

Мудрость, написанная им,
Едва умещается в 20 томов.
Возьмите, откройте из них любой:
Ум засверкает, играя...

Жемчужиной в раковине заключен,
В них смысла человеческих дней.
И над этим над всем возвышается он —
Бессмертный Поль Дюрanel.

Образ Поля Дюрanelя, убежденного в том, что он найдет панику, которая таится за дерзостным стремлением к взлетам, Гусев раскрывает с помощью довольно искусного приема. Он сталкивает сомневающегося Поля Дюрanelя с фактами социалистической действительности. Они рассеивают его сомнения. Сомневающийся гений старается увидеть за любой гранью нашей действительности то, чего искал, — панику. Сомнения Дюрanelя, соприкасающегося с самой действительностью, раскрываются сами по себе, подавляются ею. В

результате развязывания многочисленных узлов у Дюрanelя создается иное качество сознания — определенное правдой социалистической действительности.

Вернувшись на родину, Поль Дюрanel на пошлую просьбу хозяина кабачка сжечь во имя «прекрасно прожитой жизни» записки об СССР, дабы они в борьбе двух миров не сделались «оружием» Москвы, отвечает не только категорическим нет, но он подчеркивает это категорическое нет желанием превратить создаваемые им записки о новом мире в оружие, только в оружие борьбы против мира старого.

— Оружием? —

Спросил Дюрanel и замер.

И вдруг почувствовал дрожь.

И флейты серьезными голосами

Пропели:

«На улице дождь».

Оружием?

И классик привстал, и мигом.

Притих, любопытствуя, шум.

— Оружием? Вы правы, издатель, книгу

Я, кажется, напишу.

Я думал — незыблема мира громада

И неподвластна мне.

Но если мне надо сражаться, то надо

Сражаться на их стороне.

Создавая образ Дюрanelя, Гусев делает первую попытку создать образ-характер. Тем не менее мы не можем утверждать, что эта попытка поэту удалась. Гусев наметил только схему развития характера. Наполнить же эту схему глубоким смыслом типически развиваемого содержания поэту не удалось.

Типическое не сводится к отдельным характерным чертам или даже к правильной схеме развития образа. Всего этого мало. Типичные характеры, как этого требовали классики марксизма, должны заключать в себе идейную глубину, конкретное историческое содержание, соединенное с шекспировской живостью и богатством действия. Все пропорции должны взвешиваться. Из них должны быть исключены случайности. Действие должно создавать для читателя картину типической целесообразности.

В качестве примера осуществления требований, которые ставили Маркс и Энгельс перед художником, могут быть названы «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. В этих произведениях художник дает такую коллизию, создает такую композицию, так развивает действие, создает такие полноценные характеры, которые принимаются читателем, как типичные.

Поль Дюранель Гусева — это образ, не плохо намеченный, но далеко не совершенно осуществленный.

Эта несовершенство, прежде всего, объясняется обедняющим одноплановым подходом. Задачу художественного раскрытия образа Гусев очень часто сводит к скучноватому красноречию. Этого как раз не нужно делать. Настоящее художественное «красноречие» достигается тогда, когда образ-характер многосторонне развивается, в соответствии с той идейной направленностью, которой этот образ подчинен.

Обеднение или одноплановое развитие образа Дюранеля у Гусева состоит в том, что он стремится к одному — «разгипнотизировать» сознание Дюранеля.

Пользуясь приемом поездки Дюранеля через Германию и Польшу, он сталкивает его с немецким фашизмом, а затем с польским. Эти столкновения гения с фашистским варварством поэт однако не осознает глубоко и не изображает как факты великого исторического смысла.

Эти моменты он не использует для развития образа-характера. Важно было бы на материале столкновения гения с фашизмом показать непримиримость, враждебность мысли, олицетворением которой в данном случае является Польша Дюранель, и варварства, олицетворением которого является фашизм.

Одноплановость развития образа применяется поэтом, когда он показывает Дюранеля путешествующим по СССР. Гений, увлеченный одной задачей, — найти страх и панику, — ездит по стране. Гусев устраняет ему встречи, заставляет его убеждаться в несостоятельности его представлений об СССР и его

людях. Это приводит к утомительному повторению встреч. В Москве Дюранель встречается с героями труда, едущими на курорт, с молодежью, весело проводящей свой досуг, в Магнитогорске — с бетонщиком Петром Сизовым и вновь выступает с речью перед молодежью на стадионе в Магнитогорске. Такая манера развития образа не лишена своих преимуществ. Но в данном случае эта манера скорее показывает движение Дюранеля от места к месту, от встречи к другой, нежели движение нераскрытых форм характера.

Несложный секрет композиции гения заключается в том, что навстречу Дюранелю движутся, как в кинематографической хронике, известные события и лица. Другое дело, что эти события и лица интересны сами по себе. Интересно сама по себе Катя Белова, Петр Сизов и т. д. Но они интересны, как люди, строящие социализм, как герои. Раскрыть же образ каждого из этих героев Гусеву не удалось.

В подходе поэта к герою чувствуется недостаточно глубокое понимание того типичного, что должно составить полноценность художественного образа, что должно свидетельствовать о совершенном выражении глубокой идеи.

«Гений мысли и гений мускула» — так озаглавил Гусев главу встречи Дюранеля с Петром Сизовым.

Поль Дюранель говорил: в столетях

Останется встреча эта.

В школах заучивать будут дети

Скрижалю моего завета.

Ведь встретятся здесь не француз

и русский, —

Сойдутся, смыкая круг,

Гений мысли и гений мускула,

Сила мозга и сила рук.

Упростив представление Дюранеля, Гусев создает себе полную возможность легкого разоблачения героя. Сизов, оказывается, не только «гений мускула», но также почитатель таланта Дюранеля. Он прорабатывал труды Дюранеля на литературном кружке и имеет на эти труды свою точку зрения:

Россия гуляет в них в лучшем виде.

Мы с вами знали российскую грязь:

Вы — сожалея,
 Мы — ненавидя,
 Вы — наблюдая, а мы — борясь.
 И мы, хлебнувшие этой грязи,
 Мы не на шутку за дело взялись.
 И двигаем мы шедливую Азию
 Тяжелой дорогой — в социализм.

Сказанное о поэме отнюдь не вызвано желанием умалить ее значение. Нам ясны как глубокий смысл идеи, так и ее тематическое преломление. Нам также ясно, что, несмотря на указанные недостатки, Гусеву удалось развить эту важную идею о стремлении лучшей части интеллигенции капиталистического Запада пересмотреть свои позиции. Этим объясняется популярность гения среди широкого культурного читательского актива.

Все сказанное об этой поэме нужно понимать, как стремление указать поэту на то, отчего пострадала полноценность его произведения и чего необходимо избегать в дальнейшем.

Одноплановое раскрытие действительности превращается в досадную черту стиха.

Стихотворение «Боец Охрименко» заинтересовывает читателя значительностью темы самой по себе, как темы, отражающей социалистическую действительность. Сам же Гусев как поэт делает не все, что он может сделать при наличии его поэтических возможностей в смысле искусства развития образа бойца Охрименко.

Боец Охрименко не имеет такого индивидуального облика, такого особенного героизма, который был бы присущ только ему как типической индивидуальности. Чапаев — это индивидуальность, воплощающая какую-то сторону гения революции, индивидуальность, сохраняющая типичность в каждой своей черте. Возможно, что Охрименко был не менее яркой типичной индивидуальностью, но Гусев этого не показал. Читатель узнает об Охрименко, что он с «Авроры», что революция вручила ему бронепоезд. Сама революция раскрывается в образах непримиримо противоположных и вначале дается не конкретно, отвлеченно.

Вошла революция в дымный город,
 От крови, от зорь, от знамен ала,

Матроса Охрименко с грозной «Авроры»
 Высокой волей своею сняла.
 Она вручила ему бронепоезд,
 Отъезда назначила час и день.
 Сунул маузер он за пояс,
 Кровинку-ленточку в петлю вдел.
 Очень решительный был мужчина,
 Вышел в ноябрьский последний дождь,
 Сказал бронепоезду: «Эх, машина,
 По всей вероятности, пропадешь».

Последующее развитие образа Охрименко дается через ужас, который испытывают враги революции, ненавидящие его. Через показ действия бронепоезда, а затем через показ «беззаветного смертельного полка», которым командует Охрименко.

Все это, как мы указывали, значительно и свидетельствует о движении поэта вперед, но в то же время все это свидетельствует о неумении пока, в этот период, типически развернуть характер.

Отнимите у героя фамилию Охрименко, назовите его Тарасом Хвелевым. Возьмите вместо «пяти империй» и «шести министров», которые дрожали от страха перед Охрименко, «десять империй» и «двенадцать министров», перенесите события из одного места в другое, и вы заметите, что ничего не произойдет. Стихотворение будет так же звучать, как оно звучало. В чем же дело? Дело в том, что образ Охрименко абстрактен. Самая революция дается также абстрактно. Мы не имеем налицо таких типических деталей, такой типической конкретной обстановки, через которые бы вставал конкретный образ бойца Охрименко.

Можно сослаться на трудность проблемы показа образа-типа. Указать на то, что конкретность, индивидуальность трудно давались даже таким поэтам, как Владимир Маяковский с его «150 миллионами» и «Войной и миром». Все это верно. Но путь литературы социалистического реализма — это путь разрешения этой сложной проблемы.

В свете названных особенностей работы над образом яснее выступает манера Гусева строить композиционный план своих произведений.

Эта манера характеризуется противопоставлением мира капиталистического

миру социалистическому через противопоставление художественных образов и через построение в этом же плане соответствующих характеристик.

Отсюда и противопоставительный характер композиции — «Гордый японский посол в Лондоне» и английские рабочие, комсомолец Василий Истратов и епископ Дергемский, лодырь и герой.

Слышу твой вздох, твой шаг,
Вижу, растут города,
И на работу и жизнь спешат
Разные люди туда:
Я формулирую (может быть, плохо,
Проще надо бы и верней) —
Одни летают вместе с эпохой,
Другие шныряют с ней.
Одни еще бродят в обносках
империи,
В глазах их царствует дым.
Одни пойдут за рублем
за первым,
Другие пойдут за вторым.

Рост поэта выражается как в остроте и значительности тематики, так и в том, что поэт стал смотреть на мир уже не через образы классической литературы; он начал глубже отражать действительность, создавать новые художественные образы героев социалистической стройки (одновременно иначе понимая задачу учебы у классиков).

Лирическая ирония приобретает на этом этапе иной смысл. Гусев прибегает к таким ритмам и размерам стиха, которые часто даже косвенно не напоминают прежних.

Поэтический язык этого периода характеризуется насыщением его оборотами разговорной речи. Поэт прибегает к такому языку, который более полно и типично характеризует его героев.

Так что же я, ребята, могу рассказать.
Вот разве лишь вспомнить, — позор и стыд! —
Как я в бою повернул назад
И как Ленин меня не пустил.
А случилось это в Кузнецкой степи.
Мы на фронте бетона бились.

Гусев прибегает иногда к показу героя с помощью приема нарочито упрощенных разговорных оборотов.

— Так вот,
Предыдущий товарищ вскрыл,
Что крах буржуазии довольно
ясен.
Предателей наших он всех
заклеймил,
И в этом я с ним целиком
согласен.
Но моя не туда поворачивается
речь.
О темпах орем мы?
Орем.
Ну и что же?
А вот ничтожную вагранку зажечь
В срок — мы никак не можем...

Надо сказать, что применение оборотов нарочито упрощенной, разговорной речи для характеристики героя не несет задания подчеркнуть ее вульгарность. Смысл такого приема — «упрощенности» — в данном случае определяется тем идейно-политическим заданием, которое ставит перед собой автор, — показать величие будничной борьбы и будничного героизма. Задушевность, теплота и взволнованность чувствуются в самом ритме речи, когда поэт применяет единоначатия и показывает через речь героя тяжелое состояние стройки:

И глядеть, братишки, нельзя
почти.
И дышать, братишки, нельзя
почти.
И что тут делать — не знаю.
Метель лежит на твоём пути.
Метель летит на твоём пути.
Таежная, сквозная...

Отыскивая форму, индентичную содержанию, поэт нередко сбивается в риторичность. Поэт иногда забывает то чувство меры, при нарушении которого всякая благая цель может быть опорочена. Раскрывая образ через язык, ритм, используя приемы разговорной речи в том их плане и в той мере, которые диктуются природой самого образа, поэт иногда сбивается на прозаизм, не отвечающий природе образа.

Замечательным мастером языков соответствий и характеристик образа, соответствующих его природе, был Блок, который в своей поэме «Двенадцать» прибегал к таким ритмам, лексике и приемам анафорической композиции

(единоначатию), которые были адекватны создаваемым образам двенадцати и выражали идею поэмы.

Лирическая ирония и юмор Гусева на этом этапе переросли в качество острой политической сатиры там, где речь идет о врагах революции, и, во-вторых, в дружеское иронизирование автора над героем-другом и в иронический стиль речи самого героя.

Наиболее удачным образом политической сатиры могут быть названы стихи: «Гордый японский посол в Лондоне» и «Письмо московского комсомольца американскому городу Филадельфии». Поэт умело дает остро-сатирический портрет японского посла в Лондоне:

В старой Англии, в доброй Англии
Гордый живет японский посол.
На вид он так-себе —
Птичка-невеличка.
Аршин идет на его сюртучки.
И, как чужие, на желтом личике
Роговые висят очки..

Ироническая характеристика посла, подчеркнутая кажущейся бесстрашностью автора, поднимает стих на уровень острой и разоблачительной политической сатиры, когда поэт как бы мимоходом говорит о событиях, развертывавшихся в Манчжурии в период известной японской авантюры и небезызвестных «гордому японскому послу в Англии».

Вот на Востоке взревела медь.
Кровью окрасилась карты кромка.
И пушки в Китае стали греметь,
Даже по местным условиям
громко.
Японские бомбы без лишних
фраз
Летели, посвистывая, умильно.
И кровь в Манчжурии полилась
Даже по местным условиям
сильно.

Во втором стихотворении тема банкротства капиталистического города, сопоставленная с социалистическим строительством в нашей стране и подчеркнутая обращением к рабочим Филадельфии, как к городу «третьему в Америке по величине», дается в плане иронии,

перерастающей опять-таки в политическую сатиру. Филадельфия —

После Нью-Йорка и Чикаго,
Третья в Америке по величине.
По ее улицам бегали юрки форды
Выли сирены в вечернем огне.
Катались банкиры довольно гордые,
Третьи в Америке по величине.
Лакеи скользили — верх старанья,
Дамы купали губы в вине.
Гревели оркестры в твоих ресторанах,
Третьи в Америке по величине.

Характеристику кризиса, противопоставляемого строительству социализма в СССР, автор заключает концовкой, в которой предугадывает судьбу «третьего по величине города в Америке»:

А я вот сижу, и так я думаю
(И кое-кого эта мысль потревожит):
В Филадельфийских трущобах угрюмых
Сейчас коммунисты работают тоже.
Они проходят сквозь годы глухие,
Знамя развертывая свое.
Твое спасение, Филадельфия, —
Московское будущее твое.
Поднимут ребята знамя над городом.
(Не так уж эта минута далека.)
Они, вероятно, встряхнут тебя здорово.
Они, безусловно, встряхнут тебя здорово,
Как полагается большевикам.

Ирония Гусева носит дружеский, лирический, интимный характер, когда он говорит о строителе-друге. Это удачнее всего создается путем иронической стилизации речи.

Шоферы-ударники у Гусева так говорят:

Бьют по столу бензинными руками,
Взмахивают кепочками, довольно
строги,
Начальство ругают последними словами.
Даже допускают, по слухам,
матюги.

Машины, и те проявляли прыть.
Моя вот, галоша, устарела
малость:

Ей по тонне полагается возить,
Она по две брала и не ломалась.
Думаешь, легкое шоферское дело?
Да после такого ночного труда
Черное кажется зеленым, белым
И даже с крапинками иногда.

Более или менее скрытая ироническая стилизация речи героя переплетается с формой открытой иронической и юмористической характеристики или аллегорических определений.

Они часто выступают в качестве введения к теме. Так, например, стихотворение «Герои едут в колхоз» открывается аллегорической строчкой: «Гуляет на полках задумчивый храп».

Характеристика оттеняет также смешное несоответствие между новой радостной жизнью и трафаретами языка, с помощью которых объясняется человек. Так, например, имея в виду неисправность двери, автор говорит о «выправлении» ее, о «переброске», нарочито перенося из другой области общеупотребительные термины «выправлять», «перебрасывать» и т. д.

Квартира прекрасна. —
Каждый проверь.
В такой бы две жизни прожить.
Ванна, радио, газ, но дверь
Не каждый сумеет открыть,
Ее или снять, или выправить надо.
Или перебросить...

Стихи Гусева, написанные им в результате поездки в Узбекистан, еще сохраняют следы прежних недостатков, отмеченных при анализе «Гения». Но в них, безусловно, меньше абстракций и схемы. В них Гусев видит наполненный звуками и многообразием цветов мир. В этих стихах он без боязни дает простор тому голосу эмоций, который он раньше как бы придерживал. Был такой период, когда поэт как бы не был уверен в том, всегда ли его стихи зазвучат в унисон с его крепнувшим мировоззрением. А вдруг они сфальшивят. Сейчас, по нашему мнению, Гусев вступил в такой период развития, который характеризуется единством «рацио и интуицию».

Самаркандские стихи Гусева заслуживают особого внимания потому, что в них идейная четкость и политическая заостренность выражаются с большой поэтической силой и убедительной простотой.

Начало вступления к поэме не лишено даже переигрывания на комическом, но совсем уместном там, где «через дождь и через стужу, через смутный облик сна», перед читателем должна быть раскрыта (как обещает это в первых строчках сам поэт) чудесная самаркандская весна. Вы только приготовились впитать

в себя аромат ее цветения, как Гусев, не выполнив обещания, данного в экспозиции, дает неуместный шуточный ход тому, что так хорошо и в ином плане было начато:

Снег в мгновенье ока тает,
Почки трещины дают,
И природа расцветает
В пять и менее минут.

Этот стиль комического переигрывания в данном случае неудачен. Он находится в дисгармонии с изображением наступающей самаркандской весны.

В рассказе «Дружба» (в этой же поэме) поэт сам ощущает несовместимость шутовского смеха с серьезным и восторженным построением ее замысла. Поэт понимает, что величественная неповторимость рассказа командира о героических днях и легендарных подвигах павших героев требует иных выразительных средств.

Я вам расскажу, как умирает дружба,
Как она не хочет умирать.

Выйди в сад, покрытый белой пеной.
Девушка, слезу свою утри.
Мчались мы — узбеки и туркмены,
Мчались мы — нас было 23.

Ночью, в смутном облаке расцвета,
Пал с коня товарищ Рузумбетов...

Но в последнее свое мгновенье
«Я прошу, — он громко произнес, —
Кланяться лучу, что утром брызнет,
Кланяться друзьям, с которыми знаком.
И воздвигнуть над моею жизнью,
Над моею молодостью холм.

Вы меня заройте у колодца.
Пусть рассеется сомнений дым,
Пусть колодец этот назовется.
Незаметным именем моим».

Друзья сделали то, о чем просил их умирающий товарищ.

Вскоре пали еще 17. И из 23 осталось только 5.

В боях падали товарищи, но грозно
Бились мы у дорогих могил.

Лучше, чем по самым точным
звездам,

По их дружбе я дорогу находил.
И, разбив врага страны Советов,
Холм завидев, я кричал всегда:
«Шашки вон, ребята. Рузумбетов.
Значит близко отдых и вода...

В приведенном стихотворении имеют-ся малохудожественные моменты — риторика, прозаизм и длинноты. Но в целом узбекские стихи и в особенности «Рассказ о дружбе» проникнуты глубоким чувством неподдельного вдохновения.

В «Рассказе о дружбе» в основном намечается необходимое единство содержания и формы, которое положительно выделяет эти стихи на фоне всего написанного поэтом. Нам кажется, что и в дальнейшей своей работе Гусев должен исходить из принципа освобождения

своего творчества от моментов абстракций, прозаизмов, риторики, длиннот и т. п. излишеств и пойти по пути развития и углубления того подлинного художественного вкуса, которым отмечены его интересные в поэтическом отношении узбекские стихи. Не лишним является напомнить критикам Гусева, что значительный рост его поэтического умения не только совпадает с работой поэта в «Правде», но в значительной мере обуславливается его боевой правдистской практикой.

2. В ДЖУНГЛЯХ СЕМЬИ

А. Мингулина

1.

Честь семьи, — честь знатного рода, превозносимая дворянством в былые времена превыше интересов отдельной личности, честь, которой служили в полном облачении аристократического гонора, — давно уже канула в вечность. Канула в вечность и мещанская добропорядочность патриархальной буржуазии, утверждавшей каноны своей морали в семейной драме и семейном романе.

Собственно, буржуазный брак всегда является более или менее замаскированной торгашеской сделкой. Мировая художественная литература на протяжении десятилетий демонстрировала эти отношения, воплощая их в таких неумирающих образах, как авантюристка Ребекка Шарп (Теккерей, «Ярмарка тщеславия»), хищница м-ме Мариёф (Бальзак, «Кузина Бетта») и в противоположных им типах — «жертв Гименея» — мадам де-Реналь (Стендаль, «Красное и черное») Жанны де-Ламар (Мопассан, «Жизнь»)...

Сколько великих книг мировых художников слова посвящено трагической проблеме «незаконной» любви и жалкому унижительному адюльтеру! Подлинное ли чувство, денежные ли расчеты, собственнический ли инстинкт, душевное ли потрясение человека, изгнанного из общества и лишённого права на своих

детей, или же все это вместе неизменно порождало и порождает в буржуазном мире катастрофы, преступления, убийства и самоубийства.

В 1912 г. В. Воровский в статье «В кругу и вне круга» писал: «Современные отношения между полами стали непрочны, неустойчивы. Там, где побочные соображения не вынуждают супругов жить вместе... — там старый, «пожизненный» брак наших праотцев давно стал легендой. А там, где в угоду обветшалым кумирам люди насильно связывают друг друга, там за внешним благополучием таятся глубокие трагедии, разбитые иллюзии, тоска и неудовлетворенность, или же озлобленность, скрытая вражда, измена и самый пошлый, самый шаблонный адюльтер». Этим своим наблюдениям Воровский находил подтверждение в предреволюционной русской литературе. В полной мере относятся его слова и к современной действительности капиталистических стран.

Вместе с тем постоянные противоречия между индивидом и обществом в капиталистическом мире, закон конкуренции, — каждый строит свою жизнь за свой страх и риск, каждый сам за себя и против всех, — необходимость противостоять внешним силам и защищать интересы семьи, единой ячейки, порождали внутрисемейную спайку. Еще в

«Верноподданном» Генриха Манна (написанном накануне войны) семья фабриканта Гесслинга, созданная на совершенно торгашеской основе, демонстрирует такую традиционную спайку.

Г. Манн в бичующе гротескном тоне запечатлел образ «сильного человека», деспота и самодура в семье, бешеного националиста Гесслинга, подражавшего в распорядке своего дома правилам жизни «самого кайзера».

Г. Манн не оставляет никаких иллюзий о возможности чистых и честных отношений в буржуазной семье. Эта книга поражает читателя не только своей политической остротой, — Манн с прозорливостью большого художника раскрыл в ней истоки развития фашизма в послевоенной Германии, — но и саркастическим разоблачением моральных устоев «порядочного» немецкого общества. Развращенность женщин из мещанских слоев, безответственность мужчин, крах подлинной любви, торжество чистогана в интимных отношениях, словом, все то, что расцвело пышным цветом и сбросило устаревшую драпировку внешнего благополучия в послевоенной Европе.

«Современное общество, — писал Энгельс, — представляет собой массу, молекулами которой являются индивидуальные семьи». Устойчивость семейных отношений является барометром устойчивости буржуазного общества. В эпоху полнокровного расцвета капитализма буржуа, предприниматель и мелкий лавочник, убежденные в вечности и нерушимости существующего правопорядка, видели в детях не только наследников, но и продолжателей дел своих. Каждый из них стремился сделать своего сына верным помощником и будущим хозяином приумноженных богатств.

Таковы еще взаимоотношения отца и сына Гесслингов в романе Г. Манна «Верноподданный».

Но в наши дни наследники, продолжатели отцовских дел, выродились в прожигателей, истребителей унаследованных богатств. «Чувство вечности» утрачено буржуа, отцом и сыном. Война, революция и кризис превратили капита-

листический мир в «пловучий остров». Экономическая, политическая и этическая устойчивость стала иллюзией.

Такие образы, как ростовщик Гобсек и купец Гранде у Бальзака, гениально воплощают всю античеловечность капиталистического «творчества»: накопительство ради накопительства, мания обогащения, идиотическое поклонение золотому тельцу...

II

Они живы, Гобсеки и Гранде, в странах капитала. Только недавно в газетах проскользнуло сообщение о голодной смерти американского миллиардера Эндрюса, раскочовавшего в день 15 центов и умершего от истощения. Именно так и старый адвокат — герой «Клубка змей» Мориака.

Этот роман отражает послевоенный этап в «развитии» буржуазной семьи. Постоянная угроза краха, банкротства, усугубляемая семейными конфликтами, порождает бешеную ненависть между родителями и детьми.

Старый и больной адвокат крепко держит в руках миллионы, которые не сегодня — завтра должны стать «наследством». Он знает, что «не успеет еще и остыть как следует», как дети бросятся искать завещание в ящике письменного стола... Сейф будет пуст. Жена в ужасе бросится в банк. «Ценные бумаги там, целы». «Этот возглас твой, еще из передней, как только вернешься из банка, я будто сам его слышу. Да, ты закричишь детям сквозь траурный крик: «Ценные бумаги там, целы».

Мориак как большой художник не скрывает правды, его факты вопиющи и неопровержимы. Буржуазная семья — это клубок змей. Художник знает все предательские ухватки и лживые приемы враждующих сторон, — все человеческие чувства, любовь, нежность, забота и внимание превращены в лицемерную маску, прикрывающую нетерпеливое ожидание детьми смерти отца... Они жаждут наследства. Любовью к собственности пылают их сердца.

Сжигаемый ненавистью адвокат пишет исповедь-дневник для своей жены:

после его смерти она должна заглянуть в душу человека, с которым прожила, как чужая, бок о бок почти полвека. Сорок пять лет таит адвокат мечту о месте своей семье! Он горит злобой. Желание лишить детей и жену наследства — самая высокая нота ненависти, которая звучит в этой книге и находит выход в преступлении, в смерти.

Умением страдать, умением заглянуть в тайники своей души и не испугаться царящего там ада, — этим в полной мере награждает Мориак образы сильных своих героев для того, чтобы возвеличить, поднять их над окружающей средой. Таков старый адвокат, такова Тереза Декейру («Тереза Декейру»), отравившая своего мужа из отвращения к его самодовольству и спеси собственника.

«Клубок змей» — одна из наиболее противоречивых книг буржуазных писателей, ставших известными нам в последние годы. Беспощадная правда, умение видеть подлинную природу характеров и их взаимоотношений переплетается в ней с мистикой, с «чистым» христианством.

Реакционность мысли Мориака заставляет его возводить человека на голгофу страдания для того, чтобы открыть перед его измученным взором «истинного» бога. Внезапное «обращение» адвоката вызвано сильным потрясением — смертью жены. Старик был убежден, что она переживет его... Потерян смысл исповеди - дневника... Весь грех его семьи — алчность собственников — первоуродный грех капитализма (раскрытый Мориаком с такой силой типического обобщения, что стены одного дома, в которых замыкается действие, кажутся прозрачными, как стекло, и мы видим за ними тысячи подобных жизней) — адвокат взвалил на свои плечи, «поздно проревшего христианина».

«Даже в состоянии благодати, — пишет Мориак в своем дневнике, — мои творения рождаются из недр моей духовной смятенности, они воплощение того, что существует во мне помимо меня».

Эти слова Мориака приводит Андре Жид в своих дневниках и спрашивает: «Но что толку в его смятенности! Наступит время, и она покажется ему такой же тщетной, химерической и чудовищной, какой она кажется сейчас мне. Привычка жить вниз головой заставляет его (Мориака) все видеть шиворот-навыворот». Так судит о Мориаке Андре Жид, хорошо знающий цену христианского идеала.

III

Если «Клубок змей» Франсуа Мориака — страшная исповедь «культурного» французского рантье, то «Смерть героя» Ричарда Ольдингтона — вопль английского интеллигента-космополита против национального высокомерия, попсового ханжества, лицемерности и умственной ограниченности английского буржуа.

Эти буржуа не могли не узнать себя в семейных портретах Винтербуорнов и Хардли, не могли не содрогнуться перед натиском бешеной злобы и ожесточения, которыми дышат страницы этой книги.

Ольдингтон ненавидит «добрую старую Англию» викторианских времен, воспитавшую дедов и отцов военного поколения, внушивших детям покорность и безволие, которые погнало их, как стадо, на фронт. Ольдингтон предает анафеме все, во что верит и чему служит воинствующий капитализм, он издевается над интересами нации и империи, он восклицает: «Чудная старая Англия! Да поразит тебя сифилис, старая сука! Ты из нас сделала мясо для червей!»

Если бы не опыт войны, Ольдингтон, пожалуй, не увидел бы так обнаженно Англию, «духовно поребенную под необъятными туманными покровами лицемерия, благоденствия, дешевки».

Ольдингтон открыл все окна и двери «респектабельных» домов и показал со смелостью хирурга, чем дышит, как живет великобританский мещанин. Гротескны облики родителей Винтербуора и его жены Элизабет Хардли, и вместе с тем они типичны во всех деталях — эти образы тупых консерваторов, живу-

щих в гипнозе вековых традиций, сложившихся в эпоху былого могущества «первой державы мира».

Крепкая семья, улагодворенная регулярным доходом и сытым обедом, — прочная опора капитализма — рушится. Фальшивая солидность традиций служит прикрытием органического распада семейных связей, вынужденной совместной жизни людей, ненавидящих друг друга.

Не только Ольдингтон, которого война научила называть вещи своими именами, посвящает этой теме свое яркое и своеобразное творчество. Такой солидный писатель английской буржуазии, как Голсуорси, вводит нас в психологический ад «счастливой» семьи довоенной Англии («Собственник», «Темный цветок»). В посмертном своем романе «Через Реку» он создал образ оскудевающей Англии. Извращенные страсти проникают в семью. Престиж английского дома разрушен, скандал вынесен на улицу, начат судебный процесс Корвэном против жены Клэр. Несуществующая измена Клэр считается доказанной только потому, что внешняя обстановка свидетельствует о том, что адюльтер мог быть совершен...

Ольдингтон как реалист отображает объективную обстановку и характеры своих героев, но он упорно ищет объяснения непримиримой и глухой розни между мужчиной и женщиной в биологических законах, в биологическом антагонизме полов.

Он пишет: «Как странны города с их сложной системой окопов, непрекращающимися военными действиями, тайнами, но не менее смертоносными, чем открытая война армий. Мы живем в окопах, а плоская облицовка домов служит бруствером и насыпью. Война идет за облицованными стенами, жены воюют с мужьями, дети с родителями»... И герой его книги, Джордж Винтербуорн, ищет единого ответа в мире биологического на мучительные вопросы о причинах войны, общественных противоречий и злобных отношений между мужчиной и женщи-

ной. Как истый индивидуалист, он верит в то, что гармония, достигнутая в личной жизни, приведет к гармоническому обществу.

Этот наивный идеализм порождает у Винтербуорна жажду новых отношений с женщиной, свободных, благородных, основанных на полном взаимном доверии и уважении. Ольдингтон симпатизирует этим идеям, но, более трезвый, чем Винтербуорн, он видит реальное их воплощение в близости с адептками «сексуальной свободы» — Элизабет и ее подругой Фанни.

Все женские образы в романе Ольдингтона гротескны, хотя он и уверяет, что Элизабет и Фанни не гротеск. Это они «проявили ту несколько грубоватую активность военных и послевоенных самок... Они удивительно свободно чувствовали себя на Сионе пола, разбываясь в запретах, символике сновидений, комплексах, садизме, травмах, мазохизме, лесбийской любви, содомии и т. д.».

Об этих женщинах Ольдингтон говорит без тени уважения.

Мечтая о чистой женской душе и о мужском благородстве, он смотрит прямо в глаза действительности и видит уродливую гримасу, искажившую лик буржуазного общества в годы войны. Но писатель не только не задумывается над тем, что мечты его героя могут воплотиться в жизнь лишь в пролетарском обществе, он не знает даже подлинного виновника трагической судьбы и гибели художника Винтербуорна.

Острая мысль Ольдингтона пошла по пути, начертанному идеалистическими умами, он не проник в историческую правду. Он понял, что «война создала такой необычайный кризис, что совершенно подорвала материальные и моральные силы народов, нанесла такой удар всей современной общественной организации...» (Ленин), но он не понял что «человечество оказалось перед выбором или погибнуть, или же идти к социализму» (Ленин). Этого он не осознал, хотя и сочувствовал «молодой русской революции».

Всю силу своей ненависти Ольдингтон направил на тыл, трусливый и подлый, тыл, притаившийся за спиной миллион-

ных армий, натравленных друг на друга народов. Самые подлые в тылу, по мнению Ольдингтона, — это люди, близкие тем, кто погибает на фронте: мать, жена, приятельница.

Телеграмма о смерти Джорджа для его матери «чуть ли не приятное развлечение, ибо скучновато было за городом накануне перемирия. Она сидела у камина, скучая в обществе двадцать второго любовника»...

Элизабет и Фанни (жена и любовница Джорджа) к его смерти отнеслись почти так же, как мать, они пролили несколько слезинок в обществе очередных любовников и — все, если не считать последующего скандала между Элизабет и матерью Джорджа за оставленное им «наследство».

Ольдингтон так неуклонно и серьезно возвращается к сексуальному толкованию всех явлений общественной жизни, что сатирическое издевательство над бездушными самками и самцами, подчиняющимися лишь зову полового инстинкта, переходит границы сатиры и становится определенной системой взглядов. Он вполне убежден в том, что империалистические войны являются результатом перенаселения стран, что благополучие народов зависит от мудрого решения «проблемы деторождения».

Многодетным Винтербуорнам и Хардли Ольдингтон противопоставляет молодое поколение, Джорджа и Элизабет, которые заранее твердо договорились — никаких детей! Он готов их объявить национальными героями.

Невозвратно прошли для Англии те времена, когда Диккенс так убежденно, горячо и едко выступал против Мальтуса. Теперь Ольдингтон расширяет сферу влияния мальтузианства — он пропагандирует его для буржуазии и интеллигенции.

Его «идея» усовершенствованного контроля над деторождаемостью должна «обеспечить», во-первых, прекращение международных войн и конкуренции, и, во-вторых, уничтожить насильственное законное сожительство, восстановить право человека на «полноценную» чувственную любовь, о которой в

ханжеской Англии ни говорить, ни писать не разрешается.

Ольдингтон демонстративно высказывает свои симпатии к непризнанным английским мещанством Байрону, Гарди, Уайльду, Лауренсу, Бодлеру и издевается над пуританством Шоу и Уэллса.

Итак, Ольдингтон, в конце концов, перевозносит честную и подлинную любовь. Вот, собственно, единственная положительная идея его романа. Весь ураганный огонь своей ненависти к ограниченному, лицемерному и затхлому буржуазному обществу Англии он, по существу, тратит только ради защиты этой идеи, которая неожиданно получает звучание противоположных и враждебных ей идей.

Решительно осуждая грубейший разврат, прикрываемый торгашеским браком или, наоборот, шествующий под знаменем «сексуальной свободы», отрицающей семью и постоянство любви, Ольдингтон, по сути дела, утверждает ту же анархистскую свободу половой жизни, что проповедуют Элизабет и Фанни, но только он требует непременно «честности, порядочности, искренности»... Все эти качества необходимы, очевидно, для того, чтобы «идеальный союз» остался бездетным. Призывая женщину к отказу от материнства, он прививает и ей, и мужчине безответственность и неразборчивость в интимных отношениях. Кому нужна семья? — спрашивает он, — кому нужен законный брак, если нельзя иметь детей?

Ольдингтон счел бы для себя позорным счастьем духовным родством со старшим поколением Винтербуорнов и Хардли, — он ведь проклинает и отвергает решительно все, чему поклоняются эти кастраты мысли, и ему невдомек, что опрокидывать заплесневелые традиции буржуазии и не отвергать полностью социально-экономического строя, порождающего их, — это бунт на колених. Бунт этот никого серьезно не испугает, а только даст в руки Элизабет и Фанни «теорию», которой они прикроют свою моральную нечистоплотность, душевную опустошенность, ненавистные Ольдингтону. Да и самая идея реабилитации чувственной любви порождена не

мечтой о былой гармонии муже-женских отношений в античном мире, к которой настойчиво возвращается в своих мыслях Винтербуорн, а самыми прозаическими и сегодняшними, непримиримыми, тяжелейшими противоречиями послевоенного капитализма. Как можно верить в гармоническое развитие человека и видеть в детях бич человечества?

«Как листья, как листья, — говорит поэт, — зарождаются, расцветают и гибнут поколения человеческие. Нет, как крысы на кренящемся корабле — Земле, которая летит сквозь рой светил к неизбежной гибели. И, как крысы, мы размножаемся, как крысы, деремся из-за жирной добычи и, как крысы, сражаемся и убиваем себе подобных» — утверждает Ольдингтон.

Вдохновленный теоретиками типа Фрейда, он ищет выхода с «кренящегося корабля» в решении сексуальных проблем, в абстрактном умствования, в то время как ему следовало бы приглядеться к тому, как решает пролетариат «проклятые вопросы».

IV

«Смерть героя» в своем стилизованном звучании, в оценке явлений и людей имеет нечто безусловно общее с романом Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи». Этих писателей сближает ненависть и циническое презрение к буржуазному миру, ненависть интеллигентов, выбитых из колеи войной, обманутых неблагодарной «родиной», одиноких и озлобленных. С душой, расстрелянной отечественными снарядами, вернулись они домой.

Надо было сказать правду о том, как чувствовал себя не захваченный шовинистическим шквалом интеллигент — подневольный человек на поле брани — и как «ласково» приняла родина уцелевших своих защитников, как оплакали буржуа своих сынов, погибших на фронтах.

Но Ольдингтон написал «Смерть героя» как искупление, он и себя считает виновным в войне, этой «проклятой, нелепой катастрофе и пытке». Может быть, если бы смерть друга потрясла

его семью и была горячо оплакана любимыми им женщинами, моралиста Ольдингтона не так бы терзали воспоминания.

Селин гонит все эти чувства и мысли от себя так же, как и его герой Бардаму. Бардаму проклял войну, которая заставила его узнать животный страх за собственную шкуру и потерять человеческое достоинство в поисках спасения своей жизни. Все эти унижения так исковеркали его душу, что он чуть ли не больше смерти стал бояться глубоких чувств — любви и привязанности к человеку.

Срывая со своих чувств романтическую нежность, Бардаму почти лобуетсь собственным бездушием и умением спокойно реагировать на смерть друга.

Ольдингтон хотел бы увести человека от порокового общества в интимный мир глубокой и преданной любви. Селин в неприкрытом цинизме видит свою философию; какова жизнь — таков и он. Селин может поверить только в искренность чувств проститутки, женщины, познавшей до конца — так же, как и он, — жестокость судьбы.

Герой Селина одинок, он не имеет никаких связей в «порядочном обществе», он и родную мать — единственного близкого человека — называет сукой из «благодарности» за то, что она его на свет «народила».

У Ольдингтона есть свои общественные воззрения, пусть неверные, насквозь идеалистические, но они есть, и он борется за них в своих книгах. Опыт должен показать ему их несостоятельность. У Селина же ничего, кроме ненависти, нет. И он меньше всего приспособлен к сопротивлению, к защите даже своих небольших личных интересов. Известно, что в анкете одного журнала о фашистской опасности Селин писал: «Диктатура? Почему бы нет? Хорошо было бы поглядеть... Защита от фашизма? Вы шутите, барышня. Вы не были на войне... Когда военный берет в свои руки командование, мадемуазель, сопротивление не может быть. Динозавру не сопротивляются, мадемуазель. Он подыхает сам собой, и мы вместе с ним в его брюхе, мадемуазель, в его брюхе».

Какой цинизм, какая безнадежность и какая ограниченность мысли! Такова судьба «аполитизма».

Их миллионы — за рубежом — этих надломленных войной и кризисом, разобщенных, одиноких людей, «принципальных индивидуалистов», неудачных ловцов «своего счастья». Борьба за существование с каждым днем становится все труднее и ожесточенней. Многие из них — даже Бардаму в тайниках своей души — хотели бы найти отдых и успокоение в личной жизни. Но эта мечта — мираж. В дни острейших социальных конфликтов не существует «внутренней» изолированности от политической жизни честного одиночки-интеллекта.

V

Но, может быть, так безрадостна личная жизнь только у Бардаму, пасынка судьбы, и у Винтербуорна, представителя беспочвенной богемы? Ведь есть же в буржуазных кругах люди более здоровые психически и морально, более устойчивые и независимые материально? Ведь не все же такие чудовища окупости, как адвокат Мориака, или «гении» лицемерия, ханжества и разврата, как родители Джорджа Винтербуорна?

У кого из западных писателей встретим мы женский образ, близкий Аннет из «Очарованной души» Ромэн Роллана?

Вот совсем недавно Гослитиздат выпустил книгу нового для нас норвежского писателя Сигурда Хуля — «Октябрьский день». Может быть, соотечественник Ибсена посвятил свою книгу новой женщине? Повесть эта действительно посвящена проблеме семьи, но, к сожалению, в ее решении автор отнюдь не приблизился к уровню передовых идей нашего времени.

Сигурд Хуль выдвигает новую точку зрения специально в отношении семейной жизни ученого. Сигурд Хуль утверждает, что семейная жизнь ученого представляет совершенно особую проблему, выходящую из ряда личных отношений всех других кругов буржуазного общества.

Но представим слово его герою — химику, доктору Равну.

«Может показаться манией величия, — пишет он в своей исповеди, — но я знаю, что это не так, — когда я говорю, что ученый является самым значительным фактором в современном обществе». «Ученый, — раз'ясняет он дальше, — в сущности говоря, сверхчеловек нового времени».

Гамсуновского Ивара Карено («У врат царства») Плеханов назвал родным сыном доктора Штокмана, воспринявшим его идею борьбы против власти «большинства».

Но д-р Штокман (Ибсен, «Враг народа») практически брал «большинство» не в классовом делении. Теоретически он защищал меньшинство «умных» против большинства «глупых». Ивар Карено мыслит гораздо более конкретно и совсем уж не так гуманно, как старый доктор.

Кандидат философии — бедняк-ученый, — зараженный буржуазными предрассудками, измученный постоянной материальной нуждой, Карено жаждет прихода «квинт-эссенции человека», «Цезаря», который должен разрешить все противоречия мира и раньше всего «ликвидировать» рабочий класс. Но если Карено не знал, с какой стороны ждать появления «великой личности», то доктор Равн уже решил и этот вопрос.

«У врат царства» Гамсун написал в 1895 г. Сигурд Хуль относит события «Октябрьского дня» к 1930 г. В эти тридцать пять лет вырос внук доктора Штокмана, кровный сын Ивара Карено — Арвид Равн. Он «уточнил» взгляды своего «отца» до такой степени, что приобщил к сонму «великих личностей» — исключительно естествоиспытателей, «еще вернее — только химиков» — он отказал даже кандидату философии в звании ученого, так как философия, история и т. д. — это не наука, а лишь «злоупотребление термином».

Равн не просто, «так себе» выдумал, что «настоящая» наука это только химия.

Единственная отрасль капиталистической промышленности — промышленность, обслуживающая потребности подготавливающейся войны, — работает на

полном ходу. Важнейшее место в ней занимает химия, которая будет играть решающую роль в грядущей войне.

Химик Равн, — подданный страны, не участвовавшей в империалистической войне 1914 — 18 гг., — ловко «учитывает конъюнктуру» и создает свою «теорию» — некую вариацию «норвежского уэллсизма».

Он компетентно заявляет:

«Политические и социальные распри, классовая борьба... в пределах относительно короткого времени наука сделает излишними и их... На каждого отдельного ученого ложится полная, безраздельная ответственность за тот путь, который примет в это время мировое развитие».

Прикрываясь пацифистскими ужимками, «гуманист» Равн как бы невзначай приоткрывает свои карты: «Наука, — пишет он, — по природе своей является наиболее ярко выраженной представительницей созидających влечений и способностей в человеке. Но она не может помешать тому, чтобы во время своей созидательной работы — нечто вроде побочного действия — давать оружие в руки сил... которые прибегают к науке для создания войны» (подчеркнуто мной. — А. М.). Сказано не двусмысленно.

Какой чудовищный человек в колбе! Как он прямолинейно и бесчувственно подчиняется экономическому нажиму, как охотно приспособливает себя к сто процентному обслуживанию интересов империализма. Этот «уэллсист» доводит свою теорию до окончательного абсурда, утверждая на ее основе безбрачие для «важнейшего фактора нашей действительности» — ученых. Равн становится женоненавистником: «Женщина крадет у ученого время». Он «питает убеждение, что в наше время брак является проклятием для человека, живущего умственным трудом». Он оговаривается, что вообще-то не отрицает брак как народный институт, но времена нынче такие, что «эпохиальные задачи заставляют ученых обречь себя на аскетизм».

Но какой жалкий мещанский расчет скрывается за этими громкими фраза-

ми, какая бездушность! Образ Равна вызывает какую-то неотступную ассоциацию у читателя, — на его «сверхчеловеческой» фигуре вдруг проступает голова сологубовского «мелкого беса».

Равн женился (у кого же бывает ошибок молодости?) и «жить стало туговато». Равн не любит лишних расходов и приходит к выводу: «Современная прикладная наука изнала большую часть домашней, т. е. женской, работы из домашнего обихода. Таким образом, эта работа в действительности взята на себя мужчиной, который должен раздобывать деньги для всех покупок...»

Жена просто-напросто «устарела», — техника вытеснила ее из кухни, и она увольняется за ненадобностью. Этот откровенный цинизм Равна разворачивается со всей пышностью в дальнейших рассуждениях:

«Ученые могут сделать отмеренные им годы во много раз плодотворней, сосредотачиваясь на том, что является их задачей. Не позволять женщине мешать работе... Не рожать детей одного за другим — это могут столь же хорошо делать портные и сапожники»...

Когда читаешь «Октябрьский день», невольно в голову приходит мысль: уже не пародия ли фру Равн на ибсеновскую Нору? Уж не вздумал ли С. Хуль «отомстить» Норе за то, что она не оценила положительных качеств своего первого мужа, не поэтому ли он выдал ее замуж за маниака химика Равна, который насильно выжил ее из дому?..

Что может делать фру Равн — эта норвежская Душенька, тень своего мужа, если любимый ею человек отказывается от уюта, семейного очага и детей? Что же делать ей, с детства приученной к мысли быть верной и преданной женой человека, который создаст для нее «свой дом»? Такой талант жены не так уж часто встречается в наше время у женщин круга фру Равн. Но ее талант не нашел поклонников, и она, оставив стезю добродетели, вступила на торную дорожку «сексуальной свободы», чтобы в конце концов покончить самоубийством.

Равн отказывается от права на семью, на личную жизнь, на детей не с болез-

ненным цинизмом человека, потерявшего веру в возможность личного устройства в буржуазном обществе. Цинизм Равна — это цинизм «здорового смысла», цинизм преданного слуги, готового приспособиться к любым условиям существования, лишь бы принести «пользу» погибающему капитализму. Душевная ежухолощенность Равна, сдержанного и корректного, во много раз омерзительнее грубости и истеричности Бардаму, хотя и очень возможно, что это люди одного пути.

Равн — апологет капитализма — нашел стрелочника: виновна женщина! Он не может не понять, что читатель все-таки вспомнит о капитализме, и спешит «смягчить обстоятельства», спешит «истерически» оправдать режим:

«Нельзя сказать, чтобы женщина была в этом виновна, — не в большей степени, чем капиталист виновен в том, что он капиталист, живет в такое время, когда его класс, быть может, вызовет последнюю войну — гибель человечества».

Химик Равн не был на войне, его сознание не подвергалось пытке, которую претерпели Джордж Винтербуорн и Бардаму. Сигурд Хуль противопоставляет его в своей книге неустойчивым, истеричным интеллигентам, хлюпикам, всегда жалующимся и недовольным жизнью. И студент Мун, и бывший коммунист Эллесен, и журналист Маллинг — эпигоны гамсуновских персонажей, жертвы своих неудовлетворенных страстей. По концепции Сигурда Хуля получается, что им в жизни ничего не дано, потому что они люди не той специальности и у них нет силы воли выдержать борьбу с женщиной. Нет им счастья в жизни — они рабы своих ненавистных жен и недостижимых любовниц.

VI

Итак, все против семьи, против детей, — каждый по-своему, но все против: и Морнак, и Ольдингтон, и Селин, и Сигурд Хуль. С такими настроениями мы можем встретиться еще в ряде книг, переведенных у нас в последние годы; назовем хотя бы «Старую Фран-

цию» Роже Мартэн дю Гара, «Город Анатолий» Б. Келлермана, не говоря уже о таких упадочных и сенсационных вещах, как «Фабиан» Э. Кестнера. На этом мрачном и безрадостном фоне с особой рельефной живостью вырастают даже такие фигуры «маленьких людей», как приказчик Иоганнес Пиннеберг, жена его Лемхен и крошечный Муркель, которого с такой любовью ждала и встретила молодая пара, очень трезво видевшая, как «трудно в наше время иметь ребенка».

Герои романа Г. Фаллады «Что же дальше» — это тоже «рожденные в 1902 г.», это младшие братья военного поколения, они выросли в Германии разоренной, приниженой поражением и репарациями.

Накануне фашистского переворота Пиннеберги представляли средю, чутко прислушивавшуюся к демагогическим обещаниям национал-социалистов прекратить безработицу и создать «устойчивую» жизнь германскому народу. Когда Фаллада писал свою книгу (1932 г.), Пиннеберг мог еще надеяться, что наци возвратят ему «довоенный рай». Однако, Фаллада не подвергает Пиннеберга непосредственному влиянию фашистской агитации и не раскрывает его отношения к наци. Своей робкой мыслью он изредка обращается к рабочим, к коммунистам.

Пиннеберг, типичнейший представитель низших слоев мелкой буржуазии, затаил в своей душе идеал честной семьи.

Не случайно Фаллада наделил его матерью-кокооткой, нечистой на руку, махровым цветком, выросшим на почве, удобренной военными спекуляциями. Мораль Пиннеберга закалялась в борьбе с развращающим влиянием этой женщины, презираемой им — кротким малым — бурно и открыто.

В своей семье он должен был реабилитировать запятанную и оскверненную матерью идею брака, любви, чистых отношений.

И, действительно, Фаллада возложил на его слабые плечи эту «историческую» миссию. Фаллада создал историю любви Пиннеберга и Лемхен почти в

тонах «Песни песней». Он освободил эту любовь от всех внутренних противоречий, он оградил Пиннеберга и Лемхен от семейных дразг, от мелких и крупных ссор, он наделил их идеальными характеристиками и исключительным умением понимать друг друга с полуслова.

И все это — в обстановке, чрезвычайно далекой от материального благополучия. А ведь в тех домах, которые нам показали Мориак, Ольдингтон и С. Хуль, казалось бы, гораздо больше данных — и материальных, и культурных — для человеческих отношений. Но мы видели, какой царит там ад...

Какая же идея руководила Г. Фалладой? Вряд ли он хотел вступить в литературную полемику с писателями других капиталистических стран, разоблачающими распад семьи.

Не будем заниматься вопросом, какими соображениями руководствовался субъективно Фаллада, но внимательно присмотримся, содержит ли в себе созданный им образ спаянной любовью семьи, революционизирующую силу, или же это сказка в духе диккенсовского «Сверчка на печи», написанная Фалладой с целью спасения своих героев от озлобления и человеконенавистничества, рождаемых «несправедливостью жизни».

Даже недалекovidный Пиннеберг предчувствует неизбежность печального конца. Слишком уж тяжело дышать в стране, на улицы которой выброшены миллионы голодных людей и особенно тяжело таким разобщенным, маленьким человечкам, как Пиннеберг...

Пиннеберга гнетет это сознание обреченности, он ни на грош не верит «демократической республике». Он думает о том, что есть коммунисты и есть наци, он чувствует, что надо выбирать, но «все еще никак не мог решиться примкнуть ни к той, ни к другой стороне; ему казалось, что легче всего как-нибудь проскользнуть мимо, но часто это именно оказалось наиболее трудным».

Лемхен культивирует в нем политическую беспомощность. Замкнутость и ограниченность интересов Пиннеберга и Лемхен превращают их любовь в некую «биологическую гармонию». Да и вся история их любви получает реак-

ционную звучание, — она не помогает им защищать человеческое свое достоинство, а заставляет искать иллюзорного утешения в объятиях друга друга. Кстати, о человеческом достоинстве... Конечно, Пиннеберги социально здоровее героев Ольдингтона, Мориака, Селина и Сигурда Хуля. Им доступны простые искренние чувства людей, не искушенных самоанализом, не развращенных «домашней философией». Но, может быть, персонажи других, рассмотренных нами книг, тоже носят в тайниках души мечту — химеру о собственном достоинстве, не зная точно, как оно должно выглядеть в послевоенной Европе.

Чувство собственного достоинства у Пиннебергов неразрывно связано с приличной квартиркой, скромным счетом в сберкассе и крахмальным воротничком для мужа... Тогда — ничто не поколеблет моральных устоев маленького честного служащего. Эту истину хорошо усвоила Лемхен, и, может быть, только в конце романа полностью обнаруживается политическая двойственность книги Г. Фаллады.

Семью уже давно содержит Лемхен мелкой поденной работой, «хозяйкой дома» стал безработный Иоганнес.

Наступает как-раз то время, которого Пиннеберг больше всего страшится, — он срывает с шеи обтрепанный воротничок, магический воротничок, таивший в себе веру Пиннеберга в возможность «основа встать на ноги». Теперь уж ничто, кажется, не отделяет его от голодных рабочих, голосовавших за коммунистов... но Фаллада создает такую обстановку, в которой сближение Пиннеберга с коммунистами оказывается невозможным.

Сближение это могло произойти по воле Фаллады только на почве совместной кражи дров. Пиннеберг готов был пойти вместе с рабочими. Но то, что для голодных рабочих «обычное дело», для Пиннеберга — полный крах его нетронутой честности.

Лемхен выступает в роли ангела-хранителя «порядочности» Пиннеберга. Она с жаром говорит: «Другие воруют здесь дрова, чтобы топить. Я, знае-

те, не нахожу в этом ничего дурного, но я сказала мужу, чтобы он не смел этого делать, порядочность он обязан сохранить. Может... он снова станет зарабатывать деньги. И неужели при этом ему всегда вспоминать: вот так-то я поступил, таким-то оказался... дело не в дровах, но в законах... Что это за законы такие, что можно безнаказанно все у нас разбирать и нам из-за дров на три марки садиться за решетку. Над этим я смеюсь, это не позор».

Фаллада мастерски воспроизводит мучительную борьбу за существование семьи безработного мелкого служащего в Берлине, сжатом тисками кризиса. Но в утешение им, обреченным на голод, измученным мышиною грызней между собой за «выработку нормы», за «счастье» быть сокращенным в последнюю очередь, Фаллада творит лишь легенду об идеальной любви...

Созданный писателем образ семьи тем резче подчеркивает ее кризис, что дальнейшая судьба Пиннебергов оказывается под тем мрачным вопросом, который стоит над всем его романом: «Что же дальше?»

В наши дни буржуазии приходится силой экономического и политического нажима насаждать семейное «благополучие». Но тщетны все старания фашистских идеологов с помощью свадебных пособий и сокращений с производства замужних женщин восстановить «семейный рай». Мы видим, с какой болью и ненавистью отображают художники европейской литературы разрыв между «семейным идеалом» и действительностью.

VII

Гниение буржуазной семьи — гниение молекулы того целого, что называется буржуазией. Она распадается, когда буржуазия властвует еще над пролетариатом, она разлагается еще отвратительней, когда пролетарская революция выбрасывает буржуазию с исторической арены. Это «прекрасно» иллюстрирует эмигрантская белогвардейщина, пристроившаяся на задворках капиталистических столиц. Когда прочитываешь книгу зарубежного писателя типа Селина,

Мориака, Ольдингтона или Ремарка, — хочется открыть окно, чтобы изгнать ту атмосферу спертости и обреченности, которой дышат их герои — эти пленники и верноподданные капитализма.

Мы видим, как некоторые из этих пленников задыхаются, принимая конвульсии удушья за дерзкие попытки вырваться на простор, другие собственную смерть превращают в циническое зрелище...

Страшна жизнь исторически обреченного класса и страшны порожденные ею книги.

Критический реализм этих писателей «возник как индивидуальное творчество «лишних людей», которые, будучи неспособны к борьбе за жизнь, не находя себе места в ней и более или менее отчетливо сознавая бесцельность личного бытия, понимали эту бесцельность только как бессмыслие всех явлений социальной жизни и всего исторического процесса». ¹⁾ Но в их книгах много правды, жестокой и смелой, о «лишнем человеке» современного Запада, сознающем «безнадежность своего бытия в тесной железной клетке капитализма» и мстящем обществу злобой и ненавистью «за неудачи жизни своей, за унижительность ее» (М. Горький). Пред ними пути истории не закрыты.

Такова «культура» личных отношений в буржуазном мире, таковы «условия человеческого существования» в «родной» семье. В наше время буржуазия не только «сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и превратила их в дело простого денежного расчета» («Коммунистический манифест»), но она превратила семью в каторгу, в наказание, которого каждый стремится избежать даже ценой собственной смерти.

Прекраснодушный Винтербуорн, измученный войной и «гармонией» тройственного союза с Элизабет и Фанни, в припадке отчаянья встал во весь рост под огонь неприятельского пулемета и погиб накануне перемирия: Бардаму в двадцать лет считал жизнь конченной.

¹⁾ Из речи М. Горького на 1-м съезде писателей.

Ученый Равин превратился в механического человека, в «робота», растоптавшего жизнь собственной жены...

Погибают сами, несут смерть близким эти вольные и невольные «фальшивометчики».

Но чистая жизнь может быть только там, где воздух чист, где горизонт широк, где чистое звучание индивида находит отклик в коллективе, скрепленном великой идеей коммунизма.

3. ЕЩЕ РАЗ О ЖУРНАЛЕ „ИСКУССТВО“

А. Лебедев, Е. Меликадзе, А. Михайлов, П. Сысоев

После появления нашей статьи «О задачах художественной критики и журнале «Искусство» («Новый мир», № 3) некто А. Карский выступил в «Советском искусстве» с громовой статейкой, в которой мы были объявлены «вульгаризаторами», «упрощенцами», «передергивателями», фальсификаторами, оперирующими злостными «недоцитированиями», «истощно вопящими в пользу маленького, «укороченного» искусства», людьми определенной критической «породы», клеветниками, беззастенчивыми чудовищами и т. д., и т. п. Ввиду того, что статейка Карского в основном исчерпывалась подобным «исследованием» наших преступных характеров и ровно ничего из той конкретной критики, которая была дана в нашей статье, по существу, не опровергала, мы считали излишним придавать ей значение, требующее ответа в печати, и решили ждать дальнейших разоблачений наших криминальных наклонностей. Ждать пришлось не очень долго. Ровно через месяц в той же газете «Советское искусство» (от 17 июня) мы прочли письмо в редакцию от редактора журнала «Искусство» О. М. Бескина. В этом письме О. М. Бескин обещает дать на страницах журнала «Искусство» «полное разоблачение дискредитирующих советскую прессу фальсификаций», которыми, по его мнению, полна наша статья. Предварительно же О. Бескин считает необходимым отметить одну из таких фальсификаций, «чудовищную по своему политическому и моральному смыслу». В чем же заключается эта «чудовищная фальсификация»?

Предоставим слово О. М. Бескину. «Художник Гапошкин, автор статьи «К вопросу о социалистическом реализме», обвиняется не больше и не меньше как в меньшевизме, исходя из того, что у т. Гапошкина написано: «Владимир Ильич не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве». На этой основе критики «Нового мира», упрекая т. Гапошкина в том, что он обошел статью Ленина о Толстом, «О партийной организации и партийной литературе» и др., становятся в позу негодования: «Все это Гапошкин упустил, создавая у читателя впечатление, что Ленин действительно не говорил о реализме. В данном отношении Гапошкин повторяет меньшевистские утверждения, стрицавшие ленинский этап в вопросах философии и эстетики». Ясно, т. Гапошкин, журнал «Искусство» и присные его — минимально деборинцы».

Приведя это место, О. Бескин обвиняет нас в нечестности, заключающейся в том, что мы оборвали и тем самым исказили цитату Гапошкина. О. Бескин восстанавливает эту цитату следующим образом: «Лозунг социализма не появился вдруг, неожиданно, как представляют себе некоторые товарищи (...) Владимир Ильич не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве, но тем не менее нетрудно понять, что взгляды его на этот счет несколько не отличались от взглядов Маркса и Энгельса. (Подчеркнуто нами. — Авторы). Письма его к Горькому, беседы с Кларой Цеткин, Луначарским, Бонч-Бруевичем и другими, ряд прямых

высказываний о пролетарской культуре, литературе и искусстве, речи на III съезде комсомола и I всесоюзном съезде по внешкольному образованию и моему непосредственное отношение к интересующему нас вопросу (...). Лучший ученик Ленина, гениальный продолжатель его дела, тов. Сталин, на основе закономерного развития учения Маркса — Энгельса — Ленина, исходя из конкретных условий и возможностей нашей революционной деятельности, выдвинул требование социалистического реализма в искусстве». Приведя эту цитату, О. Бескин заключает: «Передергивать в цитировании чужого изложения ленинско-сталинской концепции, да еще на этой основе обвинять человека в меньшевизме, — это не только литературный криминал, но и политический криминал, требующий особого разбора».

Итак, цепь наших преступлений необычайно возросла; мы оказались со всех сторон окружены криминалами: и моральными, и литературными, и политическими. Недаром О. Бескин выдерживает все свое письмо в повышенно-прокурорском тоне.

Однако, попробуем разобраться во всем этом деле более спокойно, без излишней трагичности и биения в грудь.

В нашей статье мы привели положение Гапошкина, гласившее: «Владимир Ильич не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве». Это положение ни Гапошкин в продолжение своей фразы, ни О. Бескин в своем письме не опровергают. Если Гапошкин вслед за этим говорит, что ряд высказываний Ленина «имеют непосредственное отношение к интересующему нас вопросу», так ведь это нисколько не устраняет его положения о том, что Ленин не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве. Всякому понятно, что основные ленинские работы имеют прямое отношение к ряду важнейших вопросов эстетики: нельзя, например, правильно понять проблему художественного образа вне ленинской теории отражения, изложенной в «Материализме и эмпириокритицизм».

нельзя понять законов художественного познания вне ленинских замечаний на «Логику» Гегеля и т. д.

Спор идет вовсе не об этом, потому-то мы и не приводили все положения т. Гапошкина. Мы привели лишь то положение, которое неправильно, и не видим в том никакого преступления. Ведь если бы цитировать по методу, рекомендуемому Бескиным, то пришлось бы переписывать страницы журнала «Искусство» от начала и до конца из-за боязни «вырвать» цитату. Однако, ни один критик не работал подобным методом.

Положение, приведенное нами из статьи Гапошкина, является законченным положением. Напрасно О. Бескин старается окружить его рядом фраз для того, чтобы затушевать его категоричность. Приемы, которые он при этом применяет, слишком просты, чтобы остаться незамеченными. Так, прежде чем начать фразу: «Владимир Ильич не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве», Бескин берет фразу, отделенную от первой ровно 24 строчками: «Лозунг соцреализма не появился вдруг... и т. д. Действуй мы приемами О. Бескина, мы с большим успехом, нежели он, могли бы обвинить его в передергивании, в «литературной нечестности», в том, что к приведенной нами цитате он почему-то присоединяет фразы, взятые из других мест статьи, и т. д.

Но мы не имеем, признаться, никакого желания пребывать на таком уровне полемики. Нас интересуют более серьезные вопросы.

Первый вопрос заключается в следующем: прав ли (как пытается создать впечатление Бескин) Гапошкин, заявляя, будто Ленин «не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве». (Подчеркнуто нами. — Авторы). Письмо Бескина показывает, что он и сам кое в чем чувствует неправильность подобного утверждения. Это видно хотя бы из того, что Бескин пытается ослабить формулировку Гапошкина и перевести спор в несколько иную плоскость, на первый взгляд, более выгодную и для Гапошкина, и для Бескина.

В своем письме Бескин заявляет: «Так вот, прежде всего к сведению критической четверки: специально о реализме в изобразительном искусстве (подчеркнуто нами. — Авторы.) Ленин в своих трудах (подчеркнуто нами. — Авторы.) действительно не говорил».

И далее идут замечания о честных руках, намекающие, что мы цитируем Гапошкина нечестно.

Так вот, т. Бескин; ежели уж речь зашла о честности, то прежде всего мы хотим обратить внимание читателя на те манипуляции, которые вы проделываете с положениями Гапошкина: он говорит, что Ленин не оставил специальных замечаний о реализме в искусстве, вы же его «подправляете» — в изобразительном искусстве; Гапошкин говорит о наследстве Ленина в целом (т.е. включая и его беседы и т. д.), вы же говорите лишь о трудах Ленина. Всякому понятно, что в обоих случаях речь идет не совсем об одном и том же.

Но так как мы в статье имели дело с формулировкой Гапошкина, а не с той видоизмененной ее редакцией, которая ныне предложена О. Бескиным, то прежде всего и обратимся к выяснению положений Гапошкина.

Верно ли, что Ленин не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве (подчеркиваем: не в изобразительном искусстве, а в искусстве вообще)? Верно ли, что ряд его высказываний только имеет отношение к этому вопросу, но не говорит о нем специально? Это, конечно, неверно. И не случайно Гапошкин не упоминает в приведенной цитате ни статей о Толстом, ни статьи «Партийная организация и партийная литература». А именно в этих статьях ярче всего вскрывается ленинское понимание реализма.

В «Партийной организации и партийной литературе» Ленин, разоблачая лживое искусство (и литературу) буржуазного общества, говорит о создании стесненного связанной с пролетариатом литературы (и искусства). Именно в этой связи искусства с классовой борьбой, с

миллионами трудящихся и видел Ленин основную черту пролетарского реалистического искусства. Не произнося непосредственно самого слова реализм, Владимир Ильич дает здесь исчерпывающую характеристику реализма.

В статьях о Толстом Ленин говорит о «трезвом реализме», как той стороне наследия Толстого, которую берет пролетариат.

В проекте резолюции съезда Пролеткультов Ленин указывает:

«В Советской Рабоче-Крестьянской Республике вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т.е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком». (Ленин, 3-е изд., т. XXV, стр. 409).

Будучи, таким образом, прямо и открыто поставлено на службу пролетарской революции, воплощая ее идеи, искусство приобретает ту правдивость, ту насыщенность объективной исторической истиной, которой не было у буржуазного искусства.

Одним из основных моментов противоположности буржуазного и пролетарского искусства являлось для Ленина именно это противопоставление лжи буржуазного правдивости пролетарского реалистического искусства.

Прямое указание на это мы имеем в речи на беспартийной конференции Пресненского района (1920 г.). В это время белогвардейские газеты много писали об искусстве большевистской массовой агитации. Так, газета «Россия» констатировала: «Нет, кажется, области жизни, события, явления, моменты, которые бы не были использованы большевиками в целях воздействия на умы сторонников и врагов. К делу агитации и пропаганды непосредственно прилагают свои дарования и силы все вожди и руководители большевизма, но, сверх того, привлечены и недюжинные таланты из писате-

лей, поэтов, актеров, музыкантов, певцов, художников, скульпторов». «...Улицы, заборы, стены, углы домов, стекла магазинов и трамваев, вокзалы во всех совдепских городах чуть не сплошь заклеены всевозможными советскими газетами, номерами специальной стенной газеты, плакатами, лозунгами и т. д. Надо отдать справедливость, не умаляя силы врага, газеты от строки до строки проникнуты одним тоном пропаганды, полны энергии и воодушевления, плакаты красочны, образны, метки и остроумны»...

Как бы отвечая на эти белогвардейские сетования об искусстве большевистской агитации, Ленин в упомянутой речи сказал: «Во всех своих листках белогвардейцы пишут, что у большевиков прекрасная агитация, что они не жалеют денег на агитацию. Но ведь народ слышал всякую агитацию — и белогвардейскую и учредилковскую. Смешно думать, что он пошел за большевиками, потому что их агитация была более искусна. Нет, дело в том, что агитация их была правдива». (Ленин, 3-е издание, т. XXV, стр. 14 — 15, цитата из белой газеты, там же — примечания, стр. 592).

Сопоставление этих формулировок с проектом резолюции о пролетарской культуре яснее всего показывает, что Ленин считал правдивость, партийность и агитационность основными качествами пролетарского искусства.

А эти качества в свою очередь связаны с тем, что пролетарское искусство должно быть массовым, понятным для масс.

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их» — говорил Владимир Ильич в беседе с К. Цеткин. (К. Цеткин. — Воспоминания о Ленине. Партиздат. 1933 г., стр. 34 — 35).

Забота о том, чтобы произведения искусства, предназначенные для масс,

были понятны им, строго реалистичны, никогда не покидала Ленина. Она воплощена в ряде тех указаний, которые он давал Наркомпросу, художникам и т. д.

А. В. Луначарский рассказывает об осмотре Лениным модели памятника К. Марксу скульптора Алешина. «Владимир Ильич специально поехал туда. Несколько раз обошел памятник вокруг, спросил, какой он будет величины, и в конце концов одобрил его, сказав однако: «Анатолий Васильевич, особенно скажите художнику, чтобы волосы вышли похожи, чтобы было то впечатление от Карла Маркса, которое получается от его хороших портретов, а то как будто сходства мало». (Сборник «Ленин и искусство», сост. Е. Добин. 1934, стр. 221 — 222. (Подчеркнуто нами. — Авторы).

Требуя реализма, Владимир Ильич терпеть не мог всяких футуристических выкрутас. При осмотре проектов памятника, который должен был заменить памятник Александру III, Ленин (по рассказу Луначарского же) «очень критически осматривал все эти памятники. Ни один из них ему не понравился. С особым удивлением стоял он перед памятником футуристического пошиба». Когда спросили его мнение, Владимир Ильич переадресовал спрашивающих к Луначарскому и после заявления последнего о том, что он не видит ни одного достойного памятника, Владимир Ильич «очень обрадовался и сказал мне (Луначарскому): «А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело» (Сборник «Ленин и искусство», сост. С. Дрейден. 1926 г. стр. 71 — 72). Наконец, при реализации выдвинутой Лениным идеи монументальной пропаганды средствами скульптуры он также подчеркивал необходимость понятности, доступности массам воздвигаемых памятников. «Надо, — говорил Владимир Ильич Луначарскому, — составить список тех предшественников социализма или его теоретиков и борцов, а также тех светочей философской мысли, науки, искусства и т. п., которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культу-

ры. По этому списку закажите скульпторам также временные, хотя бы из гипса или бетона, произведения. Важно, чтобы они были доступны для масс, чтобы они бросались в глаза». («Ленин и искусство». Сб. сост. Е. Добин. 1934. Стр. 219. (Подчеркнуто нами. — Авторы).

Можно было бы привести еще целый ряд сходных высказываний Ленина, в которых он говорит о правдивости, понятности, т. е. реалистичности, пролетарского искусства. И в искусстве прошлого Владимир Ильич обращался в первую очередь к реализму. «Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в живописи»... — говорит А. В. Луначарский (там же, стр. 220). Недавно опубликованные в «Правде» воспоминания Трояновского об отношении Ленина к Рубенсу еще раз подтверждают эти слова Луначарского.

Но здесь важно отметить, что вопрос об отношении Ленина к реализму в искусстве нельзя оторвать от ленинского учения о пролетарской культуре и искусстве в целом, ибо требования правдивости, реалистичности и массовости были необходимой частью этого учения.

Утверждая реалистическое, правдивое, служащее интересам классовой борьбы пролетариата искусство, В. И. Ленин в то же время вел резкую борьбу с влияниями разлагающегося буржуазного искусства эпохи империализма. Ленинская борьба с футуризмом (под именем которого в эпоху военного коммунизма объединялись все так наз. «левые» течения буржуазного искусства, в том числе кубизм, супрематизм и др.), с нигилистическим отношением к старому наследию, с пролеткультовскими извращениями достаточно известна. В богдановской пролеткультовщине, которая отрывала искусство от политической, классовой борьбы, навязывала некритическое отношение к новейшим западным течениям, Ленин видел такого же врага, как махизм в области философии.

Еще в «Заметках публициста» (1910 г.) Ленин говорит: «В наше время в области науки, философии, искусства выдвинулась борьба марксистов с

махистами». (Ленин, 3-е изд. т. XIV, с. 298). Фразы махистов (богдановцев) о «пролетарской культуре» на деле, — говорил Ленин, — прикрывают борьбу с марксизмом. Борьба Ленина за партийное, реалистическое искусство против футуризма, ярко выраженная в его беседе с Кларой Цеткин, речи на съезде комсомола и проекте резолюции о Пролеткульте, нашла свое воплощение и в известном документе Центрального комитета партии — письме о Пролеткультах (1920 г.). («Правда», 1/XII 1920 г.).

Это письмо говорит: «...в Пролеткультах нахлынули социально чуждые нам элементы, элементы мелкобуржуазные, которые иногда фактически захватывают руководство Пролеткультами в свои руки. Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, из рядов буржуазной публицистики и философии — стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.

Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподнесли буржуазные взгляды в философии (махизм). В области искусства рабочим прививали нелепые извращения вкусы (футуризм).

Вместо того, чтобы помогать пролетарской молодежи серьезно учиться, углублять их коммунистический подход ко всем вопросам жизни и искусства, далекие, по существу, от коммунизма и враждебные ему художники и философы, провозгласив себя истинно-пролетарскими, мешали рабочим, овладевши Пролеткультами, выйти на широкую дорогу свободного и действительно пролетарского творчества». («Советское искусство за 15 лет». Изогиз. 1933 г. Стр. 204 — 205).

Ограничимся пока приведенными фактами.

О чем они говорят? Эти факты (равно как и те, которые мы по размерам статьи привести не можем) говорят, что взгляды В. И. Ленина на искусство представляли собой одно неразрывное целое, в котором учение о партийности, массовости, понятности, реализме пролетарского искусства необходимо сочеталось с учением о культурно-художественности.

ственном наследии и критикой буржуазного искусства эпохи империализма (в лице футуризма, кубизма и других «измов»).

Ленин неоднократно и специально возвращался к этим вопросам, он дал нам основы теории и практики пролетарского искусства, а тем самым и реализма как одного из основных его качеств.

Говорить после этого, что Ленин не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве, значит по меньшей мере игнорировать богатейшее наследие Ленина по вопросам культуры и искусства.

Особенно надо подчеркнуть, что в это наследие Ленина входит не только непосредственно им написанное, но и все зафиксированные его соратниками высказывания по вопросам искусства, ряд мероприятий, проводившихся по личной инициативе Владимира Ильича («монументальная пропаганда», работа над памятником К. Марксу и др.) и документы Центрального комитета, созданные под его руководством.

Грубейшая ошибка Гапошкина и заключается в том, что он обошел это наследие и выдвинул в корне неверное положение, будто Ленин не оставил нам указаний о реализме в искусстве.

Отмечая ошибку Гапошкина в нашей предыдущей статье, мы не имели возможности остановиться на данном вопросе с той подробностью, как это делаем сейчас.

Но, поскольку этот вопрос снова возникает теперь и критика Гапошкина инкриминируется авторам статьи как «передергивание» и «нечестность», мы считаем необходимым остановиться и на другом месте приведенной выше цитаты из статьи Гапошкина.

Заявив о том, что Владимир Ильич не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве, Гапошкин добавляет: «Но тем не менее не трудно понять, что взгляды его на этот счет несколько не отличались от взглядов Маркса и Энгельса». (Подчеркнуто нами. — Авторы).

Эта часть фразы не была приведена в нашей предыдущей статье, что и «возму-

тило» особенно Бескина. Так вот, удовлетворяя его «возмущение», мы приводим окончание фразы и заявляем, что оно неточно, а потому и неверно. Именно в этой части положения Гапошкина и скрыто объяснение первой части положения. Заявляя, что взгляды Ленина на искусство несколько не отличались от взглядов Маркса и Энгельса, Гапошкин тем самым снимает вопрос о ленинском этапе в марксистском учении об искусстве. Ленин в вопросах искусства, так же как и во всех других вопросах, был самым верным последователем Маркса, безоговорочно принимавшим все учение Маркса, в том числе и его учение об искусстве. Ленин восстановил в своих высказываниях об искусстве истинный смысл эстетического наследия Маркса и Энгельса, опошленного меньшевиками II Интернационала во главе с Каутским. Но Ленин не только восстановил истинный смысл учения Маркса и Энгельса об искусстве. Ленинское учение об искусстве представляет новую, высшую ступень в развитии марксистского учения об искусстве. Напомним классическое определение ленинизма, данное тов. Сталиным: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности. Маркс и Энгельс подвизались в период предреволюционный (мы имеем в виду пролетарскую революцию), когда не было еще развитого империализма, в период подготовки пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская революция не являлась еще прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, подвизался в период развитого империализма, в период развертывающейся пролетарской революции, когда пролетарская революция уже победила в одной стране и открыла эру пролетарской демократии, эру советов».

Вот почему ленинизм является дальнейшим развитием марксизма» (Сталин. — Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 2).

Это относится и к вопросам культуры и искусства. Дальнейшее развитие марксизма здесь заключалось в том, что Ленин разработал теорию и тактику культурной революции, дал основы учения о пролетарском искусстве, о роли культурно-художественного наследия в ходе его создания и дал оценку буржуазной культуры и искусства эпохи империализма. Вот почему неправильно говорить, что взгляды его по вопросам искусства (и в частности реализма в искусстве) не только не отличались от взглядов Маркса и Энгельса. Ленин, создав учение о путях развития пролетарского искусства в эпоху империализма и пролетарской революции, о его основных чертах (партийность, массовость, правдивость и т. д.), тем самым разработал дальше и поднял на новую, высшую ступень эстетическое наследие Маркса — Энгельса. В свою очередь лозунг социалистического реализма и другие указания тов. Сталина по вопросам искусства и культуры представляют дальнейшее углубление и разработку марксо-ленинского учения о пролетарской (социалистической) культуре и искусстве, представляют новый, более высокий этап развития этого учения.

Тов. Сталин в ряде своих бесед с работниками искусства, в ряде указаний, даваемых руководителям и работникам литературно-художественного фронта, намечает пути и вскрывает законы развития пролетарского (социалистического) искусства в эпоху победы социалистических отношений. Слова тов. Сталина на XVII съезде партии о завершении построения фундамента социалистического общества и о задаче увенчания его надстройками, его лозунг социалистического реализма получили уже свое блестящее воплощение в таком шедевре нашего искусства, как «Чапаев», не говоря о ряде других выдающихся произведений литературы и искусства.

В процессе работы над архитектурно-художественной реконструкцией Москвы, над новыми большими фильмами и т. д. тов. Сталин дает нашим мастерам ряд конкретных указаний, одушевляющих их на новые победы в области искусства.

Эти указания тов. Сталина, а также решения Центрального комитета о Дворце советов, решение от 23/IV 1932 г. и постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном плане реконструкции Москвы воплощают новый этап марксистско-ленинского учения об искусстве и художественной политике.

Нельзя вне учета этого правильно поставить и разрешить вопросы социалистического реализма. Вот почему статья Гапошкина и не смогла дать такой правильной их постановки. Если бы он как следует продумал указания Ленина, он не стал бы, например, оценивать Репина как «поверхностного импрессиониста» и «поверхностного передвижника».

Таким образом, что же объективно получается у Гапошкина? Объективно получается по меньшей мере недооценка ленинского этапа в марксистском учении об искусстве, а по существу, просто игнорирование ленинского учения о пролетарском искусстве и в частности о реализме.

Но на такой точке зрения, как известно, стояли предшественники меньшевистской эстетики, почему мы и констатировали в предыдущей статье, что объективно Гапошкин повторил своей формулировкой меньшевистские утверждения.

Спрашивается, что же здесь криминального? Плохо было бы, наоборот, если бы мы смазали данную ошибку Гапошкина и согласились с ним в том, что ленинского этапа в марксистском учении об искусстве и в частности о реализме вообще не было, ибо его взгляды на этот счет (как говорит Гапошкин) не только не отличались от взглядов Маркса и Энгельса, т.-е. что Ленин не внес якобы ничего нового в эстетическое учение Маркса — Энгельса, плохо было бы, если бы мы стали вслед за Гапошкиным уверять читателя, будто В. И. Ленин не оставил нам специальных замечаний о реализме в искусстве!

И надо сказать, что позиция защиты данных положений Гапошкина, занятая ответственным редактором журнала «Искусство» О. Бескиным, является гнилой позицией, а формы защиты явно казуистическими, чтобы не сказать больше.

Вместо того, чтобы открыто и честно признать ошибки Гапошкина (и ошибки, как мы видели, достаточно существенные), Бескин начинает маневрировать, заменяя слово «искусство» у Гапошкина словами «изобразительное искусство» и вводя оговорку о трудах В. И. Ленина, как бы исключая самые важнейшие высказывания Ленина, дошедшие до нас в форме бесед, зафиксированных К. Цеткин, Луначарским и др.

Ведь совершенно ясно, что когда Ленин в ряде статей («Партийная организация и партийная литература», речь на митинге 13 марта 1919 г., «Проект резолюции о пролетарской культуре» и др.) употребляет понятие искусство вслед за понятием литература или культура, наука и т. д., то он включает в понятие искусство и изобразительное искусство.

Совершенно ясно, что когда Ленин говорит об искусстве и литературе, открыто связанных с пролетариатом, правдивых, то он и говорит о реализме.

Вопрос ведь отнюдь не заключается в том, сколько раз В. И. Ленин произнес слово реализм и слова изобразительное искусство. Вопрос в том, что он создал учение о пролетарском искусстве, составной частью которого являются положения о правдивости, реалистичности, и что это учение имеет столь же непосредственное и специальное отношение к изобразительному искусству, как и к литературе, кино и другим искусствам.

Простое сопоставление бесед Ленина с К. Цеткин, А. В. Луначарским — с его работами доказывает цельность учения Ленина и дает образцы его применения к вопросам изобразительного искусства, ибо в этих беседах речь шла как-раз прямо об изобразительном искусстве.

Сказанное дает ответ и на положение Бескина о том, что Ленин «специально о реализме в изобразительном искусстве в своих трудах действительно не говорил». Отбрасывая казуистическую форму этой фразы, мы утверждаем: в своем

учении о пролетарском искусстве Ленин выдвигает правдивость, реализм как основное качество последнего и распространяет свои положения на все виды искусства, в том числе и на изобразительное. Напрасно Бескин старается запутать этот неоспоримый факт попыткой перевести вопрос в плоскость формального спора о том, произносил Ленин слова «изобразительное искусство» или нет. Такого рода спор мы предоставляем ему вести еще с кем-либо, ибо нас вопрос интересует по существу.

По существу же, повторяем, позиция О. Бескина явно порочна. Беря на себя неблагодарное дело защиты положений Гапошкина, он вместе с ним расписывается под положением, что взгляды Ленина по вопросам реализма в искусстве ничем не отличались от взглядов Маркса и Энгельса, вместе с ним снимает ленинское учение о реализме пролетарского искусства на том основании, что Ленин не говорил «специально о реализме в изобразительном искусстве».

В этом отношении письмо Бескина лучше всего показывает, до чего можно дойти в стремлении во что бы то ни стало избежать самокритики и доказать явно недоказуемое, только ради «чести» редактируемого им журнала. Можно ли считать допустимым подобное отношение к ленинскому учению об искусстве? И не этим ли отношением объясняется то, что редактируемый О. Бескиным журнал, как это мы показали в предыдущей статье, слишком нежно относится к буржуазному искусству эпохи разложения и слишком мало по сравнению с этим уделял до сих пор внимания классикам реализма. Мы думаем, что если бы журнал руководствовался теми положениями, которые В. И. Ленин высказал в беседе с К. Цеткин, он давно уже должен был дать развернутый анализ и критику новейших течений буржуазного искусства, он должен был показать художникам и зрителям гениальную правоту Ленина, сказавшего в этой беседе:

«Красивое нужно сохранить, взять его за образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»?.. Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости». (Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине. Стр. 34). Вот эти положения и надо было журналу «Искусство» положить в основу; необходимо было раскрыть и показать упадок искусства в эпоху империализма и одновременно противопоставить ему лучшие достижения старого искусства.

Разве в советском искусстве и критике изжита до конца та «бессмысленная» мода и «художественное лицемерие», заставляющее поклоняться якобы «левым» (а на деле реакционно-упадочным) явлениям новейшего буржуазного искусства, на которые обрушивался Ленин в беседе с К. Цеткин?

Посмотрите последние номера «Литературной газеты», и вы убедитесь в обратном. Всего лишь четыре месяца тому назад присяжный критик этой газеты Э. Викторов «лихо» опозлил ценнейшее для нас наследие крупнейшего представителя идейно-реалистического искусства В. Г. Перова, охарактеризовав его в качестве никчемного натуралиста, чрезвычайно отсталого «относительно передовых реалистических течений Европы», и попутно обвинив «Новый мир» за то, что к произведениям Перова был приложен эпитет «великие» («Л. Г.», № 10); всего же лишь месяц назад тот же Викторов объявил величайшим мастером, у коего надо учиться, — Сезанна. («Л. Г.» № 27). Не ясно ли, что опозление Перова и раболепство перед Сезанном — это две стороны одной медали, две стороны одной тенденции, толкающей наших художников от старого реалистического наследия в объятия

буржуазного искусства эпохи империализма.

К сожалению, это не единственный «подвиг» Викторова, который и в советском искусстве выдвигает на первый план не наиболее последовательных художников-реалистов, а в большинстве случаев художников, еще не освободившихся до конца от влияния формализма, и, к сожалению, Викторов не одинок.

Вот почему в области искусствоведения и критики надо не замазывать имеющиеся недостатки и извращения, а четко и ясно говорить о них.

Эта область больше, чем другая, нуждается в самокритике, и ее отставание является общепризнанным фактом.

А. Карский инкриминирует нам то, что в своей предыдущей статье мы якобы «огулом» и клеветнически обвинили почти весь искусствоведческий фронт в меньшевизме, левачестве и даже насаждении религиозной пропаганды.

Мы заявляем, что эти слова Карского, равно как и «криминалы» О. Бескина, явно направленные к тому, чтобы заранее опорочить всякую критику журнала «Искусство» и некоторых искусствоведов и критиков, представляют собою приемы полемики, едва ли допустимы в нашей печати. Эти приемы не достигнут той цели, которой хотелось бы их авторам.

В нашей статье о журнале «Искусство» любое положение подтверждено фактическим материалом. Так вот, не будут ли добры и наши оппоненты держаться того же правила — полемизировать на материале. Всякие же громкие и бездоказательные угрозы, равно как и попытки жупелом «упрощенчества» снять нашу критику, мало помогут. Может быть, и найдутся кое-какие люди, которые будут «убеждены» этими методами «полемики», но мы, да, думаем, и большинство художников и критиков, к их числу не принадлежим.

Обвиняя нас в нечестности, наши оппоненты действительно обнаруживают завидную «честность».

Где и когда мы обвиняли «почти весь искусствоведческий фронт» в меньшевизме, левачестве и религиозной пропаганде? В нашей статье действительно

была речь об одном случае апологии «Библейских эскизов» А. Иванова, но ведь и А. Карский не доказал, что в этом случае мы были не правы.

Мы, действительно, говорили, например, о том, что Федоров-Давыдов в своих оценках Перова и идейного реализма проводит в ряде случаев не-ленинские, меньшевистские идеи. Но ведь и «Советское искусство» — орган наших оппонентов — признало (правда, с большим запозданием), что теории Федорова-Давыдова нуждаются в критике (хотя по странной системе говорить одно, а делать наоборот, «Советское искусство» в лице Макса Вилейко критиковал пока что не Федорова-Давыдова, а как раз тех, кто вскрывал его ошибки).

Мы критиковали некоторые идеалистические положения Н. Щекотова, но и по этому поводу до сих пор никто еще нас не опроверг. При этом мы критиковали отнюдь не «огулом», а именно конкретно, и не весь искусствоведческий фронт, а только некоторых критиков журнала «Искусство». Очень многие статьи этого журнала не вызывают у нас никаких возражений, и наши оппоненты с комплектом журнала в руках легко могут установить, что критике нашей подвергались отнюдь не все статьи «огульно»...

Кроме того, мы никоим образом не можем согласиться с тем, что кадрами журнала «Искусство» почти исчерпываются наши критические силы (как это уверяет Карский).

Есть очень много критиков (в том числе печатающихся в газетах — начиная от «Правды» и «Известий» — и журналах), которые не выступали на страницах «Искусства».

Представление о том, будто авторами «Искусства» исчерпывается искусствоведческий фронт, явно преувеличено.

Этим можно было бы ограничиться в разъяснениях А. Карскому, тем более, что его статейка, как уже говорилось, сплошь построена на бездоказательных обвинениях.

Но в заключение нельзя не остановиться на собственном теоретическом творчестве Карского, которое до стран-

ности напоминает подвергнутые в нашей статье критике положения Н. Щекотова...

Полемизируя с т. Гронским, Карский решил дать определение основного качества реализма.

... «Основное в нашем понимании реализма, — говорит он, — это найденность специфических творческих средств (и найденность очень индивидуальная) для выражения подлинной идейности, подлинной сущности изображаемого явления, а не только фиксация его внешности». (Подчеркнуто нами. — Авторы).

Если перевести эту эзоповскую фразу на общедоступный язык, то получим положение: в реализме главное найти форму (средство) для выражения содержания (идеи). Легко понять, насколько неправильно это определение.

Основное в реализме (говорим о реализме вообще, ибо социалистический реализм имеет свои особенности) — это правдивость и глубина отображения действительности, создание содержательных и типических образов, а вовсе не индивидуальная найденность специфических творческих средств. Если бы мы согласились с определением Карского, то тем самым сделали бы уступку формализму, ибо в данном случае главный акцент переносится на индивидуальные искания формы (средств выражения), а не на объективное образное познание и отображение реального мира.

Если же говорить о нашем понимании реализма, т. е. о социалистическом реализме, то здесь необходимо также говорить о партийности, массовости, понятности и социалистической романтике, как важнейших чертах нашего реализма. Определение, даваемое Карским, опускает эти важнейшие моменты и дает беззубую формулировку, под которую можно в ряде случаев подвести и формальные искания, отнюдь не относящиеся к социалистическому реализму. Может быть, в ответ на сказанное нас опять обвинят в каком-нибудь криминале, но что ж делать, когда определение Карского не может не вызывать возражений.

Таковы первые итоги откликов на нашу статью.

Как видим, они не обнаруживают необходимой доказательности и ни в чем не опровергают выдвинутых в нашей предыдущей статье положений.

На этом следовало бы нам и кончить, если бы весь тон письма О. Бескина, прикрывая гнилые позиции автора, оставался только в границах театральных восклицаний и в духе «благородного» негодования по поводу нашей «безнравственности».

Но не в меру «увлекшийся» автор письма в конце своего послания берет совершенно недопустимый тон, делая из авторов критической статьи о журнале «Искусство» политических преступников, выступление которых требует «особого (!) разбора».

Мы уже показали, насколько «обоснованны» эти «грозовые» фразы Бескина.

Если же серьезно говорить о «политическом криминале», то прежде всего сле-

дует обсудить вопрос о том, кому нужно, выгодно и важно, чтобы руководящий в вопросах искусства советский журнал в лице своего редактора с необычайным рвением защищал следующие положения: 1) «Владимир Ильич не оставил нам специальных указаний о реализме в искусстве...», 2) взгляды Ленина о реализме в искусстве «нисколько не отличались от взглядов Маркса и Энгельса», 3) «специально о реализме в изобразительном искусстве Ленин в своих трудах действительно не говорил»...

В связи с этим должен быть также поставлен и вопрос о том, с каких это пор в наших условиях критика подобных извращений именуется криминалом, а защита их вполне добродетельным делом. А после этого можно уже сделать вывод о том, кто же в действительности ложно ориентирует наш художественный фронт в вопросах ленинского наследия — по вопросам искусства и борьбы за социалистический реализм.

4. ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

(1783 — 1836)

(К истории творческого пути художника)

Э. Ацаркина

I

Кипренский выступил на художественную арену как один из горячих сторонников нового искусства. Его творческие поиски были тесно связаны с развитием русского романтизма. Романтизм в начале XIX века стал знаменем, под которое становилась вся прогрессивная, оппозиционно настроенная художественная «молодежь». Она штурмовала феодальные стены академии, воюя с классицизмом, принявшим в России к началу XIX века резко охранительный характер. Она брала под сомнение старые, узаконенные нормы искусства, противопоставляя им лозунги романтизма. Кипренский примкнул к романтическому движению.

Первые выступления русских романтиков — Кипренского, Орловского, Варнека и др. — еще мало отличались друг от друга. Они выступали под общим покровом оппозиции феодальному искусству.

Впоследствии идеология левого фланга романтиков отразила чаяния и надежды декабристов. Это не значило конечно, что русские романтики принимали непосредственное участие в восстании на Сенатской площади. Уже романтик Марлинский указал на следствии, которое велось по делу декабристов, что декабризм охватил гораздо большее количество людей, нежели число непосредственных участников декабристского восстания. «Едва ли не треть русского дворянства, — заявил он, — мыслила

подобно нам, хотя была нас осторожнее»¹⁾.

Романтизм эволюционировал в той же мере от расплывчато-либеральной оппозиции к революционности, в какой декабристское движение шло от мирного пропагандистского «Ордена русских рыцарей» к демократизму Пестеля. Общее оппозиционное отношение к феодально-крепостническому обществу заставило столь различных по своим общественным программам людей, как Н. Муравьев и Пестель, быть до 20-х годов членами одного и того же общества. Под лозунг романтизма выступали различные по своим взглядам художники. Дифференциация внутри романтизма была характерна не только для России. Под именем романтизма выступали во Франции Деларош и Делакруа, Сент-Бев и Стендаль, в Германии — Шиллер и Новалис и т. д. Наконец в России романтиками считались Кипренский, Орловский и К. Брюллов, Кукольник и Н. Полевой.

Учитывая дифференциацию внутри романтизма, не следует забывать, что сущность романтизма значительно видоизменялась, отражая противоречия феодально-крепостнического общества. В процессе развития все резче и резче проявлялась принципиальная рознь двух направлений, которая на первых порах возникновения романтизма была выражена слабо.

Начавшаяся после подавления восстания декабристов реакция отразилась на судьбе романтизма. После 1825 года часть романтиков продолжала борьбу с реакционными направлениями в искусстве. Другая приспособилась к нуждам господствующего класса, сбросив окончательно прежние покровы разжиженного либерализма. На первый путь встал Кипренский, Орловский, на другой — Брюллов, М. Воробьев и другие.

После классицизма, с его априорионалистическими методами художественного познания, романтизм сделал огромный шаг вперед по пути реалистического отражения действительности.

Он встал на высшую ступень художественного познания и в своем революционном крыле достиг предельных для своего времени высот реалистического отображения внешнего мира.

Идеи радикально настроенных романтиков были усвоены и развиты последующей художественной идеологией, которая могла обосновать платформу реализма, только лишь восприняв достижения романтиков. Романтизм сыграл огромную роль в борьбе с ограничительно-сенсуалистическим методом рококо и нормативизмом классицизма. Взяв чувственную сторону познания у эстетики XVIII века, романтизм лишил ее эмпирико-психологической трактовки, становясь, правда, на позиции метафизического идеализма. Однако романтики в своем революционном крыле проделали большую положительную работу в вопросах, связанных с творческим процессом, введя не только проблему чувственного познания как одну из существенных сторон художественного процесса, но подвергая ее регулирующей деятельности разума.

Активное значение «идеи» в эстетике романтиков заставило их по-новому определять жанры, будь то портрет, пейзаж, и тем более историческая картина. Они насытили философским содержанием искусство, стремясь «осмыслить» сюжет. Пейзаж романтиков это не топографическая карта, а частное проявление всеобщей идеи природы. Портрет — не фиксация внешних физических черт человека, а отблеск всеобщей идеи человечества, мировой души с большой буквы. Отсюда печать космизма, которая лежит на всех произведениях романтиков.

Романтизм сыграл большую роль в борьбе с нормативным пониманием человека, имевшим место в эстетике классиков. Борьба за конкретные живые чувства особенно сказалась в портрете, который романтики выдвинули как один из ведущих жанров. Интерес к «живому человеку» определил весьма характерный для романтиков жанр — «автопортрет». Ни предшествующий романтизму классицизм, ни сменивший его реализм так называемой «натуральной школы»

¹⁾ «Восстание декабристов». Сборн., изд. ГИЗ, 1927 г., том I, стр. 430.

не знали такого огромного количества автопортретов.

Перед романтиками, искавшими новых методов раскрытия человеческого образа, неизбежно встала проблема психологизма, лиризма и драматической насыщенности действия. Психологизм стал одной из ведущих сторон творческого метода романтиков.

Эволюция творчества Кипренского прекрасно вскрывает его содержание, которое вкладывали романтики в понятия «психологизм», «лиризм» и пр.

В борьбе с ограниченным эмпиризмом академии и сенсуализмом рококо Кипренский выдвинул метод синтетического раскрытия человеческого образа. Уже классицизм в XVIII веке преодолел эмпиризм академии, противопоставив ему синтетическую обобщенную характеристику человека. Однако синтез романтика Кипренского отличался от синтеза классиков, сводивших синтез к идеалу, к норме.

Но борьба Кипренского с сенсуализмом рококо и нормативизмом классицизма покоилась на идеалистической основе.

Творческий путь Кипренского — это эволюция портретного жанра. Героизация раннего романтического портрета была связана с философско-эстетическим культом «сильной воли». Индивидуализация и героизация человеческого образа получила в эпоху революционного спада характер ограниченно-личных чувств и переживаний. Для Кипренского психологизм, борьба за живого человека, означал по сути дела доминант «духовного» начала. Однако, путь развития Кипренского — это путь преодоления идеалистических основ портретного жанра. В «Читателях газеты» (1831 г.) романтизм Кипренского уже покоится на признании предметно-чувственной характеристики внешнего мира. «Читатели газеты» — групповой портрет. Но групповой портрет, переросший в жанр с социально-политическим осознанием темы.

Кипренскому принадлежит огромная роль в деле разработки цвета, света и пр. Кипренский, — без сомнения, один из крупнейших мастеров русского искус-

ства, художественное наследие которого должно получить должную оценку.

II

Легкомысленный, лирически-бездеятельный, эклектик в живописных поисках, — таков образ Ореста Кипренского, созданный буржуазным искусствознанием. Сначала мечтательный юноша, потом талантливый, но неустойчивый художник, наконец брюзга-старец, — такова эволюция творческого пути Кипренского, оставленная нам в наследство эстетом бароном Врангелем.

Большой по смысловому содержанию, сильный по художественному мастерству, творческий путь Кипренского в лучшем случае сводился буржуазным искусствознанием к ряду легкомысленных поступков.

Творческая работа Кипренского шла сложным, извилистым путем. Более 30 лет насчитывал художник своей практической работы. Уже первые самостоятельные шаги Кипренского были отмечены новыми поисками живописных форм, шедшими под знаком романтизма. Творчество Кипренского претерпело существенные изменения.

«Он писал медленно, но не мало» — так характеризовал художественную деятельность Кипренского некролог, помещенный в «Художественной газете» (1836 г.). Эта сжатая характеристика лучше всего рисует нам образ труженика-мастера, глубоко и серьезно подходившего к своей художественной профессии. Редко можно встретить небрежный (по исполнению) рисунок в наследстве, оставленном нам Кипренским. Кипренский много читал по истории искусства, занимался математикой и физикой. В молодые годы, в бытность в Академии художеств, Кипренский внимательно изучал греческих и римских философов.

Биографию художника лучше всего рассказывает его родная сестра, Анна Адамовна Швальбе. В особом заявлении, поданном в Академию художеств, она изложила биографию своей семьи. Заявление писал Жуков «по просьбе меценки девицы Анны Адамовны Швальбе за неумением ею грамоты»: «Огед

мой, — сообщала она, — Адам Карлович Швальбе, был крепостной человек помещика Ямбургского уезда, покойного бригадира Алексея Степановича Дьяконова, который, женив его в деревне своей на крепостной же девке, даровал впоследствии времени ему свободу. От этого законного брака было, кроме меня, Анны, еще три сестры и два брата — Орест и Александр, коих покойный бригадир Дьяконов при жизни своей определил в Императорскую Академию Художеств, где первый посвятил себя исторической живописи, а второй архитектуре». (Дальше идет рассказ о смерти родителей и сестер.) «Отец мой служил приказчиком в деревне у двоюродного брата Дьяконова-Жукова Г. И... Брат Александр перешел в военную службу, убит им в сражении, а Орест, по принятой им фамилии Кипренский, профессор Императорской Академии Художеств, в прошлом году, как известно, скончался в Риме» (заявление датировано 1837 г.¹).

Во время академического учения (с 1788 по 1803) Кипренский получил все знаки отличия и, будучи оставлен по окончании при академии, был назначен по определению совета для отправки за границу. (По уставу академии, получив 1-ю золотую медаль, ученик имел право получить заграничную поездку сроком на 3 года). Поехать однако за границу Кипренскому не удалось. Начавшиеся военные действия (война с Наполеоном) отложили его «путешествие» до 1816 г. В 1816 г. Кипренский уехал за границу и вернулся в Россию в 1823 г. В 1828 г. он вновь уехал в «чужие края» с тем, чтобы больше не возвращаться в «любезное отечество».

В истории русского искусства прочно утвердилось за Ал. Ивановым репутация оппозиционера, первого художника, штурмовавшего крепкие стены феодальной академии. Между тем задолго до Ал. Иванова Кипренский вел усиленную агитацию в среде русских художников против академии и ее президента Оле-

нина, разрешая себе и критику русских порядков в целом.

Первые шаги Кипренского совпали с полным разложением Академии художеств.

О развале Академии художеств к началу XIX века свидетельствовали не только современники в своих мемуарах (напр. Головачевский), но вполне официально об этом докладывали сами члены академии. Так, Баженов в своем докладе (в 1799 г.) о состоянии академии доказывал, что «более тридцати лет уже приметно стало, что от Академии художеств желаемого успеха не видать»¹).

Для «усовершенствования воспитанников Академии в колорите» был приглашен Монье. Президент Строганов поспешил, конечно, оказать гостеприимный прием этому беглецу от революции, придворному художнику Людовика XVI.

Монье не мог «усовершенствовать» колорит воспитанников, ибо для этого требовалось изменение всей академической системы в целом. Вот почему Строганов, покровительствовавший Кипренскому, возложил надежды на последнего. Кипренскому, талантливому художнику, как бы «поручили» подновить и реформировать академию. Кипренскому покровительствовали. Не только президент Строганов постоянно оказывал ему знаки внимания, но его пригласили даже ко двору Екатерины Павловны (у которой в Твери был своего рода «правительственный художественный центр»). До поездки за границу (1816 г.) Кипренский — любимый художник: ему охотно дают заказы и двор, и русская интеллигенция того времени.

В этот период Кипренский выступает на художественном фронте как представитель лояльно-либерального направления, не нарушая резко принципы официальной идеологии.

Ученик Левицкого и Угрюмова, Кипренский очень рано показал себя самостоятельным художником, владевшим не только академической техникой, но внесшим много нового в живописные принципы того времени.

¹ Ленинградское отделение Центраархива. Архив Академии художеств.

¹ «Материалы Академии художеств», том I, стр. 402.

Рисунок «Юпитер и Меркурий посещают Филимона и Бавкиду» (за который Кипренский получил 2-ю золотую медаль), пастели «Блудный сын», «Жертвоприношение» и др. обнаруживают еще в Кипренском тягу к так называемому академическому барокко. Здесь имеет место типичная для барокко борьба стихий, обобщенно синтетическое восприятие сюжета, динамика в композиции и цвете. Та стихийность, трагедийность и героика, которые обнаруживаются во всех ранних рисунках Кипренского, говорят о том, что проблема «борьбы», «движения», решалась им вначале на основе абстрактно-мистического понимания внешнего мира.

Редко в истории искусства можно встретить столь «ищущего» художника, каким был Кипренский. В течение весьма короткого периода он обращался то к одному, то к другому мастеру прошлого. Еще молодой художник, имея всего лишь один год «стажа» самостоятельной работы, Кипренский создает одну из лучших по мастерству вещей — «Портрет отца» (1804 г.). Кипренский сам признавался, что «Портрет отца» — его любимое художественное детище.

«Портрет отца», выставленный много лет спустя на итальянской выставке, заставил усомниться тамошних профессоров в подлинности его оригинала: «Мне в глаза говорили господа профессора, — писал Кипренский Бенкендорфу, — с великим негодованием и неучтивостью, якобы в нынешнем веке никто в Европе так не пишет, особенно в России может ли кто производить такое чудо. В заключение сказано с насмешкой, что они не позволят себе в Неаполе столь нагло иностранцу дурачить»¹⁾. «Портрет отца» приняли за работу Рубенса.

В «Портрете отца» Кипренский разрешает проблему человеческого образа не ограниченно-эмпирически, по методу академии, а обобщенно-синтетически, типизируя видимые черты. Не анатомическая характеристика лица, не фактура мехового воротника представляют интерес для Кипренского, а главное, существен-

ное — выражение лица. Кипренский в типичной для ранних романтиков манере дает образ человека в «укрупненном» плане, создавая впечатление динамичности и напряженности.

Это не спокойное эмпирическое пребывание, а взволнованная и внутренне напряженная характеристика лица. Не глаза, а взор, не губы, а улыбка или негодование — таковы методы изображения лица у раннего романтика.

Синтетически-обобщенный образ человека вызывает соответствующую гамму цветов. Кипренский отрицает локальную цветовую характеристику. Единый обобщающий, тепло-коричневый цвет моделирует форму. Он нарочито подчеркивает сугубую небрежность, эскизность мазка. Совершенно пропадает рационалистическая ограниченность контура, свойственная портрету классицизма.

Проблема света понята молодым романтиком Кипренским не как освещение (что характерно для позднего романтизма), а как абстрактная метафизическая сила. Лицо у Швальбе (отца Кипренского) не освещено, а внутренне светится.

Чрезвычайный интерес представляет альбом Кипренского, относящийся к 1807 году¹⁾. В нем наглядно проявляется творческий метод художника, его стилистические правки, эстетические и философские мысли, переданные в виде отрывочных записей, и т. д.

В альбоме, наряду с традиционными академически-выполненными композициями исторических и мифологических сюжетов, наличествуют простые, «бесхитростные» сельские виды (альбом сделан в деревне). Наброски крестьянок, крестьян, коров, баранов, наконец самостоятельная композиция, изображающая русскую деревню, подписанная 1807 г., говорит о творческом переломе у Кипренского. Его тема — интимное, «домашнее» настроение. Здесь нет уже переодетых барышень-крестьянок, которыми были наполнены «сельские виды» XVIII века. Наряду с этими реалистическими зарисовками попадают несколько идеализи-

¹⁾ Лен. отд. Центраархива. Архив министерства двора. Письмо датировано 1831 г.

¹⁾ Альбом находится в Русском музее, рисунки из альбома никогда не опубликовывались.

рованные и абстрактные лица, предназначенные для исторических и библейских композиций.

Даже в традиционную библейскую тему (жизнь Христа) Кипренский вносит новые существенные изменения, задолго до Ал. Иванова предвосхищая его поиски.

Действие в библейских сюжетах, как правило, развивается на фоне пейзажа. Пейзажем окутаны сцены в «Святом семействе», «Положении во гроб», «Поклонении волхвов» и пр. Библейские сюжеты чередуются в альбоме с зарисовками сельских видов. И это обстоятельство привлекает особое внимание, указывая, что в абстрактные образы героев Кипренский вносил существенные поправки, приближая действие к реалистическому раскрытию и тем нарушая принципы академии.

Не меньшим новаторством Кипренского является формальный прием компоновки фигур. Свобода в группировке людей, обобщенная характеристика образа, игнорирующая академическую «мускулатуру и драпировку», — все это идет вразрез с академическими традициями замкнутых и ограниченных композиций.

Особое внимание привлекает в альбоме Кипренского два раза повторяющаяся фигура юноши, мечтательно сидящего у пруда. Тема Кипренского — настроение. Нарочитая небрежность штриха свидетельствует не о «неряшливости выполнения», а о стилистических особенностях. Единым «впечатлением от природы» Кипренский желает исчерпать свою тему — показ пейзажа. В этих набросках Кипренский значительно реалистичнее в пейзаже, чем например в «Крестьянах» (1805 г.), с их абстрактно-динамическим фоном.

Мечтательный юноша Кипренского, смотрящий в пруд, может служить прекрасной иллюстрацией для стихотворения Жуковского «Вечер» (1806 г.).

Сию, задумавшись; в душе моей мечты,
К протекшим временам лечу воспоминанием...
О, дней моих весна! Как быстро скрылась ты.
С твоим блаженством и страданием.

Если альбом 1807 г. с подготовительными рисунками, не предназначенными

для опубликования, свидетельствовал о новых, более новаторских поисках, то блестящая группа портретов 1808 г., как например портрет Щербатовой, Щербатова, Томилова, Корсакова и др., обнаружила в Кипренском знатока современного ему английского искусства (в частности Ромнея и Лауренса). В официальный портрет князей Щербатовых Кипренский вносит известную долю интимности и эмоциональной окраски. Это уже не интимизация мечтательно улыбающихся и бездумно созерцающих женских образов Боровиковского, это в то же время не уточненно-рафинированная «простота» рокоотовских портретов. Уходя от парадно-декоративной трактовки образа «официального» лица (в данном случае Щербатовых), Кипренский акцентирует внимание на выражении лиц, он подчеркивает эмоциональное воздействие на зрителя, придавая цвету предельно интенсивный характер.

Однако поражает двойственное впечатление от этих портретов. С одной стороны, Кипренский как бы рвет с официальной портретной живописью, с другой — известная доля парадности, поэзы, включая сюда необходимые академические атрибуты (жолонна у Томилова), продолжает довлеть в его сознании. Эти портреты создали Кипренскому славу первоклассного европейского мастера.

Романтические установки Кипренского получают свое окончательное закрепление после поездки в 1809 году в Москву. С этого времени начинается новая творческая полоса, открывающаяся рядом портретов (Денис Давыдов, Растопчин, Прейс (рисунки) и др.); в них Кипренский окончательно преодолевает академические реминисценции.

«Денис Давыдов», «Челищев», «Прейс» и «Растопчин» уже содержат характерные для раннего романтизма лирически-интимные тона. Лиризм сочетался с известной героизацией. В этих портретах, полных внутренней психической динамики и выразительности, нет еще той обреченности, пассивно-созерцательной бездеятельности, которыми были насыщены образы Кипренского 20-х годов. И Челищев, и Давыдов выполнены с расче-

том на эмоциональную насыщенность человеческого образа. Но эмоциональность раннего романтизма сочеталась с волевым напряженностью, — отсюда впечатление известной героизации образа. Кипренский смело рвет с академическими традициями. Его «живые люди», полные решительных чувств и поступков, преодолели и парадно-декоративную характеристику портретов Левицкого, и утонченный сенсуализм Рокотова. Интерес к проблеме «живого человека» подчеркивался тем, что Кипренский в ранний период обычно укрупнял лицо, фигура всегда помещалась на первом плане. Небрежная поза Давыдова как бы бросала вызов театрализованной схеме академического портрета.

И в «Челищеве» (1808 г.), и в «Давыдове» (1809 г.) проблема человеческого образа решена синтетически-обобщенно. Окружение не интересует Кипренского («Челищев»). Вместе с тем поиски живого, реального человека сочетаются у Кипренского с известной нарочитостью, с «вызывающей позой», с абстрактно-романтизированным пейзажем («Давыдов»). Природа — еще фон, условное дополнение. «Черное и белое» романтической эстетики понято им как эффект, как условность, а не как результат изучения световых нюансов, преломления цвета сквозь свет. Динамика красного мундира и белых лосин в «Давыдове», желтого, синего и белого в «Челищеве» дана в плане эффектного, красочного пятна, а не является результатом изучения реальных соотношений света и цвета в природе.

Кипренский рвет с академической системой иллюминирования формы, но цвет понимается им еще абстрактно, как символика. В его портретах уже подчеркивается нарочитая небрежность, эскизность мазка. «Краска — не материя, — утверждал немецкий романтик Рунге, — а деятельная сила природы». Август Шлегель, представитель романтизма в теории, говорил, что «очертание — рисунок должен быть слегка лишь намечен». Именно так решал проблему формы русский романтик Кипренский. Форма лишалась четких рационалистических очертаний («рисунок слегка лишь на-

мечен»), форму определяла живописная масса. В портрете Прейс (рисунок) Кипренский простым изломанным штрихом, проведенным мелом, дал представление брошенных на стол ниток. Этот прием конечно был смелым новаторством в живописной технике начала XIX века.

Новаторство внес Кипренский в традиционный академический этюд «Распятие» с двумя обнаженными фигурами. Вместо обычной академической штудировки мускулатуры, которой Кипренский владел в совершенстве (об этом говорили его ранние академические «натурщики»), он внес романтическую «бурю и натиск». Формальные приемы — низкий горизонт, в силу которого фигуры как бы попадают в облака, — содействуют характерной для раннего романтизма героизации личности. Все «романтические компоненты» здесь налицо: и обломанное дерево, и хмурое небо, и взметнувшиеся как бы от ветра волосы персонажей. Для Кипренского («московского периода») характерен сочетающийся с индивидуализмом оптимизм настроения. Его персонажи всегда приподнято-веселы, полны надежд, смотрят решительно в будущее. Даже в портрете Прейс, при известной небрежности позы (то же у Давыдова), бодрость и жизнерадостность бьют живым ключом.

Характеристику романтического лиризма (в его радикальной интерпретации) блестяще обрисовал Н. Полевой: «Лиризм потому столь силен в наше время, — писал он, — что мы начинаем новый период, а в начале новой жизни всегда дух человека изливается в лирическом пении»¹⁾.

Творчество Кипренского к концу первого десятилетия XIX века совпадает с подъемом национализма и патриотизма, характеризовавшим эпоху так называемой Отечественной войны. Патриотическими настроениями охвачены были разные слои общества, хотя причины, их породившие, были различны. Важнейшим событием социально-экономического

¹⁾ Н. Полевой. Собр. соч. Изд. 1839 г. «Очерки рус. литературы», ст. о «Борисе Годунове» Пушкина, стр. 156.

порядка в эту эпоху была континентальная блокада. Континентальная блокада разоряла помещичье хозяйство, она лишила его рынка сбыта, вместе с тем континентальная блокада была важнейшим фактором в развитии русской промышленности.

Тильзитский мир значительно изменил соотношение социальных сил России. Он содействовал развитию русского «отечественного» капитала, одновременно помогая росту «общественного сознания» буржуазии. Вместе с тем он вызвал резкую оппозицию со стороны крепостников-феодалов, ущемленных в своем экономическом благополучии. По мере развития войны удельный вес реакционных групп дворянства возрастал все больше и больше. Уже в 1810 г. Александр I, по выражению Покровского, вынужден был капитулировать перед этой силой. К этому времени относится отставка Сперанского.

Период 1812 — 1814 гг. совпадает у Кипренского с ростом «народных тем». Все чаще и чаще появляются в его рисунках типы крестьянских мальчиков, крестьянок в кокошниках, уличных типов и пр., не говоря уже об известном «Крестьянине с кружкой кваса». Но крестьянские типы Кипренского разрешены не этнографически, как это имело место в академической практике, а в плане поисков реального, живого человека. Эти тенденции к углублению психологической трактовки особенно сказываются в многочисленных рисунках-портретах этого времени. Кипренский оставил целую галерею современных ему писателей, людей науки и т. п. Здесь и будущий декабрист Н. Муравьев, и Жуковский, и Батюшков, и Козлов, и Крылов, и др. Портреты этого времени поражают глубиной характеристики. Кипренский делается значительно «сдержаннее» в передаче человеческого образа. У него меньше эффекта, меньше нарочитой позировки, меньше бури и натиска, которые были в период 1808 — 1809 гг.

Его портреты становятся психологически углубленнее и реалистичнее. Вместе с тем они приобретают характер простоты и естественности.

Стремясь к углубленно-психологиче-

ской характеристике лица, Кипренский подчеркивает в изображаемом не «красивое, а характерное» (основной лозунг романтической эстетики). В портрете Оленина он выявляет сутулость, горбатый нос, в портрете Крылова — тучность, одутловатость, в портрете Салтыкова — старчески отвисший подбородок и т. д.

Проблема портрета решается Кипренским в этот период как проблема внешне запятой позы — «моментального снимка». Отсюда предельная эскизность в его рисунках. Главный упор — на психологическую выразительность модели. Лицо всегда оживлено. Кипренский обобщает образ модели, но вместе с тем сохраняет индивидуальные особенности. «Кипренский счастливо передает каждому портрету что-нибудь особенное» — писали о нем в «Отечественных записках»¹⁾.

Портреты Кипренского этого периода поражают предельной простотой характеристики, достигая в то же время необычайной психологической выразительности. Они меньше аффективированы, в них отсутствует то жеманство, которое было в известной мере у «Дениса Давыдова», у «Прейса», у «Мосолова». Интимность и простота, стремление передать образ человека в предельной психологической выразительности с особенной силой сказывается в блестящих портретах Хвостовых (1814 г.).

Портреты Хвостовых и портрет Жуковского (1815 г.) — вершина портретов-интим, созданных Орестом Кипренским во втором десятилетии XIX века.

Портреты Хвостовых привлекают внимание своей внутренней собранностью, своей насыщенной психологической выразительностью, сочетающейся с простотой и лаконичностью изобразительных средств.

Кипренский ищет сходства не во внешней эмпирически-ограниченной передаче деталей. Сходство Кипренского идет в плане психологической выразительности.

Кипренский, как романтик, передает не рационалистически осязаемую внеш-

¹⁾ «Отечественные записки», 1824 г., ст. Федорова.

ность предмета, а его внутреннюю, «духовную» сущность, — отсюда акцентировка в его творческом методе на эмоциональное воздействие. Поэты персонажей всегда интимны, руки как бы небрежно положены. Функцию цвета Кипренский сводит не к локальной окраске, а к синтетически-эмоциональному воздействию. Единным цветом характеризует он образ человека. Его мазок предельно насыщен, всю красочность своей палитры он сосредоточивает на лице (таковы лица Жуковского и Хвостова).

Стремление к психологически-углубленному раскрытию человеческого образа вызывает у Кипренского интерес к Рембрандту, — он копирует его гравюры. Если в литературе знаменем романтизма стал Шекспир, то в области живописи вниманием художников-романтиков, естественно, привлёк Рембрандт.

После 1812 г. начинается существенный перелом в творчестве Кипренского. Этот перелом не случайно совпадает с датой 1812 г.

1812 г. был отправным пунктом оппозиции буржуазных и придавленных крупной земельной знатью мелкодворянских слоев. В оппозицию к существующему феодальному правительству встали предпринимательские слои дворянства, сознавшие, что необходимо реконструировать основу крепостнического хозяйства. Вопрос упирался в институт крепостного права.

Общественное движение сказалось в усилённой организации тайных обществ. Одно за другим следовали эти тайные общества, начиная с «Ордена русских рыцарей», носящего ещё аристократический характер, продолжая «Союзом спасения», превращенным скоро в «Союз благоденствия», и кончая выделившимися из него «Южным обществом» и «Северным обществом».

В 1816 году Кипренский уезжает в Италию. Италия для русских художников была не только «колыбелью искусства», в которой художники могли непосредственно изучать памятники прошлого. Италия не была также только интернациональным центром, где собирались художники всех стран, у которых мож-

но было кой-чему поучиться. Для переломных художников России первой половины XIX века Италия означала прежде всего свободу творческих поисков, свободу выбора заказчика и наконец долгожданную свободу от академической затхлости, с ее постоянными интригами и низкопоклонством. Вот почему, попадая в Италию, русские художники так неохотно возвращались домой, прибегая к всевозможным уловкам, чтобы не возвратиться в «любезное отечество». Некоторые умирали в Италии (Матвеев, С. Щедрин). Другие, вернувшись в Россию, спешили вновь уехать в далекую от академии Италию, чтобы больше не возвращаться (Кипренский, Брюллов), третьи, вернувшись, погибали (А. Иванов).

«Но что может утешить его (художника. — Э. А.) на пути возвратном (из Италии — Э. А.)? Он одной только мыслью веселит себя, строя наперед уже планы, что при первом свободном времени опять возвратится под сие счастливое небо. И там будет жить только для искусства» — писал Кошанский в «Сыне отечества»¹⁾.

Совершая далекое путешествие, Кипренский изучает не только памятники искусства в немецких, швейцарских и итальянских музеях. Он с особым вниманием присматривается к социальным отношениям страны. Конечно, в официальных донесениях Академии художеств он характеризует себя верно-подданным патриотом России. Он стоит на либерально-просветительной точке зрения, сводящейся к сохранению существующих устоев. «Женева не даром славится просвещением, — пишет Кипренский президенту академии Оленину. — Правительство весьма надзирает за воспитанием нравов, оно знает, что за пренебрежением нравов следует, само собой, пренебрежение законов, а потом и величайшее несчастье, иногда неуважение властей». «Италия дорогой ценой покупала республику, — пишет он из Рима, — она до сих пор дурачеств своих не может забыть... но люди несовершенны, ча-

¹⁾ «Сын отечества», 1818 г., «Образование художника».

сто не ведают, что творят»¹). Конечно, в самом начале путешествия Кипренский еще не стал официально в оппозицию к существующим феодальным устоям Академии художеств. Однако уже в Касселе его внимание привлекает Дюмон, друг и популяризатор Бентама. «Написал я портрет... Дюмона, — рапортует Кипренский, — которого представил ораторствующим, как обыкновенно женеццы привыкли видеть его в совете... все это выставлено было в экспозиции в Женеве»²).

Приехав в Италию, Кипренский жадно бросился изучать мастеров прошлого. Рафаэль и Леонардо да Винчи привлекают его внимание. «При виде творений гениев, — пишет Кипренский Оленину, — рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

Творческий метод Кипренского начинает меняться. В первые два года по приезде в Италию он усиленно занимается Рафаэлем. В это время Кипренский задумывает написать большую картину «Аполлон, повергающий Пифона». Мифологизированный сюжет Кипренский предполагал раскрыть в национально-патриотическом плане, понимая его как «Торжество России».

Для понимания его либерально-просветительных тенденций в духе «исправления нравов» без нарушения законов особое значение приобретает рисунок на тему «Вольность, несомая химерою» и рисунок «Лепко снять узду с коня, а надеть трудно». Уже одни названия этих набросков говорят о политических воззрениях Кипренского в этот ранний «итальянский период».

Увлечение Рафаэлем в этот первый итальянский период сказалось в целом ряде рисунков, как бы повторяющих композиции старого мастера.

В подготовительных рабочих рисунках, не предназначенных для опубликования, лучше всего вскрывается ход

творческой работы художника. Если сравнить альбомы Кипренского двух периодов: первый — до 1810 г. и второй — 1817—1819 гг.¹), то различие «манер» Кипренского встает с особенной отчетливостью. Контурность и строгая линейность второго периода противопоставлена живописности первого. Влияние античных барельефов сказывается в увлечении Кипренского показывать линии тела оквозь складки платья. Изучение Рафаэля, а след за Рафаэлем и Энгра (портрет Щербатовой) оказало сильнейшее влияние на дальнейший путь развития Кипренского. Но очень быстро, уже в 1819 году, он вновь возвращается к Рембрандту («Автопортрет с трубкой», рисунок). К 1818 году относится увлечение Леонардо. К Леонардо близки «Цыганка», «Автопортрет» (масло) и пр.

Рафаэль и Рембрандт, Рафаэль и Леонардо да Винчи как бы символизируют борьбу, происходящую в творческих поисках Кипренского. Впоследствии современная печать жестоко нападала на Кипренского за «подделку» под старых мастеров.

В 1819 году Кипренский создает портрет Голицына, А. М., портрет неизвестной (сангина, Русский музей) и др. В них намечается тот перелом, который был характерен для развития романтизма в целом. На этом этапе в портрете уже не одно лицо привлекает внимание художника, а вся фигура в целом. Портрет Голицына является одной из первых попыток в русском искусстве по-новому решить раскрытие человеческого образа. Все больше и больше получает место пейзаж в портрете. Пейзаж уже не фон («Давыдов»), а то естественное окружение, в котором пребывает и через которое проявляется «душа» человека. Образ человека открывается через природу. Уже не человек довлеет над пространством, а пространство поглощает и как бы растворяет человека. Человек — трамплин, через который зритель попадает в природу. Личное, индивидуальное растворяется в космосе. От «становления»

¹) Рукописный отдел Публичной библиотеки, им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. «Донесение Кипренского». Часть была опубликована Врангелем.

²) «Сын отечества». 1817 г. «Рапорт Кипренского».

¹) Оба в отделе рисунков Русского музея.

от бурности и динамичности Кипренский приходит к «бытию». Космическая созерцательность — такова основная черта его портретов. Портрет становится картиной. Настроение Кипренский создает уже не одним движением и порывом фигуры, а всем окружением.

Уделяя внимание «окружению», Кипренский уже более детально описывает антураж. (Так, в портрете Голицына четко вырисовывается контур собора Петра). Обстановка, в которой находится портретируемый, получает предметную характеристику, которую ранее отрицал Кипренский. Все большее и большее значение получают линия, контур, четкость и определенность форм. Вместе с тем былая динамика цвета получает более приглушенный тон, цвет приобретает локальную окраску.

До поездки в Петербург Кипренский экспонировал свои картины на Парижской выставке 1822 г.

К началу 20-х годов Кипренский приобрел широкую известность в Европе, как мастер, владевший в совершенстве своим живописным ремеслом. Тем не менее в России Кипренского после приезда (1823 г.) встретили холодно.

Причины плохого приема Кипренского в России, равно как и охлаждение к нему русских художников, живших в Италии, обычно сводили (в частности Врангель) к «темной истории», связанной с насильственной смертью натурщицы. Однако, если даже допустить правдоподобность этой версии, она не может исчерпать полностью причину плохого приема Кипренского в России.

В правительственных кругах Кипренскому стали не доверять, подозревая его в левых политических убеждениях. В 1820 г. прокатилась волна революционного движения по всей Европе. Италия стала местом, куда съезжались революционеры-эмигранты. В 1817 г. произошло восстание немецких студентов, в 1819 г. — убийство Коцебу. Начавшиеся репрессии, в которых принимал участие и Александр I, помогавший словом и делом (т.-е. деньгами) Меттерниху, заставили всех революционеров искать в Италии убежища. «Немецкий студент» стал символом анархии и безбожия в

глазах русского правительства. Русскому посланнику в Италии Италинскому был дан строгий приказ следить за поведением русских художников. Италинский слал донесения министру иностранных дел Нессельроде, который в свою очередь доносил Александру I о поведении русских художников во время революционных событий в Италии. За «примерное» поведение во время революции был увеличен пенсioen некоторым русским художникам (Щедрину, Гальбергу, Крылову). Об одном лишь Кипренском посол Италинский не мог послать удовлетворительной характеристики (об этом подробно рассказывает Сильвестр Щедрин в письме к Гальбергу: «Президент (Оленин.—Э. А.) еще получил вторично письмо от А. Я. Италинского, где опять восхвалял сколько возможно, и президент опять читал оное государю, но, между прочим и между нами, министр, писавший к президенту разные похвалы об нас, упомянул так, «что об Кипренском он этих похвал не может сказать»¹⁾). Похвалы, расточаемые министром русским художникам, заключались в том, что они «не знали с немецкими студентами» и не участвовали, подобно им, в «политических событиях». Только лишь о Кипренском министр не нашел возможным сказать «похвальное слово».

В 1823 году Кипренский приехал в Россию; это было время жестокой реакции, аракчеевщины, «правительственной мистики», власти Фотия и пр. Это было вместе с тем время революционной подготовки декабристов. Академия еще не опомнилась от постигшего ее «несчастья» 1822 года. В 1822 г. на торжественном заседании академии были предложены в почетные члены академии Аракчеев и Гурьев. Лабзин возмущенно предложил наряду с этими чиновными лицами сделать членом академии кучера Александра I — Илью. За подобную вольность Лабзин пострадал ссылкой, а президенту Оленину было сделано соответствующее внушение. Кипренский топал как-раз в тот период

¹⁾ Письмо датировано 1820 г., не опубликовано.

академической жизни, когда всякое «либеральное» слово считалось государственной изменой.

После революционных событий в Италии, после знакомства с буржуазным строем Франции, республиканской формой правления в Швейцарии, после знакомства с революционерами, студентами Германии, Кипренский попал в феодально-крепостническую Россию и в ее художественную цитадель — Академию художеств. В Академии художеств Кипренского встретили холодно. Его политическая репутация, несмотря на громкую славу художника, заставила академиков от него отвернуться. Кипренский, как большой художник, не мог остаться равнодушным к окружающей обстановке. Он начинает иронизировать над «любезным отечеством» и Академией художеств. Пробыв всего лишь год на родине, он пишет Гальбергу: «Совет мой крепко в душе своей держите, что лучше холодные камни дешево продавать (Гальберг был скульптор), нежели самому замерзнуть на любезной родине. Честь отечеству можно делать везде». Боясь цензуры, он прибегает к аллегорической форме, повторяя Гальбергу и в 1825 году, что «все не советуют вам путешествия на Север. Коротко и ясно» — обрывает Кипренский¹). Жестоким критиком подвергает он Академию художеств. Все письма Кипренского этого периода дышат ненавистью к рутинерству академии. Он пишет о том, что не верил рассказам Гальберга о «превращении» академии, «но глазам своим доверился. Все там в малом виде»²). «Академия здесь заплесневела Олениным или от Оленина» — иронизирует он в другом письме.

«Менее всего надейтесь на академию, здесь талантов совсем не надобно» — доказывает он в третьем письме³). Кипренский возмущается, что всякий передовой, прогрессивный в своих творческих поисках художник должен обращаться к суду рутинеров-академиков.

«Вот, Самуил Иванович, — пишет он Гальбергу, — без президента и без старого хрена (речь шла об инспекторе академии) можно очнуться, коли дело покажете народному суждению».

На официальной трехгодичной выставке (1824 г.) академия предоставила Кипренскому целую залу, однако в кулуарах вела усиленную агитацию против художника, доказывая, что Кипренский растерял свой талант.

Неуспех Кипренского в «высших кругах» академики пытались объяснить особенностями характера художника. Передававший академические сплетни Ф. Брюллов писал своим братьям в Рим, что Кипренскому «отказали... во многих домах» и, что «император оставил без всякого внимания» лентя Кипренского¹).

В то время как рутинеры из академии устраивали Кипренскому obstruction, передовая печать России — «Сев. цветы», «Московский телеграф» — всячески его восхваляла.

В 20-х годах Кипренский создал ряд портретов, которые существенным образом отличались от его раннего творчества. Голицын как бы открыл начало нового портретного жанра. Альбрехт, Шишмарев (А. Ф.), Авдулина, Томилов, «Бедная Лиза», Пушкин, Трубецкой его завершили. На всех портретах этого времени лежит печать грусти, обреченности и безволия, лишь небольшое исключение составляют «Марриюча», «Телешова». Бурный оптимистический романтизм Кипренского, героизация человеческой личности сменяются тихой созерцательностью и мечтой об «идеальной жизни». Кипренский стремится более глубоко подойти к проблеме человека, раскрыть ее во всех связях и опосредствованиях, но вместе с тем во время реакции «уходит» от жизни в область мечтаний, погружая свои персонажи в космическую грусть о минувшей или будущей «идеальной жизни». Романтизм Кипренского приобретает пессимистический характер. Это — глубокая идейная разочарованность, но вместе с

¹) Архив. Русский музей. Письмо Кипренского Гальбергу, 1825 г.

²) Письмо 1824 г.

³) Письмо 1825 г.

¹) Архив Брюлловых, изд. Кубасовых, стр. 25 и 30.



О. А. Кипренский.—Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

тем это — своеобразный протест против окружающей жизни.

Протест Кипренского против аракчеевской России выливается в пассивный уход от жизни, в противопоставление ей тихой и безмятежной жизни природы.

Стремясь к передаче максимального опосредствования человека и окружающей среды, Кипренский значительно отходит от первых методов синтетически-обобщенного образа человека. Окружающая обстановка (например пейзаж) получает свою более конкретную, предметную, а потому и более реальную характеристику. Мрачно клубящиеся облака в портрете Давыдова носили в большей мере условно-символический, чем чувственно-эмпирический характер. Иное в портретах Альбрехта, Шишмарева, Авдулиной. Фон — это уже реальная, конкретная обстановка, получающая свое предметно-сюжетное раскрытие. Так, в портрете Шишмарева фон — не просто абстрактный пейзаж, а поле, на котором работают крестьяне.

Проблема портрета сводится у Кипренского этого периода (20-е годы) не к передаче одной лишь внешней экспрес-

сии, не «мгновения», а эмпирического «бытия». От портрета-«момента» Кипренский переходит к портрету-рассказу, к портрету-картине. Вместе с тем его портреты получают социально-эмпирическую характеристику.

В портретах Кипренского этого периода поражает как бы большая законченность, выписанность деталей, которая так резко противопоставляется «эскизности» его раннего периода. Эту особенность творческого метода Кипренского отмечала современная печать. Кипренского в один голос хвалят за «оконченность отделки». «Достоинство ее («Ваханки»), — писал «Журнал изящных искусств» о Кипренском, — заключается в... такой отчетливости в отделке, что нет равного примера»¹). «Оконченность портретов Кипренского, — писал Кукольник, — всегда поражала терпением и знанием художника»²).

Тенденции к реалистической социально-конкретной характеристике были влечением не одного Кипренского. В 20-х годах романтизм сделал существенный шаг вперед по пути реалистического отражения внешнего мира. В эстетике это сказалось в переходе от субъективизма Фихте к «натурфилософии» Шеллинга.

Наряду с тенденциями к аналитическому восприятию мира у Кипренского начинает преобладать рационалистическая сторона творчества. Внешний мир в интерпретации Кипренского получает большую акцентировку в предметной характеристике. Это отнюдь не значит, что Кипренский стал ограниченным эмпириком. Романтики так же, как и классики, боролись с натурализмом, т. е. с ограниченно-эмпирическим восприятием внешнего мира. Но если у классиков эта борьба проходила с позиций нормативизма и догматизма, то романтики свою борьбу с натурализмом вели на основе философского осмысливания явлений природы. Не случайно «идея» играла столь большую роль в эстетике романтиков. «Будьте поще на подробности житейского быта, — поучал

¹) «Журнал изящных искусств», 1823 г.

²) «Художественная газета», 1836 г.

своих современников, со свойственным ему остроумием, Марлинский, — и всего более не волочите их на аркане в ремонт свой. Пусть они будут попутчики ваши, а не колодники ваши»¹⁾. Натурфилософская основа романтизма 20-х годов (о близости Кипренского в 20-х годах к немецким романтикам указывала вся без исключения современная печать) приближала творческий метод Кипренского к реалистическому раскрытию объекта. Это сказывается и на проблеме света и тени, цвета и рисунка в творчестве Кипренского. Человек и предметы окружающей природы получают локальную характеристику и четкий контур, однако локальная характеристика раскрыта Кипренским не как расцветка, а как реально-эмпирическое свойство предмета.

Творческие поиски Кипренского идут и в области светотени. Свет как бы распространился по всей композиции, его функции свелись к реальной организующей силе.

Пространство в портретах Кипренского 20-х годов стало глубже. В нем персонажам как бы стало просторнее. Глаз проникал все в большую и большую глубину. Поиски светотени в его реалистической интерпретации создали «даль» в портрете. Если у ранних романтиков действие разыгрывалось на первом плане, то у романтиков 20-х годов пространство «поглощило» в себе человека. От человека первого плана глаз постепенно переходил к «дали», как бы погружаясь в бесконечность.

Необходимо отметить ту исключительную роль, которую играл рисунок в творчестве Кипренского. Для академической школы рисунок был чем-то вроде подготовительной работы, которая не подлежала опубликованию. Для Кипренского рисунок имел значение не менее важное, чем масляная картина. Рисунок, рассчитанный на более интимное обслуживание, разрешал, естественно, большую свободу в интерпретации человеческого образа. Неслучайно рисунок как для Кипренского, так и для Орловского стал одним из ведущих видов искус-



О. А. Кипренский. — «Альбрехт». 1827 г.

ства. Для уяснения творческого метода Кипренского необходимо учесть и его работы в области литографии. Тенденции к «демократизации» самого материала художественной работы особенно сказались в отношении к глине и к мрамору, который условно можно сравнить с рисунком и маслом: «Здесь многие думают, — писал из Петербурга Кипренский, — что из глины модельщики работают, а из мрамора уже скульптор выхлопотывает»¹⁾.

«Любезное отечество», с его разгулом мрачной реакции, в разгар которой попал Кипренский (1823—1828), не могло привлечь художника. Кипренский вновь возвращается в Италию. Он уехал с тем, чтобы более не возвратиться. Его обошли не только при награждении, но не дали и правительственных заказов. После смерти Кипренского его вдова усиленно хлопотала о получении денег с заказчиков, хлопоты остались почти безрезультатными.

¹⁾ Архив Русского музея. Письмо Гальбергу. 1824 г.

¹⁾ Марлинский, т. XI, стр. 347.

В годы старческого ослабления Кипренский пишет письмо Волконскому, министру двора, в ведении которого находилась Академия художеств, доказывая, что «в течение двадцатипятилетнего царствования благословенного Александра» он... «не имел ни самонаименованного пособия от государя»¹⁾.

Обиженный двором, встретив полное равнодушие со стороны академии, Кипренский решает написать одновременно с письмом к Волконскому и Бенкендорфу письмо Николаю I. В этом чрезвычайно интересном для истории взаимоотношений Николая I и русских художников письме вскрывается судьба гонимого Кипренского, заброшенного и забытого официальной художественной общественностью. «Нет у меня иных меценатов, — пишет Кипренский Николаю I, — кроме постоянства и твердости в исполнении моих обязанностей, служа всегда с честью отечеству богом мне данным талантом»²⁾. Талант Кипренского не мог быть оценен официальной властью «по достоинству». В 20-х и 30-х годах политическая репутация Кипренского была «испорчена» в глазах Александра I и Николая I. Его указания на долголетнюю работу в Академии художеств остались бесплодными. (Кипренский, как и Орловский, числился в академии, но не был на действительной службе.) Свой «неуспех» Кипренский объясняет простой завистью русских академиков, не учитывая, что вся идейно-художественная платформа Академии художеств шла в принципиально ином плане.

«С 1804 по 1828 год, — жалуется Кипренский Николаю I, — во все публичные экспозиции в императорской Академии художеств, прилежание и труды мои сами рекомендовались России, которой столько времени я служил и служу бескорыстно...» «Возвратившись оттуда (в 1823 г. из Италии. — Э. А.), был завистью посланный, врагами покрыт несколько тенью, с презрением не замечая зависти, твердою ногою я всегда шел впереди, зная, что время — или рано, или поздно — всегда открывает истину».

¹⁾ Лен. отд. Центраархива. Архив министерства двора. Письмо датировано 1831 г.

²⁾ Письмо Николаю I, датировано 1831 г.

Больной, усталый, игнорируемый официальной общественностью, он не теряет надежды на получение пособия. Пособие, которое просил Кипренский, заключалось не в простой подачке, а в покупке его художественного собрания. На свою печальную судьбу он жалуется шефу жандармов Бенкендорфу, которому поручил передать письмо Николаю I.

«Кажется, видимо, я тружусь, да тружусь, да еще и для славы России, а от крупии, падающих из России, нет мне ни малейшей крохи». «Очень многие младше меня, — пишет Кипренский Николаю I, — откровенно говоря, не дойдут при старости до той степени в искусстве живописи, каков я был еще и в первой молодости, а уже украшены знаками отличия... то св. Владимира, а иной св. Анну».

Это были не простые жалобы, не зависть Кипренского к служебным успехам товарищей по академии, это было то негодование большого мастера, который, надеясь на торжество «истины», шел вразрез с академическими установками. Вот почему Александр Иванов, которому понятен и близок был путь оппозиционера-художника, возмущался незаслуженно печальной судьбой большого мастера Кипренского: «Знаменитый Кипренский умер, — писал Ал. Иванов своему отцу, — он первый вынес русское имя в известность Европе, а русские его всю жизнь считали сумасшедшим, старались искать в его поступках только одну безнравственность, прибавляя к ней кому что хотелось. Кипренский не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это потому только, что был слишком благороден и горд, чтобы искать этого»¹⁾.

Творческий облик Кипренского в последние годы его жизни (с 1830 г. по 1836 г.) претерпел вновь существенные изменения. Эволюция Кипренского шла по общему романтическому пути.

К годам Июльской революции во Франции, польского восстания, т.е. нового подъема буржуазного движения, романтики под давлением нового течения в искусстве — реализма — должны были либо стать на сторону консервативных

¹⁾ Письмо Ал. Иванова отцу, 1836 г. Изд. Боткина.

кругов (в одном крыле), либо пересмотреть свои старые установки и прикнудить к новому, прогрессивному движению. Кипренский колебался. Но колебание, как мы увидим ниже, не мешало создать Кипренскому за несколько лет до своей смерти одну из наиболее радикальных картин в русском

и стилистические приемы. Начинают как бы светлеть самые холсты, теряя черноту и мрачность красок 20-х годов. Человек — уже не мимолетное явление в природе, а эмпирически существующая данность, он уже не растворяется в окружающем пространстве, а лепится четкими плоскостями, получая почти



О. А. Кипренский. — «Читатели газеты». 1831 г.

искусстве первой трети XIX века — «Читатели газеты». Колебания Кипренского сказались в том увлечении «брюлловщиной», которой он отдал известную дань, создав своего «Ладзарони», «Девочку с плодами» и пр.

Феерия и бутафория «Последнего дня Помпеи» стали символом новых поисков академии, хотя независимо от картины Брюллова Кипренский еще в 1828 г. задумал свою «Сибиллу Тибуртинскую», окончательно выполнив ее в 1830 г. «Брюлловщина» сказалась и в пейзаже «Вид Везувия с моря» и пр. Соответственно с новыми художественными поисками Кипренского меняются

скульптурную, т.-е. трехмерную, характеристику. От космически обобщенного восприятия он приходит к аналитически-эмпирическому утверждению внешнего мира. Жанровость Кипренского последнего периода тесно соприкасалась с тем новым, раз'едающим старую систему академии, течение, которому она сначала сопротивлялась (т.-е. *tableau de genre*).

«Библиотека для чтения», поддерживавшая теории консервативного крыла романтиков, возмущалась подобной вульгаризацией, т.-е. жанризацией портретов, в творчестве Кипренского. «Говорить ли здесь о двух портретах Кипренского? Это скорее 2 «*tableau de genre*», две

картины частного рода. Вы спросите — какого же частного рода? Мы скажем — гнилого рода¹⁾.

Особенно ругали картину Кипренского «Читатели газеты». Эту картину русское искусствознание, в лице эстетов Врангеля и Бенуа, зачислило в разряд неудачных картин, характеризующих полный распад художника. На самом деле игнорировали «Читателей газеты» потому, что она насыщена радикальным содержанием.

Между тем радикальное содержание «Читателей газеты» сочетается у Кипренского с высоким художественным мастерством.

Польское восстание, кончившееся полным поражением (Николай I лишил поляков конституции), не могло не взволновать русских революционеров. Вест о взятии николаевскими войсками Варшавы, т.-е. центра повстанцев, глубоко потрясла и опечалила как польских, так и русских революционеров. Тема Кипренского и заключалась в том, чтобы передать ту психологическую реакцию, которую вызвала у польских националистов весть о падении Варшавы. Симпатии Кипренского к «мятежу» в Польше проявились достаточно определенно и ярко в картине «Читатели газеты»²⁾. Русский романтик Кипренский не мог не сочувствовать польским повстанцам. Кипренский, всю свою жизнь связавший с движением романтизма, хотя и не стоял на той крайне революционной платформе, которой придерживался другой романтик, Орловский, все же всегда увязывал свои идейно-художественные искания с радикализмом дворянской интеллигенции. Не связанный организационно с декабризмом, он всей своей деятельностью выражал прогрессивные идеи дворянской радикальной интеллигенции. Почти одновременно с Кипренским русский художник Чернецов воспел доблесть русского войска, подавившего «мятеж в Польше».

В 1831 г. Кипренский в письме к Николаю I писал: «Может быть, тогда

(т.-е. по возвращении в Россию) буду иметь счастье и удостоюсь передать потомству образ Свободителя России от внутренних, зараженных химерической болезнью, врагов и внешних дерзновенных неприятелей славной России».

Кого подразумевал в 1831 г. Кипренский под «внутренними» врагами, зараженными «химерами» после декабристского движения и польского восстания, не трудно понять. «Свободитель» Николай I однако не очень доверялся Кипренскому. Через Академию художеств, он требовал напомнить Кипренскому, что срок возвращения в Россию давно истек и что пора вернуться в «любезное отечество». Унизившись до позорных заверений в политической благонадежности, Кипренский однако не только не собирался вернуться в Россию (чтобы замерзнуть в любезном отечестве), но написал одну из лучших картин, в которой наиболее полно выражен был его радикализм, — «Читатели газеты», или «Русские путешественники» (как ее называла академия). Картина произвела сильное впечатление на современников. Об этом Кипренскому писал даже конференц-секретарь Академии художеств. Описывая выставку академии, Григорович писал: «Картины ваши и в особенности «Путешественники» восхищали зрителей, стечение коих было необыкновенно¹⁾. Так «народное суждение», к которому обращался Кипренский, прорвало феодальную косность суждений академии.

Создавая почти одновременно две «романтические» картины — «Сибиллу Тибуртинскую» и «Читателей газеты», Кипренский принципиально иначе решает проблему художественной формы. Решающим и определяющим стилистические поиски Кипренского в этих двух произведениях был тот идейный замысел, то общественное содержание, которое вложил Кипренский в оба своих творения. Если «Сибилла» была выполнена по всем правилам «академического романтизма», с установкой на внешний эффект (двойное освещение, аффектация позы и пр.), то в «Читателях газе-

¹⁾ «Библиотека для чтения». 1836 г.

²⁾ Есть предположение, что в картине изображены А. Потоцкий, А. Одинец, А. Мицкевич и С. Красинский.

¹⁾ Лен. отд. Центрархива. Архив Академии художеств. Письмо датировано 1833 г.

ты» романтические методы шли в сторону реалистического познания действительности.

В «Читателях газеты» Кипренский окончательно отрешился от той обреченности и пассивной созерцательности, которой были проникнуты его картины 20-х годов. Радикальное содержание «Читателей газеты» не могло не нарушить основ пессимизма и обреченности, которые царили в портретах Кипренского в эпоху реакции. Картина стала ярче и живописнее. Вместе с тем групповой портрет растворился в жанре. Однако жанровость «Читателей газеты» принципиально иная, нежели жанровость «Ладзарони» («Ладзарони» был следствием колебания Кипренского). В «Читателях газеты» нет развлекательности и эффектной украшения.

В «Читателях газеты» необычайно выразительно передано то напряжение, с которым слушает весть о падении Варшавы фигура в желтом колпаке¹). На ней сосредоточено главное внимание художника. На ней он развернул все свое живописное мастерство. Желтый цвет колпака, мягкая переливчатость полосатого халата, говорят о богатстве живописной палитры Кипренского, несмотря на

то, что ее «похоронили» биографы Кипренского. Концентрируя все внимание на левой фигуре, наделяя ее наибольшей психологической выразительностью, Кипренский, как истый романтик, символизирует настроение своего героя «природой», в данном случае дымящимся Везувием.

Вне учета этой картины Кипренского нельзя понять сложный, часто извилистый и изменчивый путь мастера, которого обычно изображали как человека старчески обесиленного, эклектически сочетавшего различные художественные пути. Трагедия отверженного Кипренского, вечно ищущего и мятежного, лучше всего вскрывается в его «Автопортрете», относящемся к последним годам жизни. В этом автопортрете, почти символизирующем вызов официально-парадной живописи академики, сконцентрирована вся страстность художника, не желавшего итти на смычку с феодальной академией, бросавшего ей вызов и потому бесславно погибшего.

Огромный художественный талант и радикализм мировоззрения Кипренского делают его творчество важным фактом для наследования всех положительных сторон его произведений.

5. ВЫСТАВКА КАРТИН П. П. СОКОЛОВА-СКАЛЯ

Ал. Зотов

При первом же взгляде на выставку Соколова-Скаля перед глазами развертываются многокрасочные картины кипящей «революционной романтики».

Скаля не принадлежал к художникам, для которых дела и люди нашей революции представлялись «сюжетной мотивировкой», для решения узких и абстрактных живописных проблем. Особенность его творческого пути в том, что в течение последних 10 лет он неустанно захватывает огромные и сложные темы революционной борьбы настоящего и прошлого. Его не влекут при этом отдельные «хорошие куски» живописи, — он всецело идет к наиболее

яркому и сильному выражению всей темы.

Какое-либо абстрактное художественное мастерство совершенно чуждо этому художнику яркой и сильной революционной личности.

Своим искусством Соколов-Скаля заметно отличается от других мастеров советской живописи. Он исключительно прост и доступен.

Главное в его творчестве — человек-герой.

Какое-то непрерывное внутреннее горение отличает этого человека Скаля от персонажей многих обычных наших картин. Его люди никогда не спокойны.

Отвлеченные темы, бегство от нашей действительности совершенно чужды это-

¹) А. Потодкий.

му живописцу. Его живопись имеет основу в ярком и бурном прошлом и настоящем нашей действительности. В этом смысле Скаля — доподлинный и своеобразный «советский романтик», вполне оправдывающий это название.

Из выставленных работ художника наиболее ранней картиной является «Та-

зиция, пожалуй,—наиболее слабое место в этом произведении. Людские массы на переднем плане сильно раздроблены — глаз усиленно ищет и не находит себе опорного пункта, от которого он мог бы охватить всю картину в целом. Героическое, неустанное продвижение железного потока вперед, несмотря ни на ка-



П. П. Соколов-Скаля. — «Тов. Киров у нефтепровода в Баку»

манский поход» (1927), изображающий сцену из «Железного потока». Уже самая попытка раскрыть живописными средствами грандиозную эпопею гражданской войны заслуживает особого интереса. В этой картине Скаля пытался создать особую композицию, где, в соответствии с повестью Серафимовича, основным героем являлась бы народная масса.

Сосредоточив на переднем плане множество стоящих, сидящих и лежащих фигур, художник поставил Кожуха в отдалении. Возвышаясь над окружающей массой, он озирает развертывающийся перед ним и уходящий далеко вглубь картины людской поток. Компо-

ские препятствия, передано здесь недостаточно убедительно.

Но эти недостатки не поглощают серьезных достоинств этого, теперь уже «раннего», произведения Скаля.

Будучи противником бездушия и схематизма в подаче человека и человеческих масс, столь частых в тогдашней нашей художественной практике, Скаля стремился к передаче внутреннего горения каждого персонажа.

Сверхчеловеческое напряжение физических и умственных сил всех участников этого высокого революционного подвига, включая женщин и детей, бесспорно дано им с известной убедительностью и силой.

В поисках наследия, которое помогло бы ему преодолеть колоссальные творческие трудности, Скаля обратился к Делакруа. Звонкое и переливчатое сочетание огненно-красной рубахи партизана с сине-зеленой окраской моря и знойно-желтым фоном гор, заимствованное у великого живописца-романтика, дает картине сильный и страстный красочный аккорд.

переживаний при встрече с интервентом-генералом выражены просто и ярко.

В известной картине «Путь из Горок», изображающей похоронную процессию с гробом В. И. Ленина, Скаля в обобщенных чертах повторяет композицию «Таманского похода», стремясь однако к большей ясности в расчленении холста. Чувство величайшей скорби масс, несущих гроб великого вождя в крас-



П. П. Соколов-Скаля. — «Братья»

«Таманский поход» Скаля в целом — это еще довольно сырое и тщательно не разработанное произведение. Здесь элементы великой «революционной романтики» гражданской войны, естественно, не нашли себе сразу адекватного художественного выражения, но уже проявились достаточно явственно и ярко.

Подобные же соображения вызывает и «Интервенция» Скаля, где группа из рабочих, женщин, матроса и безногого солдата выставлена на суд перед сидящим в автомобиле генералом.

Грандиозность замысла — дать обобщающее образное выражение интервенции — не соответствует художественному его выражению; прекрасны только лица партизанской группы, у которой глубокая ненависть к врагу, вся острота

новую столицу, он пытается выразить посредством строгого и торжественного построения. На переднем плане, справа налево, параллельно плоскости холста, движется безмолвная крестьянская масса; в глубине, позади, подобное же движение повторяет другая процессия, несущая красный гроб Ильича. Образ молодой и печально-строгой крестьянки в санях с ребенком в руках, поставленный в центре картины, прост и выразителен, но холоден. Вся картина представляется несколько академичной, — глубокая крестьянская печаль об умершем вожде выражена не всегда непосредственно-эмоционально и через выражение лиц, а в некоторых случаях только внешними признаками и жестами участников шествия. Колорит картины, как

цветовая характеристика изображенного момента, мало соответствует тяжелому чувству понесенной потери и во всяком случае является спорным.

Несмотря на отдельные недочеты, «Путь из Горок» остается пока одним из самых впечатляющих живописных изображений январских дней 1924 года.

Картина «Веддинг» — в общем, сильная и выразительная работа художника. Потрясающий душевный подъем и готовность к борьбе немецкого юноши, поднимającego красное знамя убитого старика, выражены очень сильно. Темные зелено-красные краски этого холста неплохо передают мрачную, трагическую атмосферу, в которой происходит сцена.

Особняком стоит «Окопная правда» Скаля. Замысел художника — раскрыть окопную солдатскую жизнь эпохи империалистической войны; братание с немецкими солдатами и роль большевистской газеты в этом деле доходят до зрителя.

Целая галерея замечательно правдивых и остро поданных типов русских и немецких рядовых надолго не забываются. Исключительной типизирующей силы художник достиг в образе солдата, угощающего хлебом немца. Мужественная и крепкая фигура, суровое, решительное, полное огромной затаенной воли и непримиримости лицо дают очень сильный образ солдата-боевика. Это один из тех, кто обратился впоследствии штыком против поджигателей войны, был участником октябрьской победы, прошел через горнило гражданской войны и вышел, наконец, на дорогу хозяйственного восстановления и обновления страны.

Мертвенно-бесцветный, шинельно-серый, безрадостный и удушливый колорит картины замечательно воспроизводит голод и вошь, грязь и холод — всю фронттовую обстановку империалистической войны. Этим своим колоритом произведение действует неотразимо.

В «Братьях» эпоха гражданской войны раскрывается в бытовых тонах. Действие перенесено в скромную мещанскую квартиру. Молодой, мужественный красноармеец распахнул дверь отцовской квартиры и неожиданно для себя обнаружил за семейным столом брата-

белогвардейца. Родители и особенно оба брата, данные в порывистом движении, достаточно выразительны и типичны. Зрителю ясно, как именно будет решена раскрытая художником социально-семейная драма. Красноармеец вот-вот обернется к двери и позовет товарищей, чтоб арестовать офицера.

На этом можно закончить обзор того, что из выставленного относится к пройденным этапам Скаля, и перейти к новым произведениям этого художника.

Сегодняшний Скаля сильно отличается от автора «Таманского похода» несравненно большей мировоззренческой и художественной зрелостью. Скаля наших дней стремится еще больше волновать своего зрителя актуальными вопросами нашей борьбы и жизни. Достаточно проглядеть только названия последних картин художника, чтобы понять, что он хочет шаг за шаг в ногу с эпохой, отражая как раз те события и проблемы, которые проходят перед нами. «Кармен из Астурии», «Чапаев», «Гибель героя», «Похороны Кирова», «Киров у нефтепровода в Баку», «Везд Ворошилова в Донбасс»; бытовые картины: «В гостях у сына» и «Утро», целый ряд пейзажей, портретов и натюрмортов, — все это при ближайшем рассмотрении оказывается ответами художника на главнейшие задачи, поставленные перед нашим искусством в послерапповский период.

Напромождение персонажей на переднем плане картины, характерное для «старого» Скаля, в таких холстах 1934 г., как «Кармен», «Гибель героя», «Киров» и др., исчезает. Живописец устремляется к ясной и стройной композиции, выражая огромные революционно-героические темы посредством двух, трех фигур.

Композиционное построение этих последних работ Скаля сводится к организации большого, правильного треугольника, опирающегося в виде основания на нижнюю раму картины. От этого образы его, полные движения и устремленности, приобретают в то же время особую стойкость и крепость. Сама картина представляется более или менее законченным, цельным произведением.

«Кармен» раскрывает эпизод из недавней героической борьбы испанского пролетариата в Астурии. Молодая женщина нацеливается из пулемета во вражескую эскадрилью самолетов, беспощадно истребляющую восставший революционный народ. Под пулеметом

вавшееся Скаля в ранних холстах, превосходно достигнуто в этой картине. Художник снова прибегает тут к устойчивому треугольному построению, отчего неустойчивая группа, составленная из умирающего и его товарища, приобретает особую значительность и крепость.



П. П. Соколов-Скаля. — «Кармен из Астурии»

свалился ее убитый муж. Красочная гамма произведения, полнозвучная и сверкающая.

В «Герое» смертельно раненный юноша-пограничник в последний раз поднимается на руках товарища, бесстрашно глядя туда, откуда пришла к нему смертельная пуля. Его воспламененное агонией лицо прекрасно. Скаля достиг здесь серьезной, глубоко эмоциональной силы выражения. Фигуры обоих пограничников четко выделяются на фоне освещенного солнцем горного ската. Единство зрительного впечатления не всегда, уда-

Центральным полотном на выставке является «Киров у нефтепровода в Баку». Здесь Скаля дал совершенно новое и весьма сильное решение проблемы портрета вождя.

Крайний передний план картины занимают огромные трубы нефтепровода, которые «держат» композицию. Высоко над ними поставлена фигура рабочего-нефтяника, возле которого стоит широкоплечий улыбающийся Киров. Фигура сопровождающего Кирова рабочего, сидящего справа спиной к зрителю, является необходимым элементом общей,

ясной и стройной треугольной композиции. Получившаяся мощная пирамида, состоящая из человеческих фигур и труб, легла на нижнюю раму картины. Позади группы развевается далекое воздушное пространство и море, берег с дымящими бакинскими трубами и вышками, небо и разорванные облака.

Фигура рабочего и Кирова сделаны просто и убедительно. Скаля избежал здесь всякого трафарета и упрощения. На фоне глубоких воздушных пространств, по которым проносятся бакинские ветры, три фигуры, составившие треугольник, получают особую устойчивость и монументальность. Замысел художника—создать величественный живописный памятник погибшему вождю—замечательно удался.

«Везд Ворошилова в Донбасс» и «Чапаев», помеченные нынешним годом, представляют собой подготовительные эскизы грандиозных композиций памятников, которые будут создаваться Скаля в ближайшее время. Здесь художник снова возвращается к многофигурной композиции, но уже очищенной от случайностей, выдержанной и строгой. Фигура Ворошилова на коне, на фоне донбассовской индустрии, окруженная приветствующими его рабочими, чрезвычайно монументальна. Красочная гамма, которую берет художник, отдаленно напоминающая «Таманский поход», но более насыщенная и густая, уже намечает бурную, яркую и напряженную цветовую характеристику гражданской войны.

Остальные работы Скаля показывают его с малоизвестной стороны, — в качестве бытового живописца, портретиста и пейзажиста. Эти холсты — ответы художника на тот интерес к быту, природе и людям, который проявился в нашем искусстве в послерапповский период.

Большая картина «Утро» дает нежную сцену счастливого материнства. В солнечное утро молодая мать вытирает себя мокрым полотенцем; улыбающийся ребенок поднимается с постели.

Вся комната озарена чудесным светом с играющими на стене и на полу рефlekсами. Идиллический характер темы заставляет художника обращаться к не-

обычному для него художественному наследию импрессионизма. Отталкиваясь от него, Скаля тем не менее порывает с наиболее уязвимым элементом импрессионистического искусства — сырой случайной композицией.

Хорошо написанная фигура матери, с полотенцем за спиной, делит картину по диагонали на два равных треугольника, отчего все построение приобретает закономерный характер. Цветовое решение этого полотна, удачное в общем, имеет в частности известные недостатки: сияющая от лучей утреннего солнца голубая стена, на фоне которой посажен ребенок, будучи сама по себе настоящей цветовой находкой художника, «проваливается» назад по сравнению с зданием, видимым в окне.

«В гостях у сына» Скаля рисует голубую, по содержанию нашего быта, картину. Отец — интеллигент старого типа — пришел в квартиру бывшей жены на свидание к сыну. Мальчик-пионер усиленно хмурится под непривычным для него тяжелым отцовским взглядом. Мать и ее новый муж—новые люди, — стоя в отдалении, созерцают всю эту сцену. Очень сложная тематическая и сюжетная канва, взятая художником, раскрыта им только отчасти. Но столкновение «отцов и детей» нашего времени все же достаточно явственно показано художником. Его стремление поднять тему нашего быта не внешне и поверхностно, а в связи с проблемами формирования нового человека, ставят эту картину на одно из первых мест в числе наших бытовых жанров.

Соколов-Скаля относится к числу наших передовых художников, которые стремятся поднять грандиозные проблемы революции, гражданской войны и социалистического строительства посредством батальных картин, бытового жанра, портрета, натюр-морта или пейзажа, которые критически используют для этого лучшее наследие прошлого и тем самым становятся в ряды передовых мастеров пролетарского социалистического искусства.

Исключительные по содержательной и формальной сложности задачи, которые ставит перед собой Соколов-Скаля, его

упорное продвижение по пути наибольшего сопротивления, к большой социалистической картине, дают ему место в первых рядах наших советских художников.

Пусть его решения оказываются подчас недостаточно сильными, а наследие, которое он привлекает, недостаточно переработанным. Десятилетний этап созна-

тельного творчества, охватываемый выставкой, убедительно показывает, что Скаля неуклонно продвигается вперед к намеченной им цели.

А это дает нам возможность верить, что Соколов-Скаля, художник положительной революционной героической личности, создаст еще много прекрасных и воодушевляющих картин.

6. ФРАНС МАЗЕРЕЕЛЬ

К. Ситник

Наша художественная общественность очень тепло встретила Франса Мазерееля, приехавшего в Москву для знакомства с жизнью Советского Союза и для устройства выставки своих работ, открывшейся 16 мая в Музее нового западного искусства.

Мазереель постоянно живет и работает в Париже. Он является одним из известнейших современных революционных сатириков и самой крупной фигурой сегодняшнего революционного искусства Франции. Он — активный член Ассоциации революционных писателей и художников Франции, которая поручила ему руководство секцией изобразительного искусства.

Широкую известность Мазереель приобрел в годы империалистической войны своими антивоенными «политическими рисунками».

В 1917 году в Женеве организовался антивоенный штаб из эмигрантов гуманистически и пацифистски настроенной интеллигенции. Этот штаб возглавил Ромэн Роллан, высланный из Франции за антивоенную пропаганду, с которым близко сходится Мазереель. Эта близость покоилась не только на основе совместной работы, она имела более глубокие корни, лежащие в общности идейного и мировоззренческого сродства писателя и художника, в общности взглядов на мир, на современную действительность.

Мазереель становится активным деятелем антивоенной пропаганды, он работает в Красном Кресте и становится бессменным художником издаваемой Ро-

мэн Ролланом газеты «Ла фэйль», где из номера в номер помещает свои памфлеты-рисунки против поджигателей войны, против всех ее вдохновителей, от банкиров до попов, показывая кошмары и ужасы фронта, разорение и голод в тылу. Для этих рисунков он брал слова из текстов военных телеграмм, речей министров, произносимых в разных концах света, воззваний попов, генералов и т. д.

В этих рисунках, построенных на смелых сочетаниях черных и белых пятен немногими броскими линиями, напряженной композицией, контрастным чередованием черных и белых силуэтов, умело найденным жестом, позой, удачным сочетанием немногих, верно найденных деталей — вещей с фигурой главного действующего лица — художник создает образы, полные величайшего лаконизма, глубокой экспрессии и напряженности, образы, оставляющие неизгладимое впечатление. Его рисунки полны динамики, драматизма, глубоки по своему содержанию и идейной насыщенности.

Применение такого творческого метода не снижает художественного достоинства и действительности образов Мазерееля; наоборот, этот метод предельной выразительности, метод смелого обнажения сущности явлений адекватен тем мыслям и тому чувству возмущения и протеста, которые хотел выразить своими образами художник.

При всей своей, казалось бы, субъективности образы Мазерееля никогда не порывают связи с реальностью; если он

иногда упрощает, схематизирует, то только для большей простоты, ясности, контрастности, выразительности; «упрощает» во имя выражаемой идеи, определенного содержания, ради лучшего раскрытия темы. «Я прежде всего стремлюсь наиболее четко раскрыть тему, — говорит Мазереель, — в этом смысле Делакура для меня является учителем: он умел сочетать большое мастерство с

Близка к антивоенным рисункам как по силе своей ненависти и протеста, так и по своему методу воплощения серия гравюр на дереве «25 образов страдавший человека» (1918 г.), послужившая началом последующих серий так называемых «кинороманов», «романов без слов» — собраний гравюр на дереве, объединенных одной темой, одной идеей, одним сюжетом. Таковы следующие



Ф. Мазереель. — «Смерть»

большими сюжетами». Как бы ни был условен образ Мазерееля, он у него всегда реален, является выражением четкой и ясной идеи, строго функционален.

«Политические рисунки» Мазерееля из газеты «Ля фэйль», его альбомы гравюр на дереве — «Мертвые говорят» (1917 г.) и «Восстаньте, мертвые» (1917 г.) — являются замечательными образными сгустками проклятий войне и ее поджигателям, которые осмеливались произносить лучшие представители интеллигенции в годы мировой войны и актуальность которых не умирает и сегодня, в момент, когда клики империалистов готовят новую бойню.

Эти друг за другом серии: «Часы жизни» (1919 г.) из 167 гравюр, «Идея» (1919 г.) из 83 гравюр, «Город», «Творчество», «История без слов», «Воспоминания о моей стране» и т. д., и т. д.

Эти серии построены на несколько иной идейной основе: это уже не политические памфлеты, а социально-бытовая сатира, критическая история современного капиталистического города. «Все произведения Мазерееля, — писал А. В. Луначарский в 1930 г. в своей статье о Мазерееле, — это крики глубокого возмущения, мучительной ненависти и страдающей любви. Он находится под постоянным впечатлением кошмаров действительности. Город с его искус-

ственным светом и искусственной жизнью, с его наглым торжеством богатых, придавленностью бедных, с его широко поставленной порочной продажей наслаждений и, прежде всего, женщины, в безобразной беспомощности отданной на потеху имеющего деньги самца, жестокие развлечения, упорительные попытки восстания, расправа палачей с его участниками, кровавое безу-

мие войны — все это преследует Мазерееля постоянно».

На выставке, где было выставлено около 100 работ художника (живопись маслом, рисунки, акварели, гравюры), Мазереель остается верен своим прежним идеалам. В одной из своих бесед в Москве Мазереель заявил:

— Мы, художники Запада, находимся в положении, резко отличном от совет-



Ф. Мазереель. — «Церковь»

ских художников. Наша прямая задача — критиковать, кричать, негодовать в своем творчестве, восставать против войны, против всего уклада капиталистической жизни.

Выставка подтверждает конкретно слова художника. Основная тема, проходящая через все выставленные работы, от иллюстраций к роману из жизни рабочего до живописных работ, — это жизнь рабочего в капиталистическом обществе: работа, отдых, любовь, забастовки, восстания, безработица. Графические работы художника полны глубокой мысли, мужественны по зрелости своего мастерства, простоте применяемых средств и глубоко эмоциональны.

Мазерееля-графика мы знаем уже давно, но впервые знакомимся на выставке с Мазереелем-живописцем, показавшим себя в новой области не менее крупным и оригинальным мастером, чем в графике. Небольшие, почти квадратные, холсты почти все посвящены жизни рабочего; они просты по своей композиции (большинство двухфигурные композиции), полны лиризма, глубокого чувства. Пользуясь ограниченным числом красок, художник сочетанием голубого, желтого, синего, зеленого и коричневого достигает своеобразной цветовой выразительности и захватывающей непосредственности передачи действительности. Особо из живописных работ нужно от-

метить холсты: «Раненый рабочий», «Смерть рабочего», «Рыбак», «Бедность», «Забастовка», «Читающий рабочий», «Вечерняя прогулка», «Восстание», «Подвиг» и «Купальщики». Замечателен морской пейзаж «Барка», выдержанный в серо-голубых тонах; по силе ощущения материальной мощи стихии природы он может сравниться только с аналогичными пейзажами Курбе.

Среди выставленных работ необходимо отметить эскизы декоративных панно, полные глубокого реализма и вместе с тем монументальности, открывающие новую грань в многостороннем творчестве художника. Эскизы показывают в Мазерееле художника, хорошо понимающего сущность и задачи монументальной живописи.

Сила работ Мазерееля в их идейности, в их содержательности, в той бесконечной вере в человека, которой пронизано все творчество художника, в их целеустремленности, критической направленности против всех тех мерзостей и пороков, которыми кишит современный капиталистический город, в тех симпатиях, которые выражает Мазереель пролетариату, угнетенному и эксплуатируемому человечеству, в его огромном мастерстве, простоте средств и глубокой лиричности и эмоциональности его работ.

7. „САДКО“ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

С. Чемоданов

Новая постановка «Садко» на сцене Московского Большого театра — несомненно крупное событие театрального дня.

«Садко» — одна из достойнейших опер Римского-Корсакова. К тому времени, когда он писал ее, он был уже зрелым мастером, имевшим за собой значительный творческий актив в виде ряда опер и оркестровых композиций. Среди последних была симфоническая картина «Садко». Еще задолго до оперы, написанной в 1896 г., почти за 30 лет, в 1867 г., Римский-Корсаков впервые за-

нялся музыкальной обработкой былины о Садко, не развернув однако ее со всей широтой, взяв оттуда лишь пребывание Садко в подводном царстве.

Не случайно в те годы сказочная фантастика былины не нашла всестороннего отклика в музыкальных работах Римского-Корсакова. Это были годы идейной близости композитора к народнически-реалистическим лозунгам «Могучей кучки». Тогда в авторе были еще «живы идеи 60-х годов»; по его собственному признанию в «Летописи моей музыкальной жизни», его крепко «держали

в руках требования сюжетов из так называемой жизни», «захватил в свое течение натурализм Мусоргского».

В те годы Римский-Корсаков отдал дань народническому реализму оперой «Псковитянка», где под историческим покровом борьбы псковской вольницы с Иваном Грозным автор рисовал картину борьбы народа против деспотического самодержавия и высказывал свою оппозицию существующему строю. Как в выборе сюжета, так и в приемах оформления — богатом использовании народной песни, декламационном вокальном языке, отходе от условных форм традиционной оперы — Римский-Корсаков в «Псковитянке» в некоторой степени смыкался с Мусоргским, олицетворявшим собой, как известно, левое крыло «Кучки».

Реакция 80-х годов, вызвавшая смену идеологических вех во многих представителях буржуазной интеллигенции той эпохи, сильно сказалась и в музыке, в частности в творчестве Римского-Корсакова. От реализма потянуло к сказочности, хотелось как бы противопоставить светлые тона сказки темным краскам действительности. Особенно тянуло к древнейшим формациям сказки, языческой старине, освещенной ярким светом культа Ярилы-солнца. Отсюда тот огромный интерес, который в 1880 г. проявил Римский-Корсаков к «Снегурочке» Островского, тогда как в 1874 г. она ему «мало понравилась, царство Берендеев показалось странным», а «в зиму 1879—80 г., — сообщает автор в «Летописи», — я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную красоту.. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не было лучшего царства, чем царство Берендеев».

Незадолго до «Снегурочки» была написана также сказочная опера «Майская ночь», после — опять сказки: симфоническая сюита «Шехерезада» (1888), оперы «Млада» (1890), «Ночь перед рождеством» (1895), вплоть до самого «Садко».

В эти же годы все интенсивнее становится интерес Римского-Корсакова к

проблеме формы в музыке, композитором овладевают эстетические тенденции любования звучностью, как таковой, своеобразием тональных сочетаний, вновь найденными комбинациями звуко-тембров.

«Садко» — логическое продолжение и развитие этой линии, однако с сильными креном в сторону реализма, на который упорно толкал в эти годы Римского-Корсакова В. Стасов. Он верил в огромную творческую силу Римского-Корсакова и всячески хотел понудить его использовать по-новому, не так, как в симфонической картине 60-х годов, былинную о «Садко». Римского-Корсакова между тем тянуло больше всего к фантастике былинной, ее водной и подводной стихиям.

«Вы — новгородец, — горячо убеждал Стасов Римского-Корсакова. — Былина о «Садко» — лучшая и значительнейшая былина новгородская». «Задача громадна и великолепа. Есть и история тут, и народ, и характеры, и сцены, и что угодно. Мне все кажется, что это будет капитальнейшее ваше создание, ваша 9-я симфония» (намек на гениальную 9-ю симфонию Бетховена).

Римский-Корсаков не без некоторой оппозиции внял совету авторитетного друга и написал оперу реально-фантастическую, где картины подлинной жизни перемежаются с эпизодами сказочными. Оба элемента объединены общим замыслом, который в «Садко» идейно-содержателен, местами не без социальной заостренности. Римский-Корсаков далек был в эти годы от лево-народнических позиций. Однако либералом-прогрессистом оставался он всегда, до самой смерти, о чем свидетельствует хотя бы эпизод его «увольнения» из консерватории в 1905 г. за активную борьбу за автономию консерватории и заступничество за подвергшихся репрессиям студентов. Оппозиционность существующему строю (хотя и не лишенная примиренчества) всегда жила в большом мастере-художнике, не закрывавшем глаза на мерзость самодержавного режима, результатом чего являлась его замечательная сатира «Золотой петушок», так сказать, лебединая песнь автора, последняя

опера, написанная уже в 63-летнем возрасте, но полная юношеского задора, едко-остроумно высмеивающая самодурство и хамство царя-дурака.

В опере «Садко» наряду с величайшим мастерством и редкими музыкальными красотами ценно звучание веры в силу народа, способность его совершать великие подвиги, вера, сообщившая всей опере светлый, оптимистический, жизнеутверждающий колорит.

Оперный Садко не тот, что исторический или былинный. По летописи Новгородской, «заложил Садко Сытинич церковь каменную» в 1167 г. Былина разукрасила жизнь предприимчивого строителя разного рода подробностями, где реальное смешано с фантастическим, элементы старины новгородской густо переплетаются с наслоениями поздними, московскими. По былинне, Садко — богатый купец, «торговый гость», совершающий подвиги ради обогащения.

В опере Садко — выходец из народа, талантливый певец-гуслиар, романтик-мечтатель, одушевленный грандиозными фантастическими планами, горячий патриот, думающий о пользе Новгорода Великого, не колеблющийся отдать жизнь свою за родной город. Тут и небезыгноресная антитеза между Садко и «голю кабацкой», с одной стороны, реакционной знатью, богатой торговой аристократией Новгорода, — с другой.

Разнообразие и многогранность сюжета послужили поводом для расточения опромных звуковых ресурсов из той богатой сокровищницы, которой владел Римский-Корсаков, крупнейший специалист уже к тому времени и по музыке быта, и по звуковому воплощению русской сказки, и по живописанию природы во всех ее модификациях, в особенности морских пейзажей, которые автор прекрасно изучил еще в юные годы, будучи морским офицером, участником кругосветного плаванья. Римский-Корсаков в «Садко» с особенной широтой и блеском развернул палитру звуковых красок. Притом это не было только повторением «задов». В «Садко» и по части оркестровки, этой излюбленной стихии автора, на которой он делал всегда особенный акцент, и в вокальной сфере

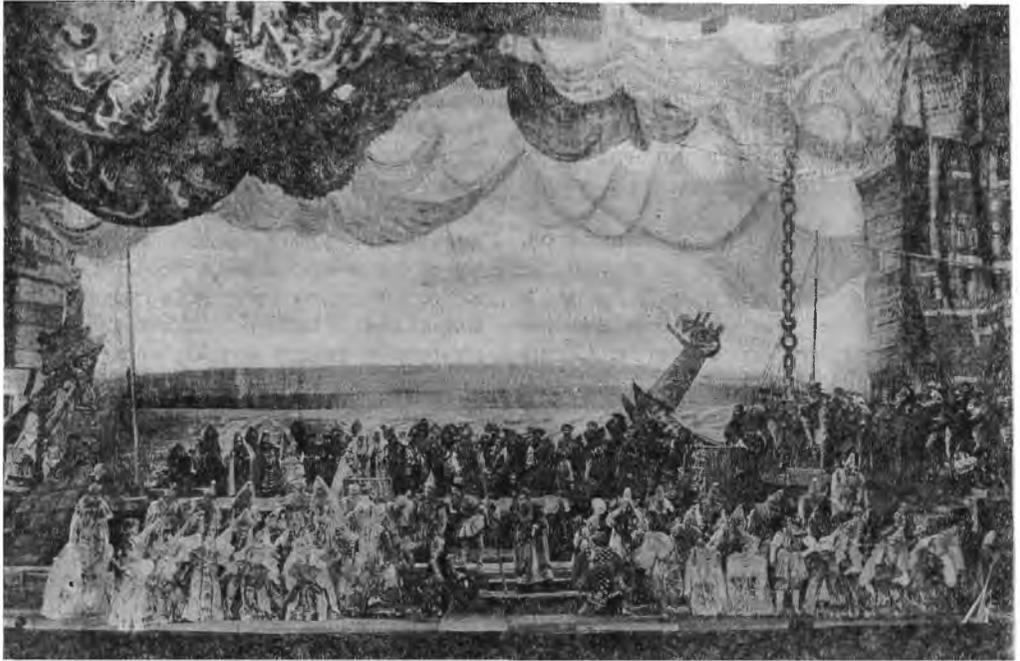
немало нового, качественно отличного от прежних приемов письма.

«Опера-былина «Садко», — сообщает автор, — счастливее своих предшественниц (опер «Млада» и «Ночь перед рождеством». — С. Ч.). Былевой и фантастический сюжет «Садко» по существу своему не выставляет чисто драматических притязаний: это — 7 картин сказочного, эпического содержания. Реальное и фантастическое, драматическое (поскольк такового намечается былинной) и бытовое находятся между собой в полной гармонии. Контрапунктическая ткань, поредевшая в двух предыдущих операх и предшествовавших им оркестровых сочинениях, начинает вновь восстанавливаться. Оркестровые преувеличения «Млады» сглаживаются, начиная уже с «Ночи перед рождеством», но оркестр не теряет своей живописности. Но что выделяет моего «Садко» из ряда всех моих опер, а может быть, и не только моих, но и опер вообще, — это былинный речитатив».

Римский-Корсаков слывет за выдающегося мастера оркестра. В ряде опер именно в оркестре — центр тяжести музыкального построения; он — главный изобразительный и выразительный фактор, по живописности и красочности далеко оставляющий за собой вокальную музыку (особенно в последних операх — «Сказании о граде Китеже», «Золотом петушке»). В «Садко» не то: оркестровая и вокальная части здесь в равновесии. Правда, оркестр оперы не уступает по содержательности и живописности лучшим произведениям Корсакова. Можно привести десятки примеров шедевров оркестрового письма в «Садко». Лаколично, но содержательно вступление к опере «Окиан — море синее», с замечательным по красоте и изобразительной силе и вместе с тем необычайно простым лейтмотивом легкого колыхания волн морских (один из главнейших лейтмотивов оперы, пронизывающий весь ее организм, патетически и завершающий ее). Великолепна поэтическая беседа Садко с Ильмень-озером (во 2-й картине), с шелестом тростников, криком утиц и лебедей, прямо-таки списанная с живой природы.

«Помнится, местом для сочинения такого материала часто служили для меня длинные мостки с берега до купальни в озере. Мостки шли среди тростников; с одной стороны виднелись наклонившиеся большие ивы сада, с другой — раскидывалось озеро Песно. Все это как-то располагало к думам о «Садко» —

с таким мастерством и пониманием его природы, что неспециалист-этнограф не отличит его от подлинного (например упомянутая выше ария Садко). Местами пение дано в стиле старинного былинно-эпического сказа, что придает ему особенно интересный колорит. Там, где автор мелодически оригинален, он так-



4-я картина (новгородское торжище)

рассказывает автор в «Летописи». Именно здесь зародилась мысль о широко популярной арии Садко «Ой, ты, темная дубравушка». А как убедительно блестит в оркестре золото, в которое превращается рыба, пойманная Садко! Далее море, вздымающее грозные валы, подводное царство с его контрастами прозрачного журчания речек малых и бушевания стихии морской; стремительный «поезд новобрачных», Волховы и Садко, и много, много еще. Все это незабываемые картины, которые прямо-таки наглядно видишь сквозь волшебные звуки оркестра.

В вокальной части в изобилии использован русский фольклор, частью подлинный, частью стилизованный, однако

же показывает большую творческую изобразительность, разрушая сложившуюся о нем легенду, как о слабом мелодисте, музыка которого якобы больше «от головы». Достаточно вспомнить знаменитую песнь Индийского гостя или редкий по красоте и лирической теплоте дуэт Волховы и Садко (во 2-й картине), чтобы развеять это обывательское представление о Римском-Корсакове.

Постановка «Садко» на оперной сцене — дело огромных трудностей. Нужно для этого не только иметь кадры высокой квалификации всех специальностей, от дирижера до хориста, и богатые материальные ресурсы, но главное, уметь установить нужное между ними равновесие.

Прежние постановки «Садко» в этом отношении были мало удачны. Вообще сценическая история «Садко» — довольно-таки живописный мартиролог, немало огорчений в свое время доставивший автору. На первом прослушании в петербургском Мариинском театре, которое было обставлено крайне небрежно, где автор сам подпевал и «скоро охрип», «слушатели ничего не поняли», и «опера никому не понравилась» (из «Летописи»). Опера не была отклонена формально, но не была и принята. С тех пор, — говорит автор, — «я решил оставить дирекцию в покое и никогда более ее не тревожить предложением своих опер».

Меценат-любитель Савва Мамонтов, державший частное оперное предприятие, оказался много более чутким и предприимчивым, чем бюрократическая дирекция императорского театра. Опера была поставлена первый раз в декабре 1897 г. на частной сцене. Но как! Правда, декорации, — сообщает автор, — «оказались недурны», и «некоторые артисты были хороши, но в общем опера была разучена плохо. Дирижировал итальянец Эспозито. В оркестре, помимо фальшивых нот, не хватало некоторых инструментов; хористы в 1-й картине пели по нотам, держа их в руках вместо обеденного меню; в 4-й картине хор вовсе не пел, а играл один оркестр. Все объяснялось спешностью постановки. Но у публики опера имела громадный успех, что и требовалось. Я был возмущен, но меня вызывали, подносили венки. Оставалось кланяться и благодарить». Дальше эта ужасающая халтура сменилась более тщательными постановками.

В сезоне 1900—01 гг. и Мариинский театр (благодаря смене дирекции) раскочевал на постановку «Садко», а в 1906 г. — московский Большой театр. На императорских сценах было больше всякого рода ресурсов, и потому спектакли обставлялись лучше, чем в частной опере.

В послеоктябрьский период «Садко» стал неизменным элементом классического репертуара советского театра и всегда пользовался неизменным внима-

нием и любовью советского слушателя. Постановки были достаточно тщательными, но часто традиционными.

Новая постановка, осуществленная в Большом театре в апреле сего года, задалась целью создать спектакль «колоссальных размахов, монументальных масштабов, громадных сценических композиций» (из высказываний постановщика засл. арт. Лосского). «Садко» как опера дает для этого огромные возможности. Безбрежный «окиан — море синее», сказочные богатства Новгорода Великого, смелые дерзания Садко, окончившиеся грандиозным подвигом открытия водных путей торговле новгородской, наконец, и самое главное, музыка грандиозно-монументальных масштабов, — все это и в самом деле больше, чем где-либо, требовало спектакля-гиганта. «Мы сохраняем в полной неприкосновенности музыку и текст» оперы, «все наши постановочные планы исходят прежде всего от музыки; мы осуществляем на сцене ту «программу», которую дает нам музыка». Это намерение постановщика осуществлено однако не в полной мере.

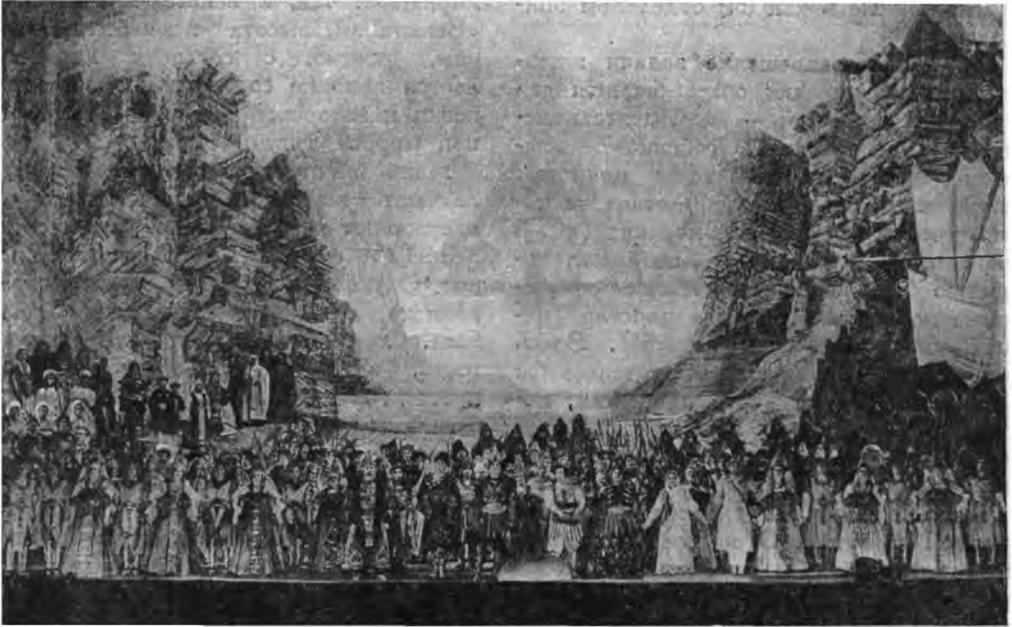
Римский-Корсаков всегда с огромной тщательностью разрабатывал сценарий и либретто своих опер, стремясь к полному и органическому контакту сцены, слова и музыки, ведущим началом считая в опере все же последнюю. С этой точки зрения, он всегда возражал против загромождения сцены излишними деталями, могущими отвлечь слушателя от главного — музыкального развития. Так, еще задолго до «Садко», в «Снегурочке», он писал: «В лирических моментах оперы находящиеся на сцене, но не поющие исполнители отнюдь не должны развлекать слушателя излишней игрой и движениями, дабы все внимание могло быть сосредоточено на пении».

Римский-Корсаков не против «игры и движений», а против «излишеств» в этой области, в особенности в эпизодах лирического пения. Этот завет автора далеко не в полной мере выполнен постановщиком. На сцене — чрезмерное обилие аксессуаров, отвлекающих слушателя не только от «лирических моментов оперы», но и вообще от музыки. Последняя подчас становится придатком к

сцене, как бы «аккомпаниатором» ее. Зритель все время с любопытством разглядывает чудеса сценической техники, которая поминутно дарит его новыми диковинами, внимание размельчается на детали. И даже в таком редкой поэтической силе и красоте эпизоде, как дуэт Садко и Волховы (во 2-й картине), где,

чески-волшебными приключениями Садко на берегу Ильмень-озера.

С другой стороны, несмотря на обилие режиссерской детализации спектакля, нужно отметить ряд недоработок в крупном, особенно — в области актерской игры. Здесь подчас разноразовой образов у разных актеров, а хор — все еще



Заключительная сцена

казалось бы, ничего не нужно, кроме замечательной музыки, режиссер не удержался от соблазна прибавить к и без того богатой постановочными моментами сцене новый эффект медленного опускания ветвей деревьев, мало оправданный вообще, в данном же случае досадно отвлекающий слушателя от замечательного перла корсаковской лирики.

Другой постановочный штрих, также без нужды отступающий от авторской ремарки: вместо «светлицы» Садко дана избушка на лоне природы (прием, аналогичный «жорчме» в «Борисе Годунове»). Полагаем, что «светлица» не случайно указана автором, а в полном содружестве с музыкой 3-й картины, рисующей прозаические будни Любавы Буславны в резком контрасте с поэти-

не зажившая полной жизнью масса, хотя в значительной степени и ушедшая от традиционного стандарта застывшего монумента.

Несмотря на недочеты, нужно отдать должное огромной режиссерской изобретательности и выдумке, где много здорового, остроумного и действительно выявляющего смысл музыки. Так, полная жизни и движения 1-я сцена пира новгородского, импозантно поданы иноземные гости, каждый на своем корабле в соответствующем национальном окружении, увлекательно-живописны берег Ильмень-озера и подводное царство, роскошно-празднично выглядит заключительная сцена. Есть свои некоторые плюсы и в отмеченной выше скрупулезной сценической детализации спектакля:

она все время, даже в наиболее статичных местах оперы, держит слушателя в состоянии большого напряжения и неослабевающего внимания.

В дальнейшем нужно лишь правильно планировать сценический материал с музыкой, установив при этом нужные пропорции между отдельными компонентами спектакля, тщательно взвешенные и выверенные в каждом отдельном эпизоде.

Блестящее разрешение задачи живописного оформления оперы-былины дал художник спектакля — засл. деятель искусств Федоровский. Особенно незабываемы роскошные пейзажи природы: задумчивый берег Ильмень-озера, вздымающиеся громады волн морских (в 5-й картине); поражающее изобретательностью декоративно-костюмное оформление подводного рыбьего царства (целый ихтиологический музей!). Здесь лишь в сцене буйного пляса хотелось бы больше и декоративного движения; несколько выпадает из общего плана, хотя и живописно сделанный, но статичный (вопреки яркой динамике музыки) «поезд новобрачных» перед заключительной картиной. Огромное мастерство проявлено также в декоративном оформлении бытовых сцен, особенно «новгородского торжища», и заключительной сцены, где среди Новгорода вдруг «чуждо» протекла Волхов-река. Все декорации выглядят монументально, величаво, в тон музыке, а главное, светло, мажорно, радостно. «Морю синему слава, Волхов-реке слава» — этот заключительный гимн звучит не только у солистов хора и оркестра, но в равной мере и в декорациях, и в костюмах, — все как бы слилось здесь в грандиозном гимне природе.

Музыкальное руководство оперой на большой высоте. Талантливый дирижер Мелик-Пашаев, до сих пор специализировавшийся главным образом на западных операх, хорошо справился с трудной партитурой «Садко», и, если на первых спектаклях ощущалась местами некоторая сумбуридность оркестрового звучания, недостаточно рельефный показ отдельных голосов, то в дальнейшем тонкая филигранная ткань корсаковской парти-

туры все более явственно представала перед слушателем во всей ее контрапунктической многоликости. Огромное достоинство дирижера также в том, что он с большой бережностью относится к певцам, не глуша их сокрушительной звучностью оркестра, а также считаясь с их трактовкой партий. Здесь даже можно отметить некоторые «перегибы» дирижера: так, в запеве песни Садко «Высота ли, высота поднебесная» певцом, видимо, с согласия дирижера, дается явно не соответствующий стилю песни и авторской ремарке (*Allegro ma non troppo*) тягучий темп.

Наиболее отстающая в новом спектакле часть — вокальная. Больше всего удивляют из слышанных двух спектаклей (25 февраля и 13 марта) нар. арт. Обухова — Любава, Златогорова — Нежата, Алексеев — Индийский гость, засл. арт. Сливинский — Веденецкий гость, артисты, располагающие всем нужным для их партий соответствующим вокальным диапазоном, красивого тембра голосами, музыкальным вкусом. Тепло и вокально-тщательно сделан образ Волховы засл. арт. Катульской. Большая сценически-вокальная культура у засл. арт. Озерова, однако партия «Садко» не совсем в голосовых средствах артиста. Живые фигуры скоморохов дают Колтыпин, Малышев, Коваленко, Марченков. Недостаточно мощное звучание в партии Варяжского гостя (особенно в новом режиссерском плане) у Михайлова. Непропорционально тускло в сравнении хора: четкость, ясность вместо часто бражением морского царя звучит голос Сердюкова. Много отрадного — в звучании хора: четкость, ясность вместо чисто сумбуридного хаоса в трудных ансамблях (1-й и 4-й картин).

Нельзя отрицать того, что постановочные моменты в целом ряде сцен дают и заслоняют певца-актера, но, разумеется, не только в них дело.

Резюме из сказанного: спектакль «Садко» — нужный, интересный, много радости дающий зрителю и слушателю, но неравномерно разработанный и не вполне законченный.

В связи с постановкой оперы встает еще один большой принципиальный

вопрос. Последние годы Большой театр, этот театр-гигант, обладающий огромными ресурсами всех видов и типов, занят был главным образом перестановкой старых спектаклей. Задача большая и нужная. Многие старые постановки отдавали вампукой и настойчиво требовали либо снятия оперы с репертуара, либо коренной переделки. Однако порою новые постановки хотя и давали много свежего и интересного, делались без особо настоятельной к тому необходимости («Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др.). Между тем в классическом наследстве имеется огромное количество незаслуженно забытых опер, которые к тому же под силу лишь

театру больших масштабов (можно было бы привести целый список их). С другой стороны, и в портфеле советских композиторов лежит ряд достойных опер, премированных, дипломированных и рекомендованных к постановке жюри конкурса, организованного два года назад тем же Большим театром. Не оставляя работы по перестановке (в случае действительной необходимости) старых, уже идущих опер, Большому театру нужно как можно скорее двинуть свои богатые ресурсы на дело извлечения из архивов и сценически-музыкальной реализации лучшего из классического оперного наследства и достойнейшего из советской продукции.

Книжное обозрение

Петр Ширяев.—«Высокая земля». Романтическое повествование. Книга первая. Гос. изд-во «Художественная литература». Москва. 1935 г. 250 стр. Цена 3 р. 25 к. 10.000 экз.

«— Послушайте, вы бывали на конском заводе? Вам, писателю, это было бы интересно».

Так, по свидетельству мемуариста, сказал Чехов одному из своих друзей.

Биографическая подробность эта — посещение Чеховым конского завода — никак не отразилась в чеховских рассказах и повестях. Впечатления о конском заводе пассивно отложились в запасный фонд писателя, поражавшего точностью своих жизненных знаний.

И это понятно. Не то, что конский завод, а даже степь, обширнейшую страну, через которую волны с вызолоченными рогами везли путника недели и месяца, — даже целый мир этот казался Чехову темой «слишком специальной», и его тревожила мысль, заслуживает ли тема степи самостоятельного повествования.

Революция реабилитировала «специальную тему». В сущности, она ее уничтожила, ибо нет ныне такого участка советской действительности, на котором — в том или ином масштабе — не разыгрывались бы битвы нашей эпохи. Советская литература имеет роман о постройке гидроцентрали и повесть о карабузаском мирабилите, — и темы этих произведений не столько специальные, сколько конкретные.

«Высокая земля» Петра Ширяева — очерковая повесть о конском заводе, точнее коневодческом совхозе.

Тема — сугубо специальная. И все же автор решил снабдить ее подзаголовком — «романтическое повествование». Подзаголовок этот следовало бы считать несколько претенциозным, если бы он не столь верно определял природу книги. В самом деле, книга Ширяева — романтическое повествование, взволнованный и приподнятый рассказ о делах и днях одного из гигантов социалистического строительства. Ибо иначе, как гигантом, нельзя назвать предприятие, обыденно именуемое в списках Коневодтреста конесовхозом № 53.

Территория этого конесовхоза равна небольшому государству. Принадлежащие совхозу конские табуны и овечьи отары кажутся с горных склонов обширными цветными озерами.

Но не грандиозные размеры описываемого в «Высокой земле» животноводческого предприятия являются, в конце концов, его определяющей чертой, и не на них более всего останавливает свое внимание Ширяев. Конесовхозов в Нарыне — замечательнейший пример созидательной силы революции, и заслуга писателя в том, что ему удалось убедительно показать, как эта созидательная си-

ла преодолевает бесчисленные препятствия и приносит победу даже в самых тяжелых условиях.

Здесь, в Казакстане, у подножий Тянь-Шаня, близ границ Китая, водится лошадь — крепкая, выносливая, ценная и для хозяйства, и для обороны. Но места эти суровы и недоступны. Здесь конь находит чудесные альпийские пастбища, но человек радуется картошке, точно самородку золота. Здесь открываются огромные возможности для создания новых, улучшенных пород коня, для смелых экспериментов над природой, но советских работников на перевалах еще подстерегают остатки басмаческих банд. Здесь, в совхозе, говорят о коне, как о товарище, но самое слово «товарищ» за пределами совхоза произносится иными еще со злобой и ненавистью.

Вот почему труд людей, создающих в отдаленнейшем углу нашей страны мощную базу советского коневодства, по своему непрестанному напряжению и необходимости быть готовым к любому испытанию невольно напоминает труд членов опаснейшей экспедиции. Мирные персонажи Ширяева — хозяйственники, ветеринары, бухгалтер, агрономы, табунщики — превращаются в участников трудного похода: похода в социалистическое будущее края, вчера еще глухого и дикого. Они, герои «Высокой земли», романтизированы, но романтизированы при помощи приемов, не поступающихся правдой, а идущих ей навстречу.

Есть в повести эпизод, который является как бы ключом к героям «Высокой земли»:

«— Вот, что, товарищи, — помолчал, заговорил снова Елеференко, — разговоры наши о зимовках ни к чему, пока мы доподлинно не будем знать, что и где есть. Надо срочно обследовать наличие кормов в этих местах!»

Елеференко назвал один из участков совхоза с невыясненными кормовыми ресурсами.

Участок этот находился километрах в сорока от юрты, где мы пили чай.

Мечинская и Махоньков переглянулись и в один голос, как бы спрашивая друг друга, проговорили:

— Поедем?

И встали».

А люди эти вошли в юрту к Елеференко, директору совхоза, только-что слезши с седла после пятидесяти километров пути по горам.

Таков стиль работы командного состава на социалистическом предприятии, которому посвящена повесть Ширяева. Он определяется энергией мысли, внутренней мобилизованностью и ежесекундной готовностью к действию.

И не прав ли Ширяев, когда именно в этом стиле видит причины стремительного роста

Нарына и ряда других опорных пунктов социалистического хозяйства на далекой советской окраине?

Школой этого стиля была гражданская война. Аркаша Кудряш, рабочий райкома, носит на щеке след анненковской пилки. У специалиста Говмана—несгибающаяся от раны нога. Иван Степаных—в прошлом уральский токарь и красновардеец, а ныне заведующий базой в селе Рыбачьем, ночью, в тесной комнатке с глинобитным полом бережно протирает застекленную фотографию: на ней изображены семь обезображенных, полураздетых трупов—семь товарищей Ивана Степаныха, семь жертв контрреволюционного террора.

Шрам на щеке, несгибающаяся нога, фотография трупов,—об этих деталях Ширяев упоминает не случайно. Они относятся не только к прошлому тех, кто теперь на недавней арене ожесточеннейшей войны руководит хозяйственным строительством. В те годы, когда Ширяев изучал жизнь Нарына, басмаческая пуля время от времени напоминала о том, что хотя фронты давно уже ликвидированы, но враг еще окончательно не добит. И тогда люди, спорящие о методе табунного содержания жеребцов, добывающие стекло и гвозди для строительства жилищ и оортирующие отары «для души»—по масти, мгновенно превращаются в бойцов, в солдат революции.

Очерковая наша литература богата ландшафтами и эмпирическими сведениями и бедна людьми. Иные очерковые книги похожи на эффектные декорации, пейзажные «задники», края которых исписаны цифрами, формулами и чертежами. В «Высокой земле» есть много картин природы и много узко-специальных данных, и все же книга Ширяева—менее всего альбом пейзажей, снабженных подписями справочного характера. В центре «Высокой земли»—человек. Ширяеву удалось создать выразительную галерею работников бойцов во главе с директором Нарынского совхоза—Елеференко.

Ширяев набегнул тех, к сожалению, упрощившихся в очерковой литературе методов показа хозяйственника, которые, по существу, сводятся к приему газетного интервью: ни на шаг не отступая от автора, изображаемый персонаж предупредительно заводит беседы на темы, которые как-раз требуются по ходу повествования, и с обязательным в этих случаях «волнением» сообщает всю ту сумму небогатых знаний, которые автор из опасения сухости не решает преподнести читателю от своего имени. Елеференко никак не напоминает этих ставших традиционными в иных очерковых произведениях гидов-энтузиастов. Он не дает интервью,—он действует. Это живой человек, а не подставное лицо очеркиста. В ряду созданных очерковой литературой образов людей пятiletок фигура Елеференко, обрисованная просто и тепло, займет по праву одно из видных мест.

Рядом с этой центральной фигурой Ширяев дает серию живых и интересных зарисовок

«товарищей по походу». Несмотря на пестроту закрепленных в книге образов, от высококвалифицированных специалистов из Москвы до киргизов-табунищков,—это не калейдоскоп. Ибо Ширяев выделяет в них общие, доминирующие черты, которые обращают большинство работников Нарына в одну семью, «фамильной чертой» которой является преданность не только делу, но и преданность месту. А последнее в Нарыне звучит по-особому—ибо специалистам случается здесь спать в корыте, за ветеринаром надо гнать коня чуть ли не сто километров, а история постройки жилого дома здесь сложна, как человеческая биография.

В свои очерки Ширяев ввел обильный технический материал. Он посвящает читателя специальным вопросам без той торопливости, которая присуща многим очеркистам, забывающимся о мнимой занимательности и забывающим о том, что скороговорка—лучший способ заставить читателя скучать. В «Высокой земле» есть целый эпизод, посвященный такому специальному вопросу иппологии, как «дружба жеребцов». И все же технический материал органически входит в книгу, не превращается в чуждый повествовательной ткани привесок. Ибо Ширяев привлекает этот технический материал не ради придания очеркам солидности, справочности, а для решения страстных споров, которые волнуют героев книги и важный смысл которых Ширяеву удалось донести до читателя. Именно вследствие страстности, которой пропитана вся книга, самые сухие данные «звучат» и кажутся вполне уместными рядом с лирическими описаниями природы или портретными зарисовками.

Очерковые книги таких писателей, как Пришвин, Паустовский, Никулин, достаточно убедительно продемонстрировали значение композиционного элемента в очерке и завоевали самому очерку место высокоорганизованного художественного жанра. Книга Ширяева написана в плане путевых очерков. Свойственная нередко произведениям этого жанра созерцательность и внутренняя статичность (несмотря на внешнее движение), оказалась в «Высокой земле»—в ее первой части—счастливым преодоленной. Ширяев придал книге динамичность, организовав материал (в пределах первой части книги) вокруг одного сюжетного стержня—«аламан-байги», больших конских состязаний, на которых встречаются два соперника: принадлежащий бывшему баю прославленный туземный конь Кокала и Дербист—гордость местного советского коневодства. Сцена скачек является кульминационным пунктом книги. Победа Дербиста над Кокалой вырастает в символ победы нового над старым, социалистического сегодня над капиталистическим вчера.

К сожалению, художественная организованность материала во второй части ослабевает, композиция разрыхляется. Книга отяжелена рядом вставных глав, едва ли не лишняя. Таков например эпизод, посвященный доре-

волюционному прошлому Облепихина—бывшего человека, бродящего вокруг Нарынского конесовхоза, и особенно страницы, повествующие об анекдотическом случае с отцом Облепихина—провинциальным кушом в московском ресторане «Эрмитаж». Чужеродным куском является и рассказ об американском селекционере Карльтоне, сделанный, кстати сказать, не вполне самостоятельно, — под явным влиянием книги известного популяризатора Поля де-Крюи («Борьба с голодом»). Углубленной дешевой вкусу является эпизод, рисующий Вертинского в залах Лувра перед статуей Венеры Милосской.

Нет большой беды в том, что Ширияев употребляет ряд штампованных эпитетов, называя траву «изумрудным ковром», озеро—также «изумрудным», а реку—«бирюзовой». Более серьезным недостатком являются попытки Ширияева придать при помощи словесных штампов изложению мнимую глубину и выразительность: «первозданная мощь», «некий мировой час», «извечная, мировая тишина», «неиссякаемая, извечная материнская щедрость земли», «библейское начало мира»,—все эти и им подобные встречающиеся в книге выражения своей пышностью только ослабляют заражающую силу «Высокой земли».

Не всегда уместно пристрастие Ширияева к цитатам и литературным реминисценциям. Если Ширияев описывает мрачное ущелье, он упоминает дантов ад. Если он рассказывает о будущем городке в степи, то читатель не ошибется, предвидя строку из Пушкина—«Здесь будет город заложен». И едва ли нужно мобилизовывать «Скифов» Блока («Миллионы нас!.. Нас тьмы и тьмы, и тьмы!..») всего только по поводу... обилия мух у конторы Союзтранса в городе Фрунзе. Цитаты эти утомляют, и читатель с удовлетворением убеждается в том, что упоминаемый Ширияевым Тургенев,—к счастью, не автор «Отцов и детей», а всего только один из служащих совхоза...

Мало правдоподобно, чтобы человек в минуту смертельной опасности, полав в мгновенно засасывающую «черную топь»—«кара-саз»,—мог бы думать так:

«Лишь бы не рванулся Зитфрид в попытке освободиться из объятий болота... Тогда все кончено! Тогда лопнет и разворотится гнилая ткань, и медленным плотком втянет меня в свое темное чрево Нарынская топь. Тогда высоко-высоко поднимутся сиреневые горы и исчезнут, блеснув последний раз снегами.

Но не эти частные недостатки определяют лицо книги.

Ширияев приводит в книге замечательный документ—рапорт о трагической гибели не-

скольких табунщиков, пытавшихся спасти коней во время зимнего бурана. Трудно без волнения читать эту сухую, официальную бумагу, показывающую поразительную самоотверженность местных жителей, вчера еще забытых «инородцев», которые пришли в совхоз и сделали его неприметными и вместе с тем высокими героями. Вот несколько строк из этого документа:

«... Хамазпнов Шумарт пробыл в бурани двое суток, сильно обморо ился. Нашли его у табуна, причем он заявлял: «А табуна мой не бросал».

«... Нарму хатов Какидмыл, замерзая сам, спасал бывших с ним трех товарищей, зарыл их в солому, а сам сообщил об этом в ближайший поселок».

«... Албанов Кайрула найден через трое суток у табуна, где, падая, ходил в бессознательном состоянии».

«... Байгурия Никиф найден через двое суток полузаморзшим. Все время находился у табуна и сохранил его целиком...»

«А табуна мой не бросал»—фраза эта может быть вложена в уста многих героев Ширияева. И часто за ней—подлинная доблесть. Она—исток романтики книги, она придает иным внешне обыденным фактам большой и волнующий смысл. История постройки «домашними средствами» корабля на Иссык-Куле превращается в увлекательную повесть, захватывающую, так, как когда-то в детстве захватывала нас постройка шлюпа обитателями жюль-верновского таинственного острова...

«Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Строки эти принадлежат Гоголю, и их приводит Ширияев в конце своей книги. Эта цитата оказалась внутренне оправданной. И, может быть, самое важное, что следует сказать о «Высокой земле»,—это то, что писателю в своем романтическом повествовании удалось не только извлечь необыкновенное, но и увидеть ту правду, которая и есть это необыкновенное.

А. Роскин.

ПОПРАВКА

В статье А. Старчакова, напечатанной в журнале «Новый мир», № 5 с. г., стр. 267, вкралась опечатка. Вместо: «не станем же мы заниматься изучением романов Амадиса Галльского», следует читать: «не станем же мы заниматься изучением романов о приключениях Амадиса Галльского».

Редакция:
А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»